ISSN 0321—1878. Звезда. 1991. № 10. 1—208. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.). Индекс 70327

Звезда

10
1991

ISSN 0321—1878



10

1991

В «ЗВЕЗДЕ-92» ЧИТАЙТЕ:

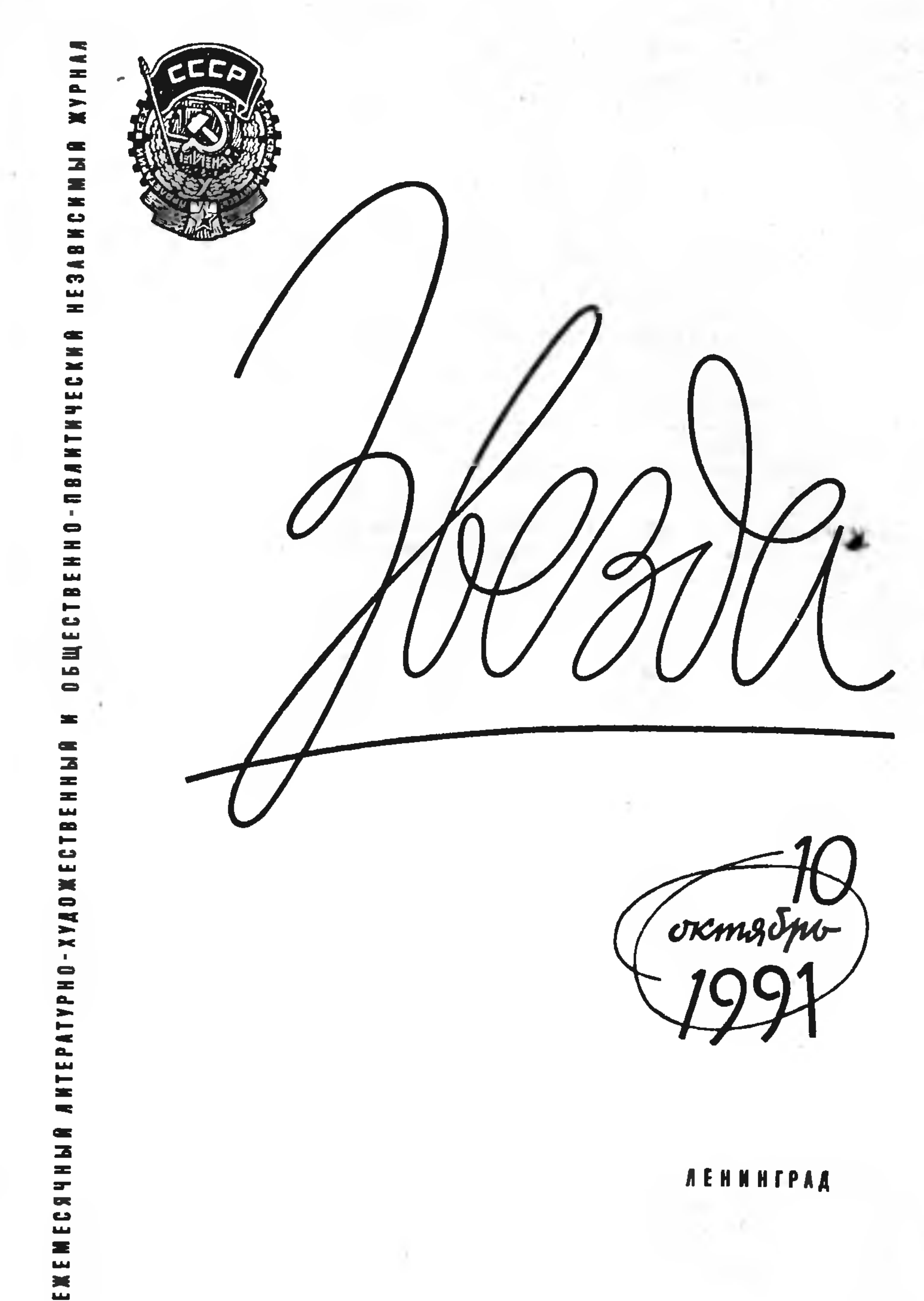
Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Из книги «35 последних слов».
Игорь ДОЛИНЯК. «Инкогнито», повесть.
Александр ЗИНОВЬЕВ. «Мой Чехов», эссе.
Александр МЕЛИХОВ. «Новый Дон Кишот», роман.
Виктор СОСНОРА. «Книга пустот».
Андрей СТОЛЯРОВ. «Монахи под луной», фантастический роман.
Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ. «Ванька Каин», пьеса.
Норман МЕЙЛЕР. «Американская мечта», роман.
Джон СТЕЙНБЕК. «Короткое правление Пипина IV», повесть.
Лоренс ДАРРЕЛЛ. «Жюстина», повесть.
Гаррисон СОЛСБЕРИ. «900 дней», главы из книги о блокаде.
Эрик ФРОММ. «Забытый язык сновидений», главы из книги.
Бертран РАССЕЛ. «Власть».
Чеслав МИЛОШ. Стихи и эссе.
Дмитрий ФИЛОСОФОВ. Дневники за 1917—1918 гг.
Даниил ХАРМС. Материалы о смерти писателя.

Неизвестные страницы Аркадия БЕЛИНКОВА, Ольги БЕРГГОЛЬЦ, Лидии ГИНЗБУРГ, Леонида ДОБЫЧИНА, Сергея ДОВЛАТОВА, Вениамина КАВЕРИНА, Льва КАРСАВИНА, Александра УХТОМСКОГО и др.

Специальный выпуск журнала — к 100-летию со дня рождения Марины ЦВЕТАЕВОЙ.

ПУБЛИЦИСТИКА:

Евгений АНИСИМОВ «Тайный сыск времен Анны Иоанновны»; Валерия НОВОДВОРСКАЯ «Лефортовские записки»; Владимир ШЛЯПЕНТОХ (США) «Открывая Америку»; эссеистика Бориса ПАРАМОНОВА.



ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

SUMMARY № 10

The issue opens with Elena Bonner's presentation of a selection of Andrey Sakharov's interviews, previously unpublished in the USSR.

Alexandr Zinoviev's novel «Live». The author of «Yawning Heights» deals with the present day Soviet reality, conveying its tragic character. However, Zinoviev uses his favourite style — political farce. The action takes place in two cities with symbolic names: «Atom» and «Partograd» (Party-city).

A science-fiction story of an American writer George Martin «The way of Cross and Dragon».

A story of Leningrad writer P. Krusanov «I am dancing alone».

A selection of poems of well-known Leningrad poet Gleb Gorbovsky is published to mark his 60 th birthday.

The issue presents poetry of popular poet D. Bobyshev and of Leningrad poets V. Kutcheryavkin and A. Shelvakh.

Viktor Frenkel's documentary narrative about his father Yakov, an outstanding Soviet physicist — continued from the previous issue.

B. Zotov in his notes of a writer «The Second secret» of «The Song of Igor's Host» considers the historical and geographical realities of the great literary monument.

The leading expert on M. Voloshin's work V. Kupchenko introduces the correspondence of S. Efron (M. Tsvetaeva's husband) with the Voloshins, dating back to the time when S. Efron was in the «White Guard».

A historian V. Belous, who studies the social and political thinking in Russia, publishes an article about one of the most interesting characters of the XX century Russian culture — Ivanov-Razumnick. It is called «Scythian» or the tragedy of the ideological approach to reality. The author uses previously unknown archive materials.

A well-known Moscow critic V. Kamyanov in his article «Seeing Off without Paying Honours» continues the discussion which was opened by V. Erofeev's article «Funeral Feast over the Soviet Literature».

The article of G. Tulchinsky, a Leningrad professor, «The melanome of understanding» is attempt to treat modern social problems with the help of linguistic analyses.

The sequel of V. Yanovsky's reminiscences «Les Champs Elysées».

Учредитель: Союз писателей СССР **Издатель: редакция журнала «Звезда»**

Главный редактор Г. Ф. НИКОЛАЕВ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместители главного редактора — 273-52-56, 273-74-91, 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41.

Сдано в набор 21.06.91. Подписано к печати 03.09.91. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,9 усл. кр.-отт. 25,37 уч.-изд. л. Тираж 130 840 экз. Заказ № 790. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР, 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

А. Д. Сахаров

ИНТЕРВЬЮ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНТЕРВЬЮ А. САХАРОВА СТЕНХОЛЬМУ, КОРРЕСПОНДЕНТУ ШВЕДСКОГО РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ [1]

А. Сахаров: Человеку наиболее естественно считать свой строй наилучшим, и любое отклонение от этого положения создает какой-то психологический конфликт. Когда я писал в шестьдесят восьмом году свою работу, то этот процесс у меня еще находился в незавершенной стадии; тогда мой подход был абстрактным. Но жизнь моя сложилась так, что я сначала столкнулся с глобальными проблемами, а потом уже с более конкретными, личными, человеческими. Поэтому, читая мою работу шестьдесят восьмого года, надо учитывать пройденный мною путь от работы над термоядерным оружием, от волнения по поводу его испытаний, по поводу гибели людей, генетических последствий. Но я находился в этот момент еще очень далеко от основных проблем, стоящих перед всем народом и всей страной.

Я был в чрезвычайно привилегированном материальном положении и был изолирован от людей. Но после этого моя жизнь изменилась в личном плане, и психологический процесс развития пошел дальше.

Возьмем социализм. В начале этого пути мне казалось, что я понимаю, что такое социализм, и считал, что социализм — это хорошо. Но постепенно я очень многое перестал понимать, и у меня возникло сомнение в правильности наших экономических основ, недоумение, есть ли в нашей системе что-нибудь, кроме пустых слов, кроме пропаганды для внутреннего и международного потребления?

В нашем государстве бросается в глаза чрезвычайно большая концентрация экономической, политической и идеологической власти, то есть крайняя монополизация. Может быть, можно считать, что это просто государственный капитализм (как после революции говорил Ленин), что государство выступает в роли монопольного хозяина всей экономики. Но тогда наш социализм вообще не есть что-то новое, а является просто предельной формой того же капиталистического пути развития, который есть, скажем, в Соединенных Штатах и в других западных странах. Разница только в крайней монополизации. Если это так, то нас не должно удивлять, что у нас возникают те же проблемы, что у них. Та же проблема преступности, та же проблема отчуждения личности, что и в капиталистическом мире. Только наше общество является предельным случаем. Оно предельно несвободно, предельно идеологически сковано, и, кроме того,— и это, наверное, самое характерное,— оно самое претенциозное, то есть претендует на то, что оно гораздо лучше других.

Вопрос. В чем конкретно вы видите самые большие недостатки в сегодняшнем советском обществе?

А. Сахаров: В несвободе, наверное. В несвободе, в бюрократизации управления, в том, что это управление крайне неразумно и страшно эгоистично. Это

[1] Интервью дано 2 июля 1973 г.— Шведская газета «Дагенс нюхетер» от 4 июля 1973 г. (первая зарубежная публикация).

классово-эгоистическое управление, которое преследует, в сущности, только одну цель: сохранить этот строй, сохранить видимость благополучия при очень неблагоприятном внутреннем положении. Социально это — ущербное общество. И я уже писал — внимательным наблюдателям это, конечно, известно,— что у нас в социальном плане все очень показное. Это относится, например, к образованию и к медицинскому обслуживанию. Западные люди часто говорят: «Да, у вас много недостатков, но зато у вас бесплатная медицинская помощь». Но она у нас не более бесплатна, чем в большинстве западных стран, а часто положение с бесплатной помощью у нас даже хуже — общее качество ее очень низкое, поэтому она обходится, как говорится, себе дороже. В очень трудном, в полунищенском положении находится образование. Учителя влачат нищенское существование.

Вопрос. Считаете ли вы сегодняшнее советское общество классовым?

А. Сахаров: Это вопрос теоретической оценки. Во всяком случае, можно сказать, что это общество большого внутреннего неравноправия. Оно в некотором роде своеобразно, но можно ли его называть классовым — вопрос трудный. Это вопрос определения. Недавно мы спорили, какое общество можно назвать фашистским. Это тоже вопрос определения, вопрос терминологии.

Вопрос. Ну, а неравноправие? В чем оно проявляется?

А. Сахаров: Неравноправие у нас — по очень большому числу параметров. Есть неравноправие между сельскими и городскими жителями. Колхозник не имеет паспорта, значит, он практически прикреплен к своему месту жительства, к колхозу. Только если его согласятся отпустить (что обычно, правда, делается), он сможет уехать из колхоза. Есть неравноправие районов. Москва и большие города — привилегированные по снабжению, по быту, по культурному обслуживанию. Причем паспортная система как бы закрепляет это разделение, территориальные неоднородности.

Вопрос. Вы сказали в самом начале, что и вы — привилегированный человек. Объясните, в чем это выражается?

А. Сахаров: Я был привилегированным. Остался им, конечно, и сейчас еще — по инерции. А был сверхпривилегированным, потому что был работником самой верхушки военной промышленности. Получал колоссальную, по советским масштабам, зарплату, премии и так далее.

Вопрос. А какие привилегии у партийных деятелей в Советском Союзе?

А. Сахаров: Их привилегии обычно внеденежные. Есть целая система санаториев, большие привилегии в медицинском обслуживании; реальные привилегии возникают в результате связей, личных моментов. Привилегии, связанные с работой, с карьерой. Например, крупные руководящие посты (директор завода, главный инженер) занимают только члены партии. Исключения очень редки. Начальником цеха может быть только член партии. Таким образом, от партийной принадлежности, от положения в партийной структуре зависит карьера. Кроме того, есть такая кадровая традиция, которая отражена в понятии номенклатуры: если номенклатурный работник проваливается на какой-нибудь работе, то он переводится на другую работу, не очень сильно отличающуюся по своим материальным преимуществам от старой.

Весь характер выдвижения, продвижения по работе сильно связан с какими-то взаимоотношениями в этой системе. У каждого крупного администратора есть лично с ним связанные люди, которые вместе с ним двигаются с места на место. Это совершенно непреодолимо и, по-видимому, является законом государственной структуры.

Остальные материальные преимущества заключаются в том, что возникает какая-то изолированная и более или менее четко ограниченная группировка, которая имеет особое отношение к управлению. Она выделена по партийной принадлежности, но и в пределах партии возвышается над другими. Это — нечто подобное внутренней партии у Оруэлла. Нечто в этом роде, по-видимому, существует и у нас. Эти люди внутренней партии имеют большие материальные преимущества. Существует система дополнительной зарплаты в конвертах. Она то исчезает, то вновь появляется. Я не знаю, какое положение в данный момент, но похоже, что она вновь возникла в разных местах.

Есть система закрытых распределителей, где не только качество продуктов

другое и более широкий ассортимент, но и цены другие. Иными словами, за тот же самый рубль люди в этих магазинах могут получать больше, то есть реальная цифра зарплаты тоже не характерна для их положения.

Вопрос. Мы говорили о недостатках. Разрешите поставить вопрос, что можно сделать, чтобы исправить положение?

А. Сахаров: Что можно сделать и к чему нужно стремиться — это разные вопросы. Сделать, по-моему, почти ничего нельзя. Нельзя, так как система внутренне очень стабильна. Чем система несвободнее, тем лучше она внутренне законсервирована.

Вопрос. Ну, а внешние силы? Тоже ничего не могут сделать?

А. Сахаров: Мы понимаем, что делает внешний мир. Внешний мир, по-видимому, решил принять наши условия игры. С одной стороны, это очень плохо. Но есть и вторая сторона дела: мы сейчас порываем с 50-летней изоляцией, а это может со временем оказать и благотворное влияние. Очень трудно прогнозировать, как все это будет происходить. К тому же нам неясно, к чему сводятся действия Запада: к желанию нам помочь или, наоборот, к капитуляции, удовлетворению внутренних интересов Запада, где мы играем роль разменной монеты.

Вопрос. Это — заграничные силы, а как обстоит дело внутри Советского Союза?

А. Сахаров: Здесь тоже происходят процессы, но они пока настолько невнятны и подспудны, что прогнозировать какие-либо положительные перемены почти невозможно. Ясно, что такое большое государство, как наше, не может быть внутренне однородным, но отсутствие информации и связи между отдельными группами людей делает почти невозможной оценку происходящего.

Например, мы знаем, что на окраинах очень сильны националистические тенденции. Но определить в каждом отдельном случае, положительны ли они или нет,— довольно трудно. Известно, что, например, на Украине они очень сильно переплелись с демократическими тенденциями. В Прибалтике тоже религиозные и национальные течения легко и естественно переплетаются с демократическими. Но в других местах это, может быть, и не так — мы не знаем подробностей.

Вопрос. Я вижу, что вы пессимист.

А. Сахаров: Оценивая наш социализм, я не вижу в нем какого-нибудь теоретического новшества для лучшей организации общества. Мне кажется, что в многообразии жизни может быть найдено и что-то положительное, но в целом путь нашего государства содержал больше разрушительных, чем созидательных, общечеловеческих моментов. У нас шла жесточайшая политическая борьба, разрушение и ожесточение зашли так далеко, что сейчас мы пожинаем печальные плоды этого в виде усталости, апатии и цинизма, от которых мы очень трудно излечиваемся, если излечиваемся вообще. Эти тенденции развития нашего общества очень трудно прогнозировать, глядя изнутри. Может быть, снаружи это сделать легче, но для этого нужен абсолютно непредвзятый глаз.

Вопрос. Вы сомневаетесь в том, что можно вообще что-то сделать, чтобы исправить систему в Советском Союзе. И несмотря на это, вы сами все время действуете. Почему?

А. Сахаров: Это — естественная потребность создавать идеалы, даже когда не видно непосредственного пути к их осуществлению. Ведь если нет идеалов, то и надеяться вообще не на что. Тогда наступает ощущение беспросветности, тупика. Кроме того, нам до конца не ясно, есть ли какие-нибудь возможности взаимодействия нашей страны с внешним миром. Если не будет сигналов о неблагополучии у нас, то не смогут быть использованы даже те возможности, которые, может быть, есть. Ведь тогда будет неясно, что же надо исправлять и нужно ли вообще что-нибудь исправлять.

Есть еще один важный момент. Наша страна должна служить предупреждением. Она должна удерживать Запад и развивающиеся страны от того, чтобы они не совершили ошибок такого масштаба, какие в ходе исторического развития были совершены у нас. Тот факт, что мы выступаем, еще не означает, что мы на что-то надеемся. Бывает, что человек ни на что не надеется, но все равно выступает, потому что он не может молчать. Возьмите конкретные случаи преследований

у нас. Тут мы ни на что не надеемся, печальная действительность это подтверждает: практических результатов наши протесты не дают.

Вопрос. К чему же вы сами стремитесь в общественном плане?

А. Сахаров: В Послесловии к моей Памятной записке [1] я пытался изобразить какой-то идеал. Но сегодня я во многом должен был бы сам себя исправить, потому что писалась она давно, а опубликована была через полтора года, без всяких изменений. Например, о китайской проблеме я писал там в таком тоне, от которого, может быть, сейчас бы воздержался. Дело в том, что мне по-прежнему совершенно непонятны наши взаимоотношения с Китаем. Ну, а раз непонятны, то лучше бы и не писать. Обвинять Китай в агрессивности, например, мне сейчас уже не хотелось бы. Вопрос китайской угрозы надо переоценить. Ведь в Китае на самом деле проявляется наиболее крайняя стадия развития нашего общества. Китай больше стремится к революционному самоутверждению внутри страны и во внешнем мире, чем к обеспечению процветания для своего народа. Китай очень похож на Россию двадцатых и начала тридцатых годов.

Вопрос. Если вы считаете, что социализм в Советском Союзе не показал своих преимуществ, то означает ли это, что для исправления положения необходимо перестроить все государство? Или можно делать что-то внутри системы, чтобы улучшить ее и устранить самые большие недостатки?

А. Сахаров: Это, пожалуй, непосильный для меня вопрос. Потому что совсем перестраивать государство — немыслимо, нужна какая-то преемственность и постепенность, иначе будет опять такое же страшное разрушение, развал, через которые мы уже несколько раз проходили. Постепенность же кажется абсолютно необходимой.

Вопрос. Что же нужно делать прежде всего?

А. Сахаров: Что делать? Я понимаю, что наша теперешняя система по своим внутренним свойствам ничего сделать не в состоянии. Но надо. Надо было бы ликвидировать идеологический монизм общества. Единая идеологическая структура, антидемократическая по своему существу, трагична для государства. Изоляция от внешнего мира, например, отсутствие права выезда и возвращения, очень пагубно отражается на внутренней жизни. Это, во-первых, величайшая трагедия для всех тех, кто хочет выехать по личным и национальным причинам, но это также трагедия для тех, кто остается в стране. Ведь страна, из которой нельзя свободно выехать и в которую нельзя свободно вернуться, это уже неполноценная страна. Создается замкнутая система, где все процессы развиваются совсем иначе, чем в открытой системе. Одно из очень важных условий для здорового развития страны — свобода выезда и возвращения.

Очень важны также экономические вопросы. Крайняя государственная социализация привела у нас к тому, что в тех областях, где наиболее эффективна частная инициатива, она так же закрыта, как и в крупной промышленности и на транспорте, где государственная система управления, вероятно, разумна. Зажим личной инициативы граждан ведет к сильному стеснению личной свободы. Это не только отрицательно сказывается на уровне жизни населения, но делает жизнь гораздо более скучной, тоскливой, чем она могла бы быть.

Я говорю о личной инициативе в сфере потребления, в сфере обслуживания, образования, в медицине. Допуск личной инициативы в эти области способствовал бы ослаблению монополистической структуры государства. Партийная монополизация управления дошла у нас до таких пределов, недопустимость которых, наверное, видна и самому управленческому слою. Для борьбы с этим явлением нужна, наверное, бóльшая гласность в работе аппарата управления. Однопартийная система очень уж жестка. Между тем даже в условиях социалистического экономического строя возможна неоднопартийная система, и в странах народной демократии есть некоторые элементы многопартийности, правда, в полукарикатурном виде.

[1] А. Сахаров. Памятная записка (написана 5 марта 1971 г.). Послесловие к Памятной записке (написано в июне 1972 г.). Впервые опубликованы за рубежом в июне 1972 г; впервые опубликованы в СССР в кн.: Тревога и надежда. М., Интер-Версо, 1990, с. 48—62.

Нужно предоставить возможность выбора между несколькими кандидатами.

В общем, нужен ряд мероприятий, которые, каждое в отдельности, дадут немного, но в совокупности могли бы расшатать окаменелый и давящий на жизнь всей планеты монолит.

Измениться должна и наша печать. Сейчас она настолько унифицирована, что уже потеряла значительную часть своей информационной ценности. Факты она отражает так, что они понятны только посвященным, а подлинная картина реальной жизни в стране искажена.

Нет разнообразия интеллектуальной жизни. Неправомерно ущемлена роль интеллигенции в обществе. Интеллигенция материально у нас очень плохо обеспечена, даже по сравнению с людьми физического труда. Диспропорция еще больше, если сравнить жизненный уровень интеллигенции с теми странами Запада, где примерно такой же общий уровень экономического развития.

Приниженное положение интеллигенции вызывает также и идеологическую придавленность, создает в стране антиинтеллектуальную атмосферу, когда интеллигентная профессия, профессия педагога, врача, не пользуется должным уважением. В результате сама интеллигенция начинает уходить либо в узкий профессионализм, либо в двойственную интеллектуальную жизнь на работе и дома. В узком кругу своих знакомых, где это можно, они начинают самостоятельно, по-разному мыслить. Но это означает усиление лицемерия на работе и среди чужих и дальнейшее падение, нравственное и творческое. Особенно тяжело все это сказывается не на технической, а на гуманитарной интеллигенции, у которой уже создалось полное ощущение тупика. Доказательством этому служит литература — страшно серая и казенная, скучная.

Вопрос. Разрешите еще последний вопрос. Вы лично не боитесь за себя и за свою свободу?

А. Сахаров: Лично за себя я никогда не боялся, но это отчасти из-за свойств моего характера, а отчасти потому, что начал-то я с очень высокого общественного положения, когда опасения были бы, наверное, совершенно неоправданны по существу. Сейчас же я в основном боюсь таких форм давления, которые касаются не меня лично, а членов моей семьи, членов семьи моей жены. Это наиболее тяжелая, но реальная угроза, вплотную приблизившаяся к нам. Вот схватили сына Левича [1] и показали, как такие вещи делаются.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. САХАРОВА ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ ШВЕДСКОГО РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «ШПИГЕЛЬ»

Я с удовлетворением впервые увидел в Вашем журнале в напечатанном виде свое интервью шведскому телевидению. Однако мне бросились в глаза некоторые досадные погрешности, которые я допустил в своих устных ответах. В частности, из той части интервью, которая посвящена привилегированному положению членов партии, может создаться ложное впечатление, будто член партии обладает бóльшими привилегиями по сравнению с беспартийным даже при одинаковом служебном положении. Это не так, и я хотел бы исправить допущенную неточность. Вместе с тем все, что касается влияния партийности на карьеру, партийной иерархии, фактических привилегий и кастовости партийно-государственной верхушки, остается в силе. Говоря о китайской проблеме, я уточнил в интервью свою точку зрения на советско-китайские отношения. Но я не хотел, чтобы создалось впечатление, что китайский вариант социализма с его хунвейбинами,

[1] Евгений Левич — молодой физик, сын члена-корреспондента Вениамина Левича, подал заявление на выезд в Израиль вместе с семьей и получил отказ. После этого 16 мая 1973 года его схватили прямо на улице и отправили служить в армию.

трудовым перевоспитанием и цитатниками кажется мне безвредным и привлекательным.

Последняя неточность, о которой мне здесь хочется сказать, касается моего личного положения. Я сказал, что оно остается пока привилегированным, имея в виду средний уровень жизни в стране, а не своих коллег. В этом последнем случае результат сравнения скорей был бы обратным. В свое время у меня были крупные, по советским масштабам, деньги. В 1969 году, уже после опубликования трактата, я отдал в фонд государства большую часть (в сумме 139 тыс. рублей) этих денег, казавшихся мне незаслуженными. Теперь этот поступок представляется мне совершенно неправильным [1].

Я прошу сообщить об этом письме всем издательствам, которые напечатали мое интервью.

С уважением

Андрей Сахаров

29 июля 1973 года

А. САХАРОВ. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА МАЛЯРОВЫМ

15 августа мне позвонил зам. Генерального прокурора СССР и попросил прийти для беседы. О чем будет эта беседа — не сказал, только заметил, что это будет беседа порядочного человека с порядочным человеком. 16 августа к 12 часам я пришел в Прокуратуру, у ворот был встречен сотрудником, который провел меня в здание, далее другой провел меня в кабинет, где был зам. Генерального прокурора Маляров М. П. и еще один человек, не назвавший своей фамилии и представившийся помощником Малярова. Этот человек вел запись беседы и принимал участие в ней.

Ниже я воспроизвожу по памяти (поэтому возможны некоторые неточности формулировок, небольшие сокращения непроизвольного характера и изменения в последовательности беседы), как мне запомнилось, эту беседу, которая продолжалась 1 час 10 мин.

Маляров: Эта беседа носит характер предупреждения, поэтому не все утверждения будут снабжены исчерпывающими доказательствами, но Вы можете нам поверить, что мы располагаем такими доказательствами. Я прошу Вас выслушать меня внимательно и по возможности не перебивать.

Сахаров: Я готов Вас выслушать.

Маляров: Когда несколько лет назад Вы начали ту деятельность, которую называете общественной, мы стали внимательно за ней следить, но считали возможным не принимать никаких мер. В то время можно было считать, что Вы выступаете с позиций советского человека по поводу отдельных недостатков и ошибок, как Вы их понимаете, не выступая против советского общественного и государственного строя в целом. Правда, уже тогда Ваши выступления публиковались в зарубежной антисоветской прессе и приносили ощутимый вред нашему государству. В последнее время Ваша деятельность и выступления приобрели еще более вредный и откровенно антисоветский характер, и Прокуратура, стоящая на страже Закона и интересов нашего общества, уже не может оставаться в стороне. Вы встречаетесь с иностранцами и даете им материалы для антисоветских публикаций. В особенности это относится к Вашим интервью. В интервью шведскому радио Вы выступаете против социалистического строя в нашей стране, называя его строем максимальной несвободы, недемократическим, закрытым, лишенным возможности инициативы в экономической области, разваливающимся.

Сахаров: Я не говорил «разваливающимся».

Маляров: Вы встречаетесь с такими реакционными журналистами, как, например, корреспондент шведского радио Стенхольм, и даете им Ваши интервью, которые используются для подрывной пропаганды, используются печатным органом НТС [1] «Посев». Вы должны знать, что программа НТС предусматривает насильственное свержение советской власти. Именно «Посев» больше всего публикует Ваши материалы, в Вашем интервью Вы, по существу, выступаете с тех же антисоветских подрывных позиций.

Сахаров: Я не знаком с программой НТС. Если там содержится такое требование, то оно в корне противоречит моим взглядам, так, как они выражены, в частности, в интервью шведскому радио. Я там говорил о желательности постепенных изменений, о демократизации в рамках существующего строя. Другое дело, что я указываю на существенные, с моей точки зрения, пороки строя и не скрываю своего пессимизма (в отношении возможности таких изменений в ближайшее время). В отношении публикаций: я не давал никогда никаких материалов для НТС, для «Посева», и мои материалы публиковались, кроме «Посева», во многих зарубежных массовых изданиях, в том числе таких, как, например, «Шпигель», которые советская печать считала до сих пор скорее прогрессивными.

Пом. Малярова: Но Вы никогда не протестовали против публикаций в «Посеве». Мы проверили, что подавляющая масса Ваших публикаций появилась в таких изданиях, как «Посев», «Грани», белогвардейская газета «Русская мысль».

Сахаров: Я очень был бы рад публикациям в советской прессе. Например, если бы кроме критической статьи Ю. Корнилова «Литературная газета» рядом опубликовала мое интервью. В этом случае Ю. Корнилов был бы вынужден обойтись без искажений интервью. Но действительность не такова. Я считаю, что публикации, гласность очень важны. Я считаю, что гораздо важней содержание публикаций, чем то, где они опубликованы.

Пом. Малярова: Даже если это публикации в антисоветских изданиях с антисоветской целью? В «Посеве»?

Сахаров: Я считаю очень полезной издательскую деятельность «Посева». Я благодарен этому издательству. Я оставляю за собой право не отождествлять «Посев» с НТС, не разделять программу НТС, тем более что я ее не знаю, осуждать те стороны деятельности НТС, которые могут рассматриваться как провокационные (вроде посылки свидетеля Соколова на процесс Галанскова—Гинзбурга, что имело такие последствия).

Пом. Малярова: Мы сейчас об этом не говорим, это было давно.

Сахаров: Возвращаясь назад... Вы назвали Стенхольма реакционным журналистом. Это несправедливо. Он социал-демократ, он гораздо более социалист или коммунист, чем я, например.

Пом. Малярова: Социал-демократы Розу Люксембург убили. А вот Ваш «коммунист» вставил в Ваше интервью, что наш строй «разваливается», если у Вас действительно этого не было.

Сахаров: Я уверен, что Стенхольм точно передал мое интервью.

Маляров: Я продолжу. Я прошу особо внимательно отнестись к моим словам. По роду Вашей прошлой работы Вы имели допуск к государственным секретам особой важности. Вы давали подписку о неразглашении государственной тайны, о том, что Вы не будете встречаться с иностранцами. Но Вы встречаетесь с иностранцами и сообщаете им сведения, которые могут представлять интерес для зарубежных разведок. Я прошу Вас учесть всю серьезность этого предупреждения и *сделать для себя выводы.*

Сахаров: О каких сведениях Вы говорите? Что, конкретно, Вы имеете в виду?

---

[1] Подробнее об этом см. в журнале «Знамя», 1990, № 1, с. 177.

[1] НТС — Народно-Трудовой Союз, политическая организация, основанная в 1930 г. русской эмигрантской молодежью на съезде в Белграде. Центр организации после войны находится в Германии (Франкфурт-на-Майне). Члены Союза действуют также и на территории СССР. Цель организации — создание на Родине демократического строя, учитывающего как опыт Запада, так и специфику России. Философия НТС — базирующийся на христианских ценностях персоналистический солидаризм. Печатные органы: журнал «Посев» (общественно-политический, выходит раз в два месяца) и журнал литературы и общественно-политической мысли «Грани» (выходит с 46-го года ежеквартально), а также газета «Воля».

Маляров: Я уже говорил, что эта встреча носит характер предупреждения. Мы располагаем сведениями, но не считаем возможным вдаваться в детали.

Сахаров: Я заявляю, что никогда не разглашал военных и военно-технических секретов, известных мне по роду моей прошлой работы в 1948—1968 годах. Я никогда не буду этого делать и в будущем. Я обращаю Ваше внимание также на то, что я не участвую в какой-либо секретной работе более 5 лет.

Маляров: Но Ваша голова осталась при Вас. И так же в силе осталось Ваше обязательство не встречаться с иностранцами! Вас начинают использовать не только антисоветские силы, враждебные нашему государству, но и иностранные разведки.

Сахаров: Относительно встреч с иностранцами. Я знаю многих людей, которые находились в одинаковом со мной положении, а сейчас свободно встречаются с иностранными учеными и просто гражданами. Я действительно встречался с некоторыми иностранными журналистами, но эти встречи не имеют никакого отношения к государственной, военной и военно-технической тайне.

Пом. Малярова: Эти встречи были на руку нашим врагам.

Маляров: Мы сделали предупреждение. Ваше дело — сделать выводы.

Сахаров: Я повторяю, что я предпочел бы публикации в советской прессе, предпочел бы контакты с советскими учреждениями. Но я не вижу ничего противозаконного во встречах с иностранными журналистами.

Пом. Малярова: Но ведь Вы все еще советский гражданин. Ваша оговорка выдает Вас, Ваше истинное отношение к нашему строю.

Сахаров: Советские учреждения игнорируют мои письма и другие формы обращений. Если ограничиться Прокуратурой, то я напоминаю, что в мае 1970 года (кажется, 17 мая) я вместе с другими лицами обратился с надзорной жалобой на имя Генерального прокурора СССР тов. Руденко по делу Григоренко. В этом деле множество грубейших нарушений закона. Мы до сих пор не получили никакого ответа на эту жалобу. Множество раз я не получал даже уведомлений о вручении по своим письмам. Покойный ныне член Президиума Верховного Совета СССР академик Петровский обещал мне выяснить дело психиатра Семена Глузмана (осужден в Киеве в 1972 году с нарушениями закона), вот единственный случай, когда мне обещали выяснить правду. Но Петровский умер! А дело Амальрика? Человек был несправедливо осужден на три года, потерял здоровье, перенес менингит, а теперь вновь осужден лагерным судом еще на три года. Это же вопиющее дело. Фактически он осужден за то же самое, за свои убеждения, от которых он не отказался, но которые он никому не навязывал. А лагерный суд, какая уж тут гласность, справедливость!

Маляров: Этот Амальрик — недоучившийся студент. Он не принес никакой пользы государству, он тунеядец. А Белль пишет о нем как о выдающемся историке, а откуда у Белля такие сведения?

Сахаров: Белль и очень многие проявляют большой интерес к судьбе Амальрика. Лагерный суд — это, фактически, закрытый суд.

Маляров: А по-Вашему, надо было привезти его в Москву?

Сахаров: Учитывая большой общественный интерес к этому делу, считаю это разумным. Если бы я знал, что на суд Амальрика можно попасть, я бы поехал.

Маляров: Амальрик принес нашему обществу большой вред. В своем сочинении он пытался показать, что советское общество должно погибнуть к 1984 году, и тем самым призывал к насильственным действиям. Каждое общество имеет право на защиту. Амальрик нарушил закон, и он должен был понести наказание. В лагере он вторично нарушил закон. Вы знаете этот закон, я не собираюсь Вас убеждать. За рубежом писали, что Амальрик лишен адвоката, но это ложь. Швейский ездил на суд, и Вы это знаете.

Пом. Малярова: В отличие от этого недоучки, Вы принесли пользу обществу.

Маляров: Кто дал Вам право сомневаться в нашем правосудии, ведь Вы не были на суде. Вы опираетесь на слухи, а они часто ложны.

Сахаров: Когда нет фактической гласности, когда систематически в политических процессах создаются условия для ее нарушения, возникают основания сомневаться в справедливости суда. Я считаю, что преследования по статьям 190^1 и 70 являются антидемократическими. Все известные мне дела подтверждают это мнение. Пример недавнего времени — дело Леонида Плюща. В этом деле

суд без проверки принял из трех противоречивых решений психиатрических экспертиз самую тяжелую версию. Хотя суд смягчил решение, но по протесту прокурора оно было вновь восстановлено. Плющ в специальной больнице, а его жена не имеет с ним свидания более полутора лет.

Маляров: Вы занимаетесь юридическими делами, но, по-видимому, недостаточно глубоко. Суд имеет право сам выбирать форму принудительного лечения, безотносительно к решению комиссии.

Сахаров: К сожалению, я знаю, что это так. И поэтому, если даже комиссия назначает больницу общего типа, надо бояться худшего. Вы говорите, что я все время ссылаюсь на слухи. Это не точно, я стараюсь иметь достоверную информацию. Но вообще в нашей стране все труднее узнавать, что происходит. Нет публикаций с полной и точной информацией о нарушениях.

Пом. Малярова: Вы имеете в виду «Хронику»?

Сахаров: Конечно, «Хронику».

Пом. Малярова: Да, о «Хронике» скоро будет разговор. Вы знаете, что я имею в виду. Но сейчас речь идет о другом, о другой теме.

Маляров: Вам не нравится, что в нашем кодексе есть статьи 190^1 и 70. Но они там есть. Государство имеет право на защиту. Вы отдаете себе отчет в своих поступках, я не буду Вас ни в чем убеждать, я знаю, что это бесполезно. Но Вы должны понимать, о чем идет речь. И кто Вас поддерживает, кому Вы нужны? Хорошо известный Вам Якир не сходил со страниц антисоветской зарубежной печати, пока он был поставщиком для их пропаганды. Когда он изменил свою позицию, о нем забыли.

Сахаров: Сказать — хорошо известный — это не точно. Я с Якиром практически не знаком. Интерес к его судебному процессу по-прежнему велик. Я это точно знаю. Все спрашивают, когда суд. Не известно ли Вам это?

Пом. Малярова: Нет, не известно. Когда будет суд, Вы, вероятно, сами будете об этом знать.

Маляров: Ваш друг Чалидзе пользовался славой на Западе, пока он выступал с антисоветскими заявлениями, а когда он перестал, все о нем забыли. Антисоветским кругам нужны такие, как Телесин, Тельников, Вольпин, которые непрерывно клевещут на свою бывшую родину.

Сахаров: Я не считаю, что Чалидзе когда-либо занимался антисоветской деятельностью. То же о других. Вы что-то сказали о Вольпине, по-моему, он занимается математикой в Бостоне.

Маляров: Быть может, но мы имеем достоверные сведения о его антисоветской деятельности.

Сахаров: Вы говорите, что меня никто не поддерживает. В прошлом году я участвовал в двух коллективных обращениях — об амнистии и об отмене смертной казни. Эти обращения подписали более пятидесяти человек.

Маляров: В порядке постановки вопроса?

Сахаров: Да, но нас очень огорчило, что закон об амнистии был очень ограниченным, что смертная казнь не отменена.

Маляров: Я не думаю, что Вы рассчитывали, что законы будут меняться по Вашему желанию. Смертную казнь сейчас нельзя отменить. Убийц и насильников, совершающих тяжелые преступления, мы не должны оставлять без наказания.

Сахаров: Речь идет об отмене самого института смертной казни. Многие мыслители считают, что этот институт не может быть сохранен в гуманном обществе, что он аморален. Тяжелая преступность у нас имеет место при наличии смертной казни, смертная казнь не помогает сделать общество более гуманным. Я слышал, что у нас даже в юридических кругах обсуждался вопрос об отмене смертной казни.

Маляров: Нет. Один юрист поднял этот вопрос, но никто его не поддержал. Это несвоевременно.

Сахаров: Этот вопрос сейчас обсуждается во всем мире. Во многих странах смертная казнь отменена. Чем мы хуже?

Маляров: В США отменили, но сейчас же были вынуждены вновь восстановить. Вы читали о тех преступлениях, которые имели место. У нас ничего похожего нет. Вам нравится американский образ жизни — но там свободная

продажа оружия, президентов убивают, сейчас эти демагогические фокусы с «делом Уотергейта». Швеция гордится своей свободой, но там на каждой улице порнографические картины, я сам видел. Вы что, за порнографию? За *такую* свободу?

Сахаров: Я не знаю американского или шведского образа жизни, вероятно, там есть свои трудные и больные проблемы. Я не хочу идеализировать. Но вот Вы упомянули «дело Уотергейт». Оно хорошо характеризует американскую демократию.

Маляров: Все рассчитано на показ. Все кончится ничем, стоит только Никсону проявить твердость. Такова их демократия, одни фокусы.

Но мы должны кончать наш разговор. Я хотел Вас еще спросить, Вы хорошо отозвались о Белинкове. Известна Вам эта фамилия?

Сахаров: Я считаю, что Белинков — выдающийся публицист, я, в частности, высоко ценю его письмо Пен-клубу.

Маляров: А знаете ли Вы, что Белинков был арестован и осужден за распространение листовок, призывающих к убийству коммунистов?

Сахаров: Я ничего об этом не знаю. Вероятно, это было давно, в сталинские времена, стоит ли всерьез это принимать? — ведь тогда все осужденные были «террористы».

Маляров: Нет, Белинков был осужден дважды. Это было недавно. А Ваш Даниэль? Ведь в «Дне открытых убийств» он открыто призывал к убийству руководителей партии и правительства. А Амальрик — чем он лучше? Вот о чем Вы должны задуматься.

Сахаров: «День открытых убийств» — это художественное произведение, аллегория, всем своим духом направленная против сталинского террора. Тогда, в 1956 году, это было еще так близко. На суде Даниэль это разъяснил. 1984 год — это тоже аллегория. Вы знаете, что эта цифра заимствована из повести Оруэлла.

Маляров: Мы должны кончать. Я хочу, чтобы Вы сделали выводы из серьезных предупреждений. Любое государство не может не защищать себя. Существуют статьи закона, и никому не будет позволено их нарушать.

Сахаров: Я внимательно Вас выслушал, я запомнил все, что Вы сказали, так сказать, «намотал на ус». Но я не могу согласиться с тем, что я нарушал закон. В частности, я не могу согласиться с Вашим утверждением, что мои встречи с иностранными корреспондентами были противозаконны или что они ставили под угрозу государственную тайну. До свиданья.

Маляров: До свиданья.

КОММЕНТАРИЙ

Верховному Совету СССР

ОБРАЩЕНИЕ ОБ АМНИСТИИ

В годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик обращаемся к вам с призывом принять решение, отвечающее гуманностью и демократической направленностью основным интересам нашего общества.

Мы призываем в ряду таких решений принять закон об амнистии.

Мы считаем, что в этом законе должно быть особо предусмотрено освобождение осужденных по причинам, прямо или косвенно связанным с убеждениями, в частности, осужденных по статьям 190[1], 190[2], 190[3], статьям 70 и 72 УК РСФСР и по аналогичным статьям кодексов других союзных республик, всех осужденных в связи с попыткой покинуть страну, соответственно призываем пересмотреть решения, принятые по тем же мотивам, о помещении в специальные «тюремные» и общего типа психиатрические больницы.

Свобода убеждений, обсуждения и защиты своих мнений — неотъемлемое право каждого. Вместе с тем эта свобода — залог жизнеспособности общества.

Мы считаем также, что в законе об амнистии в соответствии с юридическими нормами и гуманностью должно быть предусмотрено освобождение всех лиц, отбывших срок заключения свыше установленного сейчас максимального срока в 15 лет по приговорам, вынесенным до приятия ныне существующих основ законодательства.

Май 1972 года.

К. Бабицкий, Е. Маневич, А. Маневич, Б. Цитленок, В. Корешкова, А. Лернер, В. Г. Левич, Ю. Шмуклер, В. Браиловский, В. Норд, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, В. Лапин, В. П. Некрасов, З. М. Григоренко, Н. Долинина, Л. В. Альтшулер, А. А. Галич, Г. И. Петров, Е. Г. Боннэр, В. А. Каверин, Е. А. Гнедин, Ю. А. Шиханович, Л. З. Копелев, Н. И. Буковская, Мойшезон, В. Белоцерковский, Е. Левич, И. Р. Шафаревич, М. Л. Ростропович, В. Максимов, И. И. Ивич, Р. Л. Берг, Р. А. Медведев, И. Корнеев, А. В. Гапонов-Грехов, Г. Н. Владимов, А. Н. Твердохлебов, В. В. Иванов, А. Тумерман, С. Ковалев, В. Н. Чалидзе, Т. Великанова, В. Альбрехт, И. Кристи, Д. С. Азбель, Д. Симис, А. Д. Сахаров, А. С. Вольпин, Л. К. Чуковская, М. А. Леонтович.

В Верховный Совет СССР

ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Многие люди издавна стремились к отмене смертной казни, считая, что она противоречит нравственному чувству и не может быть оправдана никакими общими социальными соображениями. Смертная казнь отменена сейчас во многих странах.

В годовщину создания Союза Советских Социалистических Республик мы призываем Верховный Совет СССР принять закон об отмене смертной казни в нашей стране.

Такое решение будет способствовать, в частности, дальнейшему распространению этого акта гуманности во всем мире.

Май. 1972 г.

К. Бабицкий, Е. Маневич, А. Маневич, Мойшезон, В. Белоцерковский, Е. Левич, Б. Цитленок, В. Корешкова, А. Лернер, В. Г. Левич, Ю. Шмуклер, В. Браиловский, В. Норд, А. Тумерман, С. Ковалев, В. Н. Чалидзе, Т. Великанова, В. Альбрехт, И. Кристи, Д. С. Азбель, Д. Симис, А. Д. Сахаров, А. С. Вольпин, Л. К. Чуковская, М. А. Леонтович, И. Р. Шафаревич, М. Л. Ростропович, В. Максимов, Г. Подъяпольский, Т. Ходорович, В. Лапин, В. П. Некрасов, З. М. Григоренко, Н. Долинина, Л. В. Альтшулер, А. А. Галич, Е. Г. Боннэр, В. А. Каверин, Е. А. Гнедин, Л. З. Копелев, Н. И. Буковская, И. И. Ивич, Р. Л. Берг, Р. А. Медведев, И. Корнеев, Г. Н. Владимов, А. Н. Твердохлебов, В. В. Иванов, О. Ладыженская, Т. М. Литвинова, В. И. Смирнов, С. Бабенышева.

ПРОКУРАТУРА СССР, 25 ЯНВАРЯ 1977

24 января я был вызван повесткой в Прокуратуру СССР на 25 января к 15 часам. Меня провели в кабинет зам. Генерального прокурора СССР Гусева С. И. Там же находился еще один человек; на мой вопрос Гусев в ходе разговора сказал, что это начальник следственного отдела Прокуратуры Марков.

Ниже следует запись по памяти, сделанная в тот же день.

Гусев заявил: «Мы вызвали Вас не для того, чтобы Вы давали какие-либо разъяснения. Ваши действия, подчеркиваю, именно действия, нам давно известны. Цель вызова — официальное предупреждение. Недавно Вы сделали и широко распространили заявление [1], которое используется враждебной нам зару-

[1] Андрей Сахаров. Обращение к мировой общественности. «Звезда», 1991, № 1.

бежной пропагандой. В этом заявлении Вы чудовищно и клеветнически утверждаете, что взрыв в московском метро — дело рук и провокация органов власти, в частности,— добавил он с явным смущением,— органов госбезопасности, осуществленная ими по указанию свыше. (Я пытался уточнить эту формулировку, но Гусев сказал, что он должен закончить свое предупреждение.) Вы клеветнически утверждаете, что взрыв — это провокация, направленная против так называемых диссидентов с целью изменить внутренний климат в стране. Вы обязаны дезавуировать свое заведомо ложное заявление, опубликовав опровержение в той форме, как Вы это умеете делать. Это не первое Ваше враждебное, клеветническое и преступное действие. Некоторое время назад Вы были предупреждены зам. Генерального прокурора СССР товарищем Маляровым. Но Вы продолжали Ваши действия, которые по закону СССР являются уголовно наказуемыми деяниями. Вы злоупотребляете нашим терпением. Сегодня я предъявляю Вам второе официальное, чрезвычайно серьезное предупреждение. Вы должны сделать выводы. В противном случае Вы будете нести ответственность по закону. Ознакомьтесь и распишитесь».— И Гусев положил передо мной листок бумаги со следующим (примерно) текстом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гражданин Сахаров А. Д. предупреждается в том, что он сделал заведомо ложное клеветническое заявление, в котором утверждается, что взрыв в московском метро является провокацией органов власти, направленной против так называемых диссидентов. Гр. Сахаров А. Д. предупреждается, что при продолжении и повторении его преступных действий он будет нести ответственность в соответствии с действующими в стране законами.

1. Советник юстиции первого класса зам. Ген. прокурора СССР Гусев С. И. (и далее его подпись)
2. .... (место для моей подписи).

Дата на этом документе не была проставлена.

Прочтя этот документ, я сказал следующее:

«Я отказываюсь подписать этот документ. Я прежде всего должен уточнить сказанное Вами относительно моего последнего заявления. В нем нет прямого обвинения органов КГБ в организации взрыва в московском метро, но я высказываю определенные опасения (ощущения, как у меня написано). Я высказываю в нем также надежду, что это не было санкционированное свыше преступление. Но я сознаю острый характер своего заявления и не раскаиваюсь в нем. В острых ситуациях необходимы острые средства. Если в результате моего заявления будет проведено объективное расследование и найдены истинные виновники, а невинные не пострадают, если провокация против диссидентов не будет осуществлена, я буду чувствовать большое удовлетворение. Я имею сейчас веские основания для опасений. Это — провокационная статья Виктора Луи в газете «Лондон Ивнинг Ньюс», до сих пор не дезавуированная газетой. Это — начавшиеся допросы о местонахождении в момент взрыва лиц, относительно которых мне ясна их непричастность. Это — многие убийства последних месяцев, в которых можно предполагать участие КГБ и которые не были расследованы. Я упомяну о двух из них — об убийстве поэта Константина Богатырева и юриста Евгения Брунова. Вы ничего не сказали об этих убийствах, занимающих важное место в моей аргументации. Я напоминаю, что органы КГБ нашей страны несут на себе официально признанную ответственность за многочисленные тягчайшие преступления недавнего прошлого. Я уверен, что мое заявление было оправдано ситуацией и необходимо. Я хочу скопировать для себя текст предупреждения. На документе нет грифа секретности».

Гусев. Это предупреждение предназначено только для Вас. Его не следует копировать.

Сахаров. Вы, видимо, считаете, что этот документ компрометирует Прокуратуру.

Гусев. Я этого не сказал.— Протягивает ручку.— Подпишите.

Сахаров. Я отказываюсь подписать это.

Гусев. Это Ваше дело. Вы получили второе серьезное предупреждение и должны сделать выводы. Отнеситесь к предупреждению с максимальной серьезностью. Я подписал этот документ, и он останется в анналах Прокуратуры.

Марков. Вы знаете, что распространение заведомо ложных клеветнических измышлений преследуется по закону. У нас никого не судят зря.

Сахаров. Мой опыт говорит о другом. А с кем я разговариваю?

Гусев. Это начальник следственного отдела Прокуратуры товарищ Марков. Вы уже получили одно предупреждение в этих стенах, но не вняли ему.

Сахаров. Маляров говорил главным образом о том, что мне не следует встречаться с иностранцами. Я тогда заметил, что это несерьезно.

Гусев. Почему Вы отказываетесь подписать предупреждение?

Сахаров. Я никак не могу подписать текст, в котором моя деятельность названа преступной. Я никогда не совершаю противозаконных действий. Моя деятельность получила международное признание. Я удостоен Нобелевской премии Мира, единственный в этой стране. Я буду продолжать свою деятельность в соответствии с велением своей совести.

Гусев. Вы можете ошибаться.

Сахаров. Я уверен, что ошибаетесь Вы. До свидания.

Гусев. До свидания.

Пребывание в Прокуратуре продолжалось 25 минут.

КОММЕНТАРИЙ

26 января советская пресса (по крайней мере, московские газеты «Известия» и «Вечерняя Москва») опубликовала следующее сообщение:

КЛЕВЕТНИК ПРЕДУПРЕЖДЕН

25 января в Прокуратуру СССР был вызван А. Д. Сахаров. Заместитель Генерального прокурора СССР государственный советник юстиции 1 класса С. И. Гусев предупредил его о том, что сделанные им провокационные заявления содержат *заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.* (Точная формулировка ст. 190 УК РСФСР.— *Прим. составителя.*) Сахарову объявлено о недопустимости такого рода клеветнической деятельности впредь. В случае игнорирования им данного предупреждения он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим в стране законодательством.

(Корр. ТАСС)

По сообщению агентства ЮПИ, 27 января представитель Государственного департамента США Фредерик Браун заявил:

«Мы давно восхищаемся Андреем Сахаровым как открытым поборником гражданских прав в Советском Союзе. Он, как вы знаете, выдающийся, уважаемый ученый, Нобелевский лауреат, который, несмотря на значительный риск для себя, отстаивает уважение к правам человека на своей родине.

〈...〉

Любые попытки советских властей запугать г-на Сахарова не заставят умолкнуть законную критику в Советском Союзе и будут противоречить международным нормам в области гражданских прав».

Вскоре после заявления Госдепартамента США в защиту Сахарова президент Картер, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что заявление отражает его позицию, но сделано без его ведома.

«Я не уверен, что это было подходящее заявление. Наставления другим правительствам, сделанные поверхностным образом, могут лишь обострить ситуацию и помешать прогрессу. Я не уверен, что огласка поможет».

Тем самым президент Картер, по мнению западных обозревателей, частично дезавуировал это заявление.

Автор следующего «комментария ТАСС для заграницы» Ю. Корнилов — участник антисахаровской кампании 1973 года. Насколько известно, такой же «комментарий», им написанный, послужил основой для заметки в газете австрийских коммунистов «Фолькситимме». Ссылкой на эту заметку началась кампания «протеста» и «осуждения» в советской печати. Тогда же Корнилов опубликовал в «Литературной газете» статью «Поставщик клеветы».

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ АНТИСОВЕТСКОЙ ШУМИХИ

Москва, 29 января

Политический обозреватель ТАСС Юрий Корнилов пишет: «Не впервые мы сталкиваемся с попытками некоторых групп, большей частью принадлежащих к сионистским или другим реакционным организациям, представить дело так, будто Советский Союз чуть ли не с момента подписания документов Хельсинки стал на путь их нарушения. Как бы в подтверждение этого от начала до конца лживого тезиса поднимается вопрос о правах человека в СССР, о „защите“ тех лиц, именуемых на Западе диссидентами, которые якобы выступают в Советском Союзе за последовательное проведение в жизнь Хельсинкских решений.

Лозунг „защита решений Хельсинки в СССР“ не что иное, как камуфляж. На деле речь идет об антисоветской кампании, планируемой с территории США из единых центров определенными органами, которые имеют непосредственное отношение к организации подрывных, идеологических и иных действий в Советском Союзе и других странах Восточной Европы. Вот где источник антисоветской шумихи вокруг вопроса о правах человека в СССР. И чем бы его ни маскировали, цель при этом преследуется одна — опорочить советский социалистический строй, советский образ жизни.

В этой кампании известная роль отведена небольшой группке людей, которые проживают на территории СССР, но расходятся по своим убеждениям с подавляющим большинством советского народа. Этим лицам по тем или иным причинам не нравится советский строй, им не по душе советские порядки, они давно стали по сути дела внутренними эмигрантами. Их и используют специальные службы Запада, дабы раздувать мыльный пузырь о якобы происходящих в СССР „нарушениях“ прав человека.

До сих пор указанные лица поддерживались корреспондентами тех или иных западных газет, которые по каким-то только им и известным соображениям разжигают тему о диссидентах. Разумеется, такие выступления, представляющие собой грубое вмешательство в дела Советского Союза, дружественными не назовешь; вряд ли кто-нибудь, непредвзято настроенный, посчитает, что они соответствуют осуществлению договоренностей, достигнутых в Хельсинки. Но таков уж нрав буржуазной прессы, представляющей интересы отдельных политических групп и буржуазных монополий.

К величайшему удивлению, в эту недостойную игру на днях включился представитель Государственного департамента США, который, как представляется, должен отражать официальную точку зрения администрации. С ведома или без ведома его нового руководителя было опубликовано заявление, в котором содержится защита отщепенца А. Сахарова, утверждается, что ему якобы угрожают какими-то карами, и тому подобный бред.

Сегодня печать США сообщает, что руководство Государственного департамента, дескать, не было в курсе того, что произошло. Однако факт остается фактом: Государственный департамент взял да и выпустил заявление. Да еще какое — официальное! Пусть, мол, там разбираются, что в этом документе верно, а что нет. И как это обычно бывает, не успел еще высохнуть первый оттиск заявления, как американские буржуазные органы массовой информации раструбили его по всему миру... Что же произошло на самом деле? Обратимся к фактической стороне дела. Оно, как уже говорилось, связано с именем Сахарова. Этот господин хорошо известен на Западе. Знают его и в Советском Союзе — и знают с вполне определенной стороны. То он сочиняет пасквиль, в котором льет грязь на советский народ и советский строй, то снабжает злобными антисоветскими материалами заезжих эмиссаров, то учиняет мордобой в полном смысле этого грубого слова, как это было не так давно в Сибири. На сей раз Сахаров привлек к себе внимание тем, что заявил, будто советские власти, и в частности КГБ, причастны к происшедшему недавно взрыву в московском метро. После этого заявления Сахаров был вызван в Прокуратуру СССР. Его предупредили, что заявление, которое он сделал, является явной ложью, порочащей советский общественный и государственный строй, что своим заявлением он вводит в заблуждение мировое общественное мнение, что его действия носят общественно опасный и уголовно наказуемый характер, в связи с чем он может быть привлечен к ответственности по существующим в СССР законам.

Характерно, что в этой связи и ряд западных органов печати отмечал, что клеветническое заявление Сахарова дает основание для привлечения его к ответственности. Указывалось, в том числе и в западной печати, что распространение заведомо ложных измышлений в адрес государства и его органов подлежит наказанию по законам многих стран.

Утверждая причастность советских органов госбезопасности к взрыву в метро, Сахаров не имел для этого решительно никаких оснований, что он и сам фактически признал во время беседы в Прокуратуре СССР.

Существует стенограмма этой беседы. Буду точен. Вот соответствующая часть стенограммы:

Прокурор Гусев: Андрей Дмитриевич, я пригласил Вас для того, чтобы сделать Вам официальное предупреждение по поводу Вашего недавнего публичного заявления, которое нашло распространение в иностранной печати ряда буржуазных государств. В этом публичном заявлении указано, что якобы советские власти, в частности органы безопасности, в провокационных целях организовали взрыв в метро...

Сахаров: Я говорил не о причастности органов к взрыву в метро. Я заявил, что у меня создается впечатление о причастности... Я высказал свое мнение, и высказал его не в форме утверждения, а в форме сомнения. Я не утверждал, что это санкционировано свыше...

Как видим, Сахаров виляет, выкручивается, подтверждая по существу, что у него нет и не было никаких фактов для такого рода измышлений. Спрашивается: как же случилось, что все эти грязные вымыслы были столь охотно подхвачены на Западе, в том числе и официальными лицами? Как видно, очень уж силен кое у кого в Вашингтоне антисоветский зуд, стремление, прикрываясь фальшивой заботой о выполнении решений Хельсинки, оболгать СССР и советский образ жизни.

В этом, как мне представляется, и состоит смысл затеянной на Западе антисоветской шумихи, которая, кстати, ведется как справа, так и слева, как профессиональными антисоветчиками из буржуазных органов печати, так и леваками, действия которых невольно заставляют вспомнить слова известного русского художника о том, что от левого экстремизма до голого негодяйства один шаг.

Что сказать в заключение? Господам, которые столь усердно пекутся на Западе о соблюдении Хельсинкского соглашения в СССР, следовало бы обернуться на 180 градусов и посмотреть, как обстоят дела с выполнением Хельсинкских соглашений в их собственных странах, в тех странах, где миллионы безработных вынуждены влачить жалкое существование, оставаясь без куска хлеба, где процветают сегрегация негров и разнузданный расизм, осквернение синагог, убийства политических деятелей, заводятся миллионные картотеки на инакомыслящих... а тем, кто пытается, подхватывая вымыслы отщепенцев и антисоветчиков, клеветать на СССР, хотелось бы сказать словами известной русской поговорки: не зная броду, не суйтесь в воду, господа!»

Заместителю Генерального Прокурора СССР господину Гусеву от Николаева Евгения Борисовича, проживающего по адресу: Москва 113403, Булатниковская ул., д. 5, кв. 327

ЗАЯВЛЕНИЕ

Господин Гусев, я считаю своим долгом выразить свой протест против тех угроз, которые Вы высказали лауреату Нобелевской премии Мира, трижды Герою Социалистического Труда, действительному члену АН СССР, выдающемуся борцу за гражданские правв в СССР Сахарову Андрею Дмитриевичу.

Я принадлежу к числу тех, кто был в нашей стране незаконно репрессирован. В 1970 году я был уволен с работы без санкции прокурора, лишен свободы за отказ взять соцобязательства в честь XXIV съезда КПСС.

На своем личном опыте и на опыте многих других незаконно репрессированных я знаю, что в нашей стране производятся грубые нарушения гражданских прав. Поэтому деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова, направленная на соблюдение законности, на соблюдение Декларации прав человека ООН, на соблюдение Пактов о гражданских правах, на соблюдение Хельсинкских соглашений, остро необходима нашей стране, остро необходима как тем, кто уже был репрессирован за свои убеждения, так и тем, на кого эти репрессии еще не обрушились, но могут обрушиться.

Именно поэтому я считаю для себя необходимым выступить в защиту Андрея Дмитриевича Сахарова. Случилось так, что сам Сахаров не знал о тех репрессиях, которым подвергался я лично, и в мою защиту ни разу не выступал. Но когда он громогласно требовал свободу *всем* узникам совести в СССР, то, значит, немножечко заступался среди *всех* и за меня.

И если *один* выступает за *всех*, то долг *всех* вступиться за *одного*, когда *ему* угрожает опасность.

Я призываю Вас, господин Гусев, отказаться от Ваших угроз, которые Вы сделали Сахарову.

29 января 1977 года

Е. Николаев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПОЛИТИЧЕСКИХ УЗНИКОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ТЮРЬМЫ ПО ПОВОДУ ВЫЗОВА 25/I-77 АКАДЕМИКА САХАРОВА А. Д. В ПРОКУРАТУРУ СССР

Решительно протестуем против новой кампании угроз, предпринимаемой представителями советской власти в отношении академика Сахарова.

Инициатива известного политического деятеля академика Сахарова, направленная

— на прекращение преследований в Советском Союзе по политическим, национальным и религиозным мотивам,

— на установление в стране демократического правопорядка в духе Всеобщей декларации прав человека,

служит не только интересам граждан СССР, но и содействует также установлению взаимопонимания и доверия, а в конечном итоге дружественных и добрососедских отношений между всеми европейскими народами, народами всего мира.

Именно с этих позиций была оценена деятельность академика Сахарова мировой общественностью, когда она в лице Нобелевского комитета присудила ему Нобелевскую премию Мира.

По нашему глубочайшему убеждению, без решения вопроса об установлении в Советском Союзе демократического правопорядка в духе Всеобщей декларации прав человека невозможно установление действительного доверия и дружественных отношений между Советским Союзом и народами всего мира.

Именно поэтому очередные угрозы в адрес академика Сахарова мы рассматриваем не только как упорное нежелание советского правительства идти на демократизацию страны, но также как действие, направленное на осложнение нормализации отношений с другими народами, действие, направленное на осложнение разрядки в целом.

Мы подчеркиваем: новая волна угроз против оппозиции — и угроза в адрес академика Сахарова показывает эскалацию этой волны — начата в год Белградской конференции;

и в связи с этим обращаем внимание демократической общественности Советского Союза и всей международной общественности на необходимость решительно протестовать против новой попытки удушения в Советском Союзе оппозиции.

28.01.77

Политузники Владимирской тюрьмы: Абанькин В., Антонюк З., Афанасьев В., Балахонов В., Бондарь Н., Гайдук Р., Давыдов Г., Макаренко М., Попадюк З., Приходько Г., Роде Г., Сафронов А., Суперфин Г., Турик А., Федоренко В., Хнох А., Шахвердян Б., Шинкарук Т., Шухевич Ю.

Каждый направил и от себя подобное заявление Прокурору СССР.

Публикация и примечания Е. Боннэр

Дмитрий
Бобышев

ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ

От фужеров, от — дзынь! — с юбилярами
рвался в пропасть, которую он
звал то Хельгой, то Ольгой, то Ларою
облапошенно, вусмерть, в разгон...

Да, конечно, влюблен, что опошлено.
— Перекличу слова, как Адам,
но тебя — их с ухмылками полчищу —
ребрянную мою, не отдам.

— Почему, ради швали и убыли,
даже ряженым обликом лги,—
как по делу куда, не подумали б:
прорезиненный плащ, сапоги...

То, что любящим — веянье вечного;
подглядевшему — низость и грязь...
Что ж грешнее, и что тут увечнее:
нагость их или тот наглый глаз?

Мчался Вертером, ветром и Фаустом,
на заборы косясь: не следят?
Тыкал в тело навыхват ухватистым,
эксгумированным, как солдат.

— Почему: что для любящих высшее,
или как-либо с высшим на — ты,
то позорится, на люди вылезши
через под наготы — красоты?

Обнаженьем омыв унижения,
сняв касанием всю эту ржавь,

удивлялся себе ж: — Неужели я
и любим, и еще моложав?

Ведь она, как не знаю,— соломинка,
и распахнута вне этих склок,
вся — охапка сияния ломкого,
теплоты и расплыва глоток.

И ладонями, пальцами зрячими
всю до сердца ее прозирал.
— То — душа этим телом означена.
Это ж твой, идиот, идеал.

— Так рисуй! Но не слезяо-щипательно,
а как если б совсем не знаком:
то, что выпукло,— кистью и шпателем;
волосянку — всегда колонком.

Рисовал, и совал, и размазывал,
в ухо — глупости жарко влагал,
обожал ее розовым разумом.
Даже имя лизал по слогам.

Звук ли, абрис ли? — Охра горшечная,
что скрестил я с текстурой холста,—
ты сестра мне по жизни, ты — женщина,
выйди в поле пустого листа.

Пусть отравятся все — и по-разному...
Но, отправясь к иным берегам,
я красу на прощанье отпразднүю,
и — такую — пущу по рукам.

Март 1990

БАНТ

Былого перехлестнутые петли,
начала и концы еще не бывших лет
и наши дни, связующие...
— Спеть ли
с таким узлом на горле?
— Да...

— Нет,
ты напрасно мешкаешь и мнешься:
отнюдь не наобум — тебе звучит набат,
чтоб душу выдернуть из-под телесной
ноши.
— На что
она теперь? Сгодится лишь на бант.

— Бант
всеми нашими, увы, давно уж об-вроянп.
В быту он странен. Означая свих,
бант — это бунт. За то поэт Ерёмин
его-то и носил, чужой среди своих.

И было нелегко блондину-футуристу
стоять на самости (а виделось: хоп хны).
— Но душу?
Ведь она ж потом не повторится,
хоть что напяливай, хоть силуэт страны.

Но этого не трожь! А ты — лишь бы:
— Заметьте!
Готов на всё стареющий артист —
на выходку, на выход, вплоть до смерти.
Гнилой ли апельсин, аплодисмент ли,
свист,—

что б ни было, сойдет под занавес финяты.
Поправив бант на опорожненной груди:
— Кхе-кхе,
полупочтеннейшие, вы уж извините,
мы будем и позорищем горды.

Среди своих, да и чужих,— чужие;
никем из вас не выносимые на дух...

— А те
старушки италийские — чи живы
на пьяцах у скульптурных деревух?

— Ну те-то —
не о нас... А тут — иная пьеса:
бант распушив, кривляется паяц,
что исписался и вконец испелся,
и — упоён собой, провала не боясь.
Но бух! — и к лабухам. Из оркестровой
ямы
взываешь к небесам:
— Отверзнись, твердь!
Оттуда прозой:
— Что шумишь,
и кто ты, окаянный?
— Цыпленок жареный,—
вот правильный ответ.
— Пройдусь
по Невскому, чтоб крепче всех эссеяций
слова слились в последнюю строку,
что с клекотом уже летит из сердца
мое прощальное:
— Кукареку!

Июнь 1990

ГОРОДА

Полузатопленный загнивший Петербург
и Загреб чопорный и черепичный,—
какие города! Какие — вдруг —
живые черепа и котелки для пищи,

для пиршества, для нищенства, в горше...
Такие города, как шляпу, протянуть,
глядишь, и обронит волшебный грошик
негоциант, колдун, крылатый кто-нибудь.

Есть горе-города, есть города-гордыни,
они скребут мой череп изнутри
крестами, башнями, что в них
нагородили
святые зодчие и плотники-цари.

И я там хаживал и сиживал, бывало,
в том наи-самом (что уже — клише)
кафе, где все бывали, у бульвара
в Париже-празднике и в Лондоне-левше.

Там, как из цедры сок, так цедится
минута,
в любом из них прожить всю жизнь бы!
Но —
одна, и коротка. И крепко перегнута,
и — чуть не пополам. Такое вот кино...

Мелькают в нем расплывы, перебивы,
мчит опель напрокат, конек-возок
для двух...
— А те старушки италийские, чи живы
на пьяцах у скульптурных деревух?

— О чём они тогда, чуть мы — за угол?
— Какая разница, а если и о нас?
Рим, например, был мне подарен другом
так просто ни за что, в хороший час.

И я ему в ответ — вьюном увитый,
весь в разрезных гвардейцах, Ватикан
желто-лиловый... Там его правитель
на языках при нас Глаголу потакал.

И вот Венеция — сама, туман отдунув
с лица, дарила дождь, как дарят
поцелуй,—
и грима не стерев, мол, и не думай,
бери, что дали, больше не балуй.

Любимая! И в горле — ком от счастья.
Сейчас я Плитвиц плеск тебе дарю,
где струи без числа журчат, летят,
сочатся...
А мне бы — только храм на рю Дарю.

Там так настраждено (а внутрь зайти
не вышло),
намолено изгнанничеством, там
накаждено, поди, до клироса и выше —
всё по российским весям-городам...

Из них, так и не взят, один остался
Китеж.
Тут и соблазн: а если Китеж—Кремль,
то что тогда? Исполнившись, какие ж
извечные мечты увечатся, и кем!

Есть города-голгофы, но без Бога,
есть города, где гроб туризму напоказ:
как яблоко, Нью-Йорк, что грыз я;
грудь-Гаага,
где не был никогда, но в следующий
раз...

Зато у Майи в тропиках: — Гляди-ка,—
до неба паперти, так и зовут — залезь!
И я туда влезал, а вниз — и думать дико...
В мозолях каменных весь город-мавзолей.

Но старосветские милей мне будут кручи:
Дунай-Денеб, из Буды вид на Пешт
и вид обратно... Вдруг мадьярский кучер,
и опелю капут; я снова буду пеш.

Мы, впрочем, с городом помиримся
в июне:
одетая водой, глядела дева вслед...

Расстрелянный фасад с балконом —
наша юность,
сочувственный мятеж, плащ, автомат,
берет.

Фасад в избоинах, раздавленные жесты —
такие города встречаешь, как себя,
как сверстника тех лет, самосожженца:
— И, свет сильнее жизни возлюбя,

ты, Прага, всё горишь, свечами оплывая
на площади среди других святынь!
А нищий лебедь клянчит каравая,
и острогой на всех замахиваясь, Тынь

торчит... Пора,— отдав поклон великий
мостам и рыцарям с марининой горы,—
туда, где Вена взбяла каменные сливки,
гульнуть, где столь крылаты алтари.

Нам путь укажет бронзовый философ —
заметь, не полководец — верный путь,
но я устал. Домой. Пыль отряхнуть
с волосьев,
при перепрыге через океан вздремнуть.

— А этот город — что? — Чикаго...—
Градозавр!
Слегка тряхнуло.— Слава Богу,
а могло бы...
Вот и Урбана, где пишу, где взял,
да точку и нанес читателю на глобус.

Авг. 1990
Урбана, Иллиной

Александр Зиновьев



Роман

ПРОЛОГ

Он — безногий от рождения инвалид. Знакомые называют его Роботом за то, что он передвигается на изобретенных им протезах подобно роботам первого поколения. Он родился в поселке «Атом» неподалеку от русского города Партграда. Родился с безобразными отростками вместо ног. Родители отказались от него. Он рос в интернате для таких, как он, детей—инвалидов от рождения и без семьи. Когда он научился говорить, он спросил воспитательницу, вырастут ли у него ножки. Воспитательница была добрая и верующая. Она сказала, что ножки у него не вырастут, зато придет время, и у него вырастут крылышки. И он поверил ей. Он говорил другим детям, что у него скоро вырастут крылышки. Они смеялись над ним. Шли месяцы и годы. Он понял, что обречен жить без ног. Но мечта о крыльях не оставляла его никогда. После окончания школы его как одного из лучших учеников приняли в институт. Он стал образованным человеком и хорошим специалистом. Но на него периодически нападало состояние отчаяния. Сейчас это отчаяние оказалось особенно тяжелым. И он начал писать свою исповедь, чтобы облегчить душу от накопившейся в ней боли.

ПОТРЕБНОСТЬ В ИСПОВЕДИ

Даже вполне здоровые и благополучные люди, не совершающие больших грехов, периодически испытывают потребность в исповеди. Исповедь помогает людям очищать души от всего того, что им причиняет боль и мешает жить. Верующие исповедуются перед священниками и через них перед Богом. Атеисты исповедуются перед близкими, перед сослуживцами и знакомыми, даже перед случайными собутыльниками или попутчиками. На Западе изобрели психоанализ, выполняющий функции исповеди. У нас аналогичные функции выполняют партийные и комсомольские организации, а также всякие прочие организации и объединения людей, с которыми так или иначе приходится иметь дело почти всем членам общества. Исповедуются люди и пред самими собою. Причем они это делают систематически, как правило, даже не отдавая себе в этом отчета. Короче говоря, исповедь как форма очищения души есть столь же нормальный и необходимый элемент человеческой жизни, как и очищение тела и очищение среды, в которой живет человек. Человек, лишенный исповеди, обрекается на душевные болезни и страдания. Исключительно по этой причине я начинаю эту мою исповедь. Может быть, она поможет мне выкарабкаться из душевного кризиса, который обрушился на меня в последнее время, и потом продолжать жить так, как я и жил до сих пор. Просто жить. Жить, не претендуя на что-то большее, чем сам факт жизни.

Александр Александрович Зиновьев родился в 1922 году в деревне Пахтино Костромской области, в крестьянской семье. В годы Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. После окончания войны учился на философском факультете МГУ, затем в аспирантуре. А. А. Зиновьев — профессор, доктор философии. Автор книг по логике и методологии науки. Как литератор известен романом «Зияющие высоты» (1976). За опубликование романа на Западе был уволен с работы, лишен степеней и наград. В 1978 году, после выхода за рубежом романа «Светлое будущее», был лишен гражданства и выслан из СССР. За границей опубликовал более 20 книг. Живет в Мюнхене.

ЭПОХАЛЬНЫЙ НЕУДАЧНИК

Челоаек может привыкнуть ко всему и примириться с любой судьбой лишь при том условии, если он деградирует интеллектуально и морально до своего жалкого положения. Если же он достигает сравнительно высокого интеллектуального и морального уровня и сохраняет его, то он никогда не сможет привыкнуть к своим несчастьям и примириться с неудачами судьбы. Они постоянно причиняют ему страдания. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите множество людей, всю жизнь страдающих из-за плохой формы носа или испорченных зубов, из-за малого роста или неправильной фигуры. Они всю свою жизнь ощущают себя неудачниками. А я — неудачник с рождения: я родился с какими-то омерзительного вида отростками вместо ног. Родившая меня женщина при виде их потеряла сознание, а придя в себя, отказалась от меня. Я начал свой сознательный жизненный путь с осознания этой моей изначальной неудачи. С тех пор оно не оставляет меня ни на минуту. Не оставляет ни во сне, ни наяву. Не оставляет даже в такие моменты, когда челоаек, казалось бы, должен быть счастлив.

Люди вообще не уважают неудачников, если даже последние здоровы физически. Они относятся к неудачникам с насмешкой и даже со злобой. А что касается нас, инвалидов от рождения, то здоровые люди в глубине души смотрят на нас так, как будто мы покушаемся на то, что им принадлежит по праву рождения в качестве здоровых людей. Конечно, они это стараются скрыть, поскольку их естественное отношение к биологическому уродству не соответстаует общепринятой морали и идеологии. Но мы все равно это чувствуем. И это усиливает наше непреходящее страдание.

В наше время к прирожденному отвращению людей к отклонениям от биологических норм, какими являемся мы, присоединяется осознанный страх того, что такие отклонения от норм сами могут стать нормой. Мы, современные инвалиды от рождения, особенно остро чувствуем этот страх здороаых. Причем мы, будучи жертвами здоровых усилий здоровых людей, ощущаем себя объектами приложения этого страха здоровых. И это удесятеряет наши страдания. Так что я не просто неудачник. Я — неудачник эпохального масштаба. И это сознание эпохальности жизненной неудачи добавляет свою долю в страдание. Вот почему я постоянно обдумываю все один и тот же гамлетовский вопрос: жить или не жить?

ЖИТЬ ИЛИ НЕ ЖИТЬ

Особенно мучительно я обдумываю этот вопрос по ночам, когда ощущение одиночестаа особенно сильно. Поскольку я не принц, а всего лишь безногий от рождения инвалид, поскольку живу я не в старинном замке, а в крохотной комнатушке в коммунальной квартире, я обдумываю этот вопрос не на уровне трагедийных страстей, а как заурядный советский человек, компенсирующий убожество бытия роскошью бесплодной мысли и неосуществимых моральных претензий.

Недавно у нас в городе проходил смотр самодеятельных драматических кружков. Кружок психиатрической больницы поставил «Гамлета». Гамлета играл лечившийся от алкоголизма тракторист с кривыми ногами, широким лицом и раскосыми глазами. Когда он завопил вечный вопрос «Быть или не быть?», в зале начался гомерический хохот. А ведь этому русскому алкоголику этот вопрос подходил гораздо больше, чем датскому принцу.

Считается, будто шекспироаские герои выражают некие общечелоаеческие проблемы. Какой вздор! Таких проблем вообще нет. Одни проблемы у принцев, другие — у шутов. Просто шутовские проблемы выглядят значительнее, если их представить как проблемы принцев. Правда, проблемы принцев не теряют значительности, если их высказывают в шутовской форме. Но короли и принцы в роли носителей неких общечеловеческих проблем суть такая же нелепость, как партийные секретари и начальники КГБ в роли выразителей неких общечеловеческих дум и чувств нашей эпохи.

Есть вечные вопросы, но нет истинных вечных ответов. Вечный отает есть логическое противоречие. Жить или не жить? Иметь или не иметь? Делать добро или зло? Быть праведным или грешить? Приняв одно решение, тут же убеждаешься в его ложности и бросаешься в другую крайность. И так до тех пор, пока сами обстоятельства не решат твою логически неразрешимую проблему на свой лад. К тому же вечные вопросы не являются общечеловеческими. Они специально придуманы для тех, кто и без них обречен, у кого и без них ничего нет, кто и без них не может делать зло, кому и без них не дано свершить греха. Они суть вопросы для неудачников вроде меня. Кому суждено жить, иметь и грешить, те не ломают голову над такими нелепыми вопросами.

Тот алкоголик тракторист сыграл Гамлета гениально, сам не подозревая того. Не заметили этого и зрители. Над принцем Гамлетом смеялись окружавшие его, а наши зрители перенесли свой смех на исполнителя его роли.

РАССВЕТ

В отличие от принца, я мучаюсь не столько самой проблемой «Быть или не быть?», сколько тем, как я ее постоянно решаю. Ночью я склоняюсь к тому, что жить не стоит, а с рассветом кидаюсь в другую крайность: «Быть!» Сейчас как раз начинает светать, и я могу разглядеть Ее. Она лежит на диване в моей комнатушке. Лежит одетая. Вчера поздно вечером она приволокла своего пьяного ухажера, который живет в нашей квартире. Домой возвращаться ночью опасно. Ограбят. Изнасилуют. Могут и убить. Вот она и осталась ночевать у меня. В комнате ухажера спать негде. Там кроме самого ухажера спит его мать со своим сожителем. Странное слово: «сожитель». Сожитель — это не любовник, а просто мужчина, который более или менее регулярно «спит» с определенной женщиной, не состоя с ней в законном браке и не испытывая к ней любви в высоком литературном смысле слова. Ухажер — тоже не любовник, а ослабленная форма сожителя. В нашу эпоху сожительство становится доминирующей формой отношений между полами. В этом, конечно, есть свои преимущества для людей. Они очевидны и соблазнительны. Они достаются без особых усилий. Но к каким последствиям это ведет человеческое общество в ряде поколений? Над этим никто не хочет задуматься. Впрочем, думать об этом бессмысленно. Если уж наше сверхмощное государство, идеология и коллектив не способны остановить этот процесс, то тем более тут бессильны что-либо сделать мыслящие одиночки.

УЧЕНИЕ БУДДЫ И ЛАПТИЗМ

Мы — коллективисты, и потому мы страдаем в одиночку. Наши страдания мелки и незначительны, и потому мы возносим их на космическую высоту. Мы не верим в рай как на небе, так и на земле, и потому мы надеемся на чудо. Мы атеисты, и потому мы цепляемся за религиозные учения.

В прошлом году в нашем учреждении появилась фотокопия книги «Учение Будды». В учреждении началось нечто невообразимое из-за нее. Люди готовы были платить деньги, лишь бы заполучить ее на сутки. Надеялись на то самое Чудо: а вдруг в этом таинственном учении оян найдут решение своих жизненных проблем?! Ведь не зря же оно более двух тысяч лет владеет душами миллиардов людей! Чудо есть последняя соломинка, за которую хватается человек, утопающий в нашей житейской помойке. Причем инстинктивно он поступает правильно. Для помоечных червей помойка и есть то общество всеобщего благополучия, к которому всегда стремятся, но которого никогда не достигнут люди, оставаясь людьми. Поэтому люди сами стремятся превратиться в помоечных червей, лишь на этом пути достигая гармонии со своей средой. Именно этому и учил Будда — учил тому, как превратиться в помоечного червя, а не тому, как выбраться из помойки.

Ажиотаж с учением Будды продолжался до тех пор, пока не вмешались партийные органы и КГБ. Двух молодых сотрудников посадили в тюрьму за размножение фотокопий книги с целью наживы. На нас обрушили усиленную дозу антирелигиозной пропаганды.

Учение Будды чуждо условиям нашей жизни и нашей психологии. Нам в принципе невозможно вести рекомендуемый им образ жизни. Нам надо работать, писать отчеты о проделанном, сидеть на собраниях, изучать постановления ЦК КПСС и речи вождей, осуждать американский империализм, прославлять реформы нашего руководства, делать вид, будто мы с энтузиазмом осуществляем их, и делать многое другое, о чем Будда не имел ни малейшего представления. Успех учения Будды мог бы быть большим, если бы власти не приняли мер против этого. Но это был бы успех чисто литературный, т. е. как чтение и материал для болтовни, а не практический. Люди не стали бы буддистами — им не позволили бы это сделать условия нашей жизни. Учение же, которое точно соответствовало бы нашим условиям, потребностям и психологии, заранее обречено на провал, даже как материал для чтения и разговоров.

Одно время у нас в городе проповедовал некто Иван Лаптев. Он придумал свое собственное учение— лаптизм. Это учение было предназначено специально для нас. Но именно у нас Лаптев не встретил никакого сочувствия. Кончил он тем, что угодил в сумасшедший дом в назидание прочим мыслителям такого рода. Почему так получается? Потому что буддизм есть штучка заграничная, вроде американских джинсов и жевательной резинки, а лаптизм есть нечто свое, доморощеное. Считается, что если уж какой-то тунеядец и пьяница Иван Лаптев придумал это, то, значит, и любой из нас может придумать не хуже. В административной комиссии, принявшей решение направить Лаптева на принудительное лечение, ему сказали, что у нас уже есть учение, отвечающее нашим условиям: марксизм-ленинизм. Они действовали вполне в русском духе. Хотя марксизм чужд нам не меньше, чем буддизм, его тоже можно жевать, как американскую жевательную резинку. Верно говорится: нельзя стать пророком в своем отечестве. Но многие ли становятся ими в чужом?

Впрочем, и лаптизм неприемлем для нас, хотя он и был предназначен для нас. Дело в том, что лаптизм был предназначен для интеллектуально и морально элитарной части

нашего общества, т. е. для таких образованных и порядочных людей, которые по тем или иным причинам не принимают участия в ожесточенной борьбе за лучшее положение в обществе и ав лучший кусок жизненных благ. Такие люди составляют у нас меньшинство. Неизбежным следствием такой их исключительности является изоляция от нормальной общественной жизни, что усугубляет их душевные болезни, а не лечит их. Если бы я был здоров, я, может быть, последовал бы за Лаптевым. Но я — урод. Я вынужден сражаться за жизненный успех и хотя бы минимальное благополучие под угрозой деградации и гибели.

ИМЯ И КЛИЧКА

Ее ухажера зовут Николаем. Но чаще его зовут Солдатом, так как он недавно демобилизовался из армии. Он на эту кличку не обижается. Для таких ничтожных существ, как мы, собственное имя вообще не есть предмет первой необходимости. Достаточно и клички. Сожителя матери Солдата жильцы нашего дома презрительно именуют Хахелем. Мать Солдата зовут просто Соседкой, хотя у нее красивое имя — Антонина. Да и клички-то у нас не всякий удостаивается. Часто индивидуальность человека обозначается совсем не индивидуальными средствами. Например, у нас в доме живет старая пенсионерка, заслуженная учительница. Ее зовут просто «Ведьма с третьего этажа». Или идешь по улице и вдруг слышишь: «Эй ты, морда!» И ты безошибочно знаешь, что это обращаются именно к тебе, хотя морда у тебя не хуже, чем у других.

Такая деперсонификация рядовых граждан имеет свои неоспоримые достоинства: она избавляет нас от непомерных претензий и облегчает жизнь. Выходит, Будда, отвергая реальность «я» и считая его плодом ошибочных иллюзий, не так уж неправ. Меня зовут Роботом, так как я передвигаюсь на протезах точно так, как устаревшие роботы первого поколения. Мне было бы тяжелее жить, если бы ко мне всегда обращались по имени и отчеству (Андрей Иванович) или по фамилии (Горев).

НЕВЕСТА

У нее тоже есть кличка: Невеста. А зовут ее Анастасией, Настей, Настенькой. Невестой ее прозвали за то, что у нее до Солдата уже было несколько ухажеров, которые собирались на ней жениться, но женились на других. Бабы нашего района обзывали ее всякими оскорбительными словами. Но в конце концов сошлись на том, что кличка «Невеста» для нее является самой обидной. Я же называю ее Невестой, вкладывая в это слово самое чистое, светлое и радостное содержание.

Она лежит совсем рядом, так что я мог бы дотянуться до нее рукой. Но я не решаюсь на это. И кажется, я понимаю, почему те ухажеры не женились на ней и почему Солдат не женится тоже: они боятся, что не смогут долго удержать ее за собой! А за меня она замуж не идет потому, что сама боится, что не сможет долго вытерпеть меня. Она красива и здорова, но распутна. Я добродетелен, но некрасив и нездоров. Но равноценны ли мои добродетели ее красоте и здоровью? Искупает ли ее распутство мои очевидные дефекты?

ПРОБЛЕМА «Я»

Я отвожу от нее взгляд и вновь обращаюсь к моей гамлетовской проблеме. Вообще-то говоря, эту проблему можно углубить так: что лучше — родиться, страдать и потом навеки исчезнуть или совсем не появляться на свет? Допустим, лучше второе. Но как узнать, что то существо, которое не появилось на свет, есть действительно я, а не кто-то другой? Таким путем я углубил гамлетизм до самой глубокой проблемы человеческой жизни — до проблемы «я». Причем я сделал это задолго до того, как познакомился с учением Будды.

С точки зрения Будды, «я» есть плод иллюзий. Вот это я категорически принять не могу. Для меня без «я» вообще нет человека. У нас в городе проводилась всесоюзная конференция на тему о границах замены частей человеческого организма искусственными аналогами. Хотя в газетах писали, что «конференция прошла на высоком уровне», она на самом деле прошла на высоком уровне. Конференция фактически на первое место выдвинула именно проблему «я». Выступил один инвалид, потерявший в какой-то катастрофе руки, ноги и зрение. Он был образованным человеком и вел за собой наблюдение в течение ряда лет. Он утверждал, что есть предел утраты частей и функций тела, за которым человек перестает идентифицировать себя как данное индивидуальное «я». И никакие искусственные заменители не способны компенсировать эти потери. Он стал замечать, что его «я» становится все более расплывчатым и неустойчивым. Все чаще его состояние становится близким ко сну, к кошмару, к болезни. Благодаря усилиям воли, памяти и культуре он еще как-то удерживает свое «я». Но с каждым днем это становится для него все труднее. Пока еще не поздно, нужно произвести серьезное психологическое исследование последствий операций над организмом вплоть до таких, как вырезание аппендикса и вставление искусственных зубов. Не исключено, что человечество несет серьезные потери именно по этой линии прогресса. Нет абсолютного прогресса. Прогресс в одном отношении всегда сопровождается регрессом в другом.

Участники конференции раскритиковали выступление этого человека как проявление буржуазного индивидуализма. Но я подозреваю, что в его словах содержалась очень верная и тревожная мысль. Истину все-таки высказывают одиночки. Когда ее принимают многие, она теряет жизненную боль и превращается в само собой разумеющуюся банальность или обнаруживает себя как заблуждение.

ЖИЗНЬ

Вот Невеста проснулась, взглянула на часы, воскликнула: «Ой, опаздываю!» — и убежала, не попрощавшись и не поблагодарив за ночлег. Пора вставать и мне. Начинается очередной день жизни.

День жизни. А что такое жизнь? Прошлым летом в наш город приезжал знаменитый столичный писатель. Приезжал с намерением наблюдать и описывать нашу жизнь. Посмотрели бы вы, как потешались жители города над ним! Описывать нашу жизнь?! Неужто уж получше ничего нет!? Да у нас и описывать-то нечего. Вот гляди, мы сейчас вывернем карманы. Что видишь? Пусто. И дома у нас пусто. И в магазинах пусто. И на работе пусто. И в желудке пусто. И в голове пусто. Везде пусто. Никакого образа жизни у нас вообще нет. Есть лишь одно безобразие.

Через пару недель, осушив дюжину поллитровок, писатель отбыл обратно в столицу.

— Такой унылости и серости, как тут у вас, я и в Москве нагляделся досыта,— сказал он на прощание своим собутыльникам.— И нет мне никакого расчета тратить свое драгоценное творческое воображение еще и на вашу серость и унылость.

Хотя столичный писатель в минуту пьяной откровенности отнесся к нашей жизни с таким презрением, я эту нашу гнусную жизнь все равно люблю, ибо другого выхода все равно нет. Если нашу жизнь не любить, то и жить невозможно будет — сразу подохнешь от тоски и отчаяния. Любовь к жизни вообще есть самозащитная реакция тех, кому в жизни приходится плохо. Если тебе хорошо живется, то любить жизнь тебе совсем ни к чему, поскольку тебе и без этого хорошо. Это отношение к жизни особенно ясно выразил один мой знакомый по кличке Блаженный. Все равно, где и как жить, считает он. Лишь бы жить. Главное в жизни — ощущение самого факта жизни. Обычное душевное состояние Блаженного выражается восклицаниями: «Ах, как хорошо!», «Волшебно!», «Боже, какая благодать!». Из этого не следует, что ему хорошо живется. Живет он отвратно, как и все мы, а может быть, даже еще хуже. По выражению Хахеля, отсидевшего пять лет в исправительно-трудовых лагерях за хищения социалистической собственности, мы живем, как черви в арестантской помойке. Восклицания Блаженного выражают нашу субъективную установку по отношению к нашей житейской помойке. Возлюби помойку свою — слышится мне в этих восклицаниях,— ибо она есть твой дом и иного дома у тебя нет и не будет. Возлюби копошащегося рядом с тобой червя, ибо он есть ближайший собрат твой и иного ближнего у тебя нет и не будет. Жизнь одна. Устраивайся в ней так, чтобы другим было не очень противно от твоего кратковременного пребывания в ней.

Рассвело, и я выбросил из головы гамлетовскую проблему. Вечные проблемы вообще суть проблемы ночные.

СОСЕДИ

Пора вставать. Я подтягиваюсь на руках на специально приспособленных для этого кольцах, вставляю свое тело в приспособление, изображающее ноги, привожу его в рабочее состояние и иду в туалет, стараясь не скрипеть «ногами»,— чуткая Соседка ненавидит этот скрип. Она грозится переломать мои протезы и выбросить на помойку. Я ее угрозы не принимаю всерьез: намерения не подлежат моральной оценке. Людей не награждают за неосуществленные добрые намерения. Так почему же их надо осуждать за неосуществленные дурные намерения?

Звуконепроницаемость у нас в доме плохая или, выражаясь более оптимистически, звукопроницаемость хорошая. Поэтому мне невольно приходится слушать то, что говорят и делают соседи.

— Эта шлюха опять ночевала у соседа,— говорит Соседка.

— Почему же шлюха? — говорит Хахель.— Неплохая девчонка, по-моему. Николай на ней вроде бы жениться собирается.

— Не он первый, не он последний. Потаскается еще немного и бросит. Какой смысл ему на ней жениться? Ни квартиры. Ни профессии. И потасканная. Он парень не дурак, найдет получше. Девок на заводе полно. С квартирой. С образованием...

— Ему, конечно, виднее. Но я бы на его месте...
— А я бы на твоем месте жене рассказала бы все по-честному про наши отношения.
— Зачем? Ну, скажу я ей. А дальше как жить? Разводиться? Алименты на двоих детей платить? А жить где? У тебя?
Хахель одевается, уходит. Соседка будит Солдата, ругаясь матом. Тот отвечает ей тем же. Мне это противно слушать. Я мат вообще не употребляю. Но я делаю это не из ложной благопристойности, а потому, что русский мат опошлили нерусские интеллектуалы и иностранцы. Они лишили русский мат народной целомудренности, взяв из него одну лишь скабрезность.
Я тихо закрыл дверь своей комнаты и начал продвигаться к выходу из квартиры, стараясь не потревожить сверхчуткую Соседку. Но ускользнуть незаметно не удалось.
— Вечно они скрипят своими ногами,— заворчала она.

МАРШ УРОДОВ

Настроение у меня сегодня отличное, и реплика Соседки его не испортила. Иногда у меня случается так, что без всякой видимой причины во мне пробуждается какое-то ликование жизни. Тогда мне кажется, что жизнь прекрасна и люди прекрасны. Так случилось и сегодня. Я бодро двинулся к выходу из квартиры, напевая про себя мою любимую песню — «Марш уродов», сочиненную местным нелегальным поэтом по кличке Бард.

Уроды! Плевать на хвори!
Слепые, глядите в оба,
С дороги не сбиться чтобы,
Грядущего зрите зори!

Хотя мои протезы скрипнули на миг, Соседка употребила слово «вечно». В этом кроется глубокий смысл. Я его поясню потом. Соседка по натуре существо доброе. Но она срывает на мне злобу, которая накапливается у нее по отношению к другим, так как я у нее под рукой и кажусь ей безответным. Бойся не столько злых людей, сколько добрых, делающих зло без особой на то надобности. Когда Соседка бывает в особо добром расположении ко мне, она обычно жалуется на то, что им втроем тесно жить в одной комнате.
— Хорошо вам, инвалидам,— сказала она однажды.— Вам отдельные комнаты дают.
Солдат тоже завидует мне: ему нужно лет десять «ишачить» на заводе, чтобы получить отдельную комнату. А если женится и заведет ребенка, то еще лет пять потребуется, чтобы дали отдельную квартиру.

Шагайте, безногие, в ногу!
Протезам — ничто расстоянье.
Где видят слепые сиянье,
Туда пролагайте дорогу!

На пороге квартиры меня догнал Солдат и попросил занять трешку до получки — ему похмелиться после вчерашнего перепоя надо. Я сказал, что у меня денег нет. Он обругал меня. Мне надоело давать ему рубли и трешки «до получки»: он никогда не отдает долги.

Безрукие, руки раскроем!
Локоть друг друга почуем!
Свободу себе завоюем
Своею железной рукою!

Между вторым и третьим этажом меня догнала «Ведьма с третьего этажа». Я не успел посторониться. Она оттолкнула меня так, что я чуть не упал, пробурчала что-то насчет «нынешней молодежи» и через несколько секунд злобно хлопнула парадной дверью. Вот это скорость! Мне хотя бы половину такой. Куда она устремилась? Скорее всего — занять очередь за чем-нибудь.

Правьте, безмозглые, нами!
Мир направляйте идеей!
О судьбах народа радея,
Вовсю шевелите мозгами!

Перед выходом на улицу меня настиг Правдоборец. По профессии он инженер. Но дело его жизни — обличение беспорядков и жалобы во всевозможные учреждения и по всевозможным поводам. Сейчас он написал жалобу в обком партии по поводу выбитых стекол и неработающего освещения на лестничных площадках. Собирает подписи жильцов. Я сказал, что уже подписывал такое письмо. Он сказал, что то письмо было адресовано в районный совет. Я нехотя поставил свою подпись под новым письмом.

Безголосые, взвойте песни,
Сочиненные тем, кто без слуха!

В бурном танце кружись, старуха,
В одеянье из праха и плесени!

Правдоборец меня почему-то не любит. Он уже написал на меня жалобу в мою партийную организацию, обвинив меня в «безнравственном поведении, выразившемся во внебрачном сожительстве с известной во всем районе проституткой». Аналогичное заявление он написал в комсомольскую организации Невесты. На Солдата он написал донос в более серьезное учреждение. Тем самым он вносит свой вклад в «моральную непорочность» (это его слова) нашего общества.

Дерзайте! И всюду народы
Забудут былые тревоги.
Все счастливы будут, как боги,
Поскольку все будут уроды.

Должен вас предупредить, что этот марш здоровым не годится: у них иной ритм и темп движения.

ТЕМП ЖИЗНИ

На Западе инвалиды моего типа пользуются инвалидными колясками. Но у них коляски делаются на таком высоком техническом уровне, какой у нас пока недостижим. Кроме того, на Западе не стесняются своих уродств. Даже наоборот, всячески стараются их обнажить, сделать их видимыми для всех. Там уродство — своего рода капитал. Наши инвалиды стесняются своих дефектов, стараются их скрыть. Они их обнажают для всеобщего обозрения тогда, когда опускаются морально, начинают пьянствовать, побираться. У нас, конечно, тоже делают коляски. И ими пользуются, когда уже никакой иной возможности передвигаться нет. Но я предпочитаю протезы, хотя это мучительно. На протезах я выгляжу почти как полноценный человек. С психологической точки зрения это важнее, чем преимущества коляски. Коляска мне представляется в некотором роде капитуляцией. Протезы же суть для меня символ сопротивления падению и борьбы за человеческую жизнь.
Как это ни странно, мое предпочтение протезов многих раздражает. Мне не раз говорили, что я «выпендриваюсь», хочу якобы показать, что я не такой, как все, выделиться хочу. И это говорили вроде бы хорошие люди. А когда обо мне напечатали статью в газете, меня обвинили даже в карьеризме, зазнайстве и в чем-то другом, чему я не нашел подходящего названия. Никто не подумал о том, что для меня речь идет о чем-то более фундаментальном, чем стремления здоровых людей, а именно — о том, чтобы удержаться на человеческом уровне. Повышенная, с точки зрения здоровых, активность некоторых инвалидов, доходящая порою до видимой агрессивности, есть лишь самозащита в условиях, которые гораздо хуже условий здоровых людей соответствующих категорий.
Выйдя на улицу, я побрел по направлению к столовой, где я иногда завтракаю. Мимо меня торопливо пробегают люди. Все куда-то спешат. А между тем реальный темп нашей жизни очень замедленный. Мой способ передвижения соответствует ему больше, чем всеобщая внешняя суета. Люди торопятся, чтобы ничего не делать или делать свой замедленный процесс социальной жизни. Отсутствие реального динамизма жизни компенсируется динамизмом внешним, динамизмом по мелочам и показным. Любопытно, что я с моим медленным способом передвижения никогда и никуда не опаздываю. А самые стремительные и суетливые мои знакомые и сослуживцы постоянно куда-нибудь опаздывают.
Мой замедленный темп передвижения оказал решающее влияние на весь мой темп жизни. Я никогда не спешу, а успеваю сделать больше других. Я очень медленно читаю книги, а вычитываю в них больше, чем другие, буквально глотающие книги любого размера и содержания. Если книга меня интересует, я перечитываю отдельные страницы по нескольку раз. А иногда перечитываю и всю книгу. И так во всем. В этом есть преимущество: я ощущаю ход времени. Суетясь и спеша, люди вообще не замечают хода жизни или видят лишь ее мелькание.

ВЕЧНОСТЬ

Подойдя к столовой, я подсчитал мою наличность. На вечность, конечно, маловато. Но на помои, какими кормят в этой столовой, хватит. Пока стоял в очереди, думал о вечности. Вечность — что это такое? Обещают жизнь продлить до ста лет. Разве это вечность? Все равно миг. Тысяча лет — и то миг. Вечность есть нечто качественно иное. Это не вульгарное бессмертие: последнее есть тоска и скука. В чем разница?
Подошла моя очередь в кассу. Когда я искал недостающий гривенник, кассирша проворчала: «Вечно они копаются...» Опять это «вечно»! Неужели и она бьется над проблемой вечности? Но надо найти местечко, куда бы я смог временно (слава Богу, не

вечно!) поставить свой поднос с грошовыми помоями. С грошовыми — вот в этом состоит их величайшее достоинство. Как сказал наш директор, вернувшись из заграничной командировки, мы питаемся скромно, зато нигде в мире вы не сможете поесть за такие гроши, как у нас. Этого у нас не отнимешь! Хотел бы я знать, имеются ли в мире существа, которые захотели бы отнять у меня вот эту несъедобную дрянь? Хотя о чем ты говоришь! Конечно, имеются. И не меньше двух миллиардов. Так что ешь то, что дают, и будь счастлив уж тем, что ты не входишь в эти два миллиарда голодающих. Прав наш директор: наш строй этой грошовой едой доказал свое историческое преимущество. И правы наши высшие власти, создающие могучие вооруженные силы и запускающие свои щупальца во все уголки планеты: это нам нужно для того, чтобы у нас не отняли эту отвратную, но зато грошовую пищу.

Думаем о вечности, а сами портим жизнь этой мерзкой пищей и отравляем души мелочной нервотрепкой. Прожить кое-как лет пятьдесят, а потом целую вечность торчать в очередях в больнице? Избави Боже! Наконец-то и заметил место, которое должно вот-вот освободиться. Обладатель места, видя мое нетерпение, стал нарочно медленнее жевать. Потом начал ковырять спичкой в зубах. По его роже я понял, что и он озабочен проблемой вечности. И он готов вечно торчать перед этим грязным столом, заваленным грязными тарелками и несъедобными объедками. Представляете, проходит век за веком, тысячелетие за тысячелетием, а ты стоишь вот так перед грязным столом, залитым соусом, который не лижут даже наши коммунистические собаки, и ждешь (вечно!), пока обладатель места выковыряет из зубов жилу от бог весть какого животного. Вечно!

Место наконец-то освободилось. Какое это блаженство, поставить поднос на стол и изменить позу. Но надо скорее есть, а то на меня уже начинают с ненавистью поглядывать другие мыслители на тему о вечности. И, как назло, жила неизвестного животного застряла у меня меж зубов. Я прилагаю всяческие усилия ее вытащить. Но тщетно. Меня это бесит, так как другие могут подумать, будто я нарочно ковыряюсь в зубах, чтобы подольше постоять у этого грязного столика. Так и не вытащив проклятую жилу из зубов, покидаю столовую. Мое место немедленно занимает пожилой мужчина, по цвету лица которого можно безошибочно установить диагноз: язва желудка.

ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ

По выходе из столовой я встретил Романтика — так мы зовем пожилого пенсионера, который живет в соседнем доме и часто проводит время в нашей компании. Сейчас он направляется на заседание районной административной комиссии, членом которой он является. Задача комиссии — борьба с хулиганством, мелкими бытовыми преступлениями и тунеядцами. На заседаниях комиссии Романтик строг и неподкупен, но справедлив. Он часто вспоминает о сталинских временах и отстаивает Сталина, за что приобрел репутацию «недобитого сталиниста». Он утверждает, что эти времена были самыми романтическими в нашей истории. За это-то он и получил кличку Романтик.

— Скрипим, Андрей Иванович! — поприветствовал он меня.

— Скрипим, Сергей Павлович! — ответил я.

— Это хорошо, что еще скрипим. Вот когда и скрипеть не сможем, тогда пиши, брат, пропало. Ну, да мы еще поскрипим! Мы не из того теста сделаны, чтобы сдаваться!

Он пошел на заседание своей комиссии, состоящей из пенсионеров — старых коммунистов, с намерением отправить человек десять принудительным порядком на работу в «Атом» или на химический комбинат. Но от встречи с ним мое настроение поднимается. Появляется ощущение, что у нас есть еще люди, «болеющие душой за общее дело» (это — слова Романтика). Я знаю одного забулдыгу, который просидел в сталинских лагерях много лет и был освобожден при Хрущеве. Он говорил, что забота о ближнем — это не только когда конфетку дают и по головке гладят, но и когда порют. Было страшно, конечно, что за каждым их шагом и словом следили в те годы. Но вместе с тем, мысль о том, что какие-то важные люди думали о тебе лично и планировали твою личную судьбу, вызывала ощущение причастности к большому и общему делу. Теперь, говорил он, такого ощущения уже нет. Зверства сталинского периода были продиктованы не столько дурными намерениями, сколько чрезмерной заботой о человеке. Забота о ближних всегда связана с насилием. Ослабление насилия всегда означает усиление равнодушия к человеку.

Романтик, между прочим, был среди тех, кто принял решение направить Ивана Лаптева на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Он руководствовался при этом заботой о человеке.

ЧЕРВИ И ЛЮДИ

Иду к автобусной остановке. Смотрю внимательно под ноги, дабы не раздавить дождевого червя или муравья. Я уважаю все живое. Когда я вижу ползущего червя, я говорю ему: «Живи, друг, живи! Умножай сумму живого. Это дело случая, что ты — червь, а я — человек. Но не завидуй мне: я тоже червь, только, в отличие от тебя, наделенный органами страдания и предвидящий свой конец. Ты не можешь знать того, что вон сейчас вон тот червяк-человек наступит на тебя и оборвет твою неповторимую жизнь. А я могу. Для тебя человек есть Бог, судьба. Для меня же — такой же собрат-червяк, как я сам. Ползи скорее, иначе вон тот с утра пораньше напившийся бедняга раздавит тебя, как червяка. Ползи!»

Мое отношение ко всему живому, в том числе — к червякам, я выработал еще до того, как прочитал книгу об учении Будды. Я был поражен тем, что судьба одного несчастного червяка послужила причиной переворота в сознании Будды. Он однажды увидел, как птица вытащила из земли червяка и съела его. Трагедия ничтожного червяка заставила Будду обратить внимание на страдания людей. У меня же произошло наоборот: наблюдая и переживая человеческие страдания, я перешел к размышлениям о судьбе червяков. Будда имел успех у людей. Но вряд ли червяки оценят мое сострадание к ним.

Вот автобусная остановка. Становлюсь в длинную очередь, хотя как инвалид имею право влезать без очереди и с передней площадки. Делаю так из принципа: я не признаю для себя никаких привилегий. К тому же лезущих без очереди и с передней площадки больше, чем стоящих в очереди, и они агрессивнее. А для меня это опасно. И ко всему прочему я люблю стоять в очереди и слушать разговоры о самых обычных житейских делах. Очередь есть тоже проявление жизни, причем — жизни настоящей, а не показной, жизни, полной искренних страстей, надежд и разочарований. Когда я приблизился к заветной двери, передо мной втиснулась запыхавшаяся Соседка. Теперь она совсем другой человек, «фигуристая баба» в духе откровенных вкусов здорового трудового народа и тайных помыслов гнилой интеллигенции. Лысеющие служащие с серыми извенными лицами и в засаленных штанах и пиджаках стремятся прикоснуться к ней. Она чувствует это и напропалую кокетничает. Это вносит разрядку в злобную атмосферу переполненного автобуса. Мелькают улыбки. Слышатся остроты. У библиотеки имени В. И. Ленина Соседка сошла — она тут работает библиографом. Перебежав на другую сторону улицы, она оглянулась на автобус и помахала рукой. Хорошо все-таки жить на свете, на котором существует такое чудо — преждевременно постаревшая и растолстевшая, злобная и добрая, глупая и мудрая, расчетливая и бескорыстная русская женщина! Меня толкают во все части тела, а я чувствую себя виноватым и прошу извинения у них за то, что я есть и что мешаю им жить свободнее и счастливее.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

От остановки до учреждения, где я работаю, иду с сотрудницей, которая является самым талантливым нытиком у нас в городе. Поскольку она идет со мной, она жалуется на боль в ногах.

— Вам хорошо,— говорит она, хромая на обе здоровые ноги,— у вас ноги механические. Никаких мозолей, никакого ревматизма. А у меня не ноги, а сплошная боль. Всю ночь глаз сомкнуть не могла, вены проклятые замучили. Вам, мужикам, хорошо, рожать не надо. Попробовали бы родить хотя бы одного, тогда узнали бы, почем фунт лиха. А мы...

Кто бы и в чем бы ни страдал, ей обязательно надо убедить собеседников в том, что ей еще хуже, что ей вообще во всем и всегда хуже всех. У вас, например, болит голова. «Это что,— говорит она,— это пустяк. Вот у меня болит голова, так болит! Еще немного, и я тапочки откину!» Слег сослуживец с инфарктом в больницу. «Это разве инфаркт? — говорит она, хватаясь за место, где по идее должно быть сердце.— Мне бы такой „инфаркт", так я бы в соревнованиях по бегу участвовать стала. Вот у меня инфаркт, так инфаркт! Еще чуть-чуть, и я копыта откину!»

Эта женщина в такой форме выражает наше общее качество: мы гордимся тем, что живем хуже всех, что понесли кошмарные потери в сталинские годы и больше всех пострадали в войну. Мы гордимся и тем, что нам и в будущем не светит ничего хорошего. Когда мы собираемся вместе, мы хвастаемся не успехами и приятностями, а неудачами и неприятностями. Это качество есть наша психологическая самозащита. У нас нет надежды изменить свое положение и нет иных средств защитить свои души от разрушающих их страданий.

РУССКАЯ РОМАНТИКА

В коридоре меня перехватил признанный пьяница моего отдела. Можете вообразить, что это за пьяница, если он считается пьяницей в группе, сплошь состоящей из алкоголиков. Он прижал меня к стенке, задышал в меня водочным перегаром, попросил «выручить

до получки». Его в партбюро и в дирекции наметили в качестве козла отпущения в проходящей кампании против пьянства, так что он и не пытается соблюсти даже минимальную осторожность и уже с утра напивается.

Этот человек тоже в нашем национальном духе. Если вы предложите пьющему русскому человеку вместо тошнотворной водки некий приятный на вкус и запах напиток, без головной боли и тошноты во внутренностях, он откажется. Что это за пьянство, если пить не противно, если не падаешь от бесчувствия, если не болит голова, не аоротит с души и не тянет похмелиться?! Без всего этого и дурак пьянствовать может! А ты вот попробуй по-нашенски, по-русски!

Сколько мыслителей безуспешно ломало голову над тем, почему русские предпочитают водку и самогон коньякам, вискам и прочим западным штучкам даже тогда, когда имеют возможность выбора. А между тем секрет прост: мы, русские, по натуре суть романтики. При чем, вы спросите, тут водка? А при том, что каждый раз, очухавшись от перепоя и чувствуя отвратность во всем организме и в мыслях, человек ощущает себя так, как будто он избежал смертельной опасности, вернулся с опасного для жизни боевого задания, случайно уцелел после страшного сражения.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Не место красит человека, а человек место,— гласит старая пословица. Вот почему у нас рабочие места выглядят так противно. Но, несмотря на это, я свое рабочее место люблю. Я руководствуюсь в данном случае принципом Блаженного: «Возлюби свою помойку!». Ровно в девять ноль-ноль я вхожу в свою каморку, которую из вежливости и престижных соображений называют кабинетом. Отпираю ящички и шкафчики. Передвигаю телефонные аппараты. Заглядываю в мусорную корзину. Испытываю на прочность стул. Убедившись в том, что все на месте и все в порядке, сажусь на стул, слегка откидываюсь назад и вперяю взор в грязное пятно на потолке. Я ощущаю гармоническое единство со стулом, столом, мусорной корзиной и всем остальным Мировым Целым. Как хорошо, что есть такое замечательное учреждение, дающее мне хлеб насущный и эту каморку, отделяющую меня от остальной Вселенной и тем самым присоединяющую к ней! Я теперь не просто обрубок нормального человека, а исполинское неземное существо, мчащееся через бесконечное пространство в бесконечном потоке времени на гигантском корабле-планете. Как хорошо, что на потолке есть грязное пятно (откуда оно взялось?), на которое можно смотреть часами, освободив мозг от никчемных мыслей (все мысли вообще никчемны), а тело — от мелочных эмоций (все эмоции вообще мелочны). Я мог бы попросить закрасить это пятно, но я это не хочу делать: благодаря ему я без всяких хитроумных буддистских приемов и йоговских тренировок сразу же погружаюсь в состояние, являющееся вершиной человеческого бытия,— в состояние служебно-бюрократической нирваны. При полном коммунизме все люди будут начальниками и начальничками. Все будут иметь кабинеты и кабинетики. В них на потолке будут грязные пятна, глядя на которые, люди будут коротать свое служебное время. Я бы определил коммунизм вообще как всеобщую служебно-бюрократическую нирвану. Кстати, у помоечных червей полный коммунизм есть изначальное и конечное состояние.

МОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Я работаю в Протезном комбинате имени маршала С. М. Буденного. Комбинат является образцово-показательным предприятием. За выдающиеся успехи во всякого рода социалистических соревнованиях комбинат награжден орденами «Знак Почета», «Октябрьской Революции» и «Отечественной Войны». О размерах комбината можно судить по таким данным: если бы всем гражданам Европы переломали руки и ноги, комбинат в течение пяти лет снабдил бы их всех протезами, вполне достаточными для того, чтобы добраться до ближайшего кабака и поднять стакан с алкогольным напитком до уровня рта.

Комбинат назван именем маршала С. М. Буденного, прославившегося в гражданскую войну и опозорившегося в войну с Германией. Какое, спрашивается, отношение имеет герой гражданской войны к протезам рук и ног? Самое что ни на есть непосредственное. Во время гражданской войны командарм Буденный самолично отрубил не одну сотню рук и ног. А сколько конечностей отсекла вся его Первая Конная армия, сосчитать невозможно. В двадцатые годы по инициативе Ленина в Партграде создали маленькую инвалидную артель по изготовлению искусственных рук и ног. На этой основе и возник комбинат, ставший теперь одним из крупнейших предприятий и исследовательских центров в стране. После войны с Германией комбинат посетил маршал К. Е. Ворошилов, тоже прославившийся в гражданскую войну и опозорившийся в войну с Германией. Он-то и вспомнил о том, что его друг и соратник маршал Буденный со своими конармейцами не одну тысячу рук и ног отрубил. А сколько голов! В этом месте речи Ворошилова в зале начался гомерический хохот: комбинат еще не освоил протезирование голов. Вместе со всеми посмеялся и маршал Ворошилов. Тогда-то и началось движение за присвоение комбинату имени Буденного. Сначала хотели присвоить имя Ворошилова, но именем последнего уже был назван военный завод. В областной газете поместили фотографию с картины партградского художника, на которой был изображен командарм Буденный на лихом коне, отрубающий белому офицеру руку по самое плечо, подготавливая этим ударом максимальные условия для полного правостороннего рукопротезирования.

Наш комбинат можно рассматривать как миниатюрную модель всего нашего общества, причем — как модель, доведенную до степени карикатурной ясности. Это не моя идея — я до такого интеллектуального уровня не дорос. Это — идея Сергея Смирнова, сотрудника социологического отдела. В комбинате его прозвали Социолухом, так как он своей несдержанностью на язык отрезал себе всякую возможность сделать карьеру, хотя имел все данные для этого. Но я понимаю, что хотел сказать он. Если бы вдруг произошла мировая катастрофа и уцелел бы один наш комбинат, то из него через несколько поколений развилось бы все советское общество со всеми его частями, органами, свойствами.

Если бы вы попали на какое-нибудь собрание или совещание к нам, вас хватил бы удар либо от смеха, либо от ужаса. Когда наши руководители делают отчетные доклады, нам самим становится не по себе. В текущем году,— гремит, например, торжественный глас нашего директора Фрола Нилыча Дубова,— наш трижды орденоносный комбинат выпустил полных левоножных протезов двести тысяч штук, полных правоножных протезов — триста тысяч штук... (Оказывается, трудящиеся чаще теряют правую ногу, чем левую. Научного объяснения этому пока еще не найдено.) Левоступных протезов выпущено...— продолжает греметь медью глас директора.— Леворучных долоктевых протезов... Левокистевых... Освоим выпуск праворучных протезов с автоматическим подъемом руки для приветствия... С автоматическим пожатием... И вот так глас Фрола Нилыча или другого ответственного лица гремит по два часа подряд, а то и того дольше.

Для посторонних и новичков наш комбинат дает материал для мрачных шуток. Новичков у нас, например, потчуют ужасным рассказом о том, как подрались два инвалида-испытателя у пивного ларька: один сбил другого на землю, тот же ухватил первого за ноги, появилась милиция, оба драчуна убежали, оставив у ларька один — свои ноги, другой — руки. Любимый анекдот у нас — о том, как молодой парень женился на пожилой женщине с квартирой и дачей (брак по расчету). Стали они после свадьбы спать ложиться. Жена отстегнула грудь и ногу, вынула челюсть и глаз. Молодой муж, однако, не смутился. Он отстегнул свой член, бросил его в кучу протезов и сказал: «А это мой вклад в нашу здоровую социалистическую семью!» Но люди очень скоро привыкают к особенностям нашего предприятия и начинают видеть в нем то, что обще ему с любым другим советским предприятием.

Комбинат недавно засекретили. Произошло это при следующих обстоятельствах. Один шутник вынес как-то номер стенной газеты из комбината и копию доклада секретаря партбюро и пустил это по рукам в городе. Весь город хохотал. Сначала решили, что это — «самиздат». Но КГБ разобралось, в чем дело, и комбинат на всякий случай засекретили. Теперь за вынос из комбината даже пустяковой бумажки могут засудить. Теперь с сотрудников комбината берут подписку о неразглашении и осматривают при выходе.

ЛОЗУНГИ

Наш комбинат, как и всякое любое советское учреждение, украшен портретами классиков марксизма, руководителей партии и правительства, признанных писателей и ученых, космонавтов и прочих важных лиц, а также лозунгами. Лозунги разделяются на такие категории: 1) эпохальные (вроде «Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!»); 2) генеральные (вроде «Ускорение социально-экономического развития — закон нашей жизни»); 3) конъюнктурные (вроде «Все на выборы!»); 4) локальные (вроде «Повысим качество супинаторов!»). Какие лозунги рекомендуется вешать в учреждении, решают на уровне райкома партии, а для предприятий союзного значения — на уровне обкома партии. Затем партийное бюро учреждения решает, какие лозунги и где следует вывесить во исполнение решения вышестоящей инстанции. Наш комбинат находится на особом положении. Потому эпохальный лозунг на главном корпусе был отобран и одобрен в ЦК в Москве, генеральные лозунги на прочих корпусах и внутри цехов и отделов были рекомендованы обкомом партии, конъюнктурные — райкомом партии, а локальные — партийными бюро комбината в целом, цехов и отделов. Так что, когда я движусь к своему рабочему месту, я первым делом зрю эпохальный призыв нашей партии вести за собою все прогрессивное человечество. На здании нашего отдела я с умилением читаю призыв догнать и перегнать передовые страны Запада в экономическом отношении. Стены моего кабинета украшены призывами шагать в ногу с требованиями перестройки. Причем это — не случайные совпадения и не измышления остряков. Это — продукт долгих раздумий идеологически грамотных руководителей.

АТОМ

Если охарактеризоать одним словом наш век, то это слово будет «Атом». Для нас, жителей Партграда, это слово обозначает атомное предприятие неподалеку от города, играющее в нашей жизни особую роль. А для таких инвалидов, как я, оно обозначает нашу личную судьбу.

Согласно нашей прессе, атомное предприятие около Партграда строилось как первое в мире предприятие такого рода для мирных целей. За строительством как-то само собой закрепилось название «Атомград», или короче — «Атом». Строился «Атом» главным образом силами заключенных. Их большими партиями пешим ходом пригоняли на стройку из исправительно-трудовых лагерей, которых было множество в области. По истечении некоторого срока их куда-то увозили в товарных вагонах с заколоченными окнами и с усиленной охраной.

С началом стройки вся область украсилась плакатами и лозунгами, из которых было видно, что у нас «атом поставлен на службу мира и прогресса», тогда как на Западе он «служит целям подготовки новой мировой войны и интересам империализма». На одном из плакатов был изображен советский мирный атом и американский военный. Советский был одет в комбинезон рабочего и держал в руке молот. Американский был вооружен до зубов, в руках держал бомбу. Советский бил американского по голове молотом. Американский корчился от бессильной злобы.

С первых же дней строительства весь район «Атома» стал секретным. Въезд и выезд из него разрешался только по особым пропускам. О районе ходили самые противоречивые слухи. По одним слухам, там был рай земной, все было в изобилии и почти бесплатно, как при полном коммунизме. По другим слухам, там поселили заключенных, осужденных на большие сроки или на смертную казнь, которую им заменили опасной для жизни работой в условиях повышенной радиации.

Прошли годы. «Атом» стал привычным элементом жизни области. Многих выпускников институтов и техникумов Партграда направляли на работу в «Атом». Они соглашались на это, соблазняясь выгодными условиями (квартира, повышенная зарплата, удвоенный отпуск, лучшее снабжение) и надеясь на то, что их минует участь, о которой ходили мрачные слухи. Вместе с тем, в «Атом» высылали из города лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности, пьяниц, хулиганов, спекулянтов и «внутренних эмигрантов», т. е. тех, кто подпал под «тлетворное влияние Запада».

В питейных заведениях города стали появляться забулдыги с толстыми пачками денег, которые они проматывали за один вечер. Их вылавливала милиция и отправляла обратно в «Атом». Эти забулдыги рассказывали, что они порою за один час на каких-то «сверхсекретных работах» получали денег столько, сколько получали рабочие в городе за целый месяц. Правда, от такого часа их жизнь становилась короче по крайней мере на десять лет. Но зато они могли себе позволить хотя бы один день пожить «по-коммунистически», т. е. промотать деньги с первыми встречными проходимцами, упиться до бесчувствия и оказаться в больнице, из которой они уже не возвращались.

ГОРОД УРОДОВ

С первых же дней существования «Атома» там что-то случилось непредвиденное. В результате там стали рождаться дети-уроды. С годами случаи рождения таких детей стали учащаться. Наиболее радикально мыслящие партийные руководители, составившие теперь опору горбачевского руководства в области, высказывались за то, чтобы вообще прекратить деторождение в «Атоме», превратив его в исправительно-трудовой лагерь, полностью изолированный от общества. Но их смелым и весьма прогрессивным идеям не суждено было осуществиться. Но не из-за консерваторов и бюрократов, совавших палки в колеса горбачевского прогресса, а по той простой причине, что дети-уроды стали рождаться и в других районах области, удаленных от «Атома», и даже в самом Партграде, причем в различных слоях населения, включая и высшие. Очевидно, к усиленной радиации присоединилось влияние химии, фармацевтики, алкоголизма и других фактов нашего образа жизни. Перед нашим руководством встала задача не столько бороться с этим явлением, сколько скрывать его. В связи с горбачевской установкой на гласность в наших газетах стали появляться статьи об инвалидах от рождения. Наконец-то официально признали факт их существования. Но при этом упор сделали на следующие обстоятельства: 1) на Западе таких детей-уродов рождается больше, чем у нас; 2) у нас инвалидов от рождения не уничтожают, как это имело место в Спарте, а сохраняют им жизнь; 3) у нас дети-инвалиды воспитываются в здоровой среде и принимают участие в жизни общества как полноценные граждане.

Помимо инвалидов, производимых в нашей области, в Партград стали стекаться инвалиды со всех концов России. Это произошло потому, что в Партграде построили больницу союзного значения для людей, ставших инвалидами и нуждающихся в протезировании или в приспособлениях, компенсирующих потерянные или недоразвитые органы. Кроме того, в городе построили больницу для детей-калек, два интерната для инвалидов от рождения и дом для безнадзорных инвалидов. Построили эти заведения именно в Партграде, руководствуясь тем, что город расположен в глуши России, куда иностранцы вообще и не помышляли совать нос. Кроме того, сосредоточивая эти заведения в одном месте, рассчитывали на то, что инвалиды в массе себе подобных будут не так остро переживать свои уродства и образуют некое подобие здорового общества. Наконец, таким путем легче решалась проблема трудоустройства — для инвалидов специально создали предприятия (инвалидные артели), соответствующие характеру их инвалидности.

Инвалиды ужасающе пьют и ведут трущобный образ жизни, заражая этим остальную, здоровую часть населения. Многие становятся преступниками. Один из исправительно-трудовых лагерей области почти полностью укомплектован инвалидами. Этот лагерь особо секретный. Если бы о нем узнали на Западе, была бы большая потеря для советской репутации. По бытовым преступлениям Партград стал самым передовым в стране, оставив далеко позади себя самые бандитские города Америки. Сам начальник областного управления КГБ товарищ Горбань заметил по сему поводу, что если бы ввели социалистическое соревнование за Переходящее Черное Знамя, то последнее навечно водрузилось бы в Партграде. А председатель горсовета сказал на том же заседании бюро обкома партии, посвященном вопросам жилищного строительства, что в Партграде надо в первую очередь построить новое кладбище для трудящихся, так как «инвалиды умирают в два раза чаще, чем здоровые люди».

Одним из следствий «Атома» явилось рождение довольно большого числа лилипутов. Сначала их, когда они подрастали, устраивали на работу в цирк. Когда же их число значительно возросло, из них создали ансамбль. Ансамбль пользуется успехом не только в области, но и по всей стране. Выступал он и в Москве и произвел там фурор. Его хотели было послать на гастроли за границу. Но испугались того, что самые талантливые актеры ансамбля, мечтающие о мировой славе в Голливуде, станут невозвращенцами. И гастроли отменили.

Другим следствием повышенной радиации явилось возникновение новых целебных водных источников, с помощью которых излечиваются некоторые виды рака. Правда, при этом люди заболевают другими видами рака. Но тут уж ничего не поделаешь: за здоровье надо расплачиваться. Наши ученые выяснили, что положительные следствия прогресса все же превышают отрицательные. Во всяком случае, они выяснили, что наша советская радиация гораздо здоровее и полезнее западной.

Отмечу, наконец, еще одно следствие нашей здоровой советской радиации: это — появление на колхозных рынках города овощей, которые надо есть с громоотводом в зубах. Берешь, например, огурец, подносишь ко рту, а между кончиком твоего носа и огурцом с треском проскакивает молния. Страшно, но зато занимательно. Потом в городе появилась водка, от одного стакана которой даже опытные пьяницы по нескольку дней ходят как одурелые. Дешево и эффективно. Водку так и стали называть «Особая радиоактивная». По слухам, ее гонят прямо в атомных реакторах из отработанного топлива. Помимо дешевизны и силы воздействия эта водка имеет еще одно достоинство: милиция стала легко находить пьяных, валяющихся в самых невероятных местах, с помощью счетчика Гейгера.

Первыми уродами, родившимися в «Атоме», были я и Юрий Чернов, сотрудник группы моделирования, прозванный Теоретиком, поскольку он занимается общетеоретическими проблемами компенсации недостающих или недоразвитых частей тела. У меня от рождения недоразвиты обе ноги, а у него — руки. Но к несчастью для нас, у меня обнаружились средненормальные, а у него — выдающиеся интеллектуальные способности.

Я

Мое имя — Горев Андрей Иваноаич — является чисто условным. Мне его дали в специальном интернате для детей, которые рождаются калеками и от которых отказываются родители. О детстве и юности не хочу вспоминать. Мне повезло сравнительно с другими детьми. Началась какая-то кампания за приобщение инвалидов от рождения к полноценной социалистической жизни. Меня как одного из самых способных перевели в городской интернат. Потом я учился в политехническом институте и стал конструктором и испытателем ножных протезов.

В первые же годы работы в комбинате я изобрел ножные протезы, гораздо более удобные выпускаемых комбинатом. Хотя всем были очевидны преимущества моих протезов, их все-таки отвергли. Почему? Потому что внедрение моего изобретения в производство принесло бы мне славу изобретателя, большие деньги, повышение в должности и другие блага. Мои коллеги допустить этого не могли. Они тут трудятся годами, с великими усилиями продвигаются по службе и улучшают бытовые условия, а тут какой-то без году неделя инженеришка сразу сделает карьеру!

Потом я усовершенствовал свое изобретение и сам изготовил себе протезы, мало что общего имеющие с первоначальным замыслом. Но это свое изобретение я храню в тайне. Когда мои коллеги удивляются тому, как я передвигаюсь, я говорю им, что я хожу на тех самых протезах, которые они отвергли. Они предпринимали и до сих пор предпринимают попытки споить меня, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев: испортить мое умение ходить и выведать секрет моих протезов.

Почему я держу свое изобретение в секрете? Я не эгоист и не тщеславен. Я делаю это из принципа: мне нужно лишь справедливое признание того факта, что это изобретение сделано именно мною, Горевым Андреем Ивановичем. Это — часть моего «я», а может быть, даже его основа. Если я доложу о нем в отделе, то самое большее, что я могу получить за него,— грошовая премия к празднику и благодарность в приказе директора. В число авторов изобретения немедленно вотрутся высшие начальники из дирекции и отдела, в меня оттеснят на последнее место и в конце концов выбросят из списка. У нас это — обычное дело.

Профессия испытателя требует систематических тренировок. Стоит поддаться на минуту какой-либо человеческой слабости, и пиши пропало. Был у нас в отделе ручных протезов гениальный испытатель. У него не было обеих рук. Но он достиг такого совершенства в овладении протезами, что мог зажигать спички, писать, вдевать нитку в иголку, играть в волейбол с пенсионерами. Его показывали по телевидению. Передача была построена на контрастах. Показали безработных в Нью-Йорке. Здоровенный негр показал свои мощные руки. Диктор прокомментировал это так: он не имеет возможности использовать эти здоровые руки. Вслед за негром показали нашего испытателя. Диктор комментировал показываемые картины так: у нас даже такой человек является полноценным гражданином, обеспечен работой, имеет семью, отдыхает вместе со здоровыми людьми. Вскоре испытатель спился. Семья от него поспешила избавиться — его увезли в дом для безнадзорных инвалидов.

Я держусь. Не пью, не курю, регулярно делаю гимнастику, которую сам для себя изобрел. Я принял твердое решение так держаться до конца. Ради чего? У меня нет семьи и нет никаких родственников. Работу я выбрал волею случая, и она меня не захватывает настолько, чтобы отдаться ей целиком. Служебные успехи у меня мизерные. Никаких больших творческих открытий не предвидится. Я даже не могу реализовать как мое мое же собственное изобретение. Я не способен вести образ жизни, доставляющий удовольствие телу. Я с рождения постиг, насколько поверхностна и неустойчива дружба. Поэтому я нуждаюсь в каких-то подпорках, чтобы не последовать примеру того испытателя и не сказать себе однажды: надоело играть в полноценного человека! Так вот, такими подпорами и являются для меня мои принципы. Ну и Невеста, конечно.

НАЧАЛО ТРУДОВОГО ДНЯ

Заняв свое рабочее место, я жду появления моих подчиненных — я заведую группой из пяти человек. Раздается стук в дверь, и они один за другим втискиваются в мой кабинетик. Мы здороваемся, перекидываемся шутками, сообщаем новейшие сплетни и слухи. Я говорю им, что сегодня беседую с самим директором, и прошу их на всякий случай быть на своих рабочих местах.

После моего жеста, означающего нечто похожее на «По коням!» или «По машинам!», мои подчиненные исчезают. А я, уставившись взором в пятно на потолке, предаюсь мечтам. Конечно же о ней, о Невесте. Почему она завладела моей душой? В ней нет вроде бы ничего особенного. И вместе с тем, она есть чудо. Она — как наша русская природа: в нее надо долго всматриваться, чтобы заметить ее скрытую, глубокую и тихую красоту.

Но открывается дверь. В мой кабинетик вползает исчадие ада — уборщица. Она не здоровается. Мажет грязной тряпкой пол. Бесцеремонно толкает меня — ей «работать надо, а они тут задницы просиживают!» Она, конечно, права. Но можно ли считать производительным трудом то, что работающие люди делают для паразитов? Я смотрю на уборщицу и вдруг замечаю в ней увядшие черты Невесты. Только в глазах у нее остались лишь усталость, пустота, озлобленность.

Уборщица ушла. Я позвонил Невесте на работу. Сказал ей, что если она не выйдет за меня замуж, то я покончу с собой.

— Не торопись,— ответила она.— Умереть всегда успеется. А я подумаю, может быть, и в самом деле выйду за тебя. Чем не муж?! Зарабатываешь хорошо. Не пьешь. Не куришь. Комнату имеешь. И к другим бабам не убежишь!

Она засмеялась своей остроте. И я вместе с ней.

ДЕЛО

Большую часть рабочего времени мы, как говорится, переливаем из пустого в порожнее, т. е. зеваем от скуки, пересказываем сплетни и анекдоты, перелистываем никому не нужные бумаги, проводим еще более ненужные совещания и собрания. Делаем, конечно, и то, что обязаны делать по должности. На это полезное дело хватило бы и пары часов, если бы мы работали непрерывно и интенсивно. Но мы растягиваем его на восемь часов. Происходит это не из-за нашей природной лени, а из-за объективных законов организации совместной деятельности многих людей. Требуется именно восемь часов полубезделья, чтобы сделать дело, которое независимый от коллектива работник мог бы выполнить за пару часов. Упомянутый мною Социолух предложил измерять производительность труда наших учреждений отношением индивидуального времени, необходимого для осуществления деловых функций, к коллективному времени, фактически затрачиваемому на осуществление этих функций. Для меня эта величина — одна четвертая. Это еще довольно высокий коэффициент производительности или, точнее говоря, занятости. Больше половины наших сотрудников имеют коэффициент одну десятую, а некоторые — даже одну сотую. К числу последних относятся, например, представители КГБ и армии на комбинате. Они торчат на работе по восемь часов каждый день, хотя их месячную работу можно выполнить за один час.

Многие читают во время рабочего дня художественную литературу — одно из условий, благодаря которому наша страна стала самой читающей страной в мире.

Между стеклами жужжит и бьется муха. По ее поведению нельзя установить, куда она рвется — на улицу или в кабинет. Муха мешает сосредоточиться. Пришлось вставать. А мне труднее всего даются переходы из сидячего положения в стоячее и обратно. Я открыл форточку. Муха улетела на улицу.

Решил посмотреть материалы, которые я сегодня должен представить директору. Комбинат готовит коллективный труд об инвалидах. Руководителем авторского коллектива считается сам директор. Директор возлагает большие надежды на этот труд: он рассчитывает благодаря ему стать членом-корреспондентом Академии наук и получить Ленинскую премию. Задача моей группы — подготовить тот раздел в книге, в котором речь должна идти о ножных протезах, позволяющих ножным инвалидам «шагать в едином строю строителей коммунизма». Сегодня я должен лично ознакомить директора с ходом работы группы над этим объектом, минуя стадию отдела,— директор не любит заведующего нашим отделом Гробового. Труд был почти готов, но началась «перестройка», и нас заставили все «материалы» в срочном порядке переделывать заново. Теперь основная линия труда — перестройка всей системы протезирования и вообще обслуживания инвалидов, поднятие ее на уровень высших мировых стандартов.

Полагайтесь сами на себя, не зависьте ни от кого другого,— учил будда. У нас это исключено. Попробуй, уклонись от зависимости от директора, заведующего отделом, партийного бюро и массы твоих сослуживцев! Наша проблема — как жить в условиях постоянной зависимости от других. Человек, который в наших условиях попробует всерьез следовать учению Будды, скоро окажется в психиатрической больнице или в «Атоме». А главное — мы не хотим уклоняться от этой зависимости. Иногда посетовать на нее — это можно. Но жить без нее мы не можем. Я не мыслю своей жизни без моего учреждения, моих сослуживцев, директора, партийного бюро.

ДИРЕКТОР

Позвонила секретарша директора: Сам ждет меня. И я двинулся в дирекцию с «материалами» для Самого. Если бы вы знали, что это такое! Но начальство именно никчемнейшие материалы ценит превыше всего — они как будто специально создаются для отчетов и пускания пыли в глаза. Раньше я пытался украсить такую белиберду оригинальными мыслями. Меня за это сначала высмеял заведующий нашим отделом Гробовой, затем — сам директор, предшественник нынешнего. И с тех пор я готовлю голые факты, предоставляя возможность одевать их подходящим образом болтунам и бездельникам из референтивной группы, доводящей поступающие снизу «материалы» до нужной (с точки зрения начальства) кондиции. На сей раз «материалы» особо важные: они касаются перестройки работы комбината в соответствии с решениями съезда партии.

Секретарша приглашает меня в кабинет Фрола Нилыча. Он сидит за гигантским письменным столом, уставленным всеми необходимыми вещественными атрибутами большого начальника, и делает вид, будто занят важным государственным делом, хотя именно мои идиотские «материалы» и есть сейчас самое важное государственное дело. Наконец Фрол Нилыч поднимает голову и замечает мое присутствие. Сесть мне он не предлагает. Я кладу папку с «материалами» перед ним. Он начинает их листать. Я даю пояснения. Вдруг он замирает, его обычно бегающие глазки стекленеют, пухлый указующий перст упирается в наугад выбранную строку.

— А это как понимать? — произносит он металлически-ледяным тоном.— Ох, Горев, вечно с тобой горе!

— Это по указанию товарища Гробового вставлено,— говорю я.

— Ах вот оно что,— усмехается Фрол Нилыч.— Гробовой вечно отсебятиной занимается. Так ведь все дело угробить можно.

Фрол Нилыч слегка хихикает, довольный тем, что два раза сострил — за счет моей фамилии и фамилии Гробового. Закончив просмотр «материалов», он дал мне еще две недели на их доработку. Это — обычная проформа, а не проявление доброты или разума. Я уже собрался покинуть кабинет, как он неожиданно спросил меня, как я поживаю.

— Отлично,— ответил я.

— Это ты молодец, что отлично живешь,— сказал он.— Так и живи! В нашем обществе мы обязаны жить не просто хорошо, а именно отлично. И пример всем показывать.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Я уже был в дверях, когда он попросил меня вернуться.

— Я хочу поговорить с вами, товарищ Горев, по душам,— сказал он, перейдя на «вы» и избегая смотреть мне в глаза.— Гробовой утверждает, что вы изобрели новые чудесные протезы, но скрываете свое изобретение.

— Я ничего не скрываю. Чертежи моих протезов имеются в отделе и в дирекции. Если вы мне не верите, пригласите сюда Гробового и других. Я разденусь и покажу, что передвигаюсь на тех самых протезах, а не на каких-то других, которые я якобы держу в секрете.

— Что вы! Я вам верю. Но Гробовой утверждает, что на тех протезах вы не смогли бы так двигаться, как вы это делаете. Теоретически невозможно. В чем тут загадка?

— Протезы сами по себе, какими бы чудесными они ни были, недостаточны. Нужна еще определенная тренировка тела, чтобы ими овладеть.

— Разумно. Но ведь и раньше так делали.

— Нужен другой тип тренировки.

— Прекрасно! Вот и опишите ее. И представьте в отдел. Или прямо в дирекцию.

— К сожалению, не могу. Я новую технику овладения моими протезами выработал лично для себя. Для других она пока еще не годится.

— Что вы предлагаете?

— Выпустить по крайней мере сотню опытных образцов моих протезов и начать их испытание. Приспособить их к особенностям испытателей. Через год можно будет сделать первые обобщения, внести улучшения в конструкцию протезов и выработать правила тренировки и техники передвижения. Это же обычное дело во всяких экспериментальных исследованиях. Гробовой со своими колясками уже пять лет экспериментирует. Почему бы не попробовать с моими протезами?

— Разумно! Изложите ваши соображения на паре страниц. Я попробую на ваши эксперименты выбить дополнительные средства.

Такой «разговор по душам» у меня с директором происходит не в первый раз. Он каждый раз обещает «выбить средства». И каждый раз забывает об этом. А я не придаю этому значения. У нас охотно отпускают средства на всякую халтуру и ерунду, но не на серьезное дело, сулящее успех рядовому изобретателю. Эксперимент Гробового с украденными в ФРГ инвалидными колясками стал предметом насмешек в комбинате. Но средства на них выделяются регулярно, причем — во всевозрастающих размерах.

КОЛЛЕКТИВ

Основная часть нашей жизни проходит там, где мы работаем. С работой связаны и наши главные страсти. Мы все средства существования получаем в своем учреждении или через него. Здесь мы добиваемся улучшения жизненных условий, продвижения по службе. От взаимоотношений с другими сотрудниками учреждения зависит наша судьба. Бывают, конечно, исключения. В социологическом отделе работает, например, сын второго секретаря горкома партии. Он, конечно, имеет привилегии. Через год работы в комбинате он стал заведующим группой. Через два года защитил кандидатскую диссертацию. Он имеет шансы стать заведующим отделом. Но его это не устраивает. Говорят, что он уходит от нас в университет заведовать кафедрой. Через несколько лет он станет деканом факультета. И если его отец поднимется еще выше, то он может стать ректором университета. Другой молодой инженер как-то ухитрился познакомиться с дочкой самого Сусликова и женился на ней. Вскоре он стал секретарем районного комитета комсомола, затем — городского комитета. Парень он хваткий, наверняка сделает партийную карьеру. Но такие случаи, повторяю, суть исключения. В стране не так уж много дочек высокопоставленных начальников, готовых выйти замуж за парней из низших социальных слоев.

Да и сыновья таких начальников предпочитают начинать свою карьеру в более интересных учреждениях, чем такие, как наше. Подавляющее большинство сотрудников наших учреждений суть простые смертные, судьба которых всецело зависит от положения, поведения и репутации в коллективе.

Но дело не только в этом. Для более или менее нормальной жизни человек нуждается в регулярном и разнообразном общении с другими людьми. Человек нуждается не столько в информации, сколько в живом общении. В обычном коллективе есть все типы людей и возможности для всех необходимых форм общения. Пара слов с одним сослуживцем, пара слов — с другим, пара слов — с уборщицей, пара слов — с секретаршей... Тут как в еде: нужно разнообразие. Нужно общение не только с хорошими людьми, но и с плохими; не только с умными, но и с глупыми, не только с честными, но и с жуликами.

Кроме того, человеческая жизнь есть спектакль. Каждый стремится сыграть в нем роль поинтереснее. Наш жизненный спектакль проходит в основном на работе. Он настолько захватывает нас, что мы его продолжаем и в остальное время суток.

Когда я поступил на работу в комбинат, тут только еще началось разделение на научно-экспериментальную и производственную часть. Мы с Гробовым создали небольшую группку ножного протезирования. Гробовой был вполне здоровым человеком. И образование у него было какое-то мясо-молочное. Говорили, что он когда-то вместе с Сусликовым учился в мясо-молочном техникуме. Но он был ловким проходимцем. Естественно, он взял инициативу в свои руки. Сначала он предоставил весь научный аспект дела в мое распоряжение. Но когда стало ясно, что «наука» в нашем деле была доступна даже коровьим мозгам, он отпихнул меня на роль рядового конструктора. И если я поднялся до уровня заведующего маленькой группкой, то это произошло благодаря научно-техническому прогрессу, который заключался в стремительном росте числа людей, пожелавших посвятить свою жизнь ножному протезированию. В этом деле Гробовой оказался вполне на своем месте.

По мере роста числа сотрудников в нашей исходной группе происходило разделение на более мелкие группы. Сначала мы разделились на две группы — на группу левой и группу правой ноги. Затем возникли группы ступни, доколенных протезов, координации движений, двусторонних полных протезов. Последняя после длительной борьбы досталась мне. Так образовался отдел. Сейчас у нас работает более ста человек. Общими усилиями мы сделали Гробовому диссертацию, и он стал заведующим отделом.

Мне не раз намекали на то, что и мне пора «остепениться». Но одно дело слова, а другое — дела. Как только я начинал делать практические шаги в этом направлении, все настораживались и чинили всяческие препятствия. И те же самые «доброжелатели», которые раньше говорили, что я больше всех в комбинате заслуживаю докторскую степень, говорили теперь, что мне ни к чему и кандидатская диссертация.

Короче говоря, после нескольких попыток я махнул на эту затею рукой. Это истолковали однозначно: мол, не тянет даже на кандидата. Теперь, когда встает вопрос о моем продвижении по службе, мою кандидатуру отклоняют, ссылаясь на недостаток образования.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Наступил обеденный перерыв. Я с Социолухом и Теоретиком направляюсь в столовую. Для таких холостяков, как мы, столовая комбината есть основной источник питания. Надо сказать, что сравнительно с городскими столовыми у нас кормят совсем неплохо. Но только сравнительно. Семейные сотрудники и женщины, готовящие себе еду дома, нашу столовую игнорируют как «средство для катара и язвы желудка». Они ограничиваются тем, что получают по именному списку продукты, которые в городе купить невозможно или на поиски которых нужно потерять много часов. Фактически это — замаскированная карточная система.

Мы занимаем облюбованный нами столик. Во время еды ведем бесконечные разговоры. Вернее, говорят они, а я терпеливо слушаю. Для них я идеальный слушатель. Я действительно слушаю их с интересом, а главное — они уверены, что я не украду их идеи и не донесу на них куда следует. Сегодня Социолух рассказал нам следующее.

По словам Социолуха, у нас в городе работала московская группа социологов, врачей и психологов. Работала, конечно, секретно. И результаты ее исследований были сверхсекретными. Но о них все же упомянули на заседании бюро обкома партии. Вот некоторые данные. Рождаемость инвалидов растет, а смертность сокращается. Почему растет рождаемость, объяснять не нужно. Смертность же сокращается за счет усилий медицины и заботы государства об инвалидах. Рождаемость здоровых сокращается. В России в среднем приходится теперь чуть побольше одного ребенка на семью. Число бездетных семей растет. Причем дело с потомством у инвалидов обстоит хуже, чем у здоровых. Но ведь инвалидов производят в основном здоровые. А главное — психическое состояние здоровых. По данным упомянутой группы, шестьдесят процентов взрослого населения так или иначе больны психически. Наш город фактически исследует опытным путем, как будет существовать будущее глобальное общество уродов. И надо признать, что эксперимент

проходит блестяще и результаты его — это очевидно уже сейчас — будут положительными. Оказывается, общество может быть вполне нормальным, если даже оно сплошь состоит из уродов. А общество из нормальных людей может быть ненормальным.

— Нам представляется неповторимый случай вписать свои имена в историю человечества,— закончил он свою речь,— разработав социологическую теорию общества уродов на основе нашего эксперимента. В далеком будущем, если мы не упустим этот случай, наши имена будут фигурировать в памяти людей наряду с именами Платона, Аристотеля, Макиавелли, Руссо, Гоббса, Маркса и других великих мыслителей прошлого.

Таковы маниакальные замыслы Социолуха. А мои замыслы суть замыслы червяка, по непонятным ему причинам выползшего на тротуар и боящегося быть раздавленным потоком богов-прохожих.

ЧЕРВЯЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Когда я подрос и осознал себя в качестве урода, я сделал попытку покончить жизнь самоубийством. Потом мне было стыдно оттого, что моя попытка оказалась неудачной. Я был рад, что выжил. И от этого (от того, что был рад) мне тоже было стыдно. После этого и всю мою сознательную жизнь был захвачен своим уродством. Я думал о нем дни и ночи, будучи не в силах от него оторваться. Как только я пытался отвлечься на что-то другое, реальность немедленно возвращала мои мысли и чувства все к тому же: я — урод.

Я не могу пожаловаться на окружающих. Они сделали много, чтобы облегчить мои страдания. С этой точки зрения — оказывать внимание несчастным — наше общество является, может быть, лучшим в истории. Конечно, это качество оно проявляет до тех пор, пока ты остаешься внутри своего коллектива, не предпринимаешь ничего для того, чтобы возвыситься над общим уровнем, не нарушаешь принятых норм поведения, не вступаешь в конфликт с властями, короче говоря — если ты являешься образцовым калекой и позволяешь окружающим продемонстрировать на тебе их великодушие, доброту, отзывчивость. Эту истину я понял значительно позже. Но вначале я искренне верил в то, что окружающие меня люди хотели мне добра исключительно ради меня самого. Когда я начал работать в комбинате и предложил начать разработку проблемы использования биотоков организма для создания ручных и ножных протезов, меня немедленно «поставили на место». Эту идею мне так и не удалось реализовать. Говорят, что этой проблемой занимаются у нас в секретных отделах. Но результатов пока что не видно.

Встретив такое, тогда — неожиданное, сопротивление со стороны сослуживцев, желавших мне добра, я постепенно переключил все свои силы на другую, мою личную проблему: сумею ли я в одиночку прожить жизнь, достойную Человека? Я начал ставить свой эксперимент, пусть мизерный с точки зрения общества, зато грандиозный с моей личной точки зрения. Суть моего эксперимента в двух словах такова: способен ли я сохраниться в качестве личности с теми данными, какие я имею, и в том виде, как я себе представляю личность, имея в качестве судьи лишь самого себя и не имея никаких союзников, идущих со мною до конца? Иначе говоря, достаточен ли человек для самого себя в качестве опоры и критерия личности?

Именно в такой словесной форме я осмыслил свой эксперимент для себя много позднее. А вначале я действовал безотчетно и порою лишь из духа протеста. Например, я сказал себе, что не буду пить алкогольные напитки. И сдержал свое слово не из страха превратиться в алкоголика, а из принципа: что же я такое, если не способен сдержать данное себе слово! Мои сослуживцы предпринимали титанические попытки, чтобы напоить меня. И тоже не из желания причинить мне зло, а из принципа: они пьют, а тут какой-то жалкий калека строит из себя трезвенника! Потом я дал себе слово не вступать в связь с женщиной, которую я не люблю и которая не любит меня. Сексуальные отношения для человека, решил я, должны быть символом и проявлением любви, а не просто физиологией. Мне стоило больших трудов устоять и не нарушить свое слово. За этими клятвами последовали другие, касающиеся отношения с сослуживцами, соседями, начальством. Короче говоря, я как-то незаметно окружил себя всякого рода ловушками, заборами с колючей проволокой, рвами, минными полями и прочими средствами самоограничения. Когда я опомнился, было уже поздно. Передо мной было два пути: капитулировать перед обществом людей без таких самоограничений или доказать самому себе, на что я способен. Подсознание мое сработало в пользу второго пути. Первый путь означал для меня стремительную гибель. На моих глазах люди, которые казались твердыми, как скала, терпели сокрушительный крах и погибали из-за какой-нибудь ничтожной уступки окружающим их доброжелателям.

Шли дни, месяцы, годы. Окружающие ни на минуту не оставляли своих стремлений вовлечь меня в нормальную, с их точки зрения, жизнь. Искушение плюнуть на свои клятвы и стать таким, как все, тоже не покидало меня ни на минуту. Но я сам все с большим остервенением повторял свои клятвы, отражал атаки ближних и внутренние искушения. Я с маниакальной настойчивостью поправлял свои защитные сооружения и создавал новые. Я зашел слишком далеко в себе самом, чтобы пойти на уступки.

ЖИЗНЕННЫЕ СПЕКТАКЛИ

Наш отдел соревнуется с отделом ручных протезов в претворении в жизнь решений XXVII съезда партии. Это — не пустая формальность. Если мы займем первое место, многие получат награды, а кое-кто продвинется по службе. Если слухи насчет перевода директора в Москву верны, то Гробовому первое место нужно до зарезу: он претендует на пост директора. Начальство к отделу будет относиться лучше. Жить станет чуточку приятнее. На собраниях хвалить будут, что тоже не так уж маловажно. Но вот появились признаки, что наше первое место под угрозой. Гробовой собрал «командный состав» отдела (заведующих группами, секретаря партбюро, секретаря комсомола, председателя профкома, редактора стенной газеты) в своем кабинете.

— Не видать нам первого места,— со вздохом говорит склонный к панике Гробовой.

— Почему же не видать? — спокойно возражает председатель профкома.— Есть два способа уйти вперед: один — самим оторваться от противника, другой — помешать противнику...

— Что ты имеешь в виду? — оживляется Гробовой.— Шубина?..

Шубин — это ведущий алкоголик из конкурирующего отдела, тянувший отдел назад и совавший палки в колеса новому курсу партии, как о нем было написано в стенной газете.

— Он бросил пить,— уныло сказал секретарь партбюро,— и это зачтется в заслугу их отделу. А наши пьяницы пьют пуще прежнего. Сидоров опять в вытрезвителе оказался. Последнее предупреждение от милиции. Еще такой случай, и его вышлют из города.

— Кто поверит, что такой старый алкоголик, как Шубин,— бросит пить совсем ради какого-то первого места в соцсоревновании,— говорит заведующий группой инвалидных колясок.

— Никто! — заорали в один голос «командиры» отдела.

— Верно,— соглашается председатель профкома.— Ассигнуем нашим пьяницам пару сотен. Я думаю, профсоюзная организация может раскошелиться на это культурное мероприятие. И...

— ...и через пару дней в комбинат придет «телега» из вытрезвителя на Шубина и бумага из милиции о его непристойном поведении в общественных местах! — восклицает заведующая супинаторной группой.

— Шутки в сторону,— с надеждой в голосе говорит Гробовой.— Культурные мероприятия действительно дело важное. Если профком...

— Между прочим,— тихим голосом говорит секретарь комсомольской организации Леночка,— заведующий конкурирующего отдела вроде бы амурные делишки с секретаршей имеет. Она сама хвасталась.

— Безобразие! — возмущается добропорядочный семьянин Гробовой.— Это нельзя оставить без внимания!

— Верно,— поддакивает председатель профкома,— к этому факту надо привлечь внимание общественности. Я думаю, это надо осветить в стенной газете. Семью спасать надо. Письмо жене написать надо. Она у него боевая, шум на весь город поднимет.

Не думайте, что мы — безнравственные злодеи. Во-первых, сотрудники конкурирующего отдела ничуть не лучше нас. Во-вторых, они сами обольют нас еще большей грязью, чем мы их. А в-третьих, мы спасем здоровую социалистическую семью морально разлагающегося заведующего отделом ручного протезирования. Гробовому это доброе дело особенно по душе, он подставит ножку конкуренту. А то, что мы вернем Шубина в ряды выдающихся алкоголиков города, это ничего не значит, так как он вернулся бы в эти ряды и без нашей помощи.

Затем мы перешли к основному пункту совещания. Милиция обнаружила, что работники нашего склада продавали протезы в колхозы, где их выбрасывали, используя лишь отдельные металлические детали для ремонта сельскохозяйственных машин. В комбинате знали об этих махинациях, но смотрели на них сквозь пальцы, так как благодаря им число не находящих сбыта ножных протезов было невелико сравнительно с прочими и мы имели за это премиальные надбавки к зарплате. Но вот началась кампания по борьбе с коррупцией, и не в меру ретивые «перестройщики» написали донос в милицию. Если дело дойдет до суда, первого места в соцсоревновании нам не видать как своих ушей. Гробовой сказал, что это дело он берет на себя,— районный прокурор его старый приятель. Наша задача — пресекать вредные слухи и сплетни на эту тему в отделе.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Как член партии я имею общественную нагрузку — занимаюсь в пропагандистском семинаре повышенного типа при райкоме партии и сам являюсь лектором райкома. Поэтому я должен регулярно читать газеты, журналы, сочинения классиков марксизма, партийные документы и речи вождей всех рангов. Но в этом есть и свой плюс. Таким путем

и слежу за событиями в мире и общаюсь с людьми. Как лектор я имею успех, и это приятно. За лекции я получаю немного денег и иногда премии. В прошлом году я получил бесплатную путевку в санаторий в Крым.

У меня нет никаких иллюзий насчет нашего общества. Недостатки его мне известны не хуже, чем диссидентам и «критикам режима». Но я принимаю наше общество и наш образ жизни как природную данность. Я не вижу возможности изменить ее к лучшему. Да и не хочу менять. Я не верю в то, что перемены приведут к улучшению жизни для тех слоев населения, к которым принадлежу я. А концентрировать свое внимание на негативных сторонах жизни — значит портить и без того не очень-то приятную жизнь.

В партию я вступил вовсе не из карьеристских соображений, как и большинство рядовых членов партии. Благодаря партии я могу более активно участвовать в общественной жизни. Какими бы формальными и скучными ни были партийные собрания и партийные поручения, я от них не откажусь ни в коем случае. Они делают связь человека с обществом прочнее и разнообразнее. А для такого инвалида, как я, это вдвойне важно. Я был бы счастлив, если бы меня выбрали в партийное бюро комбината или хотя бы отдела. На каждом отчетно-перевыборном собрании я попадаю в список кандидатов. Но каждый раз мне дает отвод Гробовой, мотивируя это тем, что мне физически было бы трудно выполнять функции члена партбюро. Все понимают скрытую суть отвода Гробового, но соглашаются с ним.

Сейчас мне надо готовиться к лекции о ходе перестройки в области. И я оставшуюся часть рабочего дня провожу в научном кабинете.

ПЕРЕСТРОЙКА

В последнее время вся наша жизнь идет под лозунгами «перестройки», «ускоренного развития», «гласности», «демократизации». Возможно, в Москве действительно что-то перестраивается радикальным образом. Мы же продолжаем жить и работать так же, как и раньше, относясь к «перестройке» как к очередной кампании. Правда, кампания эта далеко не безобидная. Жить теперь стало хуже, чем раньше. Хуже стало с продовольствием. Водка подорожала выше всякой меры. Очереди за ней, неслыханные ранее. На этой основе появилась масса мошенников. В застольных компаниях перестали рассказывать политические анекдоты. Снова стали говорить шепотом и избегать острых разговоров. Наказания за дисциплинарные проступки стали строже. Романтик говорит, что теперь административные комиссии работают с двойной нагрузкой. У нас в комбинате исключили из комсомола, уволили с работы и выслали в «Атом» одного парня только за то, что он назвал перестройку «политической потемкинской деревней». Конечно, эти ухудшения были бы и без перестройки. Но народ видит их причину именно в перестройке, поскольку они усилились именно в это время.

Я обо всем этом, само собой, в моей лекции говорить не буду. Это не значит, что я буду говорить нечто противоположное. Мои слушатели будут задавать мне обо всем этом вопросы и делать критические реплики. Я буду отвечать на них, соглашаясь с ними. Моя задача — обращать внимание на другие аспекты перестройки, о которых говорится в партийных решениях, речах руководителей, в газетных передовицах. Моя задача — давать апологетическую интерпретацию целей перестройки и ее перспектив. Моя позиция тут такова: да, все те недостатки, о которых вы говорите, имеют место, и мы сами их видим, но это — неизбежные издержки перестройки, в результате которой жизнь в стране очень скоро радикально изменится к лучшему. Большинство моих слушателей будет на моей стороне. Мне будут аплодировать. Людям все-таки нужна какая-то надежда на светлое будущее. Они заставляют себя верить в него вопреки фактам и здравому смыслу. Я вместе с ними участвую в своего рода идеологическом ритуале, который есть самообман, без которого люди жить не могут. Тем более они бессильны противиться тому, что им навязывают сверху. Конечно, рано или поздно энтузиазм сверху заглохнет в трясине масс населения. Но тогда придумают что-нибудь другое. Если высшие установки изменятся и горбачевцев будут критиковать за авантюризм, за отступления от принципов марксизма-ленинизма и за что-либо еще, мне будет дано указание подготовить лекцию уже в этом духе. И повторится тот же идеологический ритуал. Так уж устроена наша жизнь. И я не хочу менять ее, ибо всякие перемены суть лишь новый ритуал того же качества.

КОНЕЦ ТРУДОВОГО ДНЯ

В шесть часов звонок оповестил сотрудников комбината о том, что трудовой день окончился и они могут ринуться в свою столь же трудовую личную жизнь. Я прячу свои бумаги в ящики и шкафы, запираю их, закрываю форточку, игнорируя то, что между стеклами оказалась в заточении другая муха, и покидаю вместе со всеми комбинат.

— А почему ты решил, что это — другая муха? — спрашиваю я себя, спускаясь по лестнице.

— А потому,— отвечаю я на свой вопрос,— что та муха, наученная горьким опытом, вряд ли отважилась бы вторично пуститься в столь опасное приключение.

— А много ли уроков мы, люди, извлекаем из своего печального опыта? — не сдаюсь я.— Так чего же ты хочешь от простой мухи?!

Я шагаю к проходной, где меня обыскивают охранники, дабы я не вынес из нашего секретного учреждения какую-нибудь государственную тайну в виде супинаторов, костылей или протезов. Это выглядит довольно комично, так как метрах в ста от проходной сломан забор. Большинство сотрудников пользуется брешью в заборе, минуя проходную. И уносят с собой все, что плохо лежит и хоть как-то может пригодиться в хозяйстве. Шайка жуликов, переделывающих инвалидные коляски на тачки, существует полулегально. Я такие тачки видел у многих наших сотрудников на дачах и садово-огородных участках. В связи с поощрением «частной инициативы» в рамках горбачевской перестройки («новый нэп») эту шайку признали как легальное частное предприятие. Комбинат заключил с ними договор на поставку частей для тачек. Так что от перестройки у нас выгадывают прежде всего карьеристы, демагоги, проходимцы и откровенные уголовники.

По пути к автобусной остановке меня догнал заведующий группой инвалидных колясок. Попросил занять пятерку до получки. Я сказал, что сам собираюсь занимать. Он удивился: я же непьющий, алиментов не плачу, у меня же денег — куры не клюют. Я сказал, что на мою зарплату теперь и курицу не прокормишь. Он буркнул, что странно слышать такие политически незрелые мысли от старого члена партии. У заведующего — язва желудка. Он очень страдает. Но не от того, что у него язва, а от того, что из-за язвы он не может пьянствовать так, как пьянствовал раньше. Я заметил, что люди вообще больше страдают не столько от своих пороков, сколько от того, что им мешают предаваться им. Порок есть падение, добродетель — карабканье вверх. Падать легче. И какое-то время приятнее. Падение некоторое время ощущается как полет. Алкоголик, о котором я уже упоминал выше, утверждает, что несколько минут божественного состояния во время перехода из трезвости в пьяность стоят десяти лет унылой трезвости.

НАШ РАЙОН

Я живу в новом жилом районе, который расположен в десяти километрах от комбината. Чем, спрашивается, думало областное руководство, приняв решение построить жилой район для рабочих и служащих в десяти километрах от места их работы? Именно этот вопрос в риторической форме поставил секретарь ЦК КПСС Сусликов на XXVII съезде партии, критикуя брежневское руководство. Сусликову аплодировали. А ведь это именно он дал санкцию на строительство этого района, когда стал первым секретарем Партградского обкома партии.

Район назван был Новыми Липками в подражание московским Новым Черемушкам. Строился район как образцово-показательный, т. е. с расчетом на граждан с высоким уровнем коммунистической сознательности: в нем не построили никаких питейных заведений, хотя построили вытрезвитель. Местные пьяницы в связи с этой несуразностью засыпали жалобами все областные и столичные учреждения. Возглавлял эту кампанию трезвенник, инженер с военного завода, прозванный за это Правдоборцем. Он стал самой популярной фигурой в городе. Даже центральный нападающий хоккейной команды не мог сравниться с ним по популярности. Его влияние тогда было сопоставимо с влиянием римского папы, когда тот посетил Польшу. Заяви тогда Правдоборец, что он отменяет советскую власть в области и передает власть пьяницам, народ пошел бы за ним. Но он почему-то не рискнул на это, как и римский папа не рискнул отменить социализм в Польше.

После открытия в Новых Липках питейных заведений тут началось такое безудержное пьянство, какого еще не знала история Партграда. Правдоборец на сей раз начал кампанию против пьянства. Но сограждане на сей раз игнорировали его призывы, и он вскоре был начисто забыт,— поучительный пример того, что слава преходяща. Рабочий класс и служащие района, ведомые беспартийными инвалидами, ударились в такое буйство, что в конце дня стало опасно в одиночку появляться на улице. В середине дня тоже. Парами тоже. Драки, грабежи, изнасилования и мелкое хулиганство стали неотъемлемыми атрибутами будней жизни Новых Липок. Праздников тоже, поскольку по праздникам пьянство удваивается на законных основаниях.

Во время местных антиалкогольных кампаний пьянству в районе наносился серьезный урон. Но стоило ослабить контроль, как оно возрождалось вновь с удвоенной силой. Когда Горбачев объявил войну пьянству по всей стране, пьяницы Новых Липок отнеслись к этому с тупым равнодушием: они уже приучились пить все, что доводит человека до тошнотворного и бредового состояния, и наладили производство всякого зелья, сокращающего жизнь, но зато делающего ее оставшуюся часть более красочной и осмысленной.

Первое, что вы видите при въезде в Новые Липки, это бронзовый бюст бывшего секретаря ЦК КПСС Портянкина на гранитном пьедестале. На бронзовом лбу Портянкина мелом написано знаменитое русское ругательство из трех букв.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВАНДАЛИЗМ

Неприличные надписи на портретах вождей и плакатах, пририсовывание вождям усов и выкалывание глаз на портретах, осквернение памятников классиков марксизма-ленинизма и бюстов руководителей партии и правительства есть самое заурядное явление будней советской жизни. Это фактически стало таким же привычным делом для советских граждан, как посещение собраний и участие в демонстрациях. Кстати сказать, иногда это делается одновременно. Секретарь горкома партии по идеологии жаловался однажды, что после демонстраций больше половины портретов и транспарантов приходит в негодность из-за хулиганских выходок «безответственных лиц». Однажды я своими глазами видел пожилого отца семейства, награжденного орденами и медалями за трудовые заслуги, который, думая, что его никто не видит, написал на портрете Брежнева неприличное слово. Но в Партграде «политический вандализм» (это — газетное выражение) принял особенно грубые формы в связи с бюстом бывшего секретаря ЦК КПСС Митрофана Лукича Портянкина, установленным в Новых Липках. Бюст «воздвигли» (как писали газеты) после того, как Митрофану Лукичу в связи с тридцатилетием победы над Германией присвоили звание Героя Советского Союза «за выдающиеся заслуги» в организации партизанского движения в стране в период Великой Отечественной войны. Таким образом, к золотой звезде Героя Социалистического Труда, которую он получил как первый секретарь обкома партии, у Митрофана Лукича прибавилась золотая звезда Героя Советского Союза, и он получил право на бронзовый бюст на родине. В чем заключались «выдающиеся заслуги» Митрофана Лукича в войне, никто не знал. Впрочем, никто не знал и о заслугах самого Брежнева, который стал обладателем самого большого числа наград в истории человечества. Во время войны Митрофан Лукич был начальником гарнизонной бани и вошебойки в Партграде. Одновременно он числился командиром партизанских отрядов области, которые предполагалось создать на случай, если бы немцы оккупировали область. Но немцы до Партграда не дошли. Тем не менее Митрофан Лукич закончил войну в чине полковника и с десятком орденов и медалей. При Хрущеве он сделал карьеру на партийной работе. При Брежневе стал первым секретарем Партградского обкома партии и затем секретарем ЦК КПСС.

Сразу же после торжественного открытия бронзового бюста Митрофана Лукича на гранитном пьедестале появилось знаменитое ругательное слово из трех букв. Слово стерли, но оно появилось вновь. Так продолжалось две недели кряду. Начальник управления КГБ Горбань приказал учредить круглосуточное дежурство агентов КГБ около монумента. Но слово тем не менее появилось вновь. Когда Горбаню доложили об этом, он был настолько потрясен, что автоматически написал это слово вместо своей подписи под важным документом. После этого неприличное слово на монументе Митрофана Лукича перестали стирать. К нему привыкли и не обращали на него внимания. Но вот однажды пенсионеры, просиживавшие штаны на бульваре, где был установлен бюст, учуяли нехороший запах, исходивший от бюста. Приглядевшись внимательнее к подножию монумента, где по идее должны были бы находиться цветы от трудящихся, обожающих своих вождей, пенсионеры заметили большие кучи свежих человеческих экскрементов. Пенсионеры сообщили о своем открытии в Управление КГБ, решив, что тут «пахнет политикой». Пенсионеры в своем коллективном письме в КГБ писали, что, «начав с обсирания монументов и портретов вождей, безответственные личности докатятся до того, что начнут в них стрелять и кидать бомбы». В Управлении КГБ состоялось чрезвычайное совещание по поводу «осквернения святынь».

— Надо портреты и лозунги вешать так, чтобы хулиганы не могли достать до них,— сказал в заключение товарищ Горбань.— А памятники надо сооружать так, чтобы обсирание их было сопряжено с непреодолимыми трудностями.

Клумбу вокруг бюста Митрофана Лукича засадили колючими кустарниками. И вражеские вылазки на данном участке строительства коммунизма сократились до терпимого уровня. Но не прекратились совсем. Прошло несколько недель, и монумент вновь стал предметом надругательств. Колючие кустарники выдрали с корнями.

Теоретик предложил внести в стихийное движение по осквернению монументов советским руководителям профессионально разработанную теоретическую программу борьбы, подобно тому как это было сделано с внесением социалистических идей в стихийное рабочее движение. Мне он предложил возглавить движение, делая упор на то, что мне колючие кустарники не страшны,— мои протезы не чувствуют уколов колючек. Я поблагодарил за столь высокую честь, но от роли вождя такой вонючей оппозиции отказался. Теоретик сказал, что я упускаю неповторимую возможность прогреметь на весь мир и войти в число выдающихся поборников прав человека.

ПУТЬ К ДОМУ

Мой путь от автобусной остановки до дома проходит мимо пустыря, огороженного щитами. На щитах — лозунги и агитационные плакаты. На одном из них изображен Горбачев, одной рукой отодвигающий бутылку водки, а другой протягивающий молот рабочему в комбинезоне. Хотя плакат приклеен на высоте двух метров, кто-то пририсовал рабочему член — ответ народа на антиалкогольную кампанию.

К одному из щитов прилепился пивной ларек. Он давно закрыт. Но около него всегда толпится множество пьяниц самого низкого пошиба. Место удобное. После перепоя можно отсыпаться на пустыре. И спекулянты алкогольными напитками легко скрываются от милиции через пустырь.

На этот раз около ларька в грязи сидел одноногий мужчина. Он плакал, ругался и ломал свои костыли. Его собутыльники на мотоцикле вопили от восторга и хохотали. Подъехали милиционеры на мотоцикле с коляской. Пьяного инвалида впихнули в коляску и увезли. Пьяницы разошлись. Около ларька остались валяться лишь сломанные костыли. Какой-то старик подобрал обломки и унес с собой — авось пригодятся в хозяйстве.

Пока я наблюдал сцену у ларька, ко мне подошел Романтик. Сцена произвела на него тяжелое впечатление.

— Что происходит,— сказал он с гневом в голосе.— Ведь это наши, русские люди! Люди, совершившие величайшую революцию в истории, выигравшие величайшую войну в истории. Ведь эти самые люди создали сильнейшую мировую державу! А каков итог?!

— А может быть, именно потому, что совершили, выиграли, создали, мы и имеем такой итог,— сказал я.— Может быть, эти великие деяния оказались не по плечу и не по нутру народу? Может быть, это — неизбежная плата за великую историческую миссию?

— Эти вопросы мне не по мозгам. Это вам, молодым, решать их. Сегодня мы разбирали дело восемнадцатилетнего мальчишки. Бросил институт. Заявил, что отвергает наш социальный строй. Что было с ним делать? Решили направить в психиатрический диспансер. Я голосовал против. Председатель комиссии посоветовал мне подать заявление о выходе из комиссии по состоянию здоровья. А что я без работы?!

— Если вы чувствуете себя правым, сражайтесь! Ведь теперь у нас вроде бы демократия.

— Не лицемерьте! Да и с кем сражаться? Как? За что? А вы-то сами много сражаетесь?! Нет, молодой человек, суть дела посложнее этой примитивной морали. Это на войне было ясно, где враги и где свои. Вы знаете, кто наши враги?

— Мы сами.

— Вот то-то и оно!

НАШ ДОМ

Наш дом ничем, кроме номера, от других домов района не отличается. Не буду описывать его архитектурные достоинства, ибо таковых нет. Не буду также описывать его бытовые достоинства, ибо таковых тоже нет. Такие дома называют «хрущобами». Но мы и этим домом довольны, ибо те дома, в которых мы жили ранее, хотя и не имели тоже никаких достоинств, зато имели бесчисленные недостатки.

Из дома доносятся крики. Это один из жильцов пытается вынести какую-то вещь из дома, чтобы продать ее за гроши и продолжить пьянку с заводскими друзьями, а супруга грозит выколоть ему глаза и засадить в каталажку на пять лет за «членовредительство» (он ей уже «подвесил фонари» под оба глаза). Ну, теперь в их дискуссии уже ничего не разберешь, так как живущий над пролетарием студент включил на полную мощность телевизор, чтобы не слышать воплей пролетария и его супруги.

Жильцы нашего дома образуют, несмотря ни на что, единую советскую семью. Вы бы поглядели, какое праздничное единодушие овладело всеми нами, когда наконец-то решили объявить войну тараканам в масштабах целого дома! После этой кампании все жильцы перешли на «ты» и три дня отмечали победу над тараканами шумными пьянками. Правда, через неделю тараканы появились снова: в соседнем доме добиться такого единодушия не удалось, и к нам пришли их тараканы. Но пережитые праздники у людей отобрать уже нельзя. Они навечно остаются их неотчуждаемым богатством.

Около дома стоит Правдоборец. На сей раз он собирает подписи жильцов под жалобой в областное управление КГБ по поводу упомянутых выше тараканов.

— Почему же в КГБ? — спросил я.— Тараканы же не диссиденты и не иностранные шпионы. Это же не дело КГБ!

— КГБ до всего дело,— спокойно сказал Правдоборец.— Помяните мое слово, когда они узнают, что мы обратились в КГБ, тут ни одного таракана не останется.

— Кто «они»? — спросил я.— Тараканы?

Я медленно поднимаюсь на четвертый этаж. Лифта в доме нет. Как инвалид я имею право на жилье на первом этаже. Я подал заявление по этому поводу в жилищный отдел районного Совета. И вот уже скоро три года тянется волокита по поводу пустяковой про-

блемы, которую можно было решить в три минуты. Было письмо на эту тему от комбината. Писали в газету. Не помогло. В чем дело? Вот реальная проблема для мыслителей. Теоретик решает эту проблему просто: наше общество — общество уродов, и само как целое есть урод. И проблемы наши уродливые. И решения их тоже уродливые. Но мне это решение кажется слишком упрощенным.

ЛЮДИ

Дома, на кухне, сидит Солдат и подъедает все, что попадается под руку. Он уже успел где-то выпить. Жалуется на заводской «бардак», на начальство, на помои, какими их кормят в заводской столовой. Одновременно работать и учиться очень тяжело. Хорошо сынкам всяких чинов — в армии не служат, институты по вкусу выбирают, живут на всем готовеньком. Где справедливость?! Сравните, например, его и Фюрера, его приятеля. В школе он учился не хуже его. Но у него папаша комиссионным магазином заведует. Денег полно. Ко вступительным экзаменам в институт его «натаскивал» факультетский преподаватель, входивший в экзаменационную комиссию, так что ему была гарантирована пятерка по основному предмету. Приятель прошел по конкурсу, а Солдат — нет. В результате — армия. Три года потерял. А вообще, институт придется бросить: смысла нет учиться. Как инженер он будет получать меньше, чем сейчас.

Солдат ругает последними словами армию и тут же с гордостью говорит о жизненной школе, которая дала ему закалку на всю жизнь. Я, правда, не могу понять, в чем состоит эта закалка, так как Солдат с первого же дня «гражданки» начал пить, перестал заниматься спортом и по каждому пустяку закатывает истерику. О своем командире взвода рассказывал как о редкостной сволочи, а когда тот приезжает в отпуск (он — из нашей области), встречает его как родного брата.

Солдат для меня — психологическая загадка. Что предохраняет его личность от полного разрушения? Что делает его существом с сознанием «я» и с некоторой степенью надежности поведения? Иногда кажется, что он достиг предела деградации. А на другой день он является свежий, как огурчик, с ясными глазами и чистой совестью, готовый в любую минуту пасть еще ниже и тут же подняться, как ни в чем не бывало.

— Не ломай голову над моими делишками,— сказал он как-то, когда я выразил беспокойство за его будущее.— Не я первый, не я последний. Загнусь — не велика потеря. Выстою — не велика заслуга. Нашему брату иначе нельзя. Да и не получится иначе. Думаешь, я не пробовал? Пробовал. Я и пить бросал. А что толку? Тоска такая накатывается, что, если не выпьешь, непременно удавишься. Если хочешь знать, лучшие представители нашего народа все в таком же положении, как я.

Вроде бы хороший разговор. Но вдруг он изрекает какую-нибудь пошлость и искренне наслаждается ею.

— Я хам,— говорит он, насмеявшись.— Но наше русское хамство проистекает от нашей доброты душевной. Мы, конечно, постоянно плюем друг другу в душу. Но ведь не куда-нибудь плюем, а в душу! Не в урну, как это делают равнодушные друг к другу западные люди. В этом самое глубокое различие нашего (коммунистического) и ихнего (капиталистического) человека.

Если бы Будда хотя бы пару раз побывал в компании с Солдатом и побеседовал с ним час-другой, он в корне изменил бы свое отношение к «я». Признав отсутствие в мире такой вещи, как «я», он придумал бы какой-нибудь способ ее изобретения и вселения в человека. Наши люди ухитряются обрести все пороки, которые Будда приписывал «я», даже при полном отсутствии или аморфности «я», развивая тем самым то самое «я», без которого нет здорового социалистического «мы».

Солдат дождался своего приятеля с завода. Приятеля звать Антоном, но знакомые его предпочитают кличку Остряк. Он учится в заочном Юридическом институте: хочет со временем перейти на «чистую и выгодную» работу. В его суждениях порою чувствуется незаурядный ум. Но он скрывает его чрезмерным шутовством. Это — тоже русская национальная черта — склонность к юродству, боязнь показаться слишком умным, образованным, воспитанным.

Недавно Остряк как ударник труда был по туристической путевке в ГДР. Там его больше всего поразило то, что в каком-то музее он видел гребень королевы для вычесывания вшей. Королева — и вши! Причем гребень двусторонний: одна сторона — взрослых вшей вычесывать, другая — маленьких. Ничего не скажешь — немцы суть немцы! А еще его поразило то, что в королевском дворце не было туалетов. Король, королева, принцы, принцессы, графы, бароны, фрейлины и прочие выбегали по нужде в парк и оправлялись за кустиками. Весь парк был загажен. Когда наследный принц привез из Англии ночной горшок, над ним потешались все родственники и придворные. А еще немцы!

Ко мне Остряк относится с большим уважением, чем Солдат, но держится на почтительной дистанции. Я поинтересовался, откуда у него такие джентльменские манеры. Он сказал, что если нашего брата-Ивана слишком близко подпускать, то он превращается

в выдающегося пошляка и хама, а он, Остряк, хочет остаться человеком и потому держится подальше даже от самых близких людей.

Пришла с работы Соседка. Включила телевизор. Одновременно начала греметь на кухне. Телевизор теперь будет грохотать до полуночи.

Солдат и Остряк ушли по своим «мужским» делам — достать выпить где-нибудь, поболтаться с девчонками, поскандалить с ребятами из «неформальных» молодежных групп, которые у нас в последнее время появились по примеру Москвы,— с «липарями», «металлистами», «западниками». Остряк предложил Солдату заглянуть по дороге к Фюреру — школьному другу Солдата.

— Если забежит Настька, скажи ей, что я сегодня на комсомольском собрании,— не столько попросил, сколько приказал мне Солдат.

Фюрер — студент последнего курса. Зовут его Эдуард. Кличку получил за склонность к руководящей деятельности в комсомоле. Он считает наше время эрой торжества серых и слабых ничтожеств. Он был рожден для конкурентной борьбы с сильными, а не со слабыми. С сильными приятнее сражаться, чем со слабыми. Сильные хотя бы иногда признают твои победы и свои поражения. Слабые любую твою победу считают твоим поражением, а свое поражение — своей победой. Сильные хотя бы иногда бывают справедливыми и великодушными, слабые же — никогда. Быть побитым сильным не оскорбительно, но победа над слабым унизительна. Слабые побеждают своей ничтожностью и полным отсутствием всего. Среда слабых есть безвоздушное пространство для существа с сильными легкими. Вот в таком духе он иногда высказывается. Но он неглупый и добрый парень, помогает Солдату выполнять задания в заочном институте и часто выручает его деньгами. Иногда он заходит ко мне, чтобы «поговорить о серьезных проблемах», т. е. высказаться без риска отрицательных последствий. Однажды мы заговорили с ним о Солдате. Он сказал, что знает Солдата с первого класса школы. Солдат был крепкий парень, а Фюрер — хиляк. Солдат взял его под свою защиту и защищал его не раз, причем — самоотверженно. Солдат из тех русских людей, которые способны пожертвовать жизнью ради товарищей. И вместе с тем, он — типичный чеховский «хамелеон». Наше общество вообще есть общество социальных и психологических хамелеонов. Это — исторически данная нам форма самозащиты, приспособления и общения. В этом году Фюрер кончает институт. Мечтает вырваться из «партградской трясины». Как отличник и комсомольский активист он вроде бы имеет шанс получить место в целевой аспирантуре в Москве. Целевая аспирантура означает, что стипендию ему будут платить из нашего города и по окончании ее он обязуется вернуться работать в Партград. Но Фюрер рассчитывает потом остаться в Москве. Главное — зацепиться за Москву хоть одним мизинцем.

НЕВЕСТА

С точки зрения жилья я принадлежу к средним слоям общества: я обладаю комнатой в четырнадцать метров. Я получил ее как инвалид — вот еще одно неоспоримое преимущество уродства, как сказал бы Теоретик. По интерьеру моя комната мало чем отличается от одиночной камеры каземата царских времен, макет которой вы можете видеть в музее. Стены комнаты увешаны фотографиями Невесты. Это служит предметом насмешек для моих знакомых. Невеста тоже надо мной подшучивает. Вместе с тем ей нравится иметь такого «верного рыцаря». Она стыдится, что «рыцарь» с изъяном. Но у других и такого нет, и она потому гордится тем, что я у нее есть. Явление это — стыдиться и гордиться одновременно — вообще характерно для нашей психологии: у нас каждое чувство и намерение уравновешены противоположными чувствами и намерениями. И в делах тоже. Наш человек, делая добро, вносит в него долю зла, а делая зло, разбавляет его каплей добра.

Забежала Невеста. Спросила, где Солдат. Я махнул рукой: мол, как обычно, пьет с приятелями.

— Брось ты его,— говорю я ей.— Ничего, кроме неприятностей, дружба с ним тебе не дает.

— И приятности бывают. И откуда тебе знать, что лучше — приятности или неприятности? Настоящая любовь без неприятностей не бывает.

— У тебя настоящая любовь?

— Да.

— А у него?

— Какое это имеет значение?

— Что такое настоящая любовь?

— Это когда ты без него жить не можешь.

— Я без тебя жить не могу...

— Это совсем иное дело.

— Выходи замуж за меня. Солдат все равно на тебе не женится.

— Пускай! Это его дело.

— Я не пью, не курю. Неплохо зарабатываю. Скоро начальником стану. В очереди на

отдельную квартиру стою. Как поженимся, сразу дадут. Двухкомнатную! Ты в техникуме учиться будешь. Инженером станешь. Дети будут. Я с ними все свободное от работы время возиться буду. Что еще тебе нужно?! То, что я инвалид, к атому привыкнешь. Все люди так или иначе инвалиды. Твой Солдат будет инвалидом похуже меня.

— Мне скучно так жить, как ты говоришь.

— Чего же ты хочешь?

— Чего-нибудь особенного, яркого.

— А с Солдатом тебе не скучно будет?

— Так ты сам говоришь, что он иа мне не женится.

Она убежала «спасать» Солдата. Любопытно, как сложились бы наши отношения, если бы у меня была отдельная каартира. Скорее всего Невеста ие выдержала бы и вышла бы за меня замуж. У нас появились бы дети. Семейные хлопоты завладели бы ею. Она подурнела бы. Ей было бы не до распутства. И мы были бы счастливы в общепринятом смысле слова «счастье».Но мне и этого было бы достаточно.

ДРУГ

В соседнем доме живет мой ближайший друг Сергей Григорьев. Он слепой. И наши общие знакомые за глаза так и зовут его Слепым. Хотя он родился не в «Атоме», как я и Теоретик, он тоже жертва того же общественного прогресса. Родился он с кровавыми бусинками вместо глаз. Бусинки удалили. Матери предложили отказаться от ребенка, но оиа заявила, что лучше покончит с собой, чем сделает это. Отец мальчика отказался жениться на его матери и навсегда исчез из их жизни. Детство мальчика — детские ясли, детский сад, ящик около койки матери. Лишь когда мальчик пошел в школу, им дали крохотную комнатушку а коммунальной квартире. Каартиру в нашем доме Слепой получил, лишь став преподавателем института.

Слепой выдумывает «сумасшедшие» теории, которые никто не признает и нигде не хотят печатать. Например, ои построил теорию абсолютной пустоты, в которой доказал целый ряд утверждений, кажущихся невероятными: любой объем пустоты может сжиматься в безразмерную точку и, наоборот, безразмерная точка может расшириться в пустоту любого объема; все процессы в пустоте могут происходить с любой скоростью вплоть до бесконечно большой; в любой точке абсолютной пустоты может спонтанно появиться любое количество вещества и, наоборот, любое количество вещества может беспричинно исчезнуть в абсолютной пустоте. Другаи его теория — теория уникальных явлений. Согласно этой теории, явления с достаточно высокой степенью организации неповторимы. Так, он высчитал, что наша плаиета является единственной во Вселенной, пригодной для жизни разумных существ; и что никаких разумных существ, кроме человека, нигде нет и не будет. Так что если человечество погибнет на Земле, Вселенная никогда не породит разумных существ вторично.

Слепой миого читает, причем — не только по-русски, но и по-немецки, английски и французски. Он выписывает книги на западных языках из-за границы. Конечно, за счет общества слепых. Благодаря его усилиям там образовалась приличная библиотека иностранных книг. Кроме того, ему читают книги на разных языках специальные чтецы, оплачиваемые обществом слепых.

У Слепого иа двоих с матерью отдельная двухкомнатная квартира. Опять-таки преимущество уродства. Если бы он был зрячий, такую квартиру ему не дали бы. К тому же он схитрил. Ему положеиа дополнительная жилплощадь иа собаку-поводыря. Площадь он «выбял», а собаку заводить не стал. К тому же собаке положено особое мясо и субпродукты по сниженной цене. Хотя мясо «собачье», однако оио ничуть не хуже того, какое выдают у нас а столоаой по списку.

После ухода Невесты я иду к Слепому пить чай. Это стало традицией. Мать Слепого любит меня. И если я задерживаюсь, сама приходит за мной. И я их тоже люблю.

У Слепого сидит Катя, молодая, довольно приалекательная, незамужняя женщина, учительница английского языка в школе. Ее прозвали Моралисткой за страсть к морализаторству. Она читает Слепому книги на западных языках и заодно удовлетворяет его плотские потребности. Первую часть ее работы оплачивает общество слепых, вторую часть она выполняет бесплатно, по доброте душевной. Но при этом не теряет надежды женить на себе Слепого. По всякому поводу она читает всем нравоучения. Однажды мы засиделись долго у Слепого, и я провожал ее до автобусной остановки. К нам пристали подвыпившие хулиганы. Я сбил одного с ног. Второй сбежал. Моралистка обвинила меня в превышении меры самозащиты. Я сказал, что человек имеет моральное право защищать себя от насилия со стороны превосходящего по силе врага всеми доступными средствами. Она обвинила меня в безнравственности. Но в общем и целом она — очень хороший человек.

После чая у Слепого я иду в «Клуб». Слепой остался дома — надо готовиться к научной конференции в университете.

КЛУБ

В середине нашего даора имеется огороженное металлической сеткой пространство с убогими сооружениями и чахлой растительностью. Это — детская площадка. Но служит она главным образом для других целей: тут распивают алкогольные напитки, распевают наши бодрые соаетские и тоскливые дореволюционные песни и отсыпаются с перепоя пьяницы, кормящиеся а нашем магазине. Кормятся они с черного хода, расположенного в пяти шагах от детской площадки. Жители района называют это мрачное место «Клубом алкоголикоа», или просто «Клубом». Наза̀ние приобрело официальную силу. Когда в городе проаодилась очередная антиалкогольная кампания, в газетах появлялись гнеаные статьи с требоаанием наконец-то прикрыть Клуб — самое позорное пятно на нашем новом образцово-поквзательном районе. Вслед за этим во дворе появлялись полупьяные личности с ящиком и молотком, приколачиаали сетку к столбам, чтобы алкаши не могли проникнуть в Клуб, брали поллитроаку с черного хода, подползали под сеткой в Клуб, упивались там окончательно и мирно засыпали. Милиция смотрит на Клуб сквозь пальцы: пьяным все равно где-то валяться надо, так уж пусть лучше тут, не на аиду. Наш участковый сказал, что по валяемости пьяных на тротуарах и проезжей части улицы наш район благодаря Клубу вышел на первое место а городе.

Бывает, что на площадке гуляют и дети. По неопытности, конечно. После таких прогулок они поражают матерей и бабушек (отцов и дедов этим не удивишь) своими познаниями в области народного русского языка.

Посетители Клуба — народ разношерстный, не поддающийся никакой классификации. Иногда тут появляются профессора, писатели, чиноаники и даже старшие офицеры. Один раз забрел в доску пьяный генерал. И эти уважаемые граждане города проаодят тут время на равных правах с самыми подоночными отбросами общества. Демократия тут настоящая. Люди здесь оцениваются по уму, по талантам и по способности пожертвовать на общее благо какую-то сумму денег. И надо сказать, что, как правило, посетители Клуба с учеными степенями не превосходят по уму и образованности людей с сомнительным образованием; члены Союза писателей не превосходит по таланту безвестных хохмачей и балагуров; состоятельные граждане не превосходят по щедрости тех, кто отсыпается в подаоротнях и у помоек. Я не склонен идеализировать человеческое отребье. Я лишь хочу сказать следующее: чего же стоит благоустроенная и благополучная часть общества, если она выглядит так в сравнении с отбросами общества?!

Некоторые посетители Клуба поаляются тут регулярно. Некоторые — изредка. Но если человек посетил Клуб два или три раза, он тут уже считается своим. Как бы долго он ни отсутствовал, он рано или поздно появится вновь. Пояаится хотя бы затем, чтобы похвастаться предстоящим отъездом в Москау или поплакать по поводу предстоящей «вечной комвндироаки на тот свет», т. е. по поводу помещения в больницу с диагнозом, не оставляющим никаких зацепок для оптимизма. Некоторых посетителей Клуба как тунеядцев и нарушителей общественного порядка аысылают из города в «Атом», а то еще кудв-нибудь подальше. Им тут устраивают настоящие проводы, порою — очень трогательные. Как же эти люди живут, если случайное сборище пропойц и неудачников становится для них самым близким человеческим объединением?

Наш Клуб пережил все антиалкогольные кампании. Он держится и сейчас, несмотря на то, что против пьянстаа предпринимаются драконовские меры, включая неимоверно возросшие цены на алкогольные напитки. Это гоаорит о том, что дело тут не в пьянстве как таковом. Людям нужны какие-то неофициальные места, где они могли бы время от времени аστречаться и беседовать, очищая душу от накопившихся в ней болей и тревог. Наш Клуб — своего рода храм и исповедальня. Что же мы твкое есть, если наш храм является таким убогим? Спасает Клуб от ликвидации только бюрократическая волокита в инстанциях власти и скрытый саботаж указаний Москвы.

Сегодня в Клубе собралась довольно большая компания: Блаженный, Бард, Агент, Психолог, Полковник, два преподавателя университета — Профессора и какой-то старик, которого я тут увидел в первый раз. Бард на сей раз без гитвры — украли. Что из себя представляют эти люди по существу, сказать трудно. Мы астречаемся не так уж часто и знаем друг о друге лишь отдельные факты, да и то поверхностные.

БЛАЖЕННЫЙ

Не знаю, каково настоящее имя Блаженного, кто он по профессии, где живет и как зарабатывает на жизнь. Только один раз за все время нашего знакомстаа он заговорил о себе и рассказал следующее.

В каком-то учебнике русской литературы по недосмотру редактороа была напечатана такая фраза: «Лермонтов родился в деревне у бабушки, а то время когда его родители жили в Москве». Я не вижу а этой фразе ничего комического. Я сам родился в деревне бог знает у кого, когда мой отец был на фронте, а мать работала на военном заводе а Партграде.

В детстве я был убежден в том, что мой отец пропал без вести на фронте. Я гордился этим. Выдумывал романтические версии гибели отца: закрывает своей грудью амбразуру вражеского дота, бросается со связкой гранат под вражеский танк, взрывается с вражеским эшелоном. Однажды мать, сильно упившись, призналась, что мой отец дезертировал из части, направлявшейся на фронт, и лишь после этого пропал без вести. Я сначала очень переживал это известие. Но скоро привык и стал выдумывать новые романтические истории исчезновения отца: долговременное задание нашей разведки, бегство в Америку... Когда я уже кончал школу, у нас появился человек, который сказал, что служил с отцом в одной части, что долго разыскивал нас после войны, чтобы рассказать правду о гибели отца. Оказывается, отец не дезертировал. Их часть отправлялась на фронт. Ехали в товарных вагонах. Кормили их помоями, какие и свиньи жрать не стали бы. Многих пронесло со страшной силой, в том числе — отца. Оправлялись на ходу поезда. Двоим приходилось держать того, кто оправлялся. Когда держали отца, кто-то посоветовал для надежности держать его за уши. Все рассмеялись. Рассмеялись державшие отца и сам отец. И выронили отца, а, чтобы избежать неприятностей от начальства, сообщили, будто отец отстал от эшелона. Не все равно, как погиб человек?! Война же была. Конечно, они не подумали о том, что жена и ребенок останутся без пенсии. Да они и не знали об этом. Теперь он, гость, готов искупить свою вину и подтвердить, что мой отец был честным воином, а не дезертиром. Я сказал, что предпочитаю оставаться сыном дезертира, чем погибшего из-за поноса честного воина. Я представил себе хохочущего и исходящего поносом отца, падающего под колеса поезда, и сам начал хохотать от такой сюрреалистической картины. Гость укоризненно покачал головой. «Ну и молодежь пошла»,— сказал он, уходя.— Никакого уважения к героическому прошлому отцов!»... Школу я так и не закончил...

БАРД

Слово «бард» в применении к нашей русской действительности обозначает человека без слуха и без голоса, который нараспев шепчет или истошно вопит под гитару «стишата», сочиненные им самим или ему подобным другим существом в состоянии крайнего перепоя. Барды в нашей области появились, как и сама советская власть, не на пустом месте, а на большой дороге мировой цивилизации. У них были предшественники. Те ходили по поездам и вообще по людным местам, тренькали на балалайке и пиликали на гармошке, плаксивыми пропитыми голосами скулили жалостливые песни (вроде «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла...») и просили подать «кто сколько может инвалиду войны». В последние годы их вытеснили барды в указанном выше смысле слова. Барды сами стали сочинять злободневные стихи. Подаяние они не просят. Их подкармливают их поклонники. Иногда собирают им какие-то гроши, снабжают поношенной одеждой. Постоянной работы у них, как правило, нет. Власти считают их тунеядцами, время от времени задерживают и высылают из города, в основном — на химический комбинат или в «Атом».

Наш Бард — уже пожилой человек, ветеран войны. Время от времени он устраивается на работу сторожем, истопником или грузчиком. Работает ровно столько, чтобы не придиралась милиция. Он — хороший рассказчик. Вот один из его рассказов.

Случилось это в начале войны. Их подразделение отступало в глубь страны, не успевая зарывать убитых. Но однажды они одержали победу, которая им дала передышку, достаточную для того, чтобы сварить кашу, поспать и зарыть трупы товарищей. Они молча копали яму для братской могилы, стараясь не думать об участи, ожидающей их самих. «Не хотел бы я после смерти гнить вот в такой коллективной могиле,— вдруг сказал один парень.— Хотел бы гнить в отдельной могиле». На парня донесли в особый отдел. Его судили по законам военного времени и расстреляли. Но тут перед их начальством возникла проблема: как хоронить расстрелянного? В братской могиле нельзя согласно инструкции. И это было бы неуважением к здоровому коллективу павших воинов. А хоронить отдельно — значит удовлетворить желание преступника и пойти на уступку буржуазному индивидуализму. Всю ночь начальство совещалось в сарае, где расположился штаб подразделения.

Сейчас это может показаться смешным. Но тогда слова такого рода владели душами людей много сильнее, чем сейчас. Зато им тогда нынешние словесные баталии, вовлекающие в свою сферу миллионы людей, показались бы нелепостью и бредом сумасшедшего. О чем говорили участники той самой логической дискуссии в деревенском сарае (быть может, самой необычной дискуссии в истории логики), осталось неизвестным: на рассвете шальной немецкий снаряд угодил прямо в сарай. Смертельно раненный политрук приказал сбросить расстрелянного солдата в еще не зарытую братскую могилу. «Политически зрелый коллектив павших однополчан,— прохрипел он при этом,— поможет провинившемуся товарищу преодолеть пережитки буржуазного индивидуализма в сознании». Самого политрука зарыли в индивидуальной могиле в знак уважения к его высокому чувству коллективизма.

АГЕНТ

Об Агенте ходит слух, будто он — сотрудник идеологического отдела КГБ. Сам он этот слух не опровергает — почета больше от этого. По другим слухам он преподает марксизм в каком-то техникуме. Однажды мы завели разговор о том, что пошатнулась вера в марксизм. Он предложил такой метод преодоления этого непочтения к марксизму: создать особое тайное общество наподобие иезуитского ордена. Марксезуитский Орден! Конечно, при ЦК. Лучше — при КГБ. Задача Ордена — следить за чистотой марксизма и за тем, чтобы люди относились к нему должным образом. Дать членам Ордена особые полномочия. За границу щупальцы запустить. Напечатал, например, некий профессор книжонку без ссылок на марксизм. Поздно вечером к нему заходят двое мужчин и говорят: если ты в своей следующей вшивой статейке или книжонке не обозначишь четко и подобающим образом свое отношение к марксизму, дочку изнасилуем, черепушку кирпичом прошибем, квартиру ограбим, дачу спалим. Беда только в том, что теперь уже никто не знает, в чем должна заключаться чистота марксизма.

Когда в Клубе появляется Агент, предметом злословия становятся наша идеология, марксизм, классики марксизма (включая Ленина). Ничего особенного в этом нет. Мы вообще над всем и над всеми подшучиваем, и это ровным счетом ни о чем не говорит. Придворные королей подшучивали над королями, что не мешало им оставаться роялистами. Подшучивая над начальниками, мы выполняем их приказания. Солдат говорит, что в армии предметом их злословия был старшина, которого все боялись как огня и уважали. В нашем городе ни над кем так не издевались, как над Сусликовым. И ни перед кем так не холуйствовали, как перед ним. Анекдоты о Сусликове нисколько не помешали тому, чтобы его перевели в Москву, где он начал делать карьеру на самом высшем уровне.

Именно потому, что Агент не сдержан в суждениях на такие темы, его и считают провокатором КГБ: мол, ему приказано заводить такие разговоры, чтобы выявлять настроения других. Но из посетителей Клуба пока еще никто не пал жертвой его доносов. Зато сам Агент не раз намекал на то, что он имел неприятности за свои разговоры в Клубе и что в Клубе регулярно бывает по крайней мере один «стукач».

ПСИХОЛОГ

О Психологе нам известно только то, что он когда-то учился в Московском университете, подавал надежды как выдающийся ученый, был направлен на работу в нашу психиатрическую больницу, здесь свихнулся сам и опустился. Он — циклический алкоголик. У нас появляется в периоды запоя. Когда он более или менее трезв (это продолжается полчаса), он иногда говорит странные, но очень интересные вещи. Вот один из его разговоров для примера.

— Согласно нашей идеологии,— говорит Психолог,— для полного коммунизма требуется очень высокий уровень сознания. Я утверждаю как специалист: никаких уровней сознания вообще нет. Есть лишь определенная организация сознания. Так вот, уважаемые пропойцы, для полного коммунизма действительно нужно определенным образом обработанное сознание людей. Но я иду дальше классиков марксизма: я утверждаю, что этого и достаточно.

— Чепуха! — возражает кто-то.

— Для человека,— продолжает Психолог, игнорируя это замечание,— важно не столько реальное удовлетворение какой-то потребности, сколько сознание того, что эта потребность удовлетворена. Так вот, я утверждаю, что мы уже сейчас можем так обработать психику человека, что он будет сознавать себя живущим при коммунизме.

— Но ведь тогда общество погибнет,— опять возражает кто-то.— И как быть с теми, кто обрабатывает сознание прочих людей?

— Это не проблема,— говорит Психолог.— Часть людей будет оставаться с нормальным сознанием. Эта часть будет обеспечивать самосохранение общества. Она будет обеспечена по потребности на самом деле.

— Значит, общество разделится на господ, счастливых реально, и рабов, счастливых иллюзорно, за счет медицинских средств?!

— А вы надеетесь осчастливить всех? В мире сейчас около пяти миллиардов человек. Через сто лет будет десять миллиардов. Десять миллиардов счастливчиков!! И вы способны перенести такой кошмар?! Нет, дорогие пропойцы, сущность жизни — не счастье. Несчастье есть такой же необходимый элемент жизни, как и счастье. Загляните вон в ту помойку! Сколько там червей! И все счастливы. С точки зрения науки возможно общество, в котором сотни миллионов червяков-людей, ведущих помоечный образ жизни, воображают себя вождями, министрами, генералами, наполеонами, лениными, шекспирами и прочими великими мира сего.

ПОЛКОВНИК

Иногда у нас в Клубе появляется отставной полковник. Оньянов, он рассказывает всякие военные истории.

— Самыми ужасными для меня во время войны были два сражения,— рассказывал он.— После тяжелых поражений начала войны особым приказом Сталина были созданы заградительные отряды. Эти отряды располагались в тылу ненадежных частей. Их задача была расстреливать свои части, если те пытаются отступать без приказа свыше. Разумеется, были и перегибы. Хотя наша часть была вроде бы надежной, кто-то решил «подкрепить» наше наступление таким заградотрядом. Наступление наше сорвалось, оно было нам не по силам. Командир полка принял решение отвести полк на прежние позиции. И тут по нам ударили пулеметы и автоматы заградотрядчиков.

Для нас это было полной неожиданностью: мы об этом заградотряде вообще не знали. Сначала мы решили, что нас обошли немцы, и ответили на огонь огнем. Когда разобрались, что это — свои, мы с такой злостью ринулись на них в атаку, не слушая команд командиров, что через полчаса от этого заградотряда не осталось ни одного живого. И полк потерял от этой атаки больше, чем от немцев. Командование полка после этого, конечно, расстреляли. Полк расформировали. Немцы, между прочим, наблюдали наше сражение, не вмешиваясь в него. Они хохотали. И даже не стали преследовать остатки полка. Они и так были уверены в победе.

Другое сражение,— продолжал Полковник,— было уже в Германии. До капитуляции оставалось несколько дней. Многие немецкие части капитулировали, не дожидаясь общего приказа сложить оружие. Перед нами отступало эсэсовское подразделение. Надо признать, сопротивлялись они с остервенением обреченных. При этом они расстреливали своих солдат, решивших сложить оружие, обвиняя их в измене Родине. Так они однажды расстреляли около пятисот своих солдат. И вот одна немецкая воинская часть прислала к нам парламентера с предложением принять их капитуляцию. Там было что-то около тысячи солдат и офицеров. Командование нашего полка капитуляцию немцев приняло. Послали представителей проследить, чтобы немцы сложили оружие и в порядке направились в наш тыл, в плен. И тут появилась та самая эсэсовская часть. Началась оргия расстрела безоружных людей. Командир сдавшегося немецкого полка попросил наше командование вернуть им оружие, чтобы расправиться с эсэсовцами самим. Им выдали оружие. И тут началось такое ожесточенное сражение немцев против немцев же, какого я не видал со времени того нашего сражения с нашим заградотрядом. Дрались всеми средствами вплоть до кинжалов, кулаков и зубов. Эсэсовцев всех уничтожили. Но воевавший против них полк потерял при этом больше половины состава. Мы не вмешивались в эту битву. Но мы не смеялись над немцами: мы их уже победили. Какая же отсюда следует мораль? Нет более жестокого врага для людей, чем их ближние.

В КЛУБЕ

Было еще довольно рано. Все были трезвые. Пока никто не собирался раскошеливаться. Вообще говоря, это довольно интересная процедура — финансирование выпивки. Сначала все «жмутся», говорят о том, что у них «нет ни копейки», что «пропились вдрызг», что «кругом в долгах». Потом кто-нибудь не выдерживает и «выдает монету». Ему следует еще кто-нибудь. После первой порции алкоголя положение начинает меняться. Люди вытаскивают «из заначки» мятые бумажки и медяки. После второй дозы начинается оргия щедрости: все «вкладывают в общий котел» все свои запасы до последней копейки. Иногда к этому присоединяются часы, портсигары, автоматические ручки, шапки и даже обручальные кольца.

Когда я пришел в Клуб, была первая фаза обычного ритуала — трезвая. Говорили о житейской скуке, об однообразии людей и событий. Кто-то сказал, что в дореволюционной России в изобилии встречались оригинальные люди, описанные в классической литературе. Теперь таких людей нет. Теперь все стали штампованными.

— Не могу согласиться с этим,— сказал один из Профессоров.— Все зависит от нашего подхода к людям. С точки зрения дореволюционных писателей любой из нас мог бы стать сверхоригинальным явлением. Возьмите, например, Робота или Барда. Для Достоевского и Чехова они дали бы материала на толстый роман или на сенсационную пьесу. Сейчас такие произведения, какие сочиняли Достоевский, Чехов, Толстой и другие классики русской литературы, просто не напечатают. А потому и писатели их не пишут. Если бы появились правдивые описания жизни таких, казалось бы, заурядных людей, как мы, и книги такого рода свободно продавались бы, то авторы таких книг вошли бы в историю литературы как сверхдостоевские, сверхтолстые, сверхчеховы. Наверно, когда-нибудь так и случится.

— Вы правы,— сказал другой Профессор.— Я сомневаюсь лишь в том, что когда-нибудь у нас будут разрешены эти сверхдостоевские, сверхтолстые, сверхчеховы. Ведь оригинальные личности дореволюционной русской литературы не воспринимали себя как нечто оригинальное. Они, как и мы, страдали от серости, скуки, однообразия.

— Пустые разговоры,— мрачно проворчал пожилой мужчина, впервые появившийся в Клубе.— Я прожил жизнь, какую не пожелал бы и заклятому врагу. Повидал такое количество человеческих судеб, что хватило бы на сюжеты для сотен достоевских, толстых и чеховых. Но цена всему этому — грош. Основной и, пожалуй, единственный урок, который я извлек из своего жизненного опыта, заключается в следующем: нет во Вселенной более гнусной твари, чем человек. И наиболее гнусными из этих тварей являются те, кто кажется достойным восхищения и уважения. Самые подлые существа мне встречались среди так называемых порядочных людей. Самые невежественные и глупые встречались среди тех, кто считается образованным и умным. Самые бездарные встречались среди тех, кто считается талантливым. Больше всего зла мне причиняли добрые и вроде бы близкие люди. Невежественный, глупый, бесчестный, бездарный человек является скотиной вследствие невежества, глупости, бесчестности, бездарности. Образованный, умный, честный, талантливый человек становится сверхскотиной вследствие образования, ума, честности, таланта.

— Но бывают же исключения! — возразил кто-то.

— Бывают,— согласился старик.— Бывают исключительные чудаки. Но их уничтожают общими усилиями и обрекают на страдания. На них клевещут, их пачкают грязью. А главное — их вынуждают на абсолютное одиночество. Вокруг них создают непроницаемую оболочку, в которой они живут, если это можно назвать жизнью, в абсолютном одиночном заключении. Общество изолирует их. Так что для общества их почти что нет или даже совсем нет. Человек, не причиняющий никому зла, не обманывающий никого, не предающий друзей, проявляющий ум и талант ради самих ума и таланта и обладающий прочими абстрактными добродетелями, есть ничто, есть пустое место, в лучшем случае — объект для гнусных тварей по имени Человек проявлять свою гнусность. Короче говоря, исключения, о которых вы упомянули, суть явления абсолютно негативные, т. е. суть материализация отсутствия человека и человеческих проявлений.

Слова незнакомого старика взволновали меня. Я спросил себя, принадлежу ли я к массе гнусных тварей по имени Человек или к исключительным чудакам? Я боялся признаться себе как в том, так и в другом. Мне вдруг показалось, будто я заключен в незримую оболочку, сквозь которую ко мне не проникает ничто из окружающего мира и от меня ничто не проникает в окружающий мир. Я вроде бы существую, но меня не замечает никто, никто не считается с моим существованием, все проходят сквозь меня и мимо меня. Меня всего заполнил вопрос: зачем жить, если ты все равно не существуешь для других людей, т. е. не живешь на самом деле? Я успокоил себя тем, что у меня есть Невеста. Но другая мысль возвратила меня в прежнее состояние: можно ли считать, что она есть у меня, если у нее нет меня? Дело ведь не столько в том, кто существует для тебя, сколько в том, для кого существуешь ты. Существовать — значит существовать для других.

Пришел Романтик. Спросил Барда, почему он без гитары сегодня. Он, Романтик, весь день мечтал послушать Барда. День был гнусный. Настроение отвратное. Одна надежда — на Барда. К словам Романтика присоединились Профессора. У них было партийное собрание, после которого захотелось забыться.

— Гитару сперли, сволочи,— сказал Бард.— Польстились на такую рухлядь.

— Ладно,— сказал Романтик,— прости им сей грех. Страдивари я тебе не обещаю, но самый дешевый ширпотреб финансирую. На, держи! И поспеши, а то магазин скоро закроют.

— Ты Бог,— сказал Бард, взял деньги, предложенные Романтиком.— Эта гитара будет для меня самая дорогая из гитар в мире. И если мне когда-нибудь предложат поменять ее на «страдивари», не соглашусь.

Бард убежал в магазин. Агент сказал, что он получил гонорар за какую-то халтуру и сегодня он угощает. Начал собираться народ из окружающих Клуб домов. Я эти вечера в Клубе люблю чрезвычайно. Хотя и тут много грязи, пошлости и жестокости, но зато человеческое начало тут ощущается сильнее, чем где бы то ни было. Порою здесь это человеческое начало поднимается на шекспировские и даже библейские высоты. Вот и сейчас, пока Бард ходил за гитарой, а Агент с кем-то добывал выпивку с черного хода винно-водочного магазина, собравшиеся болтали о том о сем, и в том числе — о том, что такое настоящий человек.

— Главное в жизни настоящего человека,— сказал Романтик,— это с достоинством и вовремя умереть. Я никогда и никому не был обузой. Я никогда и никого не просил о помощи и об услуге. Я сам приходил на помощь другим, не дожидаясь их просьбы об этом. Я скоро умру. О похоронах моих я уже позаботился. Все оплачено. Я даже взятку могильщикам уже дал, чтобы закопали как следует. Заплачено и за выпивку, чтобы помянуть покойного. Надеюсь, такая жизненная позиция заслуживает уважения.

— При одном условии,— заметил кто-то,— если мы будем приглашены на поминки.

— Само собой разумеется.

— В таком случае живи, старик, вечно!

Пришел Бард со «свежесрубленной» гитарой. Услужливые пьяницы принесли выпивку и закуску, приобретенные на деньги Агента. Настроение у всех приподнятое. Бард нахваливает гитару. После первой порции выпивки он начинает петь.

По существу, а не ради проформы,
Бог, послушайся хоть раз меня!
Осуществи лишь одну реформу:
Нас местами всех поменяй.

Хотя слова его песен, по мнению знатоков, примитивны, хотя поет он далеко не блестяще и не столько поет, сколько хрипит, впечатление получается ошеломляющее.

Хоть бы раз вопреки натуре
Пусть все будет наоборот:
Мы пусть будем в номенклатуре,
А Они пусть станут народ.

Раздаются возгласы одобрения: «Правильно!», «Посадить бы их на наше место, пусть на своей шкуре попробовали бы эту перестройку!», «Зажрались, сволочи!».

Прикажи ты тому «народу»
Вдвое вкалывать за гроши.
Пить не водку, а только воду
Из-под крана ему разреши.

Плачущий Романтик вытаскивает мятые рубли. К нему присоединяются другие. Специалисты по добыванию алкоголя отправляются «на охоту». На них можно надеяться: не обманут и найдут выпивку. Из-под земли выроют. Костьми лягут, а найдут.

Трудно сказать, готовит Бард свой репертуар заранее или импровизирует. Он говорит, что импровизирует, а потом немного подправляет. Но никогда не записывает свои сочинения. Это делают иногда случайные слушатели, иногда поклонники, а чаще — осведомители КГБ. Бард шутит по сему поводу, что он за свою посмертную славу спокоен: полное собрание его сочинений хранится в Областном управлении КГБ. Ходит слух, будто сам Горбань является поклонником Барда.

НОЧЬ

Часов в десять все расходятся. Я тоже «скриплю» домой. С помощью изобретенных мною приспособлений освобождаюсь от протезов и готовлюсь спать, т. е. к размышлениям в течение бесконечно длинной ночи и к некоему подобию сна. Очень часто я вижу что-то такое, что сном назвать нельзя. На сны это не похоже. Это что-то другое. Вот сейчас я вижу огромный город с удивительными зданиями. Светлыми. Сверкающими. Но без окон. По улицам проносятся такие же прекрасные машины. Я чувствую, что в зданиях и в машинах находятся живые существа. Но мне их не видно. На улицах не видно никого и ничего. Даже пылинки не видно. Стерильно чисто и абсолютно пусто. И не слышно ни звука. Ни птиц. Ни зверей. Ни деревьев. Ничего.

— В чем дело? — подумал я.

— Эволюция,— услышал я Голос.— Когда-то было опасно выходить на улицу из помещений. И общество стало развиваться так, что люди отгородились от внешнего мира. Потом внешние опасности исчезли. Но люди уже привыкли жить так. И они уже не мыслят о том, чтобы выйти за пределы изобретенных ими ограничений.

— Но как же они должны смотреть на меня? — подумал я.

— Никак,— услышал я Голос.— Они тебя не видят.

— Физически? — спросил я.

— Нет,— услышал я в ответ,— люди привыкли к тому, что снаружи нет никого, и потому ты для них не существуешь, раз ты находишься вне их оболочки.

— Но я же есть! — воскликнул я.

— Это тебе только кажется,— услышал я свой собственный беззвучный голос.

Потом мне приснился одноногий пьяный инвалид, ломавший свои костыли. Мне показалось, этот инвалид был я сам и что ломал я свои протезы. Я очнулся и уже не мог заснуть до утра. Мне мучительно захотелось, чтобы рядом со мной сидела Невеста, чтобы она положила свою руку мне на голову, чтобы говорила добрые и ласковые слова, и чтобы я заснул, успокоенный и умиротворенный. Пусть насовсем. Я готов был заплатить всей оставшейся жизнью за такие минуты. Но Невесты не было. Не было никого. И мне оставалось ничего другого, как твердить одно и то же слово: живи!

ЖИВИ

Утром я обычно просыпаюсь с сознанием бесперспективности жизни. И как заклинание или как молитву твержу те же привычные слова. Живи! Раз возник, живи. Живи, несмотря ни на что. Родился крысой — живи крысой. Родился орлом — живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь навечно. А пока живешь — живи. И радуйся самому факту жизни.

Днем, придя на работу, я снова и снова твержу себе одно и то же: живи! Я гоню прочь мысли о реальности. И живу. И радуюсь самому факту жизни.

Вечером я долго не могу заснуть. И я десятки раз подряд повторяю одни и те же слова. Живи! Раз возник, живи. Живи, несмотря ни на что. Родился тараканом — живи тараканом. Родился крысой — живи крысой. Родился орлом — живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь. А пока живешь — живи. И радуйся самому факту жизни.

Среди ночи я обычно просыпаюсь от ужаса одиночества. И я опять без конца повторяю те же слова. Живи! Раз возник, живи. Живи, несмотря ни на что. Родился тараканом — живи тараканом. Родился крысой — живи крысой. Родился орлом — живи орлом. Придет твой срок, и ты исчезнешь. А пока живешь — живи. И радуйся самому факту жизни.

И так изо дня в день я твержу и твержу одну-единственную, состоящую из одного слова, но всеобъемлющую молитву: ЖИВИ!

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Не знаю, ставил директор вопрос о моих протезах на бюро райкома партии или нет. Только жизнь шла так, как будто никакого разговора по душам с директором не было. Но вот совершенно неожиданно меня попросили зайти в партбюро. Там помимо секретаря партбюро сидели Гробовой, заместитель директора комбината по научной части и инструктор райкома партии.

— Никак не подумаешь, что у вас протезы,— сказал инструктор райкома.

— Он у нас уникум,— прогоаорил заместитель директора.— В волейбол играет. Танцует.

— Ничего особенного,— ответил я.— Тренировка.

— Тут дело не только в тренировке,— заметил Гробовой.— У него особенные протезы.

— Надо сделать эти чудесные протезы достоянием всех трудящихся,— заметил секретарь партбюро.

— Всех?! — изумился я.

— Я хотел сказать, всех нуждающихся в них,— поправился секретарь.— Вот об этом, товарищ Горев, мы и хотим с вами поговорить. Потребность в современных протезах в нашей стране растет, а мы тут топчемся на месте. Раньше у нас бюрократы задавали тон. Теперь другое время. Теперь мы мыслим и действуем по-новому. Съезд партии и лично товарищ Горбачев нацелили нас на перестройку всех сторон нашей жизни. И нам пора перестраиваться. Вот вы изобрели для себя чудесные протезы, но не хотите...

— Я о моем изобретении докладывал не один раз,— прервал я речь секретаря, угрожающую затянуться надолго.— Все материалы, касающиеся моих протезов, известны в отделе и в дирекции комбината.

— Что нужно, товарищ Горев, чтобы довести дело до серийного производства? — спросил инструктор райкома.

— За эти годы он усовершенствовал свое изобретение,— бросил Гробовой,— но поступает эгоистически, не по-партийному, скрывая свое изобретение...

— Никаких принципиальных изменений в мое изобретение я не внес,— ответил я.— Мои достижения суть лишь результат тренировки передвижения на тех самых протезах. Что нужно для того, чтобы их усовершенствовать и довести до серийного производства? Принять их как опытный образец. Изготовить несколько десятков экземпляров. Предложить инвалидам пользоваться ими в течение полугода по крайней мере. Через полгода выслушать их замечания и внести усовершенствования с учетом этих замечаний.

Инструктор райкома счел мои предложения разумными и пообещал поставить вопрос о них на заседании бюро райкома.

ПРАЗДНИК УРОДСТВ

Поскольку мы перестраиваемся по западным образцам, наш кабинет завалили западными журналами и каждую неделю показывают западные фильмы. На прошлой неделе показали американский документальный фильм о безруком феномене, который ногами пишет картины маслом, играет на пианино, вдевает нитку в иголку и делает многое другое. Сотрудники комбината захлебывались от восторга. При этом никто не вспомнил о том, что карикатуры в нашей стенной газете рисует безрукий парень, работающий у нас

экспедитором. Правда, он рисует не ногами, а держа карандаш и кисточки в зубах. Но все равно благодаря его рисункам наша стенная газета считается лучшей в районе. Никто рисунки этого парня не собирает. Никто не собирается сделать его выставку. У вас в России не может быть феноменов, последние могут быть лишь на Западе.

Сегодня нам показали западногерманский фильм о фестивале инвалидов. Создатели фильма всячески выставляли на первый план уровень материального обеспечения инвалидов, технические средства, предоставляемые в их распоряжение, льготы трудоустройства. А тот факт, что участники этого праздника уродств были молодые люди, родившиеся уже после войны, а значит — были жертвами прогресса и благополучия общества, этот факт остался совсем не проявленным.

Наше начальство решило обратиться в областной комитет партии с предложением организовать аналогичный фестиваль инвалидов у нас. Обком идею одобрил и обратился с соответствующим предложением в ЦК КПСС. В Москве приняли решение провести фестиваль инвалидов у нас в Партграде под лозунгами перестройки. На подготовку фестиваля дали год.

Создана комиссия по подготовке и проведению фестиваля. Возглавляет комиссию второй секретарь горкома партии. Наш директор — его заместитель. Фестиваль предполагается устроить грандиозный. Будут приглашены иностранные делегации. Будет телевидение, пресса. Областное и городское начальство возлагает большие надежды на фестиваль. Благодаря фестивалю город приобретет мировую известность. Рядовые жители города тоже полны энтузиазма. Они надеются, что будет улучшено снабжение города предметами потребления, отремонтируют жилые дома, приведут в порядок улицы. Творческая интеллигенция надеется, что в городе наступит культурное оживление. Одним словом, предстоящий фестиваль произведет перелом в жизни области.

МНЕНИЕ СОЦИОЛУХА

— Устроители таких праздников уродств не отдают себе отчета в том, какую страшную тенденцию эволюции они оправдывают,— сказал Социолух по поводу фестиваля. — Нарушен биологический механизм самосохранения рода человеческого. Раньше уроды погибали или сознательно уничтожались. Теперь они сохраняются. О них даже заботятся больше, чем о здоровых.

— На то мы и люди, а не звери,— заметил я.— Это гуманно. Ты предлагаешь инвалидов и уродов уничтожать?

— Ни в коем случае. Я лишь констатирую факт нарушения биологических защитных механизмов и предсказываю катастрофические его последствия в будущем. Человечество погибнет не от современных видов оружия и войн, а от избытка гуманизма.

— Вот это теория! Что бы ты сделал, если бы тебе дали полную власть над судьбой инвалидов?

— Я бы увеличил заботу о них по крайней мере вдвое.

— Как тогда тебя понимать?!

— Я всего лишь человек, а не Бог.

— Ты думаешь, если бы был Бог, он поступил бы наоборот?

— Вне всякого сомнения. Что гуманнее — сохранять жизнь миллионам уродов, обрекая их на страдания, или не допускать их? Бог принял бы второе решение.

— Но ведь возможно и другое решение! Можно сделать так, чтобы инвалиды вообще не появлялись.

— Увы, это уже не во власти людей. Человечество уже превратилось в рабов и в жертвы своего собственного прогресса. Я бы на твоем месте написал книгу на эту тему.

— А почему бы тебе самому не взяться за это?

— Я социолог. С точки зрения социологии не существенно, являются люди уродами или здоровыми. Масса уродов уже не есть урод. Законы общества уродов те же самые, что и обществ здоровых. Бывают люди уроды. Но не бывает уродливых законов природы и общества. К тому же я не инвалид, у меня получилось бы неискренне.

— Ты думаешь, такую книгу напечатают?

— Все зависит от того, как ты ее напишешь. Если напишешь плохо, то напечатают. Кучу денег заработаешь. Известность. Государственную премию дадут. Если напишешь хорошо, не напечатают. И по шее дадут.

— Так какой смысл писать?

— И верно, никакого смысла в этом нет. Тем более у нас в комбинате готовится коллективный труд об инвалидах. Если узнают, что ты партизанишь в том же направлении, сотрут в порошок.

МНЕНИЕ ТЕОРЕТИКА

— Нам вроде бы пора ко всему привыкнуть и относиться к уродствам нашей жизни с полным равнодушием,— говорит Теоретик по поводу известия о фестивале.— И все-таки наша жизнь преподносит нам время от времени такие сюрпризы, что хочется разразиться площадной бранью. Наш город до сих пор не жил исторической жизнью в строгом смысле слова, а лишь имитировал ее. У нас не было ничего своего. Мы не внесли в мировую историю ничего значительного. Мы шагали в историческом строю как рядовые солдаты истории. И вот теперь нам засветила звезда известности. Но какая? За счет чего мы надеемся выбраться на арену истории? За счет праздника уродов! Причем праздник-то будет наверняка «потемкинской деревней». Ведь наших нормальных уродов нельзя никому показывать. Если их показать, эффект на Западе будет не меньше, чем от разоблачений сталинских репрессий. Значит, будет спектакль. Чисто пропагандистский трюк для очередного одурачивания Запада. Это будет праздник, но не для уродов, а за счет уродов. Точнее говоря, это будет праздник духовных уродов за счет уродов физических. Еще точнее — это будет праздник для руководящих уродов. Руководящие уроды из всего делают праздники для себя. Из побед и поражений, из удач и неудач, из улучшений и ухудшений. Они на сцене, они играют. А мы — лишь зрители их кривляний. Наше дело — аплодировать. Помяните мое слово, масса начальства получит за счет этого праздника уродства награды и повышения в чинах.

НАДЕЖДЫ

Слух насчет перевода директора в Москву подтвердился. Я здесь употребил слово «подтвердился» лишь в том смысле, что уже решено назначить нашего директора начальником Главного управления министерства. Но директором будет не Гробовой, а дальний родственник Сусликова, подвизавшийся в какой-то конторке города. Гробовой будет лишь первым заместителем, т. е. фактически будет заправлять делами комбината. Я вроде иду на заведование отделом. Мне и радостно и грустно одновременно. Радостно, поскольку работа будет отнимать у меня все силы и мне некогда будет переживать свою жалкую участь. Грустно, потому что работа будет отнимать у меня все силы и мне некогда будет размышлять о своей судьбе. Радостно, поскольку у меня будет большой кабинет и личная секретарша. Грустно, поскольку придется покинуть мой кабинетик, в котором прошли лучшие годы моей жизни. Зарплата будет больше. Квартиру, может быть, дадут. Если женюсь, наверняка дадут. Надо сейчас же сделать предложение Невесте. Хватит дурака валять! Семья, дети — это реальные ценности жизни. Почему я должен быть лишен этого?!

Но Невеста как назло куда-то исчезла. Солдат говорит, что она в доме отдыха. Но из намеков Остряка можно догадаться, что она сделала очередной аборт и «отлеживается» в больнице. Мне становится дурно от одной мысли о том, что она так нелепо растрачивает свою жизнь и что другие так жестоко обращаются с нею. Как только она появится, надо будет с ней поговорить самым решительным образом. Надо этот дурацкий образ жизни прекратить. Ведь еще несколько лет такой жизни, и она умножит ряды одиноких существ или, в лучшем случае, ряды матерей-одиночек. Хотя в этом тоже есть свой плюс: может быть, тогда она согласится выйти за меня замуж. Мне все равно, чей будет ребенок. Лишь бы она была со мной.

Ночью мне опять привиделся тот одинокий инвалид, ломавший костыли. Его окружала хохочущая толпа пьяниц, в которых я узнавал сотрудников комбината. Я осознавал, что я это вижу во сне. Но от этого становилось еще хуже. И все настойчивее одноногий инвалид превращался в меня. Исчезла вторая нога. Костыли превратились в протезы. Надо мною склонялись директор, секретарь партбюро, Гробовой и другие сотрудники комбината. Они требовали отобрать у меня протезы во имя интересов коллектива. А я ломал и ломал протезы. А они никак не ломались. И все вокруг хохотали.

МЫСЛИ ЧЕРВЯКА

Я мог бы найти женщину для удовлетворения чисто физиологической потребности, как это делают Слепой и Теоретик. У меня в группе, например, есть молодая и не очень безобразная женщина, готовая разделить со мной ложе только на том основании, что я для нее — начальник. У нас это — обычное дело. И все на это смотрят сквозь пальцы. Этому придают значение только тогда, когда поступают «сигналы» в партийную или комсомольскую организацию (жалобы жен, доносы завистников), а также в тех случаях, когда требуется разоблачать аморальное поведение намеченной по каким-то соображениям жертвы.

Но для меня эта проблема, тривиальная для других, превратилась в принципиальную: я ее прочно связал с проблемой любви. Печально не то, что наша жизнь рано или поздно

оканчивается, а то, что в пределах нашей короткой жизни все оканчивается очень скоро — дружба, любовь, преданность и прочее. И люди вынуждены в порядке самозащиты приучаться к изменам, предательствам, равнодушию, подлости. И плохо тому, кто не способен на это: он обречен на страдания. Однажды я был в доме отдыха. Познакомился там с девушкой из обслуживающего персонала. Очень приятная на вид, неглупая, легкая в общении. Мы подружились. Я уж собрался сделать ей предложение, но она сама опередила меня: предложила выйти за меня замуж, пожить некоторое время со мной, получить прописку в городе, устроиться на работу, а потом развестись и поделить жилплощадь. Она предложила себя за прописку в Партграде и жилплощадь! Я был настолько удручен ее предложением, что досрочно покинул дом отдыха. Она не могла понять моей реакции: ведь такое выгодное для меня предложение! Тем более, мне как инвалиду все равно рано или поздно дадут хорошую комнату, а то и отдельную однокомнатную квартиру.

Эпоха любви прошла. Любовь есть историческое явление, относящееся лишь к определенным эпохам и условиям. Любовь есть продукт цивилизации, изобретение людей. Причем никакой свободной любви и свободы любви нет. Любовь по сути своей есть несвобода, ограничение свободы. Где есть свобода, там нет никакой любви. Нужны усилия для сохранения любви, определенные правила, без следования которым любовь исчезает. Эти правила обременительны. Да люди их вообще не знают. Культура любви утрачена. Ее заменила более доступная и необременительная культура секса с минимумом кратковременных личных отношений.

Я навечно остановился на стадии романтического юноши, впервые ощутившего даже не любовь, а потребность в любви. Всезнающий Слепой сказал в том разговоре о сексе, что любовь изобрели рыцари, лишенные возможности иметь сексуальные отношения, что любовь есть лишь смутное ощущение неудовлетворенной сексуальной потребности. Не знаю, прав ли он или нет. Но я бы хотел, чтобы он ошибался. Я думаю, что если люди и изобретают любовь, то в каждую эпоху заново и по-новому. Кто знает, может быть, я — один из тех, кто занимается переизобретением любви.

Мне не нужно много женщин. Мне нужна всего одна, но единственная и неповторимая, нужна навечно.

Я с моей тоской по единственной и неповторимой Женщине не оригинален. Бард говорил, что он на своем веку видел десятки, а может быть, сотни женщин всякого рода,— он не считал. Но его всю жизнь не оставляла тоска по Единственной и Неповторимой, которая была бы только для него и была бы навечно, ради которой он был бы готов на все. Ему часто казалось, что он близок к идеалу. Но всегда в их отношения вкрадывалась какая-нибудь капля пошлости и грязи, которая уничтожала очарование.

А я согласен на океан пошлости и грязи, лишь бы Невеста была со мной. Пусть хотя бы на одно мгновение возникла иллюзия, будто она со мной и будто я для нее есть тоже Единственный и Неповторимый.

СВЕТЛЫЕ НАДЕЖДЫ

В городе всю неделю было сильнейшее возбуждение: возник слух, будто в городскую больницу привезли мужчину из «Атома», у которого любая пища в желудке выделяет алкоголь. Заметили, что после каждой еды в столовой он становился пьяным. Заподозрили, что он приносит с собой спиртные напитки и где-то прячет их. Он клялся и божился, что спиртного вообще в рот не берет. За ним установили тщательное наблюдение. Два человека сопровождали его в столовую, третий приносил ему еду. И все-таки этот человек пьянел от обычной еды через десять-пятнадцать минут. Его показали местным врачам. Но те только развели руками: феномен, еще не известный в медицине! Можно сказать, живой самогонный аппарат. Мутант! В городской больнице произвели тщательное исследование процесса пищеварения этого мутанта и установили, что у него действительно после еды наступает опьянение. Но каков механизм этого странного явления, установить не удалось.

В учреждениях, на заводах, на улицах, во дворах жилых домов — везде люди собирались группами и говорили об этом мутанте. Красота-то какая будет! Не жизнь, а рай. Съешь каши или картошки, а чувствуешь себя так, как будто четвертинку водки выпил. И бесплатно!! Многие любители выпить стали проситься в «Атом», надеясь на то, что и им удастся стать такими счастливыми мутантами.

О мутанте сообщили в Москву. Оттуда поступил приказ срочно доставить его в Академию медицинских наук. Что с ним там стало, осталось неизвестным. Жителям города разъяснили, что никакой алкогольной мутации тут не было. А было редкое психическое заболевание, в результате которого у больного от еды наступало состояние, лишь похожее на алкогольное опьянение. Наши пьяницы, однако, не успокоились. Не имеет значения, какое это опьянение — алкогольное или психическое. Лишь бы это было опьянение. А психическое даже лучше: на работе и в милиции не унюхают, что ты пьян. И если один такой счастливчик появился, то будут и другие. Дойдет повышенная радиация и до города, и, Бог даст, все мы станем такими живыми самогонными аппаратами. Вот будет жизнь!

МЫСЛИ ЧЕРВЯКА

Прошел дождь. На тротуары повылазили дождевые черви в огромном количестве и почему-то целыми «табунами» устремились на ту сторону улицы. Их давили машины, топтали прохожие, а они ползли и ползли с шизофренической настойчивостью, будто от этого зависела судьба всего их червячества (я чуть не сказал — человечества). Причем червяки с нашей стороны улицы ползли на ту сторону, а с той стороны — столь же упорно на нашу. Они не останавливались, чтобы потолковать друг с другом, сообщить свои впечатления о червячьей жизни на противоположной стороне, дать добрые советы. Они ползли, вообще не обращая внимания друг на друга и на встречных собратьев. Я сначала пытался идти осторожно, стараясь не наступить на них, щадя их бесценную неповторимую индивидуальную жизнь. Но выдержать эту осторожность долго было не в моих силах. Я раздавил одного, другого, третьего... «А ну вас,— сказал я им в конце концов,— из-за вас я опаздываю на работу!» И они десятками захрустели под подошвами моих основательно заношенных ботинок. Любопытно, воспринимали ли они мое катастрофическое для них шествие как историческую необходимость? А может быть, они вовсе не материалисты, а идеалисты и они восприняли это как судьбу, предначертанную им богами? И многим ли наше шебуршение отличается от их судьбы? Куда мы сами ползем? Почему мы проползаем сквозь встречных собратьев, не повернем их с собою назад, не остановимся, чтобы ощутить родство душ и единство?..

Понаблюдайте за собою хотя бы один день. Опишите все ваши движения и перемещения, все ваши мысли и слова. А через некоторое время просмотрите по возможности беспристрастно результаты ваших наблюдений. Уверяю вас, вы будете потрясены убогостью содеянного вами, и вам станет стыдно за то, что вы есть. Проделайте эту операцию несколько раз, и вы поймете, что человеческое самомнение насчет «венца творения» не имеет на самом деле серьезных оснований. И не ссылайтесь на продукты цивилизации. Они суть продукты коллективной деятельности миллиардов людей в течение долгого времени. И как таковые они уступают тому, что сделано бактериями, растениями, червиками. А в сопоставлении с творчеством мертвой природы они вообще ничто. О человек, возомнивший о себе червяк! Останови на мгновение свою суету, посмотри на себя и поразись своему ничтожеству! Поразись, и ты возрастешь благодаря этому много более, чем благодаря своему ложному самомнению. Поразись, и ты увидишь, что увешанный наградами червяк-генералиссимус есть такой же червяк, как и червяк-солдат, что прославленный червяк-академик ничем не отличается от самого отстающего червяка-студента, что пятерка по чистописанию и арифметике нисколько не возвышает тебя над общим уровнем червяков-троечников.

НЕВЕСТА

Позвонила Невеста. Спросила о Солдате. Мне хотелось сказать ей, что Солдат ее обманывает. Но я не смог этого сделать. Сказал ей, что нам следовало бы пожениться. Она сказала, что ей жаль меня и потому она не торопится дать согласие. Если мы поженимся, она скоро станет страшной и противной русской бабой, как все, и я буду разочарован. Лучше уж жить с красивыми иллюзиями.

— Обрати внимание,— добавила она,— почему кругом так много красивых девушек и так мало красивых жен? Почему так происходит? Куда девается красота?

— Пропадает не красота наших женщин,— ответил я,— а наша способность видеть ее.

— Хорошая мысль! Надо ее запомнить. Между прочим, со мной работает девчонка. Довольно симпатичная. Я ей рассказывала о тебе. Она заинтересовалась. Хочешь, познакомлю?

— Кроме тебя, мне никого не нужно.

— Ну и дурак. Она лучше меня. Скромная, старательная. Будет образцовая жена тебе. Решайся!

— Нет. Я жду тебя.

ЗАПАДНИЗАЦИЯ

Запад задолго до начала перестройки начал проникать в Партград, и прежде всего — в дома и души привилегированных слоев населения города. Трудно было найти в городе хотя бы одну семью из высших и даже средних слоев, в которой не было бы иностранных вещей, в которой не слушали бы западные радиостанции, в которой никто не читал бы книг на западных языках, в которой никто из членов семьи так или иначе не соприкасался бы с Западом. Многие думают, будто такое проникновение Запада в наше общество деморализует его. Такого мнения придерживается, например, Романтик.

— Слишком много мы стали заглядываться на Запад,— сказал он.— Ничего, кроме плохого настроения, у нас от этого не будет. Надо на все это смотреть исторически, как нас и учили в свое время. У нас с Западом разная историческая судьба. На Западе живут, а мы

боремся за выживание. Выжить любой ценой — вот наша историческая задача. И этот процесс выживании — не год, не десятилетие, а много десятилетий. Может быть, не одно столетие. Нравится нам это или нет, а от этого никуда не денешься. От тлетворного влияния Запада надо обороняться, а не поощрять его. Кто у нас выгадал от того, что иностранцев к нам стали пускать? Одни только жулики и паразиты. Зато посмотрите на нашу молодежь! Во что она стала превращаться?! Одеваться стали, как клоуны. Трясутся. Вопят. Преступность среди молодежи растет. Наркотики появились.

Социолух же считает, что Запад ускоряет эволюцию нашего общества, но не в западном, а в коммунистическом направлении. Запад способствует расслоению нашего общества и пробуждению в нем внутренней вражды, но сугубо в коммунистическом духе. Запад расшатывает советскую идеологию, но делает советских людей идеологически более гибкими и изворотливыми. Короче говоря, все то, что у нас могло возникнуть и развиться без влияния Запада, благодаря Западу возникает и развивается несколько быстрее и в более резких формах.

Романтик вообще считает всю перестройку предательством идеалов революции. Семьдесят лет строили и, выходит, неверно строили?! А то, что мы стали сильнейшей державой мира?! Все это, выходит, не в счет? Все, видите ли, ошибались. И вот явились умники, которые решили все ошибки исправить. А где эти умники раньше были? Они усерднее всех лизали задницу тому же Брежневу, которого теперь поносят. Дело не в личности Сталина или Брежнева. Миллионы людей в те годы жизнью жертвовали, себе во всем отказывали, чтобы страна выжила. Вся эта демагогия перестроечная есть оскорбление этих миллионов людей. Наш народ все равно не будет жить по западным образцам.

В том же духе высказывается и Бард. Он произнес в Клубе длинную речь, смысл которой заключался в следующем. На «перестройке» наживаются те же проходимцы, что и при Брежневе. Демократизация, либерализация, гласность и все такое прочее — это для западных идиотов. А для нас — повышение цен, удлинение очередей, суррогаты вместо нормальной еды и выпивки. И суды за всякие пустяки, которые теперь решили считать нарушением трудовой дисциплины. Сколько народу уже засудили?! Все это пахнет новым «Гулагом». Начали закрывать «нерентабельные» предприятия. А почему не закрыли самые нерентабельные — химический комбинат и военные заводы? А куда девать уволенных с работы людей? В Сибирь? А знаете, сколько человек они собираются в Сибирь переселить? Больше десяти миллионов! Эта перестройка означает отказ от всех лучших завоеваний нашей истории. К чему, спрашивается, были бесчисленные жертвы и страдания?!

Раскол людей в отношении к перестройке проходит не между поколениями. Я не принадлежу к поколению Романтика и Барда, но я разделяю их тревоги. Той же позиции придерживается и Слепой, и Теоретик. И даже Солдат. Он ненавидит всякого рода «неформальные» молодежные группы, как грибы после дождя появившиеся в последнее время. Они на заводе создают свои группы «в защиту завоеваний Октября» и дерутся со всякими «неформальными» группами, появившимися в последнее время.

ИДЕЙНЫЙ И МОРАЛЬНЫЙ РАЗБРОД

Ко мне в кабинет зашли Белов и Теоретик. Сказали, что в «Партградской правде» напечатана большая статья о культуре секса. Оказывается, наша страна безграмотна в области секса. От этого, мол, масса зол. Надо повышать культуру секса. Спросили, что я думаю по поводу этой статьи. Я сказал, что еще не читал ее и что эта тема меня не очень интересует. Теоретик сказал, что, по его мнению, автор статьи прав. Но вот методы, которые он предлагает, а именно — просвещение и образование, совершенно не жизненны. Страна должна пройти через все ужасы разврата, чтобы обрести некую культуру секса. И мы уже встали на этот путь. Белов же сказал, что автор статьи просто не знает того, что в области секса на самом деле творится у нас в стране. Тут нужна не некая культура секса, а жесточайшие запреты и наказания, какие применялись в средние века, чтобы восстановить некоторый минимум нравственности.

В городе стали циркулировать фотокопии книги о культуре секса, переведенной с английского. Все сходят с ума из-за нее. Солдат читал ночью, сидя на кухне. Остряк — в автобусе, по дороге на работу. Слепой специально «заболел» и взял бюллетень. Ему читала, конечно, Моралистка. Невеста читать не стала — ей было стыдно читать такие книги. Не стал читать и я. Я намеренно уклоняюсь от чтения всего, что связано с сексом,— мне это причиняет боль. Мой случай, может быть, единственный, когда запретный плод не сладок, а горек. При ближайшей же встрече говорили об этой книге.

— Порнография под видом науки,— сказал Теоретик.— Я не ханжа. Но когда срываются покровы с самых интимных человеческих отношений и в них вносится «инженерия», то я должен констатировать конец человека как существа божественного и превращение его в скотину, вернее — в механическое существо.

— А я считаю, что эта книга очень даже полезная,— возразил Солдат.— Ее надо издать миллионным тиражом. Мы дикари, нам есть чему научиться у Запада.

— Для большинства наших людей эта книга — все равно как кулинарная книга для голодающих,— заметил Остряк.— Это нужно пресытившимся и импотентам, а мы и без этого справимся.

— Кулинарию выдумали не голодающие, а сытые,— сказал Слепой.— И теперь результатами «извращенных» обжор и гурманов могут пользоваться миллионы обычных людей. Умение писать и читать тоже было когда-то достоянием одиночек. Так обстоит дело и с тем, что мы привыкли считать половыми извращениями. Пройдут годы, и они тоже станут всеобщим достоянием.

— Если быть логичным,— говорю я,— то и преступления станут всеобщим достоянием.

— Почему станут? — возразил Слепой.— Они уже стали.

— Я не думаю, что наше общество является таким уж целомудренным, как оно хочет казаться,— сказал Фюрер.— Многие наши люди не хуже автора этой книги осведомлены о том, о чем он пишет. Только у нас отношение к этому ненормальное. Какое-то похабно-стыдливое. Пошлое. Скабрезное. А на Западе об этом говорят и пишут как о чем-то естественном.

— Ходить в туалет — тоже естественное дело,— добавила Невеста.— И всякие неприличные болезни тоже.

— У нас правильно делают, запрещая такие книги,— сказала Моралистка.— Если их разрешить, то вся страна превратится в бардак.

— Она уже давно превратилась в бардак,— махнул рукой Слепой.— Только все делают вид, будто все морально непорочные.

Я — КОНСЕРВАТОР И БЮРОКРАТ

Но вот перестройка зацепила и лично меня. Я был членом Общества охраны памятников старины. Когда началась перестройка, Общество превратили в «неформальное» объединение вроде московской «Памяти», чтобы создать видимость либерализации и демократизации. Назвали его «Русь». Поскольку объединение стало приобретать политический характер с креном в национализм, я решил выйти из него. Меня вызвали в райком партии и долго уговаривали остаться и даже стать одним из руководителей, чтобы осуществлять партийный контроль над ним. Я сказал, что московских членов «Памяти» исключили из партии и комсомола, и я не хочу, чтобы меня постигла та же участь. Мне намекнули, что это — лишь для видимости. Но я все равно отказался от навязываемой мне роли и вышел из Общества.

Но мне это припомнили, причем — в извращенной форме. На партийном собрании на меня накинулся заместитель Гробового и обвинил меня в том, что я веду «двуличную политику» и «сую палки в колеса новому курсу партии». В комбинате все знают, что из себя представляет этот жалкий человек. Если уж нужно критиковать бюрократов и консерваторов, то лучшей кандидатуры, чем он, не сыщешь. То, что он выступил, никого не удивило: такого холуя и конъюнктурщика, как он, тоже поискать надо. Ему, конечно, аплодировали. Ничего особенного во всей этой комедии не было: надо же как-то обозначить готовность выполнять решения высшего руководства! Но почему этот червяк напал именно на меня? Он всегда держит нос по ветру. Значит, он почуял что-то или получил от кого-то указание напасть именно на меня. Меня это удивило, поскольку я всегда считался в комбинате образцовым работником. Может быть, именно поэтому? Есть установка критиковать, «невзирая на лица». Но я такой маленький начальничек! Если уж критиковать, то заведующих отделами или самого директора. Все ждали, что я тоже выступлю в ответ. Но я решил промолчать.

— Почему ты не выступил? — спросил меня после собрания Социолух.

— Зачем? — сказал я.— Игнорировать мелкие нападки — это тоже форма самообороны.

— Только не у нас. У нас надо на каждый удар отвечать ударом.

— Зачем?

— С волками жить — по-волчьи выть. Выступил бы, гавкнул бы на этого слизняка, поклеветал бы немного, и все увидели бы, что ты способен кусаться, что ты такое же дерьмо, как и все, и уважать больше стали бы. Ну, если не уважать, так бояться. Надо зубы показывать.

— У меня нет таких зубов.

— Тогда твои дела плохи. Беззубых волков в стае загрызают.

Оставшись один, я предался размышлениям о хорошем советском коллективе. Как было бы хорошо жить, если бы от тебя требовалось бы только одно — быть честным и добросовестным работником, а в коллективе оценили бы это сами и сами защитили бы тебя от плохих людей. Но, увы, об этом можно только мечтать. Самое привлекательное явление

коммунистического строя — коллектив — само порождает зло, разъедающее коллектив. Конечно, и у нас умеют замечать хороших работников. Но чего это стоит?! И к тому же надо попасть в число таких, кого решили считать хорошим. И надо вести себя так, как это требуется от тех, кто считается хорошим работником. Я действительно хороший работник. Но я, кроме того, обладаю качествами, которые вызывают раздражение в коллективе. Я не принимаю участия в склоках и интригах, и потому меня считают индивидуалистом, противопоставляющим себя коллективу. Живя среди волков, я стараюсь не выть по-волчьи.

АНОНИМКА

Через пару дней стало ясно, в чем дело. Меня опять попросили зайти в партбюро комбината. Я думал, что это опять по поводу протезов. Но ошибся.

— Насчет тебя тут поступило письмо,— сказал секретарь партбюро.— Анонимное, конечно. Чушь, конечно. Но ты не первый год в партии, сам знаешь: сигнал есть сигнал.

— Моя совесть чиста. Я не пью, не курю, женщинами не злоупотребляю.

— Знаю. Тут не об этом пишут.

— О чем же еще?

— Будто ты в пьяных компаниях, которые собираются у вас во дворе, разговорчики ведешь «не наши». Перестройку критикуешь.

— Я не говорил, ты знаешь. Я вообще молчу.

— Ну, слушаешь. И терпимо ко всякой антисоветчине относишься.

— Вздор это. Никакой антисоветчины у нас нет и быть не может. Мы же не Москва.

— И то верно. Но все-таки ты прекратил бы посещение этих пьяных сборищ. Мы тебя на заведование отделом собираемся выдвигать, а тут — такие сигналы. Сам понимаешь.

— Понимаю. Такие сигналы все равно были, есть и будут, как бы я ни жил.

— Верно. Но все-таки. Женился бы ты, что ли. Квартиру отдельную дали бы.

— На ком?

— Ну, это не проблема. Желающих найдется сколько угодно. Ты не пьешь, не куришь, не шляешься по бабам, работник хороший, перспективы роста имеешь. Да за такого любая баба пойдет.

— Любая мне не нужна.

— Понимаю. Иди. И все-таки прими к сведению.

Из партбюро я ушел с таким ощущением, будто меня выкупали в помойке. Эта анонимка, очевидно, не дело рук Прввдеца. Тот должен сообщить о моем морально-бытовом разложении. До политических обвинений он еще не дорос.

КЛЕВЕТА

Слух о том, что яа меня написали анонимку в партбюро, распространился по комбинату. Хотя это было не в первый раз и я вроде бы к этому привык, состояние было все-таки отвратное. В комбинате обо мне говорят, будто я гомосексуалист, наркоман, импотент. Считается бесспорным фактом, будто я у себя дома «развел бардак», а во дворе создал «антисоветскую организацию». Теперь к этому присоединилось убеждение, будто я — карьерист. В дирекции комбината и в райкоме партии стали поговаривать обо мне как об одном из кандидатов на пост заведующего отделом в связи с предстоящей реорганизацией руководства. А люди, знающие меня много лет и вроде бы хорошо относящиеся ко мне, распустили слух, будто я рвусь в начальство. И все они прекрасно знают о том, что я больше всех в отделе имею оснований для заведоввния, что я могу организовать работу лучше Гробового, что и им было бы лучше во многих отношениях. Но они никак не могут примириться с тем, что мне может выпасть такая удача. Ведь и зарплата моя тогда увеличится почти вдвое. И квартиру отдельную дадут. И автомашину вне очереди и со скидкой купить смогу. А они все по-прежнему будут прозябать все в том же жалком состоянии. Нет, такое допустить они не могут. И вот в ход идет мощное оружие сдерживания успеха ближнего — клевета. Может быть, отчасти поэтому у нас предпочитают не выдвижение сотрудников своего учреждения, а назначение лиц из других учреждений.

Ко мне в кабинет зашел Теоретик. Сказал, что комбинат буквально ожил, узнав об анонимке на меня. Люди боятся больше всего того, что меня могут повысить в должности. И вообще боятся, что мне выпвдет какая-то удача. И потому выдумывают всякую чепуху.

— Клевета,— сказал он,— вообще имеет преимущества перед правдой. Она выглядит более правдоподобно, чем правда. Она специально изобретается с таким расчетом, чтобы вызывать доверие. В ней есть элемент творчества. В ней учитываются психологические законы доверия. Правда же лишена способности вызывать психологическое доверие. Она вызывает раздражение именно тем, что она правда. Наивно рассчитывать на то, что правду признают в качестве правды только на том основании, что она есть правда. Клевета есть воля масс людей, воля коллектива. Клевета есть идеальный образ человека в сознании окружающих его людей.

МИР ГЛАЗАМИ СЛЕПЫХ

Слепой пригласил меня на отчетно-перевыборное собрание в Обществе слепых, после которого должен быть концерт художественной самодеятельности силами слепых. Когда я шел туда, я представлял сюрреалистическую картину: слепые гардеробщицы принимают пальто, слепые контролеры проверяют членские и пригласительные билеты, сотни слепых заполняют зал, слепой президиум рассаживается на сцене, слепой председатель делает отчетный доклад о работе правления... Короче говоря, мне чудилось кишение слепых существ с вытянутыми вперед руками, щупающими все встречающееся на пути. Но все оказалось куда проще. Подавляющее большинство были обычные зрячие люди. Они вели себя как хозяева общества. Слепые же чувствовали себя нежеланными гостями, робко приютившимися на краешках стульев. Пожилая, бесформенная, хмурая женщина с пристрастием допытывала Слепого, кто я такой и зачем сюда пожаловал. А вдруг я диссидент? Вдруг напишу клеветнический материальчик для заграницы? А докажи, что ты — не американский шпион! Им не велено пускать никого из посторонних. Мне это надоело. Я сказал Слепому, что лучше уж пойду домой. Тогда он использовал последний аргумент — мои протезы. Ощупав мои «ноги», женщина просветлела лицом, улыбнулась.

— На таких штуковинах далеко не убежишь,— сказала она с подленьким смешком.— Как это ты наловчился на них ходить-то? Ни за что не подумаешь, что ненастоящие! Ну ладно, проходи! И чтобы ничего такого! Понял? А ты (это Слепому) смотри за ним в оба (опять захихикала). И бегите быстрее (опять смешок), а то сию минуту начинается!

Мы отыскали свободные места в зале, наполненном зрячими и слепыми из расчета три к одному. Ждали начала еще двадцать минут. Прислушивались к тому, что говорилось вокруг.

— Неужели Гречко опять изберут? — услышал я сзади.

— Само собой разумеется,— ответил другой голос.

— Но он же жулик! — возмутился первый голос.

— А кто теперь не жулик? — спокойно ответил другой.— Ты мне укажи конкретно, кто не жулик, и я ставлю бутылку!

— Но его же хотели судить за махинации в артели! — не унимался первый.

— Обком запретил,— ответил второй.— А ты мне укажи, где нет таких махинаций! Укажешь конкретно, я ставлю бутылку. Гречко неплохой мужик. Сам ворует, но и другим жить дает. Теперь без этого никак нельзя.

— Что за махинации? — спросил я у Слепого.

— Пустяки,— сказал он.— На базе артели слепых, в которой работвло всего человек десять, Гречко создал нелегальный цех по производству заграничных джинсов, водолазок и прочих тряпок, имеющих спрос. Заграничными на них были, конечно, только фирменные «нашлепки» вроде «Сделано в Америке». Но вещички делали, между прочим, неплохо, надо им отдать должное. В цеху работало больше сотни зрячих. Десятки агентов разъезжали по стране, сбывая продукцию. Заворачивали миллионами. Областное начальство тоже неплохо кормилось из этого источника.

На сцене появились руководители Общества и представители облсовета, обкома партии, обкома профсоюзов, гарнизона. Все встали, приветствуя появившихся бурными аплодисментами. Раздались приветствия в адрес ЦК и лично Генсека. Мы со Слепым покорно стояли и аплодировали вместе со всеми.

— Надо,— шепнул мне Слепой.— Если увидят, что я сижу или не аплодирую, непременно донесут, и тогда мне перестанут оплачивать чтецов.

Все дальнейшее происходило точно по той же схеме, по ккакой происходят аналогичные события в любом другом учреждении. Избрание почетного президиума во главе с Генсеком, принятие приветственной телеграммы с положенными заверениями, отчетный доклад. Были названы достижения и отмечены отдельные недостатки (нельзя без свмокритики), названы передовики производства и отстающие. В прениях выступали заранее подготовленные ораторы, превозносившие до небес пустяковые «достижения» и критиковавшие всякие мелкие пустяки (вроде «до каких же пор правление Общества будет мириться с тем, что кое-кто приносит с собой в столовую и распивает в рабочее время спиртные напитки!»). Короткую речь произнесли представители обкома партии и профсоюзов предприятия, шефствующего над Обществом. Выступил генерал и заверил, что наша армия стоит на стрвже завоеваний Октября. Потом вручали наградыы ударникам коммунистического труда. Те выступали с ответными благодарственными речами и с заверениями добиться еще больших успехов. Меня удивило то, что в президиуме где-то на заднем плане сидел всего один слепой, а среди выступавших их совсем не было. Не было их и среди награжденных.

— Так мы только называемся Обществом слепых,— объяснил Слепой.— На самом деле тут есть Общество за счет слепых. Конечно, и нам тут кое-что перепадает. Но за счет этого тут живет куча здоровых паразитов. А Гречко скорее всего пойдет с повышением в областной Совет. Председателем правления изберут, я думаю, Шевченко. Это тот, который вел собрание, когда Гречко делал доклад.

Случилось так, как и предсказал Слепой. Когда стали выдвигать кандидатуры в новое правление, Гречко взял самоотвод. В зале наступила зловещая тишина. Но скоро все разъяснилось. Представитель обкома партии взял слово и под аплодисменты сказал, что товарищ Гречко переходит на более ответственный пост в областном Совете.

В перерыве все ринулись в буфет, где по спискам продавались бутерброды, конфеты, колбасы. Списки разной степени важности. По списку, в котором фигурировал Слепой, он мог купить бутерброд с сыром и с вареной колбасой, но не с икрой.

Концерт художественной самодеятельности тоже мало чем отличался от таковых в учреждениях, где мне пришлось до сих пор бывать. Выступили сначала профессиональные артисты, певцы и музыканты из городских театров и из филармонии. Потом выступали доморощенные артисты Общества, главным образом — зрячие. В основном плясали и хором пели старинные русские и современные советские песни. Из слепых выступило всего трое. Красивый молодой человек читал стихи Блока. Читал плохо. Но он внешне был очень похож на Блока, и ему щедро аплодировали. Впрочем, аплодировали всем. Пожилая женщина сыграла на рояле «Турецкий марш». Молодой парень (еще школьник) имел самый большой успех, и я думаю — вполне заслуженно: он жонглировал тремя шариками, всего лишь два раза уронив шарик на пол. Я начал было рассказывать Слепому, что вытворяет этот мальчик на сцене, но он остановил меня: не надо, он сам все слышит хорошо. Это меня удивило больше, чем то, что я видел на сцене.

— Главная проблема всякого уродства,— сказал Слепой, когда мы шли домой,— достичь максимального приближения к здоровым образцам. Возьмите этого мальчика! Для зрячего жонглера то, что он делал, есть нечто примитивное. Я был в цирке и видел (!), как жонглер работал с десятью шариками. Субъективно достижение слепого мальчика неизмеримо серьезнее достижения зрячего жонглера. А объективно?.. Трагедия уродов состоит в том, что жить им приходится по законам уродства, имея в качестве нормальных образцов лучшие достижения здоровых. Я бы, например, тебе памятник поставил, но общество тебя никогда уже не наградит медалью за сокращение времени на одну секунду (на целую секунду!) на дистанции в сто метров.

МЫСЛИ ЧЕРВЯКА

Есть страдания физические. Например, у меня к вечеру начинается невыносимая боль в тех местах, где протезы присоединяются к остаткам ног. Эти страдания не зависят от нашего субъективного отношения к миру. И есть страдания духовные. Они в значительной мере зависят от того, как мы сами оцениваем свое положение в мире, точнее говоря — от того, что мы сильно преувеличиваем важность своей персоны. Эти страдания значительно уменьшаются, если оцениваешь себя объективно. Я этого добиваюсь обычно путем такого рода рассуждений.

Что ты такое есть,— говорю я себе.— Бесконечно малая частичка бесконечно большого Космоса, появившаяся на бесконечно малое время в бесконечно большом потоке времени. И знаешь ли ты, сколько таких мизерных частичек уже было в прошлом, существует сейчас и будет существовать в будущем?! Всей Солнечной системы не хватило бы только на то, чтобы написать число таких частичек. Так стоит ли носиться со своим «я»? Прошла вечность, прежде чем ты появился на миг. Еще миг, и ты исчезнешь. И после тебя опять будет длиться вечность.

А что такое бесконечность в пространстве и времени? Это значит, что в какой бы области пространства ты ни оказался, найдется другая область пространства, а которой ты еще не был. Какую бы точку во времени в прошлом ты ни выбрал, найдется что-то, что существовало до этого. Какую бы точку во времени в будущем ты ни выбрал, будет что-то существовать после этого. И бессмысленно задаваться вопросом, почему это имеет место. Вопрос «Почему?» имеет смысл лишь по отношению к отдельным явлениям в мире, а не ко всей совокупности явлений в пространстве и времени.

Бессмысленно также задаваться вопросом, зачем ты появился в бесконечном во всех отношениях океане бытия. Цели может иметь лишь уже живущее существо, но не факт его появления. Твои родители могли иметь целью породить тебя. Но это не было твоей целью. Наличие цели не есть непременное условие твоего бытия. Ты можешь иметь какие-то цели. И это не оправдывает твоего бытия. Но ты можешь жить бесцельно. И это не отвергает твое бытие. С этой точки зрения, твое положение в мире ничем не отличается от положения того дождевого червяка, на которого ты случайно наступил вчера на тротуаре.

И помни всегда, что в мире есть множество существ, положение которых еще хуже твоего. Захотел бы ты поменяться судьбой со Слепым, у которого здоровые ноги и который имеет в избытке женщин? Нет. Захотел бы ты поменяться судьбой с Теоретиком, который имеет здоровые ноги? Нет. А с Солдатом, который молод и совсем здоров, который обладает Невестой — недосягаемой для тебя мечтой? Нет. Так в чем же дело? В мире все устроено правильно. Живи, раз родился! Просто живи! Все остальное — суета, суета сует, всяческая суета и томление духа.

КАКОВ НАШ МИР

Наше общество мне кажется уродливым. Почему? Потому ли, что я сам урод, или потому, что оно само по себе уродливо? По мнению Социолуха, общественные организмы подобно организмам биологическим тоже бывают нормальными или уродливыми. Нормальные при этом суть большая редкость. Биологические организмы часто бывают нормальными, потому что их огромное число. А число социальных организмов очень невелико, во всяком случае, недостаточно велико, чтобы нормальные стали обычными. Наше общество является уродливым. Мы просто привыкли к его уродствам и не замечаем их. И даже сознательно разрушаем критерии различения нормальных и уродливых социальных явлений.

ИДЕОЛОГИЯ УРОДСТВА

Как утверждает Теоретик, соотношение нормы и уродства является простым и очевидным только в самых примитивных случаях. Норма сама по себе вообще реально не существует. Норма есть лишь абстракция от уродств, а уродства суть реальность нормы. Норма существует лишь в уродствах. Но мы все-таки говорим о норме как о реальности. Тут — смешение понятий. Есть норма абстрактная и норма реальная. Реальная норма есть реальное уродство, наиболее близкое к норме абстрактной, т. е. к идеалу. Потому есть нормальные уродства и ненормальные, уродства второго уровня. Фактически уродами и называют лишь вторых. Но где тут грань? В отношении крайних случаев это ясно. У тебя, например, нет ног. Тут никаких проблем. У меня есть руки. Но какие? Очевидно, для нормы недостаточно наличие ног и рук. Нужны определенного вида ноги и руки. В некоем животнообразном обществе я был бы обречен на гибель. Скорее всего, меня убили бы при рождении. В нашем обществе я живу благодаря благотворительности общества и даже приношу какую-то пользу. Но это не устраняет моего самосознания урода. Вот тут-то и зарыта собака. Ко мне приходил один пианист. По всем статьям здоровый человек. Но есть у него в руках скрытый дефект, который мешает ему стать пианистом выдающимся. И мысль об этом превратила его жизнь в сплошной кошмар. Ему советовали сменить профессию, чтобы ощутить себя полноценным человеком. Но пианист уже не может забыть о том, что он имел шанс стать великим пианистом, но не смог из-за какого-то незначительного, незаметного даже для специалистов уродства. У него в некоторых случаях реакция мизинца левой руки замедляется на ничтожную долю секунды, а мизинец отклоняется в сторону на какую-то долю миллиметра меньше, чем нужно. Для него это — природный дефект, причем — более значительный, чем для меня дефект моих рук. Он спрашивал, можно ли его дефект как-то компенсировать, если не устранить. Теоретически можно, а практически гораздо сложнее, чем компенсация моего или твоего дефекта. Тут есть свои законы. Чем незначительнее отклонение от идеала, тем сложнее должно быть устройство, компенсирующее его. Я посоветовал ему подбирать репертуар так, чтобы мизинец левой руки не влиял на исполнение. Но он сказал, что это еще хуже, так как в этом случае прочие пальцы работают хуже. Как видишь, наша драма далеко не самая утонченная.

По мысли Теоретика, уродство есть закономерное явление в природе и обществе. Временами и местами возникают целые уродливые миры. Если бы уроды не появлялись сами собой, люди стали бы производить их специально. Только благодаря уродам здоровые люди осознают себя в качестве нормальных людей. Так что сами отклонения от нормы суть норма. Ненормально другое: когда отклонения от нормы начинают доминировать над нормой, когда уродство становится более обычным явлением, чем его нормальный образец. Тогда все переворачивается и наступает деградация. Страшно быть уродом в обществе нормальных людей. Но во сто крат страшнее быть уродом в обществе уродов. И в тысячу раз страшнее остаться нормальным в массе уродов. Норма есть состояние, наиболее адекватное устойчивым условиям бытия, есть наилучший механизм индивидуального самосохранения. Уродство же есть порча этого механизма, есть ослабление способности индивидуального самосохранения. Уроды выживают лишь благодаря механизму коллективного самосохранения. Потому уроды — естественные коммунисты. Коммунизм как система жизни не только благоприятен уродам, он требует уродства как условия своего самосохранения. Вот что страшнее всего: то, что будущее принадлежит уродам. Будущее общество будет обществом неполноценных в том или ином отношении людей.

Это будет общество моральных, психических, душевных, интеллектуальных и физических уродов. Предвидеть это — дело нехитрое. Атомные испытания. Искусственные продукты питания. Бактериологические, генетические, психологические и прочие эксперименты. Фармакология. Я, например, есть типичная жертва «мирного» использования атомной энергии, Слепой — противозачаточных средств. А сколько таких?! Знаете ли вы, сколько в одной нашей области рождается всякого рода уродов с недоразвитыми или вообще отсутствующими конечностями, без ушей и глаз?!. И это — только начало. Мы суть лишь первые ласточки нового общества. С каждым годом процент рождающихся

уродов растет. А ведь войны еще не было! Психо-химические средства еще не пущены в ход! А что будет после этого?! Надо быть готовым к тому, что уродство физическое станет нормой, подобно тому как моральное и душевное уродство уже фактически признано в качестве нормы. Придет время, когда так называемых здоровых людей, если таковые останутся и будут появляться, будут специально калечить, подобно тому как сейчас пытаются лечить уродов. Первые две буквы в слове «калечить» отбросят в интересах гуманизма.

Физическое уродство — это еще не самое страшное. Страшнее уродство духовное. Оно есть неустранимое следствие самого социального существования. Человек от природы есть универсальный зверь, не связанный никакими ограничениями. Но он рождается и живет в обществе себе подобных. Чтобы в обществе можно было жить, люди ограничивают друг друга. Какими бы хорошими ни были эти ограничения, какими бы благими намерениями ни руководствовались люди, но результат их взаимных ограничений есть производство духовных уродов. Духовно здоровым может быть только человек с самой примитивной психикой. Развитие ума человека, воспитание и образование, накопление интеллектуального опыта — все это есть процесс формирования духовных уродов и чудовищ.

Уроды были и будут всегда. Есть определенные законы для этого. Они универсальны, как всякие законы. Например, с точки зрения уродов все люди суть уроды или должны стать ими. Чтобы все люди были так же несчастны, как и они сами,— такова затаенная мечта всех уродов. Они получают удовольствие только при встрече с еще большим уродством. Лишь несчастья здоровых способны сделать их на короткий срок счастливыми,— состояние счастливости уроды не способны сохранять долго. Людей уроды классифицируют не по полам, не по возрасту, не по классам и профессиям, а по типам и степеням уродства. Лучшие умы нашего комбината уже несколько лет работают над изобретением универсальной классификации уродств, но пока не достигли удовлетворительного результата. Теоретик предложил свой метод классификации уродств и измерения степени их. Заключается он в следующем. Надо составить более или менее подробный список всевозможных уродств и затем произвести опрос населения по правилам социологических исследований, как люди сами себя определяют относительно этих типичных уродств. Например, человеку предлагается ответить на вопрос, за какую цену (т. е. за какое уродство) он согласился бы избавиться от своих недостатков. Может быть, они скрытые. Опросив лиц со стандартными уродствами, можно упорядочить последние. Например, лучше без одной руки, чем без одной ноги. И тогда для каждого человека можно будет найти точное количественное выражение степени его уродства. Вот ты согласился бы пожертвовать одной рукой, чтобы приобрести одну здоровую ногу? Согласился бы. А я согласен пожертвовать одной ногой, чтобы приобрести одну здоровую руку. Значит ли это, что мы — уроды одной категории? Нет. Все-таки предпочтительнее быть без обеих ног, чем без обеих рук. Хотел бы ты со мной поменяться? Нет. А я вот хотел бы поменяться с тобой. Значит, я — урод более высокой категории.

Мы — живые существа. Основа живого — стремление к самосохранению. Все, что мы имеем, есть развитие защитной реакции живого. Если уродство неотвратимо, так почему бы в порядке самозащиты не принять его как факт, почему бы не возлюбить его и не извлечь из него пользу? Заметь, многие женщины любят иметь дело со слепыми, поскольку те не видят их недостатков и обладают повышенной похотливостью. Хромым и безногим уступают места в общественном транспорте. Импотенты избавлены от утомительных супружеских обязанностей. А душевные уроды избавлены от мук, связанных с жизненной активностью. Чем плохо? Нам представляется полная свобода выражения и маскировки своего душевного уродства, возможность упиваться им, оправдывать его, навязывать его другим. Всякое уродство имеет свои достоинства, и, наоборот, всякое достоинство предполагает некоторое уродство. Из этого постулата следует: если видишь в поведении человека нечто достойное похвалы, ищи в основе его некое явное или скрытое уродство.

Всякое уродство для более или менее терпимой жизни должно быть чем-то компенсировано. Самое распространенное и сильное средство для этого есть другое уродство, доставляющее удовлетворение, т. е. разврат. Потому уроды обычно болтливы, похотливы, пошлы, циничны, злорадны, мстительны, тщеславны, корыстны... Назови мне хотя бы одного урода, не поддающегося действию этого закона. Я знаю, ты имеешь репутацию человека сдержанного, аскетичного, благородного. Но ведь это — тоже форма разврата, ибо это есть нарушение некой нормы. Человек, уклоняющийся от общения с женщинами или от вина, есть такой же развратник, как человек, злоупотребляющий женщинами и вином. Ты избрал не негативную, а позитивную форму разврата, чтобы компенсировать свое уродство. Я уверен, ты хотел бы сбросить свои светлые ризы и грешить. Но тебе это так же трудно сделать, как бабнику и пьянице отказаться от злоупотреблений сексом и вином. Это верный признак разврата. Я компенсирую свое уродство развратом мысли. Я в своих интеллектуальных построениях не знаю никаких моральных ограничений. Я способен развить теорию, основывающуюся на любых постулатах, в том числе — на самых бесчеловечных. Как видишь, я тоже не свободен от действия закона компенсации.

ИДЕОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ

Постоянным оппонентом Теоретика в комбинате является его близкий друг Виктор Белов. Он окончил механико-математический факультет Московского университета, подавал надежды, но, попав к нам, застрял на уровне старшего преподавателя в каком-то институте. Защитил с большим трудом диссертацию. Ходили слухи, будто он сделал какое-то важное открытие. Но эти слухи его и погубили: вместо карьеры профессора ему пришлось удовольствоваться чисто символической ролью заведующего группой в нашем отделе. Когда в комбинате создали отдел теоретических проблем моделирования, Белова назначили заведующим его. Что делают сотрудники отдела, в комбинате никто не понимает. Поэтому к ним относятся с уважением, а они сами ощущают себя аристократами и смотрят на всех прочих свысока. А «все прочие» им мстят за это тем, что не дают им премий, прибавок к зарплате, квартир и других материальных благ, а также не пускают их во всевозможные выборные органы.

Белов считает, что здоровые люди совершают преступление, создавая общество, в котором вследствие прогресса с необходимостью рождаются дети-уроды. Но здоровые люди совершают двойное преступление, сохраняя этим уродам жизнь и обрекая их на страдания. Я возразил на это, сославшись на результаты исследований наших социологов. Социологи в течение нескольких лет проводят опрос инвалидов от рождения. На вопрос, что предпочли бы инвалиды — умереть при рождении или жить, почти сто процентов предпочли вторую возможность: жить, несмотря ни на что. Белов сказал на это, что вывод социологов априорно ошибочен, поскольку опрашиваемые давали ответ в силу индивидуального биологического инстинкта самосохранения, а не в силу соображений общей социальной целесообразности. При рождении люди не имеют выбора. А уничтожение существ, не сформировавшихся в личность, не есть моральное преступление. Конечно, тут есть юридический аспект. Но когда процент уродов от рождения станет реальной угрозой вырождения человечества, здоровые примут самые жестокие, с нашей точки зрения, законы на этот счет. Сейчас здоровых людей пока еще достаточно для продолжения рода человеческого. Через сто лет, может быть, будет поздно думать об этом. Рост числа людей не делает людей счастливее. Наоборот, он умножает сумму несчастий. Слишком много людей на планете. Надо остановить процесс роста населения. Естественно, начать надо с искоренения всяких уклонений от биологических норм.

Иногда дискуссии между Беловым и Черновым принимают весьма острые формы.

— Что нужно для здоровой и счастливой жизни? — говорит Белов.— Не так уж много. Физическое здоровье. Хорошее воспитание в семье и в школе. Хорошее образование. Интересная работа. Уважение в коллективе. Хорошая еда, жилье, одежда. Здоровая семья. Друзья. Культурные развлечения. Все это в принципе достижимо. И многие это имеют фактически.

— Многие ли? — возражает Чернов.— Ну, а если ты физически не здоров?

— Он предлагает слабых и уродливых индивидов уничтожать при рождении,— заметил я.

— Разумно,— согласился Чернов.— Допустим, все физически здоровы и никаких больных нет. А если люди заболевают, пусть их лечат идеальнейшим образом. Для многих ли граждан осуществим твой идеал в нашем обществе? Только для тех, кто по рождению оказывается в привилегированном положении, кто умеет устраиваться в жизни, преуспевает, делает карьеру. А какой ценой это достигается? А как быть с теми, кому не повезло с родителями, кому не удается сделать карьеру, кого оттолкнули более ловкие хапуги, кому не удалось получить хорошее образование и интересную работу?

— А я и не предлагаю мой идеал для всех,— говорит Белов.— Я лишь говорю о том, что нужно для здоровой, гармоничной и счастливой жизни. А кому удается этого достичь, это другой вопрос.

— И этот «другой вопрос» превращает в идеалистическую пустышку твой идеал,— сказал Чернов.— Надо исходить не из абстрактных идеалов, а из конкретной реальности. И изобретать идеалы применительно к реальным условиям. А что мы видим в реальности? У бездарного подхалима и пройдохи Гробового четырехкомнатная квартира, дача, должность, награды и все прочее. А у гениального изобретателя Горева — жалкая комнатушка, никакой семьи, никакой перспективы в смысле повышения по службе и признания заслуг. Вы все знаете, что за ничтожество был Сусликов. А кто он теперь? Секретарь ЦК КПСС. Я уж не говорю про такую мразь, как его помощник Корытов. Он ухитрился сохранить квартиру и дачу здесь. И в Москве получил по нормам генералов и академиков. Его с юности развратный сын в Институте международных отношений, а серая, как асфальт, дочь уже заслуженная артистка республики. Наверняка народной будет. А что ждет твоего сына? Помяни мои слова, ты еще заработаешь инфаркт, когда он окончит школу и попытается поступить в университет. Хотя у тебя там какие-то связи есть. Взятку дашь. Так что, может быть, обойдется. Продолжать?

— Не надо. Все это общеизвестно. Но надо же как-то жить. Если обо всем этом постоянно думать, то с ума сойти можно.

— Ага! Вот тебе первый постулат реального идеала здоровой жизни: игнорируй социальное неравенство и несправедливость, старайся попасть в число благополучных. Этому идеалу здоровой жизни и следуют фактически Сусликовы, Корытовы, Маоцзедуньки, Гробовые и прочие. Ну, а если ты не можешь попасть в эту свору социальных хищников, кровососов, приспособленцев, хапуг? Пойдем дальше. Возьмем семью. Укажи мне хоти бы одну здоровую в твоем идеальном смысле семью. Многие ли браки являются прочными и благополучными? Здоровая семья — замечательно. Но насколько она реальна в наших условиях? А дружба? Насколько она прочна? Ты что, не нагляделся еще на бесчисленные случаи в нашем учреждении, когда друзья предают друг друга и делают друг другу пакости? Мы вот с тобой друзья. А кто предложил отклонить мою кандидатуру на премию к празднику?! Разве я как работник хуже Сидоренко, которого ты предложил вместо меня?!

— В следующий раз...

— Не надо следующего раза. Я на тебя не обижаюсь. Я лишь пример привожу. Нет, друзья мои, никакого идеала здоровой и счастливой жизни нет и быть не может. Нужны идеалы совсем иного рода. Нужно, чтобы в нашем уродливом обществе заговорили уродливые страсти: ненависть, злоба, презрение, месть. Надо разбудить вражду и готовность драться.

— У нас это уже есть в избытке.

— А на что все это уходит? Значит, надо придать этому социально значимый характер и направить в единое русло.

— Новая революция? Мы уже пережили одну. И избави Боже от новой.

ЖИВИ

Я хотя и слушаю Теоретика, идеи его я не принимаю. Я не верю в то, что только несчастья других делают нас счастливыми. Я не верю в то, что только зрелище еще большего уродства приносит облегчение уроду. Я не верю в то, что только смерть других придает живым сознание ценности жизни. Это — лишь идеология больных, стремящихся навязать миру свои болезни как высшее здоровье. Я хочу, чтобы все люди вокруг были здоровыми и счастливыми. Если для этого нужно стать самым страшным из уродов, я готов пойти на это.

Не принимаю я и идеалы Белова. Моя идеология примитивна, как идеология червяка, если бы червяк мог иметь какую-то идеологию. Я еще верю в то, что смогу проползти отведенный мне кусок жизни и неведающая обо мне Судьба не наступит на меня и не раздавит меня на полпути. И как это ни странно, я еще верю в человеческую доброту. Мне стыдно в этом признаться, но мне доставляет удовольствие делать людям приятное. Стыдно, потому что я где-то вычитал, что подлинное добро должно быть бескорыстно, а если ты делаешь добро и получаешь от этого удовольствие, то это уже не добро, а что-то негативное. Но я не представляю себе, как это можно делать добро, не испытывая никаких чувств. Тогда это будет не человеческое действие, а что-то машинообразное. И тогда тем более к твоим действиям нельзя будет применить понятия добра и зла. И вообще, есть проблемы, которые лучше оставить нерешенными.

СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Раньше глазные протезы нам поставлял Китай. Назывались они «Свет идей Мао». Потом отношения с Китаем испортились и наступил острый дефицит глазных протезов. Уже тогда встал вопрос об их отечественном производстве. Где-то создали небольшую артель для этой цели. Но она не покрывала растущих потребностей в протезах. Теперь принято решение создать цех глазных протезов в нашем комбинате. Теоретик упомянул об этой новости, когда мы сидели у Слепого. Слепой сказал, что ему надоело носить темные очки и он не против, если ему ко дню рождения подарят пару искусственных глаз небесно-голубого цвета марки «Свет идей Мао». Я сказал, что у нас они будут называться «Свет идей Октября». Началась полушуточная-полусерьезная болтовня на эту тему.

— В США слепым пересаживают здоровые глаза. Только это дороговато. Один глаз стоит пять миллионов долларов.

— Где взять такие деньги? К тому же как попасть в Америку?

— У нас пересадкой органов тоже занимаются. Я один свой глаз готов пожертвовать тебе.

— Какой он у тебя?

— Маленький, черный, хитрый.

— Не пойдет.

— Глаз не проблема. У них наверняка целый склад здоровых глаз имеется. Любого цвета и размера подобрать могут. Главное — пробиться туда.

— В конце концов можно лично обратиться в Министерство здравоохранения.

— Видали они таких! В Москве академиков слепых несколько штук есть, да что-то им ничего не пересадили!

— Там на пересадку наверняка дикая очередь. Без взятки ничего не выйдет.

— Мы забыли про кибернетику. Сейчас наверняка делают устройства, подобные зрению и заменяющие зрение. Американцы вроде бы добились больших успехов в этом деле. И у нас наверняка этой проблемой занимаются.

— Занимаются, я это точно знаю. Но это — сверхсекретные вещи. Это же имеет военное значение. Аппараты, подобные зрению, устанавливают на снарядах, и те сами наводятся на танки и самолеты. Они буквально находят цель в любых условиях.

— Вот бы достать такой аппаратик! Узнать хотя бы, где такими вещами занимаются!..

— Недавно по телевидению целая передача была о восстановлении и компенсации утраченных органов чувств. У нас в городе, оказывается, есть школа для слепо-глухонемых. И инженер один выступал. Он хочет изобрести компактный поводырь для слепых.

Я наблюдал за Слепым. Мне стало жаль его. Я решил хоть чем-нибудь помочь ему. Неважно, что в конце пути его ждет разочарование. Важно, что какое-то время он поживет с надеждой.

ШКОЛА СЛЕПО-ГЛУХО-НЕМЫХ

Я предложил Слепому начать с самого легкодоступного и затем постепенно восходить ко все более труднодоступному, дерзая в конце концов на недоступное и невозможное. И мы отправились в школу слепо-глухо-немых, которая была создана у нас в городе на базе материала, поставляемого «Атомом», т. е. специально для детей-уродов, рождающихся в районе «Атома». Шли пешком, хотя школа была довольно далеко за городом. Погода была превосходная, времени у нас было в избытке, путь наш лежал через городской парк по крутому берегу реки. Слепой был в приподнятом настроении.

— Боже, как хорошо,— повторял он через каждые десять минут.— Такой день оправдывает все прошлое и будущее убожество. Именно в этом — в ощущении полной гармонии природы и тебя самого — заключается смысл и вершина нашего бытия. Все остальное — вздор! Как я завидую тебе: ты же видишь всю эту божественную красоту!

А что я мог ему на это ответить? Я действительно видел, но отнюдь не божественную красоту. На той стороне реки, где раньше были прекрасные необозримые луга, источал в небо ядовитые разноцветные дымы химический комбинат. На этой стороне снесли с лица земли вековую липовую аллею,— прокладывают новую дорогу к военному заводу. Дорогу ограждают от глаз посторонних высоким бетонным забором с колючей проволокой поверху. За озером высятся коробки новых цехов завода с узкими щелками вместо окон. Озеро уже огородили деревянным (пока) забором и поставили повсюду щиты с надписью «Посторонним вход строго воспрещен!». Недалеко от детского городка — длинная и беспорядочная очередь в пивной ларек. Вокруг ларька на траве уже валяются пьяные. Один блюет, держась за дерево, а другой блюет на первого, держась за него. Прошли равнодушные ко всему милиционеры. Подвыпивший парень пытается затащить хихикающую девчонку в кусты. Та сопротивляется, но не настолько решительно, чтобы ввести в заблуждение парня и зрителей этой сцены. Пожилой бухарик делает знак парню — он платит ему трешку, если он уступит ему потом девчонку. Парень грозит выбить бухарику оба глаза. В общем, красота неописуемая, божественная, как сказал Слепой. Я не хочу его разочаровывать.

— Да,— говорю я,— способность видеть эту божественную красоту есть великое благо. Люди не ценят его, поскольку имеют его. Сражаться за это благо, не имея его,— это величайшая цель в жизни.

— Конечно! — почти кричит Слепой.— Я бесконечно благодарен тебе за то, что ты вселил в меня надежду.

— А если нас ждет разочарование,— говорю я,— как я тогда буду выглядеть в твоем представлении?

— Пусть разочарование,— убежденно говорит он,— но путь к нему лежит через надежду, и это достойная плата за все.

В школу нас долго не пускали, выясняли, кто мы такие и зачем пожаловали. Проверили наши документы — а то вдруг мы иностранцы, можем написать бог знает что. Директор с нами разговаривать не захотел: занят. До нас снизошла заведующая учебной частью.

— В нашем распоряжении,— сказала она,— тридцать... ну, допустим, сорок минут. Так что используем это время с максимальной пользой.

Она нам заученным тоном рассказала то, что мы уже знали из газетной заметки и из телевизионной передачи. В этой передаче всех желающих приглашали посетить школу, уверяя, что воспитанники будут нам очень рады. Они проявили к нам полное равнодушие и оживились немного лишь тогда, когда им сообщили, что один из нас — слепой. Процеду-

ра общения с воспитанниками школы оказалась такой технической операцией, что никакого ощущения общения у нас не возникло. Общались с нами лишь сотрудники, работающие с ними. Они и проявляли какие-то эмоции, которые нам предлагалось считать эмоциями самих воспитанников. Покинули школу мы мрачными и подавленными.

— Я прочитал кое-какую литературу на эту тему,— сказал вдруг Слепой.— Теперь я своими глазами (!) кое-что увидел. И вот какие мысли напрашиваются тут сами собой. Если ты не возражаешь, я очень кратко выскажу их. Хотя мне трудно выражаться кратко, поскольку слепые — самые болтливые существа на свете.

Я сказал, что нет надобности говорить кратко. Путь нам предстоит долгий, и я готов выслушать все, что он сочтет нужным сказать.

— Ну что же, пеняй на себя,— ответил он.— Прежде всего, я не вижу абсолютно ничего гуманного в этой школе, что бы по сему поводу ни трубили участники этого дела и пресса. Какой же это гуманизм, если здоровые люди прилагают огромные усилия к тому, чтобы пробудить в этих несчастных существах самосознание и дать понять им, что они убоги в крайней степени, что они суть убожества из убожеств? Нет, это неслыханная жестокость. Это заведение на самом деле служит не на благо этих несчастных существ, а на благо тех здоровых, которые живут за их счет. Я не верю в их доброту. Они — шакалы в еще большей мере, чем существа типа Корытова и Сусликова. И обрати внимание, человечество проявляет полное равнодушие к судьбам миллионов здоровых людей, готово даже уничтожить многие миллионы излишних здоровых людей, проявляя при этом трогательную заботу о небольшом числе несчастных существ, которые даже не являются людьми в строгом смысле слова. Хотя люди и тут остаются людьми: они превращают эти человекоподобные существа в глубоко несчастных людей. Вспомни, на что жаловались эти интеллигентные научные сотрудники! На недостатки технических средств: эти средства не дают им возможности объяснить воспитанникам, что такое слух и зрение и что такое нормальная звуковая и письменная человеческая речь! Зачем им нужно это? А чтобы дать понять воспитанникам, как прекрасен мир и как прекрасно наше общество! Ты знаешь, в этом есть что-то в высшей степени зловеще-символическое: может быть, эти несчастные существа будут единственными, кто будет верить в красоту идеалов коммунизма и в то, что эти идеалы на самом деле воплощаются в жизнь именно в их идеально-райском виде. Между прочим, думаешь, я не догадываюсь о том, что ты видел вокруг, когда мы шли сюда? У меня ведь чуткий слух. Я слышал все, о чем говорилось у пивного ларька. И запахи!.. Какой кошмар! От этих запахов нет спасения! Ты — счастливый человек. У тебя нет такой остроты слуха и обоняния, как у нас. А глаза — их ведь можно закрыть!

МЫСЛИ ЧЕРВЯКА

Все так называемые вечные и великие проблемы, над которыми ломали головы мыслители и страдатели прошлого, низводятся у нас до червячного уровня. Быть или не быть — для нас тут никакого выбора нет. Допустим, не быть. Но что изменится в мире от того, что и не буду жить? Что выгадает от этого человечество? Кому-то достанется моя комнатушка, и этот червяк-человечек будет счастлив. Кому-то достанется моя ничтожная должность с моим малюсеньким кабинетиком, и этот червяк-человечек тоже будет счастлив. Вот и все. Допустим, быть. Что имеет от этого человечество? Кому я причиняю зло и мешаю жить? Много ли добра я вношу в мир? Кому я нужен?

Все великие проблемы суть на самом деле преходящие и мизерные эгоистические проблемки. Для меня весь мир крутится вокруг одной темы — моего личного уродства. Мое уродство стало для меня своего рода культом. Оно дает мне самосознание исключительной личности. Я и Невесту сделал богиней своего эгоистического культа. И это так же безнравственно, как и все то, что я считаю безнравственным в окружающих меня людях. Конечно, от этого не страдает никто, кроме меня самого. И никто не знает о том, какие мысли роятся в моей голове. И все-таки это не оправдание. Самые глубокие моральные проблемы возникают тогда, когда человек остается наедине с самим собою.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ УРОДСТВ

На совещании по поводу подготовки к фестивалю инвалидов Гробовой произнес речь, суть которой свелась к следующему: надо отобрать по всей стране наиболее ценные экземпляры ножных инвалидов — ученых, деятелей культуры, спортсменов. Затем надо научить их водить автомашину, танцевать, играть в теннис и многому другому. Мне решили поручить отбор безногих инвалидов в наиболее перспективных с этой точки зрения городах, включая Москву. Наконец-то я побываю в Москве!

— Счастливый,— сказала Невеста, узнав об этом,— в Мавзолее Ленина побываешь!

— Мне это счастье не светит,— сказал я.— Чтобы попасть в Мавзолей, надо много часов стоять в очереди.

— Тебя без очереди пропустят!

— Чтобы получить разрешение пройти без очереди, надо две недели ждать.

— Жаль. А то жизнь пройдет, а в Мавзолее так и не побываешь.

МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО

Невеста опять спит на моем диване. Я сижу па кровати и гляжу на нее. Много ли человеку надо, думаю я. Здоровье, хорошая работа, семья, уважение в коллективе — вот и все. Но это немногое не так-то просто иметь. Мне было бы достаточно иметь вот эту, честно говоря, не очень-то красивую и не очень-то умную девчонку. Обладание ею с лихвой покрыло бы мои потребности. Разве это много? Оказывается, много. Настолько много, что вообще недостижимо. Она доступна другим. Но это не меняет положение. Она недоступна мне, и потому она уже не есть храпящая девчонка. Она есть сияющая красотой Богиня.

Через каждые несколько минут я смотрю на часы. А стрелки словно застыли на месте. Я прикладываю часы к уху — вдруг они остановились! Нет, они идут. Время идет, оно лишь тянется, как вечность. А что в этом плохого? Это даже хорошо. Она же здесь, со мной. И смотреть на нее — радость. Так пусть же время остановится совсем! Словно подслушав мою мысль, время вдруг помчалось с ужасающей скоростью. Стоило мне на мгновение отвести взгляд от часов, как стрелки вдруг оказывались смещенными на целый час вперед. И вот она уже проснулась, взглянула на часы, воскликнула: «Ой, мамочки, опять опаздываю!» — и умчалась, не попрощавшись и не поблагодарив за ночлег.

Вечность тоже преходяща!

СКАНДАЛ

Как я и предполагал, мое предложение провести массовое испытание моих протезов и на этой основе усовершенствовать их было скоро забыто как в нашей дирекции, так и в райкоме партии. Но Гробовой, будучи уверен в том, что я уже и без этого испытания сделал какое-то важное изобретение, не отказался от своего намерения выведать его. Поскольку от него и его сообщников можно было ожидать любых пакостей, мне пришлось спрятать мои новые протезы и передвигаться на старых, которые я предлагал принять за опытный образец и пустить в массовое испытание. Мои новые протезы я разобрал, сложил в чемодан и отнес к Слепому, сказав, что тут у меня — ценные вещи, которые я не хотел бы держать дома.

Разумность моего решения скоро подтвердилась. Как испытатель я должен каждый год проходить всестороннее медицинское обследование. Лишь на основе такого обследования специальная комиссия должна решить, можно допускать меня к работе испытателя или нет. Это выглядит довольно комично, поскольку все мои функции испытателя заключаются лишь в том, чтобы время от времени писать ничего не значащие отчеты. Но если комиссия сочтет мое физическое состояние неудовлетворительным, меня отстранят от работы испытателя, что будет означать сокращение моей зарплаты. Это не очень много, но все же ощутимо. Именно так и случилось на этот раз. Хотя я был в отличной форме, комиссия сочла меня непригодным для работы испытателя протезов, тех самых протезов, в передвижении на которых я достиг виртуозного совершенства. Поскольку мои самодельные протезы не были приняты даже в качестве опытного образца к испытанию, у меня их отобрали. Я потребовал вернуть мне их обратно, заявив, что я в противном случае выброшусь из окна. Слух о том, что происходило со мной в санитарной части комбината, распространился каким-то путем по комбинату. Нелепость и несправедливость решения комиссии были настолько очевидны, что многие сотрудники с возмущением ринулись в дирекцию и партийное бюро. Протезы мне вернули. Гробовой и его сообщники успели, однако, за это время обследовать их. Никаких особых усовершенствований они, естественно, не обнаружили.

Комиссия решила пересмотреть свое решение насчет допуска меня к работе испытателя. Я, однако, сам написал заявление в дирекцию о том, что в сложившейся ситуации отказываюсь от работы испытателя. Меня вызвали в партийное бюро. Секретарь партбюро сказал, что считает мое поведение недостойным члена партии. Я пригрозил написать письмо в ЦК КПСС обо всем, что творится у нас в комбинате. Он сбавил тон, попросил «не разводить склоку в коллективе», пообещал «принять решительные меры к тому, чтобы нормализовать обстановку». Я не стал слушать его демагогию до конца и ушел, хлопнув дверью так, что она чуть не слетела с петель.

В день получки я обнаружил, что испытательскую надбавку к зарплате мне все-таки выплатили. Я спорить не стал.

Но, как говорится, нет худа без добра. Я заметил, что мои усовершенствования старых протезов были излишне сложными и имели свои недостатки. Оказывается, в моих старых протезах достаточно сделать незначительные изменения, чтобы они стали лучше новых. И никакой Гробовой теперь не сможет разгадать их секрет.

КТО ВИНОВАТ

Негодование в комбинате по поводу моей истории было необычайное. Многие требовали предать факт гласности. Но начальство решило «не поднимать шум из-за пустяка». Тем более и мое поведение нельзя считать партийно правильным. Ко мне в кабинет зашел Социолух. Он усмотрел в моей истории проявление «глубоких пороков коммунизма».

— Нельзя во всем винить наш социальный строй,— сказал я.— Во многом виноваты обстоятельства и мы сами.

— Верно,— согласился он.— Но кто несет ответственность за «Атом» и за твою инвалидность? Кто повинен в том, что тебе не дают реализовать твое изобретение? Почему такие ничтожества, как Гробовой, вылезают наверх? Почему так жалок наш бытовой уровень?

— Согласен! Но ведь жизнь есть борьба за существование. Выживает наиболее ловкий и удачливый. Во всякой социальной системе есть свои несправедливости.

— Мне наплевать на другие системы. У меня есть мои личные счеты с нашей. Если и в других системах полно подлостей, это не извиняет подлости нашей.

— Странно, что и у тебя конфликт с системой...

— Мой конфликт, может быть, глубже, чем твой и Чернова. Я здоров, полон сил. Кто знает, может быть, наша система убивает во мне потенциально великого человека.

— Ты сочинил что-то?

— Кое-что.

— Пусти в «самиздат». Или напечатай на Западе.

— Время «самиздата» прошло. А на Западе то, что надумал я, не напечатают. Положение русского мыслителя безвыходное. Дома свои не пускают. А на Западе в нас признают только протест против некоего тоталитаризма, но ни в коем случае — положительный вклад в культуру. Я ведь не первый в этом роде. Чем значительнее твои результаты, тем хуже для тебя. И плюс к тому — массы людей нуждаются не в истине, а в заблуждении. Сколько веков умами людей владели ложные религиозные идеи о происхождении человека и загробной жизни?!. Теперь на их место выдумывают новый вздор.

— Так, может быть, вообще не стоит ничего изобретать и открывать? Жить спокойнее.

— Ты мог бы жить без твоих изобретений?

— Нет.

— Вот и я не могу не думать над своей теорией. Я рожден для нее.

МОЯ ОШИБКА

В самом начале моей сознательной жизни я сделал ошибку. Я думал, что достаточно будет сделать какое-то открытие или изобретение, как люди сами оценят его по достоинству и воздадут мне за то должное. Я подчинил этому всю свою жизнь. Отказывал себе во всем. Все силы свои отдавал тому, чтобы возвыситься над массой людей за счет трудолюбия, способностей, творчества. Я был не настолько глуп, чтобы не видеть реальности,— того, что в реальности люди оценивают не столько настоящие открытия и изобретения, сколько кажущиеся, но удобные и подходящие для их привычных представлений или, наоборот, для сенсаций. Я также многократно замечал, что признание открытия или изобретения зависит не столько от того, кто его сделал, сколько от тех, кто обладает властью и средствами признать или не признать факт открытия или изобретения. От них зависит и конкретная форма признания. И все же я делал лично для себя исключение. Я надеялся на то, что в отношении меня судьба будет более великодушна. Ведь были же и в нашей истории исключения, когда... Я не знал реальной сути этих «исключений».

Мое заблуждение, однако, сыграло в моей жизни огромную положительную роль: я выкарабкался в число полноценных людей, занял среди них не такое уж плохое место, завоевал уважение. Но за все приходится платить. Теперь настало время пожинать отрицательные последствия моей ошибки.

Всю ночь терзался вопросом, является мое поведение нравственным или нет. В конце концов, какой толк в том, что я держу мое изобретение в секрете? Все равно я это свое мизерное сраженьице с обществом, олицетворяемым Гробовым, проиграю. А так хоть кому-то польза будет. Надо будет подготовить чертежи и расчеты. Пусть присваивают! Все равно это не Бог весть что,— не космический корабль, не атомная бомба, не строение хромосомы. Так стоит ли возвышать проблемы ножных протезов до уровня проблем моральных?

А что если передача труда моей жизни мерзавцам вроде Гробового будет ошибкой еще большей, чем моя исходная ошибка? И бывает ли вообще правильное исправление жизненной ошибки?

НЕВЕСТА

У Солдата скоро день рождения. Невеста хочет подарок купить, а денег нет. Не мог бы я занять рублей двадцать до получки? У меня такой суммы в резерве не было. Пришлось разыскать Романтика, чтобы занять у него. Сейчас я позавидовал Солдату. Мне мучительно захотелось, чтобы обо мне кто-то проявил такую заботу, чтобы кто-то не спал из-за меня ночей, чтобы разыскивал меня я в пьяном виде волок на себе домой... Мир устроен несправедливо. Счастье и несчастье распределяются между людьми чудовищно неравномерно. Возможно ли какое-то социальное устройство, в котором в этом отношении будет достигнута какая-то норма справедливости? Наш строй считается самым справедливым в истории. Но и он не может устранить многие старые несправедливости и порождает свои, новые. Деньги мне Романтик дал. Невеста деньги взяла, собралась уходить, уже с порога спросила меня, когда у меня день рождения.

— Сегодня,— ответил я.

ЖИТЕЙСКАЯ ГРЯЗЬ

Солдат пришел домой поздно вечером основательно пьяный. Привел с собой какую-то девчонку. Попросил меня уступить ему комнату на пару часов. Я ему что-то сказал насчет Невесты. Он сказал, что «она тоже не теряется». Я сказал, что моя комната не бардак. Он сказал, что я его не понимаю, так как я якобы импотент. Я его вытолкнул из комнаты. Он ушел с девчонкой, ругаясь нехорошими словами. Мне показалось, что девчонка тоже была пьяна.

Мать Солдата слышала, конечно, нашу беседу. На другой день она из-за какого-то пустяка накинулась на меня с бранью. Ни с того ни с сего она заявила, что я не просто импотент, а вообще лишен «этой штуки». Солдат решил проверить, так ли это. Для этого он соскреб краску со стекла окна, выходящего из ванной на кухню, чтобы подглядывать за мной, когда я моюсь в ванной. Но тумбочка, на которую он взобрался, сломалась, и Солдат упал, сильно ударившись о раковину. Меня же он обвинил в том, будто я специально раскачал тумбочку, чтобы она сломалась.

Такого рода мелкими грязными сценками наполнена вся наша жизнь. Я не придаю им особого значения. Я к ним привык. А главное — я знаю, что людям свойственно вымещать накопившуюся злобу на ближних. Через день в квартире у нас снова восстановился мир. Извинения Солдат, конечно, не попросил — у нас это вообще не принято.

ЗАМЕНИТЕЛЬ ЗРЕНИЯ

Есть у нас в городе комплексный научно-исследовательский институт, в котором занимаются проблемами бионики, применяют кибернетические идеи и методы в физиологии и психологии и делают многие другие очень модные вещи, включая парапсихологию. Совершенно случайно я узнал, что в институте уже десять лет существует лаборатория искусственного зрения или заменителей зрения. Две недели мы со Слепым безуспешно пытались прорваться в институт или хотя бы узнать имена сотрудников лаборатории. Один раз нас забрали в милицию, заподозрив в нас американских шпионов. Накопец я вспомнил про Агента. Он дал мне адрес я телефон самого заведующего лабораторией (я его называю Изобретателем). Слепого буквально трясло от возбуждения, когда я нажимал кнопку звонка квартиры Изобретателя.

Изобретатель нашему приходу не удивился — мы далеко не первые его посетителя. Удивлялся он только тому, какими путями мы узнали его адрес. Их лаборатория секретная. Сообщать посторонним имена и тем более адреса сотрудников категорически запрещено. Я сказал Изобретателю, что это — большой секрет, каким образом становятся известными секреты. Моя шутка ему понравилась, он подобрел, угостил нас чаем и разговорился.

Да, он уже десять лет работает над созданием аппарата, заменяющего зрение. Основные идеи просты и очевидны: компенсировать отсутствие зрительных ощущений другими видами дистанционной связи организма со средой, включая звуковые и тепловые ощущения, электромагнитные волны, биотоки. Техническое же исполнение — дело необычайно сложное. Да, есть серьезные достижения. Они построили аппарат высокой степени чуткости. Если бы аппарат был компактным, то слепой человек мог бы перемещаться с ним в сравнительно простой среде со скоростью три-четыре километра в час с такой уверенностью, как если бы он был зрячим. Но, увы, аппарат пока еще очень громоздок. Нужна современная электроника, чтобы значительно сократить размеры и вес аппарата. Уже сейчас можно было бы уменьшить размеры его до величины школьного ранца, а вес — до десятя килограммов. Но на это нужны огромные средства, а не те жалкие крохи, какие им сейчас отпускают. Нужны первоклассные специалисты. Технология нужна такая, какой

у нас нет. К тому же наши исследования засекретили до такой степени, что практически они прекратились совсем.

— Если мы сами не можем довести дело до конца,— сказал Слепой,— так надо сообщить ваши результаты американцам, японцам или немцам. Те наверняка купят патент за огромные деньги. Это же великое дело! Вам же памятник из золота поставят!!

— Не будьте наивным, молодой человек,— ответил Изобретатель,— мы лучше сгноим такое дело у себя, чем передадим другим. Конечно, это имеет какое-то военное значение. Но не в этом суть. Мне трудно вам объяснить... Я двадцать лет жизни целиком отдал этому изобретению. Иногда мне хочется от отчаяния покончить с собой...

АФГАНЩИНА

Зашел Солдат. Сказал, что резервистов вызвали в военкомат, предупредили, чтобы никуда не уезжали. Кое-кого пошлют в «Афганщину» — так теперь называют Афганистан.

— Но ведь мы собираемся выводить войска из Афганистана,— удивился я.

— Одни выведут, другие введут. Числом будет меньше, а по мощи сильнее. Это же младенцам понятно.

— А ты не боишься, что тебя пошлют в Афганистан?

— Если пошлют, буду воевать, как все.

— И будешь стрелять?

— Конечно. На то я и присягу принимал.

— В кого?

— В кого прикажут.

Этот разговор заставил меня задуматься над мотивами поведения наших людей. Я много ночей подряд анализировал мое собственное поведение и поведение моих знакомых. И к своему величайшему удивлению, я не нашел в нем места ни для каких категорий морали. Наше общество вообще уже сложилось в формальный, машинообразный механизм. Поведение общества в целом, всех его частей и всех граждан определяется у нас системой формальных правил. Нас с детства приучают и принуждают соблюдать эти правила. Мы общими усилиями приучаем и принуждаем друг друга поступать в рамках этих правил. Все остальное, включая идеологию, пропаганду и карательные органы, есть лишь средство научить нас и заставить жить по правилам, которые уже выработались у нас и выработались навечно. Солдат абсолютно прав: мы будем делать то, что нам прикажут, ибо те, кто нам приказывает, и те, кому приказывают, действуют по одним и тем же правилам, каким они обучены, и ни по каким другим, о которых они могут знать, но следовать которым они не приучены. И все те бунтарские разговоры, которые мы ведем иногда, суть пустые звуки, нисколько не разрушающие систему правил, в рамках которых мы кривляемся и извиваемся. И мое личное сражение, кажущееся мне моральным явлением, на самом деле целиком и полностью укладывается в рамки поведенческих норм общества. Я подобен Дон Кихоту. Только, в отличие от него, я сражаюсь не с ветряными мельницами, а лишь с их призраками.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Все мои попытки попасть в лабораторию направляющих устройств кончились неудачей: повсюду я натыкался на стену секретности. Но вот, просматривая американские научные журналы, я обнаружил большую статью на эту тему. Из нее я узнал, что все исследования в этой области ориентированы на военные цели, т. е. на ориентацию таких объектов и в таких условиях, какие мало что общего имеют со слепыми и их перемещением в пространстве. В статье был особый параграф на эту тему. Выводы авторов статьи на этот счет были оптимистическими, но лишь в неопределенно отдаленной перспективе. Я информировал Слепого о своих изысканиях.

— Обидно то,— сказал он без всяких эмоций в голосе,— что люди с различных сторон фактически вплотную подошли к преодолению слепоты. Если бы их усилия теперь объединить и направить именно на эту в высшей степени гуманную задачу, то уже через несколько лет проблема была бы с блеском решена. Сначала это были бы аппараты, умещающиеся в портфеле, потом — в кармане, наконец — в дужке очков. Это был бы триумф человеческого гения. А что получается на деле?! Боюсь, что я напрасно рыпаюсь. Так и умру, не воспользовавшись этим триумфом человеческого гения. Знаешь, что меня сейчас волнует? Каким будет представляться мир людям, которые будут пользоваться аппаратами, полностью компенсирующими отсутствие зрения? Понимаешь? Допустим, что каждому зрительному ощущению с помощью этих аппаратов в человеке будет создаваться соответствующее состояние, так что будет иметь место полный изоморфизм зрительных образов и образов, создаваемых этими аппаратами. Будет ли это означать, что человек видит мир? Понимаешь? Я вот в этой комнате ориентируюсь, может быть, лучше тебя, но я все-таки ничего не вижу. Любой самый идеальный заменитель зрения все-таки не есть зрение.

НЕВЕСТА

У Невесты день рождения. Я купил цветы и маленькое колечко. Не очень дорогое, конечно. Дорогое мне не по карману. Позвонил ей и попросил подождать меня в условленном месте после работы,— ее завод находится недалеко от комбината. Она страшно удивилась, когда я вручил ей цветы и колечко.

— Это по какому случаю? — спросила она.— Уж не делаешь ли ты официальное предложение?

— Предложение остается само собой. Но это — по поводу твоего дня рождения. Поздравляю. Желаю тебе всего самого хорошего.

— Ой, а я и позабыла, что сегодня у меня день рождения. Спасибо, конечно, но к чему такие траты? И как это ты запомнил?

— Ты у меня одна. Я помню до мельчайших деталей все, что связано с тобой.

— Спасибо. Извини, но я бегу. У меня дела.

Она втиснулась в подошедший автобус. А я поплелся к другому. Я был счастлив от того, что принес ей минуту радости.

ПОРЫВЫ

Из нашей жизни исключено все яркое, подлинное и значительное. Нашу жизнь заполнили трудностями и неприятностями такого рода, преодоление которых либо невозможно, либо бессмысленно, либо связано с потерей времени и сил, с тупым ожиданием и постоянным озлоблением. Тоску по остроте, яркости, опасности, рискованности я замечаю во многих людях, с которыми мне приходится сталкиваться. Солдат часто свои разговоры заканчивает восклицаниями вроде «Дать бы кому-нибудь по морде!». Слепой не раз говорил, что лучше взорваться, чем гнить в нашем болоте. Я сам порою вдруг говорю себе: кто мы такие в конце концов? Стоят ли те помои, которые мы жрем, то тряпье, которое мы носим, те каморки, в которых мы ютимся, та макулатура, которую мы читаем, и прочие, с позволения сказать, блага того бесконечно постыдного унижения перед своими ближними и перед всякими крысами вроде Гробового, Фрола Нилыча, Крутова, Суслякова?

Но такие порывы возникают лишь на миг и тут же уступают место всеобъемлющей серости и унылости жизни. Бунт червяков недолговечен.

— Что тебе еще нужно? — говорю я себе.— Ты сыт и одет, у тебя есть отдельная кровать и даже отдельная комната, у тебя легкая и довольно интересная работа, тебя уважают в коллективе, скоро тебя повысят в должности, у тебя масса знакомых и друзей. Многие ли в мире имеют столько, сколько имеешь ты?! У тебя нет ног. А у многих ли людей есть все? Сколько в мире людей, которые захотели бы поменяться с тобою местами? Тебе не везет с женщиной. А многим ли везет?! И кто знает, что лучше — жить таким одиноким аскетом, как ты, или взвалить на себя груз семейной жизни, при виде примеров которой у тебя не раз бегали мурашки по телу?! Будь доволен тем, что тебе досталось волею судьбы!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ

В Советский Союз приехала группа иностранных ученых — специалистов по восстановлению утраченных функций различных органов тела. Задача этого комплексного раздела науки — изучение и лечение случаев, когда орган цел и с биологической точки зрения нормален, но не функционирует или функционирует плохо. Часть таких случаев объясняется дефектами нервной системы и других элементов организма, прямо или косвенно связанных с работой данного органа. Но большая часть их остается до сих пор таинственной, так как никаких дефектов такого рода не обнаруживается. Лечению такие случаи поддаются редко, причем причины излечиваемости остаются также неизвестными.

Нашего директора вызвали в обком партии и сообщили, что делегация, возможно, приедет к нам в город и посетит комбинат. Что началось твориться в комбинате, невозможно описать. У нас отобрали часть помещений и перевели туда отдел ручного протезирования. А помещения последнего передали лаборатории восстановления, находящейся в том же здании. Для нее пробили в стене парадный вход и снабдили его модным в западной архитектуре лет сорок назад козырьком. Произвели молниеносный ремонт всех кабинетов, заменили мебель и аппаратуру, лестницы устелили ковровыми дорожками, стены украсили репродукциями картин западных художников, включая Пикассо. И все это в считанные дни. Со всей страны собрали наиболее приличных специалистов в этой области науки и смежных областях, которые мало-мальски прилично выглядели и могли изъясняться на

иностранных языках. Они должны были изображать сотрудников лаборатории. А настоящим сотрудникам наказали даже носа не показывать на территории комбината во время пребывания делегации. Всех липовых сотрудников поселили с семьями в новом жилом районе, уже готовом к сдаче в эксплуатацию, но еще не принятом комиссией обкома партии. Зал, в котором должен проходить научный симпозиум, снабдили новейшими средствами синхронного перевода. Привели в божеский вид магазины, кафе и рестораны вокруг комбината. Весь район наводнили агентами КГБ, которые не должны подпускать к комбинату лиц, не отобранных специально для этой цели.

Слепой попросил меня устроить ему присутствие на симпозиуме и возможность побеседовать с кем-либо из иностранцев. Я сказал, что постараюсь устроить первое, но при условии, что он не будет ни в коем случае претендовать на второе. Но хлопоты и тревоги оказались напрасными. Высшие власти почему-то не дали разрешения иностранной делегации посетить наш город.

В отремонтированное здание лаборатории восстановления переселилась дирекция, а лабораторию втиснули в несколько комнат, где раньше помещалась дирекция. Зато Слепому я устроил встречу с самым толковым парнем из лаборатории.

Тот сказал, что, когда в мире трубят о выдающихся достижениях в чем-то, верить этому можно лишь процентов на десять, не более. В нашей же области — не более чем на сотую долю процента. Фактически успехов нет и в ближайшее время не предвидится. Наука и техника (особенно — микрофизика и электро́ника) должны сделать новый качественный скачок, чтобы мы начали хотя бы первые успешные шаги в нашем деле.

Странно, этот разговор почему-то благотворно подействовал на Слепого. Может быть, потому, что для него успехи в этой области науки и медицины не могли принести абсолютно ничего хорошего,— у него все равно нет того органа, функции которого можно было бы восстановить.

— У нас еще в запасе кое-что есть,— сказал я.— Пересадка органов. Займемся этим делом всерьез. Кто знает, вдруг тут что-то и получится...

ВЫБОРЫ

Что выборы в органы власти у нас есть пустая формальность, общеизвестно. И мы уже привыкли относиться к ним с полным равнодушием. Многим из нас приходится тратить силы и время на них. Но это считается общественной работой. Не будь выборов, пришлось бы выполнить другие общественные поручения. Для многих из нас это — повод для уклонения от работы и для внесемейного времяпровождения. Не будь выборов, мы взяли бы то же самое за счет другого повода. Раньше выборы всегда производились из одного кандидата. Суть их сводилась к тому, чтобы формально признать намеченного в соответствующих органах власти кандидата избранным. На сей раз московские власти решили произвести в нашей области эксперимент — производить выборы из двух и более кандидатов. Это было, конечно, сделано для простаков. Двух кандидатов на одно и то же место все равно наметили в партийных органах (в обкоме, горкоме и райкомах). Причем заранее было намечено, кто из двух пройдет. От нашего комбината кандидатом в депутаты областного Совета выдвинули Кротова, помощника Крутова. Конкурентом Кротова назначили старую учительницу. Меня назначили доверенным лицом Кротова. Моя обязанность — ездить по учреждениям избирательного округа, рассказывать о товарище Кротове и призывать трудящихся голосовать за него. Кроме того, меня попросили написать (вернее, просто подписать) статью о Кротове для газеты. Кротов, учитывая мою малую подвижность, предоставил в мое распоряжение обкомовскую машину. Всем партийным секретарям учреждений, где мне приходилось выступать, он дал указание, чтобы перед выступлением объявляли о моем физическом состоянии и о моих героических усилиях по преодолению его. Получалось очень эффектно. Меня представляли как «Мересьева мирного времени» (Мересьев был летчик, потерявший во время войны ступни обеих ног, но научившийся летать с протезами, сделанными, кстати сказать, на нашем комбинате.) Когда я шел к трибуне с таким видом, будто я не инвалид, а чемпион по бегу, собравшиеся разражались аплодисментами, какие не всегда выпадают на долю даже больших руководителей. Благодаря этому личность товарища Кротова становилась светлее и значительнее.

КРОТОВ

Пока шла предвыборная кампания, Кротов приглашал меня два раза к себе домой в городскую квартиру и один раз на дачу. Должен признаться, что я до сих пор никогда еще не видел такой роскоши, как у него. Я был один раз в квартире нашего директора (он «угощал» мною как «феноменом» каких-то московских гостей), но она ни в какое сравнение не идет с кротовской. Особенно меня поразила библиотека. Кротов сказал, что такой библиотеки нет даже у специалистов-филологов в Москве. Как он ухитрился собрать такое

сокровище? После роскошного ужина, за которым он упорно пытался заставить меня выпить рюмку водки, он подобрел и пообещал устроить мне однокомнатную квартиру. О своем обещании он, конечно, забыл. А став депутатом и важной персоной в обкоме, он вообще позабыл о моем существовании.

Весьма возможно, что, с точки зрения западных богачей, бытовой уровень Кротовых не так уж высок, как кажется нам. Но зато положение наших «богачей» имеет много преимуществ перед западными: оно достигается без особого риска, не связано с особыми хлопотами и тревогами, гарантировано. Конечно, кротовы иногда теряют свое положение. Но это бывает редко. И при этом они все равно не падают до нашего низкого уровня. Суть хрущевской «революции» состояла в том, что кротовы, сусликовы, корытовы, горбани, маоцзедуньки обезопасили себя от произвола высших властей. К тому времени они уже стали реальной властью в стране, а в хрущевские годы это было признано и официально.

И все же горбачевская затея выбирать на руководящие посты из двух и более кандидатов встревожила начальство. Возникла угроза их гарантированному положению. Наш партградский эксперимент показал, что угроза эта для большинства должностных лиц не такая уж опасная. У нас провели экспериментальные выборы партийных работников из двух и более кандидатов. Выбрали, за редким исключением, все равно тех, кого намечали заранее. Исключения оказались совершенно незначительными и несущественными.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД

По случаю праздников у нас образовалось несколько выходных дней подряд и мы решили отправиться в туристический поход. Не так далеко, конечно, чтобы это было мне под силу. Впрочем, недалеко от города столько прекрасных мест, что никакой проблемы на этот счет вроде бы не было. Но не тут-то было! Повсюду были запретные зоны, огороженные участки, свалки. Пришлось спуститься по течению реки километров на десять, прежде чем мы нашли подходящее место. Раздались возгласы насчет нашей прекрасной природы. Кто-то сказал, что в западных странах такой первозданной природы уже нет и что в этом наше преимущество. Слепой сказал, что прекрасная природа не есть заслуга нашего социального строя, что суть социального строя проявляется в том, как распоряжаются природой. А с этой точки зрения нам хвастаться нечем. Сколько мы тыкались в запретные и загаженные места, прежде чем нашли это местечко?!

Поставили палатки. Развели костер. Приготовили еду. Выпили, конечно. Шутили, смеялись, наслаждались душевным единением.

— А раньше жить было интереснее,— сказал Остряк.— Вот представьте себе такой же день сто тысяч лет назад. На этом вот месте сидит группа наших обезьяноподобных или человекоподобных предков. Есть нечего. Пойти некуда. Ни кино, ни телевидения еще не было. Говорить не о чем, да и нечем — язык еще не изобретен. Сидят вот так наши предки день, другой, третий. Тупо смотрят в пространство. Тоска зеленая. Вдруг какой-то Иван говорит: «Идея, братцы! А что если мы скинемся по трешке и трахнем поллитровку?!» Начинается всеобщее оживление. Наши дикие предки-иваны лезут в свои кошельки, сшитые из звериных шкур. Вскоре поллитровка уже разлита по стопкам...

Тут мы не выдерживаем и прерываем рассказчика с возмущением: откуда стопки? Это же анахронизм, нарушение принципов исторической достоверности. Кружки или консервные банки — это еще куда ни шло. Но стопки? Может быть, скажешь: фужеры?

— Ладно,— капитулирует Остряк.— Пусть лакают прямо из горлышка. После второй бутылки другой Иван и говорит. Говорит как бы между прочим, без всяких претензий на великое открытие. Спьяну, можно сказать. «А что, ребята, если мы костер разведем?» — говорит он. И вот уже полыхает костер. Тепло становится. На закуску жарят одного из Иванов. Настроение поднимается. Кто-то запевает старинный русский романс. Или, лучше, блатную песню — блатные куда душевнее. Заметьте, сидят они вот так сутками, не спешат по своим делам, ибо никаких своих дел еще не было. Дел вообще никаких не было. Все было общее. Душа в душу жили. Сообща. А теперь? Каждый в свою сторону тянет, в свою нору прячется. Встретятся на минуту. «Ну как?» — «Да так! А ты как?» — «Тоже так».— «Ну, я спешу!» — «Я тоже спешу. Пока!» — «Пока!»

И так — до следующего года. А то — до следующей пятилетки. А раньше хорошо было, не спешили никуда, пятилеток вообще не было, здороваться и прощаться еще не умели...

Когда разговор исчерпался, здоровые парами разошлись по лесу. Остались Слепой, Теоретик и я. Моралистка ушла с Остряком, что явно огорчило Слепого.

— Мы не столько стремимся получить подлинно человеческое удовольствие от жизни,— сказал он,— сколько торопимся опошлить то, что само идет к нам. А потом рассуждаем на тему: получаем ли мы вообще удовольствие или нет, и не много ли или не мало ли. Вот возьмите, например, Остряка. Судя по голосу и манере речи — красивый парень. Чего он хочет? Довести число «обработанных баб» (как он выражается) к концу пятилетки до трехсот. И он не шутит. Думаю, что этот свой пятилетний план он перевыполнит, причем — досрочно. В четыре года, как у нас уже стало традицией. А зачем? Ведь

мужчине в принципе достаточно одной женщины на всю жизнь. При условии, конечно, если есть настоящая, большая любовь. Но ее уже давно нет в природе. Теперь мужчина с детства формируется с сознанием доступности женщины и с намерением перевыполнить пятилетку, причем — досрочно.

— Мы, уроды,— говорит Теоретик,— должны совершить величайший поворот в истории человечества: мы должны сделать интеллектуальное наслаждение самой главной ценностью жизни.

— Когда я был помоложе,— сказал Слепой,— я получал удовольствие от того, что находил оригинальные доказательства старых теорем и открывал новые. Теперь это для меня — рутина.

— Допустим на минуту,— говорит Теоретик,— что в стране нет ни одного физического урода, все люди красивые, умные, талантливые, обеспечены работой, материальными благами, развлечениями. Будут ли люди счастливы?

— Сомневаюсь,— сказал Слепой.— Тогда наступит кошмар еще худший, чем сейчас, и люди изобретут новые критерии различения здоровья и уродства, ума и глупости, таланта и бездарности, красоты и безобразия, благополучия и бедности.

— Пожалуй, ты прав,— соглашается Теоретик.— Раньше добрые люди, говорившие о человеческих несчастьях, утешали себя и других надеждой, что настанут времена, когда не будет несчастных людей и когда люди всегда будут счастливы. Мы родились, выросли и уже прожили значительную часть жизни в обществе, которое является воплощением в жизнь самых светлых идеалов человечества, но которое дало человечеству образец того, что осуществление самых светлых надежд с необходимостью влечет за собой самые мрачные последствия. На Земле никогда не наступит такое время, когда все люди и всегда будут счастливы. Не надо завидовать потомкам. Эпохи человечества различаются лишь способом разделения людей на счастливых и несчастных и формами несчастий людей. На Земле никогда не будет построено общество всеобщего благополучия, всеобщего равенства, всеобщей справедливости. Наши потомки не будут иметь никаких преимуществ перед нами, как мы не имеем преимуществ перед нашими предками. Наличие несчастных людей и человеческих несчастий есть норма человеческого бытия. Более того, до тех пор, пока существуют несчастья, человек имеет шансы сохраниться в качестве Человека. Конец несчастий, если такой вообще случится по каким-то причинам, будет концом Человека и Человечества. Потому нам надо радоваться хотя бы тому, что мы можем страдать и быть несчастными. Но все наши несчастья и страдания окупятся. Как? Пройдут столетия и тысячелетия, и наша гнусная жизнь будет выглядеть в воображении потомков так же, как прошлая по отношению к нам история изображается в голливудских фильмах. И наши далекие потомки будут завидовать тому, как насыщенно, ярко и интенсивно мы жили.

ВИДЕНИЕ

Свежий воздух сделал свое дело, и я уснул. Мне привиделось, будто я — Бог, будто у подножия трона моего толпятся руководители партий и государств, мыслители, пророки, борцы за права и прочие существа, озабоченные судьбами человечества. Просят дать им указания насчет дальнейшего прогресса.

— Идите к людям,— говорю я,— и делайте то, что вы и делали до сих пор. По-другому вы делать все равно не будете. И не сможете. Понятие прогресса не входит в понятие Бога. Через много миллиардов лет, когда потухнет Солнце, кучка уцелевших землян будет мчаться в космосе в поисках подходящей для жилья планеты. И эти уцелевшие люди скажут, что все пережитое нами было оправдано, ибо вся история имела одну цель — дать возможность этой кучке людей уцелеть. Но не завидуйте им: им будет нестерпимо тоскливо, ибо у них не будет прошлого, а ожидающее их будущее будет повторением вашего прошлого. Будущего нет. Прошлого нет. Прошлое есть грех, а будущее — его искупление.

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Под утро запели соловьи. Из палаток выползли Солдат и Остряк. Заорали «Подъем!». Помчались к реке. С воплями плюхнулись в холодную воду. За ними не спеша последовал Фюрер, окунулся у берега и тут же выскочил обратно.

— Нет, это не для белого человека,— сказал он, с презрением посмотрев на Солдата и Остряка, плывущих кустарными саженками.

Женщины тоже обнажились. Они пробовали воду пальчиками ног, заранее повизгивая не столько от ощущения холода, сколько из кокетства. Слепой вытащил надувной матрац на солнечное место, раскинул на нем свое бледное и хилое тело, снял черные очки, подставил лицо лучам восходящего солнца. Теоретик сел рядом с ним, не раздеваясь. Они о чем-то стали говорить.

До обеда играли в волейбол. Загорали. Дурачились. Женщины готовили еду. Обед затянулся до ужина. За ужином опять пили, дурачились и восторгались природой.

ДИСКУССИЯ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Разговор о справедливости затеяла, конечно, Моралистка. На нее обрушился Фюрер.

— О какой справедливости может идти речь! — резко бросил он.— Возьмем такие примеры. Остряк и Солдат — здоровые и красивые ребята. Считается справедливым, что с ними путаются самые красивые девчонки из их окружения. Справедливо? А справедливо ли то, что судьба наградила их этими качествами, а других лишила? В чем провинились Робот и Теоретик, что судьба их обделила качествами, необходимыми для того, чтобы иметь на своем счету десятки покоренных сердец? У Гробового четырехкомнатная квартира в городе и дача. Справедливо? У директора комбината шестикомнатная квартира, дача в два раза лучше, чем у Гробового, служебная автомашина, своя автомашина. Справедливо? А чем обладают Сусликовы, Горбани, Кротовы? И что имеете вы? Гробовой считает свое благополучие справедливым сравнительно с вами, Сусликовы — сравнительно с Гробовыми. А распределение наград и почестей? Как отбираются люди в герои, в депутаты, в знаменитости? Возьмите миллион житейских случаев такого рода, и в этом миллионе дай Бог наберется с десяток таких, которые могли бы служить образцами справедливости для Моралистки.

— Браво! — воскликнул Слепой.— Справедливость вообще есть устаревшее понятие. Ее и раньше-то никогда не было. Ее выдумали как средство хоть немного сгладить и ограничить буйство несправедливости. Причем это моральное средство привело к выработке правового самосознания и правового общественного устройства, которые лишь санкционировали и утвердили одну форму несправедливости как абсолютную справедливость.

— Что же остается? — не сдавалась Моралистка.— Все дозволено?

— Да,— сказал Фюрер.— Дозволено все, что не запрещено. Дозволено все, за что не следует наказание. Дозволено все, если тебе удается избежать наказания.

— А совесть?!

— Исторический хлам. Много ли вы видели людей с совестью? В отношении ничего не значащих пустяков людей с совестью полно. Но как только речь заходит о жизненно важных вещах, всякая совесть исчезает. Действуют лишь расчет, корысть, страх, зависть, тщеславие, подлость, ненависть... Добродетели оставляются на вооружении тех, кто барахтается на самом дне нашей помойки и не имеет возможности делать другим зло. Добродетель вообще есть неспособность использовать зло как средство самозащиты и успеха.

Мы все возмутились. Тогда Фюрер предложил эксперимент: пусть каждый из нас честно скажет, считает ли он себя человеком добродетельным. Наступила тишина. Все обернулись в мою сторону. Я тоже молчал.

— Если уж Робот молчит,— сказал Фюрер,— то должно умолкнуть все остальное человечество.

Потом заспорили о том, имеют ли право инвалиды претендовать на особые привилегии сравнительно со здоровыми. Солдат выступил в защиту здоровых. Долго и путано говорил о праве здоровых защищать свои интересы.

— В чем, например, я провинился перед обществом,— сказал он,— что я до сих пор не имею своей комнатушки? Почему, например, мой сосед Робот получает отдельную комнату?! За какие заслуги?

— Дурак,— сказала Невеста.— Нашел кому завидовать! Робот старше тебя. Трудовой стаж побольше твоего имеет. Группой заведует.

— Дело не в этом,— вмешался Слепой.— Не надо опошлять проблему. Инвалиды суть продукт жизнедеятельности здоровых, а не особая раса или социальная группа, существующая наряду со здоровыми. Почему появляются такие инвалиды? Значит, общество здоровых как целое не является здоровым. Вот в чем суть дела! А жалкие подачки инвалидам — это лишь ничтожная доля запоздалой справедливости.

Потом Солдат просил у меня прощения. Но я настолько привык к его хамству, что даже не понял, за что именно он просил прощения.

— А знаете, о чем я мечтаю,— сказала Невеста.— Чтобы у каждого из нас была хорошая работа, дающая достаточно денег для существования, комфортабельная квартира, вкусная еда, красивая одежда, здоровая семья, дети, друзья, интересные книги, театры, фильмы, каждый год на курорт на юг ездить, в очередях не торчать, в транспорте часами не толкаться... Одним словом, хочу жить в полном коммунизме!

— В таком обывательски благополучном «полном коммунизме» живут многие миллионы людей в капиталистических странах Запада,— заметил Остряк.— Да и у нас значительная часть населения имеет это. Вопрос в том, возможно ли это для всех, делает ли это людей полностью удовлетворенными, какую цену приходится платить за это... Хорошо, когда все блага жизни даются без труда, от рождения. А ведь в большинстве случаев за них людям приходится сражаться всю жизнь!

— И хорошо, что приходится сражаться,— вставил Фюрер.— В этой борьбе и состоит высший смысл жизни.

— Вот мы и возвращаемся к тому, с чего начали,— сказал Слепой.— Идет ожесто-

ченная борьба за лучшее положение в жизни и жизненные блага. Справедливо то, что соответствует законам этой борьбы.

— И все же,— не сдавалась моралистка,— помимо волчьей справедливости есть справедливость человеческая. Хотя бы как нравственный идеал.

— А многие ли ему следуют? — спросил Фюрер.

— Плохо, что мир устроен так,— сказала Невеста.— Что ты скажешь, Робот?

Я молча посмотрел на нее. Она догадалась о том, что мог сказать я, и отвернулась.

О ЛЖИ

Потом заговорили о литературе. Солдат сказал, что вся наша литература — сплошное вранье. Он перечитал сотни книг, и ему не попалось ни одной, в которой правдиво говорилось бы о нашей жизни. Слепой сказал, что литература в принципе есть ложь. Но ложь разная бывает. И вообще, способность лгать есть великое открытие человечества, может быть, даже более значительное, чем способность говорить правду. Если бы люди не умели лгать, они вообще не смогли бы общаться друг с другом. Вот вы пришли в гости. И вы так прямо и скажете хозяевам, если они вас спросят, как вы чувствуете себя у них, что от их угощения и разговоров вас мутит? Наверняка нет. Вы будете благодарить за вкусное угощение и приятную беседу. Или вы выступаете на ученом совете по поводу диссертации вашего приятеля.

Вы прямо скажете, что работа бездарна и ничего нового не вносит в науку? Ничего подобного, вы будете хвалить диссертанта за творческий вклад и талант. Разве не так?! Человек, не умеющий лгать в общении с другими, есть существо не социабельное — хам, хулиган, мерзавец, подонок, невежа, дурак. Только плохо воспитанные люди и дураки «режут правду-матку в глаза». Иногда это — стиль поведения (вот, мол, я какой!). Это — форма игры. Обычно она лишь прикрывает клевету, ложь, оскорбления. Ложь есть абсолютно необходимая форма приспособления индивидов к условиям своей социальной среды. Без лжи невозможен никакой социальный расчет, без которого вообще нет социальной формы жизни. Ложь есть общественно признанная форма индивидуальной правды: это есть естественнонаучный факт, не подлежащий никакой моральной оценке. Моральное значение имеет лишь принцип: «Ври, да знай меру!»

ПОЕЗДКА В МОСКВУ

Командировки играют в нашей жизни роль огромную. Они выгодны экономически: сохраняется зарплата на работе и выплачиваются командировочные деньги. Они приятны во многих отношениях: высыпаешься, вырываешься из семьи, заводишь знакомства, пьешь без перерыва. Они расширяют кругозор: видишь новые города и новых людей, посещаешь музеи и театры. За возможность поехать в командировку идет борьба. Устанавливается неявная очередность. Борьба становится особо острой, когда люди командируются в Москву, Ленинград, Киев и в южные курортные города. Меня в командировки посылают очень редко, в другие провинциальные города, по маловажным делам. Но тут произошло чудо: по плану подготовки фестиваля инвалидов командировку в Москву запланировали именно мне.

У меня возникла идея взять с собой в Москву Слепого и сходить с ним в московские учреждения, занимающиеся пересадкой органов и их заменителями. Я сказал об этом Слепому. Он взвыл от восторга. Ему положено целых пять дней «отгула» за сверхурочные занятия.

В Москве стоило большого труда устроить Слепого в той же гостинице, в которой мне было положено место как командировочному. Пришлось дать приличную взятку.

Я свои дела завершил сравнительно легко и быстро. В Москве оказалось довольно много важных инвалидов, вполне пригодных для участия в фестивале и заинтересованных в этом. Фестивалю придавали большое значение в самом ЦК КПСС, и двери всех учреждений, имеющих дело с инвалидами, для меня были открыты. Гораздо хуже получилось со Слепым. Мы долго болтались в коридорах Министерства здравоохранения, пытаясь добиться разрешения получить консультацию в одном из учреждений, занятых проблемами пересадки органов. Никто не хотел нами заниматься. Требовали направления от областного отдела здравоохранения. Такового у нас, конечно, не было,— не было времени получить его, поскольку это связано с волокитой. Нам надоело ходить из кабинета в кабинет и часами ждать приема. Я продемонстрировал свои протезы и заявил, что, если нам нужного разрешения не дадут, мы со Слепым идем на Красную площадь с плакатом, на котором будет написано наше требование. Эта угроза подействовала. Нам даже машину дали, так как нужное нам учреждение размещалось далеко за городом. И приставили двух кагебешников. Они не скрываясь следовали за нами повсюду вплоть до поезда, на котором мы покинули Москву. В учреждении (не знаю, что это такое — исследовательский институт или больница) с нас взяли подписку о неразглашении.

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ

Принявший нас человек назвался профессором. На осмотр Слепого он потратил не более пяти минут.

— Все ясно,— сказал он профессионально равнодушным тоном.— Не стройте никаких надежд, молодой человек. Лучше мужественно несите свою участь до конца. Может быть, лет через двадцать мы задумаемся над проблемами такого рода. А сколько потребуется на их решение?! Ну, пусть десять лет. Пусть через пять. Все равно от научного решения проблемы до внедрения результатов в практику медицины — дистанция огромного размера. Сейчас принципиально доказана возможность пересадки глаз для отдельных случаев. Что за случаи? Несчастный случай с потерей органов зрения и возможность немедленно осуществить операцию. Мы проделали сотни успешных экспериментов на животных. Проделали несколько десятков операций на людях. К сожалению, пока еще очень мало успешных.

Хотя такой результат визита нам был известен заранее (мы основательно изучили новейшие сообщения на эту тему), настроение испортилось совсем. У нас было в запасе еще два дня. Но мы решили ехать домой. Пробиться в какой-либо институт, изобретающий технические устройства для ориентации слепых в окружающей среде, за это время мы все равно не смогли бы. На оставшиеся деньги мы накупили продуктов, которые в магазинах нашего города либо вообще никогда не появлялись, либо исчезли лет десять назад,— рыбные консервы, вареную колбасу, рис, пшено, муку, сыр.

МЫ И ЗАПАД

В комбинате сильное оживление: получен американский журнал, в котором даны чертежи, фотографии и описание ножных протезов, сделанных с использованием самой современной науки и техники. Протезы, если верить журналу, действительно потрясающие. На меня все смотрят с насмешкой: мол, куда тебе, доморощенному кустарю-одиночке, тягаться с американской техникой! В дирекции провели срочное секретное совещание. Но секреты скоро стали общеизвестными. Решено группу наших сотрудников послать в командировку в США. Возглавит группу сам директор. Поедет также Гробовой, сотрудник спецотдела (т. е. офицер КГБ) и представитель армии (т. е. офицер Главного разведывательного управления). Такая поспешность объясняется тем, что протезы напичканы новейшей электроникой, которая нужна не столько для облегчения жизни наших инвалидов, сколько для военных целей. Кто-то упомянул мое имя. Но Гробовой сказал, что меня брать не следует, чтобы не позориться с нашей отсталой техникой. И мою кандидатуру единодушно отклонили.

— Но теперь развитие во всем ускорится,— возразил Слепой.

Я прочитал эту статью. Мои протезы показались мне чудовищно примитивными в сравнении с американскими. Настроение у меня упало ниже самого низкого. Но меня успокоил Теоретик. Он сказал, что у нас серийное производство таких протезов все равно не осилят — технология не та и специалистов нету. Так что будут наверняка «усовершенствовать». В результате получатся протезы хуже моих. К тому же нашему брату-Ивану западная техника не годится. Сразу из строя выйдет, а чинить негде и некому.

— Короче говоря,— закончил свою утешительную речь Теоретик,— наберись терпения. Как говорит китайская мудрость, сядь у реки, жди, и труп врага проплывет мимо. Обидно, конечно, какие-то паразиты за государственный счет в Америке побывают, мир посмотрят, барахла дефицитного привезут. А тебя, лучшего советского специалиста в этой области, осмеяли. Были бы у меня руки, я бы этим подлецам пощечин надавал!..

Потом я прочитал американскую статью еще раз. И обнаружил, что мои идеи все-таки лучше американских. Я с минимумом технологии максимально использую способности организма. Они же ориентируются на максимум возможностей технологии и используют способности организма лишь в той мере, в какой это нужно для технологии. Возможно, их путь перспективнее с точки зрения чисто физических возможностей движения инвалидов в пространстве. Но мой несомненно лучше с психологической точки зрения.

На собрании отдела я сказал, что изобрел мои протезы раньше американцев. И мои лучше американских. Я предлагаю вызвать американцев на состязание. Я буду выступать на моих протезах, а американец — на своих. После моих слов наступило неловкое молчание. Гробовой перевел разговор на другую тему.

— Возмутительно,— сказал Теоретик, когда мы вновь заговорили на эту тему.— У нас готовы возвеличить любую западную посредственность, лишь бы не дать вырасти своему собственному гению. Сволочи! Хочешь, я перешлю на Запад материалы, касающиеся твоих протезов?

— А ты уверен, что на Западе будут в восторге от появления русского гения (как ты говоришь)?
— Нет, конечно. Но надо же что-то делать!
— Зачем?
— Хотя бы для того, чтобы выразить свой гнев.
— А если у меня уже и этого нет?

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Недавно в «Партградской правде» была напечатана статья, в которой жестокой критике было подвергнуто брежневское руководство. Статья обсуждалась на партийных, комсомольских и профсоюзных собраниях во всех учреждениях и предприятиях города. Разумеется, ее одобрили. Лишь несколько простаков и смельчаков вякнули было, что хватит сваливать вину за тяжелое положение в области на ошибки прежнего руководства, что пора поставить вопрос о реальных причинах этого положении. Их разгромили как врагов «нового курса партии». У нас в комбинате таким «врагом перестройки» оказался мальчишка, о котором я уже упоминал. Мне было стыдно от того, что и я вместе со всеми голосовал за резолюцию собрания, одобрившую обсуждавшуюся статью, и не сделал ничего в защиту этого взбунтовавшегося мальчишки.

— И то хорошо, что тебе было стыдно,— сказал мне Социолух.— Знаешь, чем в нашем обществе порядочный человек отличается от подлеца? Тем, что он делает те же подлости, что и подлец, только не испытывает от этого удовольствия. Так что ты можешь считать себя сверхпорядочным человеком. А если без шуток, то наше поведение является вполне моральным. Я, например, понимаю наше общество и суть перестройки лучше, чем этот взбунтовавшийся сосунок. Я думаю, что и наши партийные вожди понимают суть дела не хуже нас. Но понимание не обязывает к протесту. Все дело в интересах, а не в понимании. В нашей ситуации вообще невозможны идеи, за которые я стал бы сражаться. Может быть, они когда-нибудь и появятся, когда нас на свете не будет.

Теоретик сказал, что он тоже терзается мыслью о несоответствии наших мыслей нашим поступкам. Только вот проблема: что тут является правильным и что неправильным — мысли или поступки? Скорее всего — мысли. Мы совершаем поступки так, как это и положено делать таким социальным червякам, как мы. А мыслим мы так, как будто мы не червяки, а боги.

Я не оспариваю суждений моих собеседников. Но я и не разделяю их. Я чувствую, что бьюсь над какой-то другой проблемой, которую еще не могу сформулировать для себя отчетливо. Как обычный советский человек я вынуждаюсь быть социальным хамелеоном. А как физический урод я должен в интересах самосохранения себя в качестве личности изобретать жесткий каркас из принципов, несовместимых с общей советской духовной бесформенностью и подвижностью.

С абсолютно циничной ясностью нашу социальную сущность выражает Солдат. У него на работе было комсомольское собрание, на котором разбиралось персональное дело молодого парня, недавно окончившего школу и не сумевшего попасть в институт. Парень был возмущен беспорядком, очковтирательством, халтурой и коррупцией на заводе. Наговорил лишнего. Сболтнул что-то насчет лживости перестройки. Его пытались «воспитывать». Но он уперся. В результате его исключили из комсомола. Теперь его уволят с работы и наверняка вышлют из города как тунеядца. Солдат возмущается, но не тем, что на самом деле творится на заводе, а тем, что этот парень их «подвел»: теперь их цех будут «склонять» во всех резолюциях, усилят «воспитательную тягомотину», лишат премиальных. Я спросил, не вступился ли кто за этого парня. Солдат сказал, что они «не идиоты, чтобы из-за этого сопляка себя под удар подставлять».

Могу ли я осуждать Солдата за такое поведение? А чем я сам лучше его?!

Чем мое поведение отличается от его?! Только спорадическими угрызениями совести, которые не имеют никакого общественного значения. А обычно и этого не бывает. Обычно я чувствовал себя морально безупречным советским человеком. Советским — вот в чем суть дела. Только теперь я начал подозревать, что быть хорошим советским человеком и одновременно морально чистым просто невозможно: одно исключает другое. И то, что мы ощущаем как моральную чистоту, есть на самом деле глубоко спрятанная и хорошо замаскированная принципиальная безнравственность. В чем причина этого? Думаю, что Маркс был прав, когда определял личность как совокупность общественных отношений. Он ошибался в другом, а именно — в том, что считал общественные отношения коммунизма хорошими.

В нашем обществе индивид стал частичкой единого коллектива — единой коллективной личности. Он есть частичка целого, но потенциально содержит в себе свойства всего коллектива, т. е. всех его возможных проявлений. Потому наш средний индивид потенциально есть универсальное существо, проявляющееся в реальности самыми разнообразными способами. Возьмите все возможные типы индивидов, встречающиеся в нормальном коллективе, и спрессуйте их в одного индивида. И вы получите среднего советского человека, который в той или иной мере способен на все, на что способен весь коллектив. Он и добр, и жесток, умен и глуп, бескорыстен и корыстолюбив, усерден и ленив, искренен и лицемерен. Наш средний человек самими условиями жизни вынуждается к универсальной гибкости, к способности превращаться в любую форму, соответствующую данной ситуации. Разговаривая с одним человеком, он чернит другого, и наоборот. Разговаривая с начальством, он раболепствует перед ним, а за глаза поносит его. Он может предать близких, но может вдруг вступиться за чужих без всякого расчета на выгоду.

Вот, например, я беру прошедший месяц. В скольких ипостасях я фигурировал за это время, сосчитать трудно. Я был и начальником и подчиненным. Был пропагандистом нашей идеологии и участником разговоров, враждебных идеологии и нашему строю. Я выступал на партийном собрании как типичный член партии, которого начальство считает политически зрелым коммунистом, а неудачники — партийным прохвостом и карьеристом. А в разговоре с Социолухом я обсуждал планы пробуждения оппозиции нашему «режиму». Где был я и где не я? Везде был одновременно я и не я,— была частичка моего «я», но не все «я», содержащее отрицание этой частички. Мы — червяки, способные извиваться во всех возможных измерениях.

В КЛУБЕ

Прекрасная погода. Прекрасное настроение. Мы — Блаженный, Психолог, Агент, Бард и я — сидим в Клубе. Они не спеша потягивают молдавское вино, которое где-то по блату достал Психолог.

— Странные бывают случаи,— говорит Психолог.— И никакого научного объяснения им нет. Если бы сам не убедился в их реальности, ни за что не поверил бы. Попал к нам один человек. Даже не человек, а человечишко. Обыкновенный маляр. Хилый. Неразговорчивый. Но он обладал одним необыкновенным свойством: всякий, кто пытался причинить или причинял ему зло, так или иначе наказывался. Например, кассирша, выдававшая ему зарплату, решила его обсчитать. Она видела, что перед ней — рохля, и была уверена, что обман пройдет незамеченным. И вместо десятирублевых бумажек выдала ему... сторублевые! Однажды на него напали пьяные хулиганы, готовые за трешку зарезать человека. Один хотел пырнуть его ножом, но получилось как-то так, что попал в своего напарника. Его соседи по квартире три года добивались, чтобы его выселить. Он согласился на комнатушку в каком-то бараке. Так в его комнате после того, как он покинул ее, обвалился потолок и искалечил счастливых соседей!

— А почему же его к вам посадили?

— Вы знаете наш народ. Желающих причинить зло ближнему у нас хватает. Если его оставить на свободе, несчастные случаи будут продолжаться. Это не гуманно.

— Интересно,— спросил Агент,— а как часто попадают в «психушку» партийные работники?

— Никакой статистики на этот счет нет,— ответил Психолог.— К тому же партийных работников в обычных психиатрических больницах не держат. Их сразу забирают в Москву, и там они исчезают. А на местах сообщают о «преждевременной кончине». Это гуманно.

— И что теперь будет с тем заколдованным маляром?

— Тоже заберут в Москву. Там такими экземплярами сейчас очень интересуются. Я мог бы о таких типах потрясающую книжку написать. Через мои руки их сотни прошли. Но...

— Но?..

— Но вся документация на них засекречена. Книжку такую никто не напечатает. А меня самого из врача превратят в пациента.

— А мы сейчас готовим материалы для секретного доклада Крутова о морально-идеологической ситуации в области,— сказал Агент.— Приказано собрать сведения по принципу «правда, вся правда и только правда». Вы представить себе не можете, какая помойка наш Партград в этом отношении!

— А может быть, в этой помоечности и заключается сила нашей морали и идеологии,— вставил свое замечание я.

— Точно,— сказал Психолог.— Ты гений! Вот кому следовало бы заниматься идеологией!

— Если бы я высказал такую гениальную идею, меня немедленно уволили бы с работы,— сказал Агент.— А где бы после этого я нашел такое сытное место? Нет, пусть уж лучше они там сами выкручиваются.

— Женить тебя надо,— сказал вдруг Психолог ни с того ни с сего.— Хочешь, я тебе устрою такую невесту, что все партградские мужики сдохнут от зависти?

— Где ты ее возьмешь? — спросил Агент.— А то и я не прочь поменять мою старуху жену на новую.

— У нас в больнице есть отличные бабы, свихнувшиеся на семье и на преданности воображаемым мужьям. Лучше жену не придумаешь. Не изменит. Дом будет содержать в образцовом порядке. Ну?
— А как ее из больницы отпустят?
— Подпишешь бумажку, что берешь ее под свою ответственность, и все.
— А если она фокусы начнет выкидывать?
— Обменяешь на другую.
— Ничего себе перспектива!
Разговор пустой, как и всякий другой разговор в таких случаях. Но это не имеет значения. Важно то, что мы сидим вместе, какая-то незримая сила делает нас очень близкими друг другу. Бывают такие минуты, когда кажется, что ради них и затеяна вся жизнь. Сейчас была именно такая минута. Мы все это почувствовали.
— Как хорошо, ребята,— сказал Блаженный.— Ради одного такого мгновения стоит страдать годы и даже жизнью пожертвовать.
— Я расскажу вам по этому поводу коротенькую историю,— начал Бард.— Это было в июне 1944 года. День выдался красоты невиданной. Как-то получилось так, что много хорошего совпало. Отличная погода. Прекрасная природа. Затишье на фронте. Предполагавшийся бросок отменили. Нас накормили, как говорится, от пуза. Нам выдали новое обмундирование. Мы помылись, побрились. Настроение было райское. Мы все вдруг стали друзьями. Делились махоркой и хлебом. Сообщали друг другу домашние адреса. Это блаженство продолжалось часа два. Как вдруг нам приказали сдать новое обмундирование и надеть старое. Потом нас построили и погнали бегом на минные поля и проволочные заграждения перед укрепленным пунктом противника. Атака была бессмысленная. Почти весь батальон погиб зря. Потом мы, немногие уцелевшие, узнали, что нам дали те два часа блаженства по ошибке. Ожидалось прибытие самого Сталина на этот участок фронта, и нас спутали с другой частью, в которой должен был «неожиданно» появиться Сталин. Сталин поездку отменил, обнаружилась ошибка с частями, нас решили наказать за ошибку, совершенную не нами. Генерал из Москвы приказал послать нас на мины. Зачем я это рассказываю? Дело в том, что мы немедленно забыли о тех минутах счастья, о которых до этого говорили, что ради них можно страдать годами...
— Все зависит от того, как ты смотришь на свою жизнь, в каких понятиях ты ее осмысливаешь,— произнес Блаженный.— Вот, например, допустим, что ты учился в университете, увлекался поэзией и философией и все такое прочее. Потом ты попал в армию рядовым солдатом. Забыты Аристотель и Шекспир. Твоими мыслями и чувствами завладели самые низменные земные заботы: поесть, поспать, вырваться из части на пару часов, выпить, переспать с бабой какой-нибудь. Что случилось? Банальная житейская история, вызывающая лишь скуку. Но если ты скажешь себе, что у тебя произошло изменение системы ценностей, то твой банальный случай уже будет выглядеть как пример к чему-то грандиозному. И у Наполеона произошло изменение системы ценностей после того, как он стал императором. И у Ленина после того, как он стал во главе первого в истории социалистического государства. Благодаря понятиям большой степени общности ты возвышаешь свою жалкую жизнь до уровня королей, полководцев, вождей, первооткрывателей и прочих великих представителей рода человеческого. Мы вот сейчас сидим рядом с помойкой среди исчадий нашего советского ада. Убожество. Серость. Грязь. Тоска. А посмотри на это с точки зрения высших категорий, и наша беседа возвысится до уровня бесед Платона или Аристотеля со своими учениками.
— Но мы при этом вряд ли откроем силлогизм.
— А зачем его открывать? От такого рода открытий ничего, кроме скуки, не бывает. К тому же не исключено, что мы сделаем открытие более грандиозное, чем силлогизм, сопоставимое с открытиями Будды или Христа.
— Ты помнишь Лаптева? Он уже до нас сделал это открытие. И чем он кончил?
— А сколько будд и христосов погибло безвестными, прежде чем один Будда и один Христос вошли в историю. И кто знает, может быть, эти имена вообще собирательные, а не индивидуальные. И может быть, мы сейчас вносим свою крупицу в великое открытие будущего Будды или Христа. Взгляни на нашу жизнь с этой точки зрения, и ты увидишь, что она прекрасна.
— Значит, ты предлагаешь не борьбу за изменение условий жизни, а изменение нашего отношения к ней?
— Если невозможно изменить условия жизни, то изменимся мы сами так, чтобы наши гнусные условия стали выглядеть самыми прекрасными для нас. Разве это не логично?
— Логично. Но ведь есть пределы и для наших субъективных изменений. Хорошо, если внешние условия лежат в этих пределах. А если они выходят за эти пределы? Например, в условиях нашего климата пренебрежение к одежде, жилью и питанию выходит за рамки биологических возможностей организма. К тому же мы должны ходить на работу и подчиняться правилам нашей коллективной жизни. Нам просто не позволят внутренне измениться так, как ты советуешь. Что тогда?

— Ждать конца. Жизнь коротка. Не успеешь оглянуться, как тебя нет. Немного терпения, и все.
Вино допито. Закуска съедена. Слова все сказаны. Мы прощаемся и расходимся по своим «берлогам». Ночью я фантазирую насчет Невесты. Вот попала бы она в «психушку». Я бы взял ее оттуда под свою ответственность и на свое содержание. Какая прекрасная была бы жизнь! Она бы лежала на моем диване, а я смотрел бы на нее все ночи напролет. Что еще нужно для счастья?!

СНЫ

Выражение «видеть сон» есть выражение языка зрячих. Оно бессмысленно в отношении слепых. Да и в отношении зрячих оно редко бывает верным. То, что мы называем видением снов, часто не есть видение. Это есть внутреннее состояние тела, которое мы припоминаем в зрительных ощущениях. Поскольку эти состояния бывают различных уровней, мы порою отражаем одно (более глубокое) состояние в другое (более мелкое) с помощью языка зрячих и имеем зрительные ощущения. Слепой говорит, что он видит сны. Но я ему не верю,— это самообман. Я попросил его однажды пересказать мне его сон. Он сделал это так, что никаких следов зрительных заметить было невозможно. Сны не видятся, они снятся. Теоретик изучал свои сны с точки зрения действий руками. И он точно установил, что использует зрительные образы и язык нормальных людей с выражением «брать руками» для интерпретации явлений, ничего общего не имеющих с реальным оперированием руками. Сначала у него благодаря этой интерпретации была иллюзия, будто он действует в своих снах руками. Но установив причину иллюзии, он уже не мог переживать ее снова. Жаль, конечно. Но то, что он познал, он все же ценит выше потери. Отсюда я сделал два важных вывода: 1) уроды и во сне остаются уродами; 2) лучше расстаться с иллюзиями, познав их источник, чем жить с этими иллюзиями,— страдание от потеря иллюзий выше удовольствия от иллюзий. Страдания в таких случаях возвышают человека в его собственном самосознании, иллюзии унижают. Романтик мне говорил, что сознание неизбежности смерти и ожидание ее иногда облагораживают людей, возвышают их до уровня героев античной трагедии. Он не раз испытал это сам. Я ему доверяю.
Наблюдая за собой, я установил, что перемещаюсь во сне не на нормальных ногах, а на протезах или абстрактно.
А одинокий пьяный инвалид, ломающий костыли, теперь мне снится почти каждую ночь. Я к этому сну привык и не стараюсь уклониться от него. Психолог, которому я рассказал про сон, сказал, что я правильно поступил, отдавшись во власть кошмарных снов, что такие сны — стихийная форма медитации, что, если я хочу, он научит меня заниматься медитацией на хорошем медицинском уровне. Но я от его предложения отказался. Мне кажется, что в способности страдать больше человеческого, чем в способности как-то смягчать страдания или уклоняться от них. Страдание есть самая сильная форма ощущения жизни.

ЖИВИ

Зашел Солдат. Уже основательно пьяный.
— Дай пятерку, и я тебе уступлю Настьку на всю ночь,— сказал он, протягивая руку.— Ну, по рукам?!
Я взял его руку и стиснул так, что он опустился на колени, побледнел и чуть не потерял сознание.
— Вот чудак,— протянул он, когда я отпустил его руку.— Ему хочешь сделать добро, а он!..
— Если я услышу от тебя еще раз нечто подобное, я тебя раздавлю, как червяка.
— Ну и дурак будешь. Я далеко не худший экземпляр рода человеческого. А если кого-то непременно хочешь шлепнуть, то шлепни лучше Сусликова или Маоцзедуньку. Хоть какая-то польза человечеству будет.
Солдат ушел занимать деньги у Правдеца, забыв о том, что еще вчера называл его подонком и клялся, что с ним вместе даже в туалет не пойдет. Через полчаса зашла Невеста.
— Где Солдат?
— Я не нянька твоему Солдату. Кончай ты этот дурацкий роман. Он оскорбителен для женщины.
— Мне надоели твои нравоучения. Я не маленькая, сама знаю, что делать.
— Он предлагал мне уступить тебя на одну ночь за пять рублей.
— И ты, конечно, пожадничал?
— Я не давал тебе повода для таких пошлостей. Во избежание их в будущем прошу больше на этот диван не рассчитывать.

— Ну и дурак!

Она ушла. А я ринулся в пучину отчаяния. Неужели я и в самом деле дурак? Неужели я не понимаю чего-то очень простого, что делает жизнь сносной? Чего именно? Неужели нравственность в наше время есть нелепое донкихотство?

Но я все равно не могу отказаться от нее. Поздно. Это стало моей опорой в жизни. Если я встану на путь безнравственности, я погибну. Но я еще почему-то не хочу умирать. Почему?! Наверно, по той же причине, по какой дождевые червики стараются быстрее уползти с тротуара и зарыться в землю,— в силу инстинкта всего живого. Живи без всяких объяснений, обоснований и оправданий! Живи!

БАРД

Барда решено выселить из города в «Атом». Хотя Романтик защищал Барда на заседании административной комиссии, его не послушали. После заседания комиссии они вместе напились. В Клуб пришли, шатаясь. Бард подавлен. Тут, «на свободе», жизнь для него тоже была не сахар. Но он тут был волен распоряжаться своим временем. Тут он имел много друзей. Некоторые из них — высокообразованные, умные, начитанные. Было с кем и о чем поговорить. А что будет там, в «Атоме»?

— Жизнь моя в общем и целом не удалась,— говорит он.— Почему? В тот раз, когда наш полк спешил на фронт заткнуть брешь, образовавшуюся после капитуляции целой армии, рядом со мною набивал кровавые мозоли на ногах мой приятель-интеллигент. Он был студентом филологического факультета, знал разницу между белым и красным вином, познал женщин. Я был ничто, успел в своей жизни познать грязь, голод, нищету. Мой приятель сочинял утонченные философские стихи о тишине, о молчании, о чистой любви. Я же сочинял хулиганские песни о бабах, которых у меня еще не было, и о пьянках, в которых я еще ни разу не принимал участия. Над стихами приятеля подшучивала вся рота. Он страдал от этого, так как вкладывал в свои стихи «всю душу». Мои же песни распевал весь полк. Приятель страдал от этого еще больше, так как считал это несправедливым. Для него в стихах заключалась вся жизнь, а для меня они были лишь средством для «солдатского зубоскальства». Он говорил, что я ничего не смыслю в подлинной поэзии. И все-таки он аккуратно вписывал мои экспромты в записную книжечку — единственное, что уцелело от него после того, как вражеская бомба угодила прямо в его окоп. Теперь его имя «навечно» высечено на мраморной плите героев войны, а стихи его напечатаны в сборнике молодых поэтов, погибших на войне. Я ничего не имею против. Но все-таки иногда бывает немножко обидно. Вдруг и, а не мой разорванный в клочья приятель, был настоящий поэт? Мы, русские, лишь в конце жизни вдруг осознаем, что могли бы чем-то стать. Вначале же мы сами не верим даже в то, что уже умеем делать, и нас все убеждают в том, что мы не умеем делать то, что мы уже делаем лучше других. Ну, да ладно! Хватит жаловаться! Хотите, я спою вам что-нибудь веселенькое?

Закон истории безжалостно жесток.
Не встанут павшие из праха и из тленья.
Не остановишь вечный времени поток.
Иное будут петь другие поколенья.

Вчера носили маску ловкачи.
Вчера таились даже стукачи.
Бунтарь-певец вчера тревожил души.
Вчера к свободе рвался диссидент.
Вчера казалося, приблизился момент,
Когда способны будут люди правду слушать.

Россия не воспрянет больше ото сна.
В трясине пошлости не может быть обломков.
Когда-то грозные поэтов имена
Воскреснут вряд ли в памяти потомков...

Идет расправа, а не честный бой.
Враг позади, а не перед тобой.
Плевки свистят, не пули и снаряды.
И знаешь, не взойдет грядущего заря.
И чувствуешь, усилия все зря.
И уж не ждешь заслуженной награды.

Закон истории цинично прост.
Не свет, а муть — житейское теченье.
Всплывает вверх не гений, а прохвост.
И топчут в грязь былое исключенье.

Теперь в героях ходят ловкачи.
Теперь свободу славят стукачи.
Холуй и шкурник стал теперь примером.
Теперь послушен даже диссидент.
Теперь совсем иной настал момент:
Мир с упоеньем рукоплещет лицемерам.

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Есть у нас в городе свои знаменитости — спортсмены, писатели, художники, артисты, ученые. Но самая знаменитая персона у нас — Целительница. Когда наш город посетил Брежнев, с ним случился удар — потерял способность говорить. Ему речь надо по крайней мере на час читать, а он «мама» произнести не может. Все величайшие медицинские светила немедленно прибыли в город на сверхзвуковых военных самолетах. Речь Брежнева перенесли на другой день. Но медицина бессильна. И тут в панике кто-то вспомнил (потом Сусликов приписал это себе), что в ресторане «Ермак Тимофеевич» есть официантка, которая за сходную плату лечит разнообразные болезни. Лечит, как выражается она сама, «психицки» — смотрит на больного, гладит, шепчет. Интеллигенция над Целительницей посмеивалась, но та ее игнорировала. Начальство подозревало ее в жульничестве, но она откупалась взятками. «Простой народ» валил к ней валом, и она действительно вытворяла чудеса. Старики говорили, что ничего особенного в Целительнице нет. До революции таких «бабок» было полно, чуть ли не в каждой деревне. Так вот, вспомнили о Целительнице. Рискнули позвать ее, хотя вся Академия медицинских наук встала на дыбы. Позвали.

И буквально через пятнадцать минут Л. Брежнев начал болтать, как студент-отличник на семинаре по марксистско-ленинской философии. После этого Целительнице приказом Брежнева устроили особую лабораторию при медицинском институте, прикрепили двадцать сотрудников помогать и изучать ее методы, разрешили частную практику. Слава о ней прошла по всей Руси Великой. Очереди на прием к ней люди ждали месяцами. За десятиминутную консультацию она стала драть месячную зарплату среднего служащего. Построила свой дом на окраине города и дачу в районе для высшего начальства. Завела две машины. Содержала по шоферу на каждую машину, кухарку, садовника, горничную. Пожертвовала огромную сумму на колонию для малолетних преступниц (главным образом — проституток). Она пожертвовала именно на это дело, потому что «сама из народа вышла». И в результате начисто утратила свою чудодейственную целебную силу. Репутация ее теперь держалась только на инерции и на жульничестве.

И вот Слепой захотел побеседовать с Целительницей во что бы то ни стало. Он сам не знал, правда, зачем. Должно быть, просто «для очистки совести». Чтобы уж окончательно убедиться в том, что ему не дано преодолеть свое убожество.

Я умолял Слепого поберечь деньги и не ходить к этой шарлатанке. Но он настоял на своем. Я предложил ребятам собрать часть суммы для Слепого. Но все были «не при деньгах». Да и откуда им быть с нашей мизерной зарплатой и при нынешней дороговизне?! Мать Слепого продала какую-то золотую штучку, доставшуюся ей еще от бабушки. Мы дали приличную взятку помощникам Целительницы, чтобы нас пропустили вне очереди. Оказывается, им все дают взятку, чтобы попасть без очереди, так что это вошло в законную плату. Нас все-таки пропустили без очереди, приняв во внимание наши выдающиеся убожества. Хотя в консультации нуждался Слепой, помощники Целительницы зачем-то проверили, на самом ли деле я хожу на протезах — уж слишком натурально у меня получается.

Пробыл Слепой у Целительницы вместо положенных десяти минут целый час. Вышел от нее, весело смеясь. И смеялся всю дорогу до дома. «Оказывается,— сказал он, отсмеявшись,— я сам обладаю „психицкой" силой! Когда я вошел, ей сразу легче стало (это она сама так сказала). Она сразу протрезвела. И что самое поразительное — „коньячий" дух сразу из ее пасти испарился. Она обещает платить мне вдвое больше, чем берет сама, лишь бы я приходил к ней по ее зову „приводить в норму". Что ты на это скажешь? Может быть, я и в самом деле вроде старинной бабки-знахарки? А в общем, я, конечно, шучу. Сволочь она, эта Целительница!»

ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ

Мы с Теоретиком медленно бредем из комбината в наши Новые Липки. Когда кончается рабочий день, мы спешим покинуть ненавистное нам учреждение. А почему спешим? Куда спешим? В такое же ненавистное «домой»? Что такое «дом»? И где он, мой дом?

— Мы рассуждаем на возвышенные темы,— говорит Теоретик,— изощряемся. А кого мы обманываем? Только самих себя. Хотя бы раз в жизни нам надо откровенно ответить самим себе: чего нам не хватает? И тогда окажется, что все банально просто. Вот, напри-

мер, возьмем меня. Я никогда не трогал руками женскую грудь. И не трону никогда — нечем. Мне страстно хочется этого, но я так никогда и не смогу ощутить это на деле. Однажды в юности я сделал попытку дотронуться до груди девушки, с которой и дружил. Мы с ней гуляли, как вот сейчас. Я ей читал стихи. Высказывал умные мысли. А хотелось мне всего лишь прикоснуться к ее груди. Представляете, какой ужас был на ее лице, когда я сделал свою робкую попытку! С тех пор одна мысль о повторении аналогичной попытки повергает меня самого в ужас. У меня есть женщина, которая приходит ко мне и из жалости или из иных соображений удовлетворяет мою физиологическую потребность. Но она умоляет меня не обнимать ее и вообще не прикасаться к ней моими, с позволения сказать, верхними конечностями. Есть у Есенина стихотворение, в котором он обещает схватить свою любимую на руки и унести в кусты. За одно такое мгновение я двадцать лет жизни отдал бы...

Теоретик говорит, забыв о том, какого труда мне стоит каждое движение, похожее на движение настоящих ног. Он сказал, что отдал бы двадцать лет за один год полноценной жизни. Вот еще один способ измерения уродства: на какой срок полноценной жизни променял бы человек такой-то срок своей уродливой жизни. Вот я, например, отдал бы двадцать лет за один год жизни на здоровых ногах? Нет, двадцать лет жалко. Но десять я променял бы. Выходит, Теоретик есть еще больший урод, чем я? Но почему же я иногда ему завидую? Скорее всего потому, что я не ощутил его уродства и слишком долго ощущаю свое. Нет, этот метод не очень-то точен.

Солдат — здоровый физически и красивый парень. Посмотрел американский фильм и сказал, что полжизни отдал бы за то, чтобы месяц пожить так. Полжизни — за месяц. А за что? За автомашину. Ночной клуб. Возможность в любое время зайти в кафе, съесть что-то вкусное без долгого ожидания и хамства, провести ночь с красивыми девицами, подраться... Может быть, застрелить кого-то или быть застреленным. Наркотики попробовать. В теплых морях покупаться. Красивые города посмотреть. За месяц такой киношной жизни — половину своей провинциальной. Выходит, за два месяца отдал бы всю жизнь? Нет, он не такой уж идиот! Половину жизни он хочет оставить при себе и пожить по-нашенски!

Солдат не урод. Но и он готов «полжизни отдать» за месяц жизни, увиденной в кино. Почему? Герои — вроде бы полноценные физически люди. Сильные, красивые, смелые. А они свою жизнь в грош не ценят. Интересно, сменяли бы они какой-то кусок своей жизни на нашу? Сомневаюсь. Готовность Солдата к обмену есть явление совсем иного качества, чем готовность Теоретика. Потом я постепенно опросил всех своих близких знакомых. Не прямо, конечно. Я наводил разговор на эту тему. И почти все они как будто сговорились: говорили о готовности променять какой-то кусок своей жизни на меньший кусок другой. Что это? Привычная форма выражения мысли? Не такая уж она привычная. Скорее всего — сходные условия бытия. Слепой выразил готовность променять всю оставшуюся ему жизнь на пять лет зрячей. Невеста сказала, что за возможность пережить настоящую чистую любовь (такую, как в книжках описывают) она отдала бы всю жизнь, пусть эта любовь продолжалась бы всего один день. А ведь она — здоровая, жизнерадостная, неприхотливая. Моралистка сказала, что она такую гнусную жизнь готова отдать кому угодно просто так, ничего не требуя взамен.

Реакция Блаженного меня не удивила. Он сказал, что все это — вздор. Если бы дошло до реальной мены, величины были бы совсем другие. А многие вообще от обмена отказались бы. Почему? Слепой, например, подозревает, что видение мира мало что изменило бы в его уныло-серой жизни. Он, Блаженный, готов поменять свою жизнь на любую другую. Ему все равно. Никакой абсолютной полноценности в мире нет. Все относительно. Остряк и Солдат — физически полноценные люди. А как они тратят свою жизнь? А о чем они мечтают? О том, чтобы угробить ее еще более нелепым образом, а не насладиться полноценностью. Ощущение полноценности есть ощущение уродов, а не здоровых людей. Или животных. Здоровые люди ощущают свою относительную полноценность лишь в сравнении с уродами.

— Скажи откровенно,— спрашиваю я себя,— насколько существенно изменилась бы твоя жизнь, если бы тебе сейчас пришили бы нормальные ноги? Сейчас твоя жизнь имеет для тебя огромный смысл — смысл сражения человека со страшной природной стихией. Ты успешно сражаешься. Ты должен ощущать себя полубогом. А со здоровыми ногами?..

НОЧЬ

Под утро я, измученный мыслями, впадаю в состояние кошмара. Я вижу, как маршируют колонны безногих, как во главе колонн шествуют слепые, как безрукие несут знамена и портреты безголовых вождей, как глухонемые поют гимны и выкрикивают лозунги, как импотенты несут детей с недоразвитыми конечностями и без глаз, как на трибунах безголовые вожди указуют нам путь... Я вижу слепых, у которых из глазниц вырастают вытянутые вперед тощие руки с растопыренными щупальцами-пальцами.

Вижу идущих на руках безногих... Я вижу кипение роботов с человеческими головами, но с искусственными глазами. Вижу обычные человеческие тела с техническими устройствами вместо внутренних органов. Это видение сменяют стройные колонны здоровых, молодых, красивых мужчин, женщин, детей. Они несут яркие знамена и портреты розовокрасивых вождей. Последнее зрелище кажется мне самым ужасным. Я чувствую себя глубоко несчастным. Падаю в пропасть, не имея возможности остановить падение,— у меня нет рук и ног. Я хочу крикнуть, но у меня нет голоса — я нем. Я хочу посмотреть, куда я падаю, но я не могу — я слеп. Я есть абстрактный социальный индивид, не имеющий ничего, кроме интеллекта, способного рассчитывать ближайшие последствия своих простейших действий. Но я не могу совершать эти действия — мне нечем их совершать. И я не волен их совершать, ибо воля моя изъята из меня и передана другим, которые тоже не вольны совершать свои поступки.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Психолог привел в Клуб парня из какого-то «почтового ящика» (т. е. секретной лаборатории).

— Иногда гляжу я на людей, и мне становится не по себе,— говорит он.— Люди живут, детей плодят, суетятся, учатся, стараются, книги пишут, теоремы доказывают, на скрипках играют... Они не знают о том, что в бесчисленных секретных лабораториях во всем мире день и ночь трудятся над тем, чтобы изобрести какую-нибудь пакость, с помощью которой можно было бы изуродовать им жизнь или вообще вычеркнуть их из жизни. Я пришел к выводу, что главную угрозу человечеству несет с собою безудержный прогресс науки и техники. Если этот прогресс не остановить, гибель человечества неизбежна.

— Ты имеешь в виду атомное оружие?

— Атомное оружие теперь не самое страшное. Если будет атомная война, человечество все равно уцелеет. Лет через пятьсот или через тысячу люди восстановят нынешний уровень цивилизации и даже превзойдут его. Есть вещи пострашнее атомного оружия.

— Бактериологическое оружие? Химическое?

— Эти штуки, конечно, неприятные. Но и они — мелочь в сравнении, например, с генетическим оружием.

— С генетическим?! В первый раз слышу. Что это такое?

— Что такое механизм наследственности, ты сам знаешь. И знаешь, конечно, что на него можно воздействовать, причем — целенаправленно. Ты не знаешь, как это делается практически. Это, брат, одно из самых тончайших и сложнейших научных открытий человечества.

И далее он рассказал следующее. Научные исследования, имеющие целью изобретение средств воздействия на психику людей в желаемом направлении и закрепление произведенных изменений психики в наследственном механизме людей навечно, ведутся давно как за рубежом, так и у нас. Разумеется, никто об этом не говорит открыто. Все это делается под прикрытием неких благородных намерений осчастливить человечество. Но это — обман или добровольный самообман. Какое советское руководство не мечтает о таких руководимых трудящихся, которые покорно, буквально и с энтузиазмом выполняли бы все постановления ЦК КПСС?! Приняли в ЦК решение не пить водку, опубликовали, и трудящиеся все стали трезвенниками. Приняли решение укрепить трудовую дисциплину, и на другой день все стали образцовыми работниками. Идеал нашего руководства — чтобы массы всегда оставались послушными детьми, а руководители выглядели бы в их глазах мудрыми и справедливыми руководителями. А какой генерал не мечтает о солдатах, покорно выполняющих любые приказы и в любых условиях?! Конечно, идеология в этом отношении делает свое дело. Но она оказалась не такой уж сильной. И расчеты на высокое развитие сознания трудящихся не оправдываются. И страх наказания не так уж силен. Так что было бы очень полезно, если бы коммунистическое воспитание трудящихся подкрепить укольчиками и пилюльками. А еще лучше было бы сделать эти укольчики раз и навсегда,— провести такую кампанию по всей стране,— чтобы потом детишки и без укольчиков и пилюль автоматически становились такими же, как их родители. Само собой разумеется, такое проделать полезно было бы не со всеми. С партийными работниками это делать не надо — они и без того сверхсознательны и ведут себя так, как надо. И с некоторыми другими слоями населения это делать не нужно по тем или иным причинам. Или к ним надо подойти дифференцированно: стране все-таки нужны и писатели, и художники, и плясуны, и футболисты.

Короче говоря, затаенная мечта руководящих, господствующих и привилегированных слоев общества — сделать свое положение надежным и передаваемым по наследству, сделать социальную иерархию незыблемой — в наше время вполне естественно ищет опору во всесильной науке. И вполне естественно стремление обезопасить свое положение от угроз извне, использовав эти современные научные средства в отношении внешнего врага.

Было бы очень даже неплохо, если бы и внешнему врагу сделать некие укольчики или всунуть в рот пилюльки, в результате чего внешний враг осознал бы свою историческую обреченность и стал бы так же послушно выполнять мудрые решения ЦК КПСС. Пока мы угрожаем им бомбами, ракетами, танками, подводными лодками, лазерами. Но было бы куда гуманнее действовать методами убеждения и воспитания в коммунистическом духе. А тут эти укольчики и пилюльки были бы очень полезны. Так что, в каком направлении работает воображение нашей системы власти, на этот счет никаких сомнений быть не может. Наши ученые должны что-то открыть и изобрести в этом направлении. Иначе за что им деньги платят, чины и звания дают, квартиры и дачи они получают?!

— Я читал кое-что на эту тему,— вставил свое слово я.— Но я полагал, что это — из области научной фантастики.

— К области научной фантастики относится все то, что касается блага человека. Путем воздействия на генетический аппарат людей не сделаешь лучшо того, какими они стали благодаря естественной биологической эволюции. Современный человек в биологическом отношении есть не только вершина творения, но это вообще потолок. Конечно, изменения происходят и будут происходить, но они чисто внешние и чисто количественные. Но, повторяю, в качественном отношении эволюция человека достигла потолка. Людей уже не сделаешь лучше. Но зато их можно сделать хуже. Искусственное вмешательство в биопсихический механизм человека и в механизм наследственности не может пройти безнаказанно вследствие самих законов природы. Добиваясь желаемых результатов в одних отношениях, мы неизбежно теряем в каких-то других. Любые средства манипулирования людьми, воздействующие на организм, порождают неконтролируемые последствия, сводящие на нет достигнутый положительный эффект. И теория, и эксперимент дают тут один и тот же результат: биологический прогресс человечества путем искусственного воздействия на физиологический и на генетический механизм человека в принципе невозможен. Возможна только деградация.

— А без искусственного вмешательства можно удержаться на достигнутом уровне?

— На какое-то время — да. Если бы даже наука не стала вмениваться в генетический механизм человека, люди в конце концов начали бы деградировать и без этого. Есть универсальный закон природы: всякий прогресс со временем достигает вершины и уступает место регрессу. Но наука, вмешиваясь в генетический механизм человека, может ускорить процесс деградации. Если природе без науки потребовались бы десятки тысяч лет на это, то средствами науки можно сократить,это до времени одного поколения, т. е. до логически возможного минимума. Короче говоря, все то, что касается причинения зла человеку, относится к области реальности.

— Ты считаешь, что какие-то практические результаты на этом пути достигнуты?

— И какие! В принципе уже сейчас можно производить людей любых заранее намеченных типов. Конечно, в рамках биологических законов. Пока еще через несколько поколений. И индивиды будут генетически неустойчивы. Но пройдет немного времени, и будет разработана тончайшая и надежная техника производства особей заранее намеченного типа, причем — генетически устойчивых. В наше время прогресс все более ускоряется.

— Прогресс?!

— Ну, регресс. Какая разница. В наше время вообще невозможно различить, что есть прогресс и что деградация. Мы должны быть счастливы, что жили в двадцатом, а не в двадцать пятом, допустим, веке. Тогда наверняка научатся искусственно выводить человекоподобные существа с заранее запланированными признаками. Их будут скорее всего в колбах выращивать. И будущее столетие будет самым кошмарным в человеческой истории. Люди будут всеми силами пробиваться в высшие слои, которым не угрожает никакое «генетическое оружие». Будут стараться закрепиться в высших слоях навечно.

— Навечно?!

— Ну да, чтобы и их потомки оставались в этих слоях, т. е. людьми в нормальном смысле слова.

— Какой в этом смысл? Потомки становятся чужими уже через два-три поколения.

— Инстинкт самосохранения. Заботясь о потомках, люди заботятся о сохранении рода. Человеческая жизнь коротка. Жизнь рода в принципе бесконечна. Люди род свой биологически ощущают как вечность.

— У нас-то нет потомков.

— Это не так уж плохо. Я вообще думаю, что мы имеем возможность повлиять на ход истории только одним путем: отказавшись от потомства.

КАПИТУЛЯЦИЯ

Наша делегация вернулась из США. Привезли чудесные протезы с новейшей электроникой. Приехали специалисты из Москвы. Создали, как обычно, особую комиссию по изучению передовой западной техники. Протезы разобрали на части. Исследовали все до

мельчайших подробностей. Стали собирать, но ничего хорошего из этого не вышло. Целый месяц лучшие специалисты из столицы трудились впустую. Постепенно интерес к протезам спал. Москвичи уехали домой. Протезы в разобранном виде отнесли на склад. Комиссия распалась. А меня снова вызвали в дирекцию и предложили наконец-то доложить о результатах моего изобретательства. Сулили награды. Грозили наказаниями. Я решил капитулировать. Документацию и протезы я уже подготовил. И вот я сдал свое открытие на суд отдела.

При обсуждении моего изобретения в отделе Гробовой наговорил всякой ерунды. Сказал, что над ним надо еще серьезно поработать и что он этим займется сам. Все поняли, что мне не избежать его соавторства. Кое-кто мне посочувствовал. Большинство же одобрило замысел Гробового.

Когда мое изобретение передавали на обсуждение в дирекцию, авторами его уже стали Гробовой, я и еще один сотрудник отдела — холуй Гробового. В дирекции пришли в восторг от изобретения. Но директор сказал, что оно еще нуждается в доработке и что он этим займется сам. В результате мое изобретение пошло вверх уже от имени четырех авторов — директора, Гробового, меня и старшего инженера комбината. Холуя Гробового директор из списка вычеркнул.

В тресте и в обкоме партии одобрили изобретение. Сказали, что будут выдвигать его на Государственную премию. В комбинате начало твориться нечто невообразимое. Оказалось, что все начальники комбината так или иначе принимали в нем участие. Проблема авторства стала предметом обсуждения на заседании партийного бюро совместно с представителями райкома партии и треста. Гробовой высказал сомнение по поводу оставления меня в числе соавторов изобретения. Вспомнили мой скандал в больнице. Кто-то сказал, что были «сигналы» о моей моральной неустойчивости. Кто-то сказал, что ходят слухи о группе в Клубе, в которой ведутся нездоровые «разговоры». И меня из списка авторов изобретения исключили.

Когда узнали об этом, в комбинате сначала выразили недоумение. Но вскоре вздохнули с облегчением: все-таки «этому карьеристу Гореву» не удалось вырваться наверх! Я же, к моему удивлению, отнесся к известию с полным равнодушием. Я ожидал, что именно так и случится.

Но все тревоги комбинатских претендентов на Государственную премию оказались впустую. В обкоме партии передумали, решили, что в Москве будут смеяться над таким курьезным предложением. На премию от области решили выдвинуть какое-то изобретение на мясо-молочном комбинате, позволяющее получать порошок молока вдвое быстрее, чем раньше,— как раз в духе «ускоренного развития». И мое изобретение сдали в архив.

НЕВЕСТА

Невеста появилась в моей комнатушке вновь, как будто ничего не случилось. Она пришла, когда Солдата дома не было. Решила подождать, но Солдат где-то загулял, и она уснула, сидя на диване. Я положил ей под голову подушку, поднял ее ноги на диван, укрыл одеялом. За стенкой Соседка «шепталась» с Хахелем. Он сказал, что я наверняка «сплю с этой потаскухой». Соседка сказала, что у меня «эти самые дела» оторвало вместе с ногами. Хахель сказал, что «нынешняя молодежь всякие развратные фокусы придумала и без этих самых дел обходиться может». Далее их разговор принял неописуемо пошлое и скабрезное направление. Наконец они утихомирились. Часа в три ночи притащился Солдат. Пытался ворваться в мою комнату с намерением набить морду «этой стерве», т. е. Невесте. Мне пришлось применить силу, чтобы урезонить его. Невеста проснулась от пьяных криков и ругательств Солдата. До рассвета просидела с широко раскрытыми, но невидящими глазами. Не спал и я. Заговорить с ней я не решился. Утром она ушла, не сказав на прощанье ни слова. Солдат спал на кухне, уткнувшись лицом в свою собственную блевотину.

МЫСЛИ ГЕНИЯ

— Представь себе,— говорил Теоретик,— что на Земле существует всего один урод и этот урод — ты. Как ослабить или вообще заглушить твои страдания? А теперь представь себе, что на Земле существует всего один нормальный челоаек и этот человек — не ты. Как ослабить или вообще заглушить твою зависть к нему? Есть разные варианты решения таких проблем. Уничтожить уродов, если их меньшинство. Уничтожить здоровых, если их меньшинство. Сделать всех уродами. Сделать всех здоровыми. Какое решение наилучшее? Мы есть природа, часть всеобъемлющей природы. А природа находит свое наилучшее, т. е. наиболее вероятное и доступное решение. Природа действует согласно фундаментальной аксиоме: в мире нет совершенства, все есть уродство, все суть уроды. Приглядись к самым, казалось бы, здоровым людям, и ты найдешь в них бесчисленные признаки уродства.

— Разные бывают уродства,— говорю я.— У Гробового одна нога чуть короче и тоньше другой, но это не мешает ему быть первым бабником комбината. У нашего парторга испорчены зубы, изуродован мизинец на левой руке. Это не мешает ему чувствовать себя Аполлоном в сравнении с нами. Что считать уродством? Введи любые критерии, касающиеся миллионов людей, и ты увидишь, что уродство есть так или иначе исключение.

— Я категорически отвергаю твой релятивистски-статистический подход,— возражает он.— Есть природные законы гармонии, обязательные для всех. Змеи, крокодилы, пауки, мокрицы безобразны, но не уродливы. Люди в прошлом тоже были всякими, но уродство не было существенным фактором человеческой жизни. Уродство есть чисто человеческое изобретение. Человек открыл уродство и развил его средствами искусства и идеологии до высочайшего уровня. Человек превратил уродство в господствующую тенденцию эволюции. Мы катимся в антимир — в мир антиздоровья, в мир всеобщего уродства. Всеобщая деградация — вот наше будущее. И мы его предшественники. Так воспоем же славу этому грядущему безобразию! Дадим ему теоретическое обоснование, и наши потомки будут с нашими именами носиться так же, как мы носимся с именами Евклида, Платона, Аристотеля!

МЫСЛИ ЧЕРВЯКА

Наш комбинат за успехи в перестройке наградили орденом Трудового Красного Знамени. Директора наградили орденом Ленина, его заместителей и заведующих отделами, лабораториями и цехами — орденами рангом пониже, а прочую «мелочь» — медалями. Я получил медаль «За трудовую доблесть». Получать такую награду стыдно, а отказываться нельзя. Если бы отказался, меня немедленно исключили бы из партии и уволили с работы. А прожить на пенсию по инвалидности в моем положении невозможно. Поэтому я принимаю поздравления с таким видом, будто я этому безумно рад.

Как работник я неизмеримо лучше, чем Гробовой. В комбинате это общеизвестно. Но Гробовой получил более высокую награду, чем я. Где тут справедливость? А она тут на самом деле есть: Гробовой занимает более высокое служебное положение, и потому ему положена более высокая награда. Вот именно эта наша общая справедливость порождает нашу личную несправедливость. Если бы я попытался заявить вслух, что заслуживаю более высокую награду, чем Гробовой, весь коллектив комбината встал бы на защиту Гробового против меня. Меня обвинили бы в безнравственности.

Как быть в такой ситуации? Выход один: не придавать ей значения. Но есть ли это решение нравственное? Миллионы людей в сталинские годы делали вид, что ничего не знают о массовых репрессиях,— «не придавали им значения». А можно ли это оправдать с моральной точки зрения? Ведь таким путем можно оправдать все что угодно. Где проходит принципиальная грань между явлениями, игнорирование которых проводит грань между нравственностью и безнравственностью? Можно, конечно, принять за критерий то, что касается лишь лично тебя и что касается других людей. Но и это различение неопределенно. Например, тот факт, что орден получил паразит, хапуга и карьерист Гробовой, касается не только лично меня, но и всей нашей системы вознаграждения. Как быть? Помалкивать? Все помалкивают. А нравственно ли это? Столько лет труда — и медаль! Только и всего. Солнце не стало от этого светить ярче. Моя комнатушка не увеличилась ни на один квадратный сантиметр. Пища не стала вкуснее и сытнее, а одежда — красивее. Мир сохранил цвет и запах заношенной солдатской портянки. Так почему и ради чего я должен быть в чьих-то рядах? И я не вижу разницы между рядами созидателей и разрушителей: последние все равно хотят что-то созидать, а всякое созидание имеет конечным итогом разочарование и тоску о прошлом. Вот так я бьюсь между двумя крайностями, как та муха между стеклами в моем кабинетике. Но никто не откроет мне форточку, чтобы дать вылететь на волю, ибо такой форточки для меня вообще нет.

Короче говоря, какое бы явление нашей жизни мы ни взяли, мы оказываемся в затруднении с применением к нему нравственных оценок. Навязывается вывод: надо жить не по правилам некоей абстрактной морали, заимствуемым нами из прошлого, а по правилам конкретной морали, соответствующей условиям нашей жизни. А вторая лишь по видимости есть мораль. В наших условиях позиция морали вообще есть позиция ложная. Но в таком случае вся моя жизнь есть ошибка.

ПРАВДИВЫЙ РАССКАЗ О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Слепой сказал, что со мною обошлись, конечно, несправедливо. Но с какой точки зрения? Он рассказал мне по этому поводу такую историю.

В США молодой парень был приговорен к смерти за убийство. Но приговор не привели в исполнение сразу. Семь лет тянулась волокита. Казнь все откладывали по каким-то причинам. За эти годы парень перечитал сотни всяких книг, изучил различные науки, стал образованным, много размышлял, сам начал писать книги. Он стал совсем иным за эти годы — стал совсем иной личностью. И вот наконец-то волокита судебная закончилась и приговор был оставлен в силе. Его казнили. Но казнили не того человека, который совершил преступление, а уже совсем иного. Можно ли считать эту казнь справедливой? С точки зрения индивидуальной — нет, а с точки зрения общества, выработавшего определенные средства самозащиты от преступлений,— да.

ЖИВИ

И все-таки я говорю себе: живи! Раз родился, живи. Живи, и одним этим ты вознаграждаешься за любую твою добродетель. Рождаясь, мы фактом рождения обрекаемся на грех и страдание. Эту простую мудрость люди постигли много тысячелетий назад. Умирая, мы фактом смерти освобождаемся от греха и страданий. Потерпи немного, и придет твоя всеискупающая смерть. А пока живи!

ТЕМА ВОЙНЫ

Отмечали день рождения Фюрера. Утверждения Солдата насчет «богатств» родителей Фюрера оказались сильным преувеличением. Скромная двухкомнатная квартира. Но у нас уж так принято: если кто-то живет хоть немного лучше нас, так он нам кажется «миллионером». Отец Фюрера был офицером во время войны, трижды ранен, инвалид. Естественно, заговорили о войне. Я помалкивал: война вообще не моя тема. То, что говорили другие, было для меня чрезвычайно интересно, поскольку говорили люди, не пережившие войны.

— В прошлую войну,— сказал отец Фюрера,— две армии были лучшими в мире: немецкая и наша. Немецкая была лучшей с точки зрения готовности убивать, а наша — с точки зрения готовности умирать. Мы превзошли немцев в нашей способности. И потому победили.

— Нам наша победа обошлась дороже, чем немцам поражение,— заметил Остряк.— Сравните, как живут побежденные немцы и победившие их русские! Стоило ли побеждать?!

— Ты что же, предлагаешь начать войну и проиграть ее, чтобы потом лучше жить? — спросил Солдат.— Война приведет к гибели человечества.

— Человечество скорее всего погибнет не от войны, а от мусора,— спокойно сказал Слепой.— Оно задохнется в своей собственной помойке, в которую превратит планету. А в мусоре и в помойке лучше всего себя чувствуют крысы и черви. Они пророют ходы, устроят свои дворцы. Будут жить в полном изобилии. И создадут свою крысино-червячную цивилизацию. Так что нет никаких оснований для пессимизма.

— У нас на заводе,— начал рассказывать Остряк,— с докладом о будущей войне выступил генерал из штаба военного округа. Он сказал, что США утратили превосходство над нами по всем видам современного оружия, а что касается обычных видов вооружения и состояния готовности, все армии мира уступают нашей. Кроме того, мы имеем такие виды оружия, о которых мир еще не знает и по которым мы опередили Запад по крайней мере лет на тридцать. Наконец, мы имеем несомненные преимущества с точки зрения территориального распределения населения и природных ресурсов. По самым скромным подсчетам в США в результате нашего атомного удара уцелеет не более десяти процентов населения и промышленности, у нас же уцелеет по крайней мере шестьдесят процентов. У нас есть стратегические запасы продовольствия по крайней мере на пять лет. Есть надежные бомбоубежища. Так что нам бояться войны нечего. Мы уверены в победе. Мы обязаны понять, что нынешние продовольственные трудности во многом связаны именно с созданием стратегических запасов продовольствия.

— Врет твой генерал,— возразил Слепой.— Никаких стратегических запасов нет. Еще несколько месяцев такой полувоенной атмосферы, и мы начнем голодать в полном смысле этого слова. Насчет нашего превосходства явно преувеличивает. Из-за чего, в таком случае, такая наша нервозность по поводу нейтронной бомбы! Бактериологическое оружие у нас есть. Но не думаю, что его нет у американцев. К тому же это — палка о двух концах. А чтобы вывести страну из строя, достаточно уничтожить тридцать, а не сорок процентов. Наши шестьдесят процентов — это за счет народов окраин страны и сельских местностей. Наконец, главное в будущей войне — не нанесение смертельного удара по врагу, а способность выжить после получения такого удара и использовать результаты победы. Я не верю в возможность новой войны в ближайшее время. Мы шантажируем мир и свое население угрозой войны — это удобно во многих отношениях. Но к войне мы еще не готовы. Еще нет психологической решимости развязать большую войну сейчас и идти до конца. История с интервенцией в Афганистан есть тому доказательство. А через несколько лет Запад уравняет силы. Так что приготовимся к новым долгим годам скучной и унылой, полуголодной и полувоенной мирной жизни. Что нам забивать головы чужими

заботами?! Война и прочее нас не касается. И если бы война!.. Увы, нам угрожает беспросветный мир. Чрезмерно затянувшийся мир, в течение которого люди готовятся к войне, страшнее войны. Чем дольше длится мир, тем лучше люди подготовятся к войне и тем страшнее будут ее последствия.

Отец Фюрера заметил, что считает новую мировую войну неизбежной. В мире накопилось много проблем, которые может решить только война. А чрезмерно затянувшийся мир действует деморализующе на человечество, и на нас в первую очередь. А что касается последствий, так ведь их не избежать так или иначе. И хотим мы этого или нет, война начнется помимо нашей воли.

Социолух сказал, что собирается писать роман о времени после третьей мировой войны, и рассказал об основных идеях романа.

МИР ПОСЛЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В результате третьей мировой войны все крупные государства планеты были разрушены. Население сократилось по меньшей мере в десять раз. От эпидемий, явившихся следствием применения бактериологического оружия, почти полностью вымерло население Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Мир распался на бесчисленное множество мелких человеческих объединений. Разрушительные последствия от борьбы между ними довершили страшный процесс крушения цивилизации.

Большая часть уцелевших на планете людей начала деградировать не только культурно, но и биологически. Через несколько десятков поколений эта деградация зашла настолько далеко, что никакой надежды на возвращение к прежним биосоциальным высотам не осталось. Лишь незначительная часть европейцев сумела сохранить зачатки прежних человеческих качеств и развить их затем до уровня, сопоставимого с довоенным. Им постоянно приходилось вести жестокую борьбу с деградантами, которые стали для них столь же опасными врагами, как и полчища гигантских крыс, совершавших набеги на их поселения и временами уничтожавшие целые города и даже маленькие государства. Часто деграданты объединялись для таких нападений с крысами. Последнее такое крупное нападение имело место на юге бывшей территории Франции. Тогда крысы и деграданты окружили довольно значительное государство и сожрали всех его граждан в течение нескольких минут. От полного уничтожения европейцев спасло лишь то, что крысы и деграданты поссорились между собою и нанесли друг другу урон, сделавший их неспособными завоевать полное господство на планете. После того побоища и возникла идея объединения европейских государств в единое целое с целью создания системы защиты от внешних нападений. Проблема встала так: либо гибель, либо совместная защита от врагов и прекращение междоусобиц. Так на территории нынешней Европы сложилось сравнительно большое и сильное государство Гумания. Чтобы это случилось, прошло много веков борьбы остатков рода человеческого за выживание.

Создание единой системы защитных сооружений послужило лишь началом и толчком к объединению уцелевшего и сохранившего искры цивилизации населения Европы в единое общество. К проблеме самозащиты от общих врагов присоединились проблемы источников энергии и питания, а также проблемы внутренней организации большого объединения людей в условиях, какие в истории человечества появились впервые. Среди этих условий особого внимания заслуживают такие. Это, во-первых, необычайно трудные условия биологического существования, каких никогда еще не знали люди. Окружающий общество мир грозил гибелью или в лучшем случае вырождением. Он постоянно в самых различных и неожиданных формах врывался и внутрь общества, производя страшные опустошения и вынуждая тратить все силы на борьбу с ним и на самосохранение. Даже климатические условия стали настолько опасными для жизни, что изоляция людей от природы стала необходимым условием их выживания на достигнутом ранее биологическом уровне. А решить эту проблему для больших масс людей на многие годы можно было только путем объединения усилий и средств всех остатков цивилизации. Не только отдельные люди, но вся жизнь общества нуждалась в неких защитных искусственных оболочках.

Вторая группа условий заключалась в следующем. Несмотря на разрушительную войну и последующие разрушительные события, от прежней (довоенной) цивилизации сохранились огромные ценности. И теперь все цивилизаторские усилия общества оказались направленными на то, чтобы овладеть этими ценностями и приспособить их для нужд современной жизни граждан. Так что общество, сложившееся на развалинах довоенной европейской цивилизации, оказалось в известном смысле вторичным по отношению к обществу довоенному, производным от него, более высокой ступенью его развития. Так что тезис государственной идеологии Гумании, согласно которому Гумания является вершиной развития человечества, есть неоспоримое научное утверждение. Процесс исторического развития не есть непрерывное наращивание неких добродетелей и достоинств. Он

включает в себя и периоды катастроф, в результате преодоления последствий которых человечество делает новый шаг вперед.

Сам процесс объединения мелких государств послевоенного периода проходил в жестокой внутренней борьбе и стоил жертв, сопоставимых с жертвами от набегов крыс и деградантов. Так что временами снова побеждали тенденции к раздробленности и автономии. Победа объединяющей тенденции не была фатальной. Больше пятисот лет ушло на то, чтобы эта тенденция утвердилась и стала доминирующей. И еще тысяча лет ушла на то, чтобы складывающееся общество доказало свои преимущества перед всеми прочими формами социальной жизни и чтобы граждане стали его воспринимать как вполне естественное, максимально разумное и даже единственно возможное.

Хотя в результате войны многое было разрушено и уничтожено, все же то, что накопило человечество и что сохранилось, было вполне достаточно, чтобы в изобилии обеспечить потребности сравнительно небольшой уцелевшей группы людей практически навечно. Сохранить накопленные богатства, отобрать из них что требуется, сделать пригодным для употребления и распределить среди людей — вот что стало основным для общества. Общество изобилия, которое обещали коммунисты прошлого, стало явью.

Производство стало не созданием нового, а отбором и использованием созданного ранее — вторичным производством. Наука стала не открытием новых истин, а изучением того, что было открыто ранее. Профессия писателя превратилась в просмотр литературы прошлого, отбор нужного, переработку отобранного по определенным правилам. И так во всем. Представьте себе, что группа людей поселилась в гигантском складе, в котором есть абсолютно все, что нужно для тела и души. Так произошло с Гуманией. С той лишь разницей, что угроза физическому существованию вынудила к определенным защитным средствам, которые, наложившись на законы организации больших масс людей в единое целое, дали тот социальный феномен, о котором я говорю.

Вековая мечта некоторой части человечества о разделении людей на низшую и высшую расу в Гумании осуществилась как бы сама собой. Породив деградантов, история невольно сделала бесценный подарок людям — она породила естественный материал для выведения существ низшей сравнительно с людьми расы. Сначала гуманийцы использовали некоторую часть захваченных деградантов наподобие рабочей скотины. Затем начался добровольный приток деградантов, которые соглашались на любые условия жизни в Гумании, лишь бы не возвращаться обратно в послевоенные смертельно опасные джунгли, окружающие Гуманию. Со временем гуманийцы начали специально охотиться на деградантов, отбирая лучшие экземпляры для использования на самых тяжелых и неприятных (особенно — жизненно опасных) работах. Наконец возникла целая отрасль хозяйства — разведение деградантов. Отбор в ряде поколений позволил вывести из деградантов идеальных рабов, о которых и мечтать не смели рабовладельцы прошлого.

Разводили деградантов на территориях, примыкающих к Гумании, но не входящих в нее. Эти территории точно так же были защищены от окружающей среды. Деградантов содержали и разводили как скот. Их обеспечивали всем необходимым для существования и обучали лишь настолько, чтобы они смогли выполнять определенную работу, само собой разумеется, самую грязную, тяжелую, скучную и опасную. Для них были целиком и полностью исключены группировки и иерархическое структурирование (подобно тому, как домашние коровы и лошади не имеют своей социальной структуры). Деграданты выполняли все работы под контролем гуманоидов. Каждый гражданин Гумании ощущал себя представителем высшей расы в сравнении с деградантами. Деграданты составляли бесструктурную массу существ, лишь под контролем гуманоидов образующих временные объединения в интересах гуманоидов. Последние же образовали сложное, структурированное социальное объединение. Собственно говоря, лишь они образовали общество. И все проблемы организации, контроля, управления и прочие как социальные проблемы касались их (подобно тому, как коровы и лошади не входят в социальную структуру нынешних стран). Деграданты стали лишь необходимым средством производства нового типа, а также фактором общественной психологии и идеологии Гумании.

В прошлом проблему организации больших масс людей в целое решали всегда путем создания системы власти, т. е. принуждения. Всю историю человечества властители стремились к абсолютному контролю за поведением подчиненных и к абсолютной власти над их судьбой. Предел этого — сосредоточение и воплощение этого идеала власти в одном человеке. Многим удавалось приблизиться к этому идеалу настолько близко, что казалось, будто и на самом деле он достигнут. Но он никогда не бывал достигнут на самом деле. Всегда что-то в поведении людей оставалось неподконтрольным для вышестоящих властителей. Всегда какие-то группы людей выпадали из-под их контроля, восставали, отделялись. Судьбы властителей и их режимов говорят о том же — приближение к идеалам власти было всегда кратковременным и неустойчивым. В Гумании проблема контроля за поведением людей и управления ими была решена раз и навсегда, причем — не в духе примитивных честолюбцев и насильников прошлого, а в полном соответствии с социальными законами — т. е. как власть отчужденной организации людей над самими организуемыми людьми и как абсолютное условие самосохранения всех и каждого. Если

бы все гуманоиды умерли, то осталось бы некое грандиозное техническое сооружение, представляющее скелет и оболочку гуманийского общества. Без людей это сооружение мертво — лишь люди делают его живым организмом. Но без него люди не способны существовать и образовывать целое общество. Это — своеобразный социобиотехнический гибрид. Люди помещаются в ячейках этого сооружения, оживляя его своим интеллектом, своей волей, своими эмоциями. Человек может существовать в этом обществе только при том условии, что он занимает в нем определенную техническую ячейку. Заняв эту ячейку, он вынужден в ней выполнять строго определенные функции и выполнять их должным образом, иначе он лишается средств существования, изымается и заменяется другим, более подходящим индивидом. Здесь за человеком строго закрепляется определенная функция. И сам он строго прикрепляется к определенной ячейке механизма. Человек может сменить функцию и ячейку (например, поднимаясь по иерархической лестнице), но — по строго определенным правилам.

Существенно здесь то, что распределение людей по социальным ячейкам, изменение их положения, распределение жизненных благ и прочие жизненно важные действия здесь переданы людьми упомянутому техническому устройству — результату их коллективной мысли и воли. Потому здесь исключена несправедливость, обычная для современного общества. Исключены обман, недобросовестность, коррупция, карьеризм и прочие язвы, обычные в наше время. Даже самые высшие лица в социальной иерархии находятся целиком и полностью во власти отчужденной справедливости. Они за свое положение имеют больше благ, но они не способны злоупотреблять своим положением.

Да в этом и нет надобности. Здесь невозможно накопление и перераспределение ценностей. Здесь нет никаких денег: люди все получают без них по соответствующим, механически выполняемым нормам. Исключена группировка людей, не зависящая от выполняемых ими функций. Исключена механически. И она лишена смысла. Ради чего? Протест? А против чего? Против неотвратимых законов природы?

Размножение членов общества производится так. Особые устройства отбирают наиболее ценные экземпляры обоих полов и скрещивают их в расчете получить нужное число новых индивидов заданных заранее типов. Причем мужчины и женщины не вступают в контакт. На них просто оказывается воздействие особыми устройствами, в результате чего они получают сексуальное удовлетворение. Оплодотворение же происходит в специальных устройствах, в которых затем развиваются эмбрионы. Родители не знают своих детей, дети — родителей. Семейные отношения исключены как ненужные с точки зрения интересов целого. Все индивиды испытывают сексуальное удовлетворение индивидуально в соответствии с установленными нормами.

Индивиды не вступают в непосредственные контакты вообще. Они вступают в личные контакты в установленное время и с определенными независимо от их воли другими индивидами посредством телевизионных устройств. Учтены все возможные типы контактов и комбинации партнеров. Все потребности общения удовлетворяются в соответствии с нормами общения для данной категории лиц. Все члены общества автоматически получают определенные вещества и облучения, благодаря чему они постоянно находятся в состоянии удовлетворения своим положением. Уровень удовлетворенности и степень счастливости повышаются с повышением позиции, занимаемой индивидом. Воздействие этого подобно воздействию наркотиков, но без вредных последствий и в меру. Одновременно члены общества воспитываются идеологически так, что живут они с сознанием абсолютной справедливости бытия и своего исключительного положения высших существ. Они ощущают себя богами различной степени божественности.

Наступает момент, когда дальнейшее существование индивида становится нежелательным или даже опасным для общества и его находят целесообразным уничтожить, заменив новым. Решение принимается особым устройством на основе расчетов жизненного и производственного потенциала индивида на компьютерах. Индивид уничтожается мгновенно. Таким образом снимается страх смерти. Прочие члены общества не знают об уничтожении отработанного члена. Впечатление создается такое, будто индивиды живут вечно. И они живут с сознанием вечности своего существования.

Короче говоря, все сферы жизни людей абсолютно рационализированы и изъяты из субъективной власти и воли отдельных людей. Исполнение всех правил коллективной жизни передано техническому устройству, так что ни один из членов общества (включая высших лиц) не может помешать исполнению этих правил или нарушить их.

Как следствие в обществе исчезла персонификация граждан — они обозначались номерами ячеек, в которые они попадали в результате распределения людей по ячейкам. В этом были свои плюсы. В частности, исчезло тщеславие, возвеличивание ничтожеств, подхалимы и многие другие явления, разъедавшие души людей в прошлом.

Прошли века. На планете восстановились нормальные (с нашей точки зрения) условия жизни. Но эволюция человечества уже пошла в определенном направлении, причем — необратимая. Именно в изменившихся условиях, когда исчезли прежние опасности, эта эволюция дошла до логического конца, т. е. до наиболее полного воплощения законов коммунальности в механическую принудительную силу технического устройства, о котором я говорил. Теперь сами люди эволюционировали так, что уже не могли существовать как социальное целое без технического скелета и технических оболочек своей системы. Было уже поздно возвращаться к цивилизации XX века.

Но это еще не было окончательным решением проблем человеческой эволюции. Социальная эволюция человечества, пойдя в таком направлении, нарушила самые фундаментальные законы эволюции людей как существ биологических. Постепенно число гуманоидов стало сокращаться и сократилось настолько, что многие клетки социального механизма оставались незаполненными. И от этого механизм не функционировал хуже. Наоборот, возникали даже непредвиденные преимущества. И неумолимые законы эволюции направили жалкие остатки рода человеческого к такому идеальному состоянию, в котором человек вообще оказался излишним. Построив идеальное общество, человек тем самым выполнил свою миссию в истории мироздания полностью. Он исчез насовсем, уступив место Ничто. Самая идеальная социальная организация получается лишь тогда, когда образующие ее элементы суть безразмерные математические точки, т. е. суть Ничто в социобиологическом смысле. Только Ничто есть абсолютное совершенство.

ОБЩЕСТВО СТАРИКОВ И НЕСЧАСТНЫХ

— Считается, что мировая война есть самая страшная угроза для человечества,— сказал Слепой.— Но есть кое-что пострашнее войны, а именно — чрезмерно затянувшийся мир. Мир скоро будет хуже войны. Его последствия будут гораздо более разрушительными, чем последствия войны. Число людей возрастет сверх всякой нормы. А с ростом числа людей сокращается процент счастливых. Хотя абсолютное число счастливых растет, но какой ценой?! На одного нового счастливого человека появляется по крайней мере сто несчастных. Будущее общество есть общество по преимуществу несчастных людей, несмотря на прогресс, а скорее всего — вследствие прогресса. Кроме того, в будущем обществе подавляющее большинство населения будут старики. Это будет общество по преимуществу старческое. И старики навяжут свою психологию даже детям. Кошмарные последствия этого невозможно предвидеть. Их можно предотвратить только одним путем: восстановить условия, в которых работают естественные механизмы самосохранения. Природа в этом отношении разумнее человека: она вырабатывала эти самозащитные механизмы в течение миллионов лет. А человек их разрушил в течение нескольких десятилетий. Например, люди в прошлом в течение многих тысяч лет питались пищей, содержавшей вещества, убивавшие их. Они умирали из-за них, не достигнув двадцати лет. Но благодаря этой ядовитой пище они все-таки могли выжить до двадцати лет и давать потомство. Люди вообще выживали благодаря тому, что их убивало. Тем самым сохранялась некая природная гармония.

Фюрер возражал Слепому. Он, наоборот, видел в увеличении продолжительности жизни и росте числа людей благо. Проблемы, связанные со старением общества в смысле преобладания стариков, по его мнению, будут решены элементарно... Будет продлен процесс воспитания и обучения молодежи. В связи с усложнением технологии и ростом значения науки требуется все больше времени для обучения людей. Уже сейчас люди учатся до 25—30 лет. А со временем этот период обучения увеличится до 35—40 лет. Так что увеличение продолжительности жизни есть элемент самозащитного механизма общества в современных условиях. Далее, будет замедлено продвижение людей по служебной лестнице и допуск к общественной деятельности. Это уже сейчас происходит. В связи с усложнением социальной структуры растет число ступеней в служебной карьере и усложняются отношения между людьми. Требуется больше времени для преодоления этих ступеней карьеры и для накапливания опыта ориентации в социальной среде. Со временем вырастет пенсионный возраст. Люди дольше будут сохранять трудоспособность. А пенсионеры так или иначе будут участвовать в общественной жизни. Это уже сейчас происходит. Эволюция общества происходит так, что увеличивается число дел и функций, для выполнения которых больше подходят именно пожилые люди, имеющие богатый жизненный опыт и избавившиеся от амбиций молодых людей. Энергичность, подвижность и претензии молодых людей противопоказаны в этих случаях. Одним словом, возрастное старение общества есть такое же естественное явление, как вынужденная молодость в древние времена. А старики позаботятся о том, чтобы сделать старость привлекательной, во всяком случае — не столь страшной, какой она кажется сейчас. Старики будут сражаться за свое право на существование и за свои привилегии. Я думаю, что с точки зрения большой истории старики имеют больше шансов на победу, чем молодые. К тому же молодые — это будущие старики. Посмотрите на себя: много ли вам всем осталось до старости?!

Я в споре участия не принимал. Я думал не об отдаленных перспективах человечества, а о себе самом. Я уже далеко не молод. Еще немного, и я буду стариком. Поскольку я фигура незначительная и особой ценности для общества не представляю, меня немедленно вытурят на пенсию. Как я, одинокий человек, буду жить вне моего привычного коллектива? Кому я буду нужен?!

КОНЕЦ РОМАНТИКА

Мы с Блаженным и Бардом сидели в Клубе, когда к нам подошла старушка и сказала, что скончался Романтик.

В последнее время Романтик все реже появлялся в Клубе. Потом исчез на большой срок. Никто о нем не вспоминал. Признаюсь, и я о нем позабыл,— эти «клубные» знакомства не оставляют в душе глубоких следов. Теперь же, когда мы медленно плелись за старушкой (представляю, какое зрелище мы являли собой, глядя со стороны!), вся история с Романтиком и его смертью начала приобретать для меня огромный символический смысл.

Распоряжался похоронами жуликоватого вида полупьяный человечишка — представитель какой-то организации: хоронили Романтика на казенный счет. Родственники не пришли. Никто не интересовался причинами их отсутствия. Ценных вещей от Романтика никаких не осталось. Только ордена. Выходной костюм и ботинки Романтик завещал Блаженному, а фотографии и письма — мне. Остальное барахло он завещал старушке, которая ухаживала за ним последние недели.

Хоронили Романтика по самому низшему разряду, без музыки, на новом кладбище далеко за городом. Жуликоватый представитель произнес короткую косноязычную речь о заслугах покойного. Случайные зеваки подивились тому, что человека с такими наградами и старого коммуниста хоронят «как собаку», и ушли восвояси, видя, что на даровую выпивку тут рассчитывать нечего. Пьяные, заросшие щетиной могильщики лениво засыпали могилу. Мы положили на бугорок искусственные грошовые цветы, воткнули дощечку с именем и датами жизни покойного и с его кладбищенским номером. Деньги, оставленные Романтиком на его похороны, очевидно, кто-то прикарманил. Мы не решились заговорить о них.

Дома я начал листать альбом с фотографиями Романтика. Вот — крестьянский паренек с испуганно округленными, ясными глазами и младенчески чистым лицом. Рядом — такие же другие пареньки. Это — добровольцы на северную стройку. Все они, кроме одного, там и погибли. Вот группа строителей Комсомольска, награжденных орденами. Паренек подрос, окреп. Но те же ясные глаза. То же младенчески чистое лицо. Вот стриженый боец Красной Армии на фоне пруда с лебедями. Младший командир со значками. Лейтенант. Капитан, увешанный орденами... Я смотрю эти фотографии и сопоставляю жизнь этого человека со своей. У него каждая фотография — веха истории. А у меня нет никаких вех. Нет никакой истории. Я живу вне исторического потока. Тихо, мирно, сравнительно благополучно. Но без того, что называется ветром, порывом, ураганом истории. И я завидую этому несчастному одинокому покойнику-пенсионеру.

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею, —

писал много лет назад Сергей Есенин. Я его очень хорошо понимаю, хотя между нами лежит длинная и страшная эпоха. Эта эпоха ушла в прошлое. Уже давно кончилась война. Залечены ее раны. Новые поколения народились. Запад процветает. А мы?! Как мы живем?! В чем причина наших сегодняшних уродств и страданий? Нельзя же во всем винить трудные обстоятельства прошлой истории. Что-то является следствием самого строя нашей жизни. Есть причины, которые не уходят в прошлое, а навечно остаются с нами. Нет, прошлое не ушло. Оно осталось в нас навечно. Прошлое вообще сохраняется, спрессовывается в настоящем и протягивает щупальца в будущее. Мы никогда не избавимся от кошмаров прошлого. Мы к ним лишь добавим свои. Напрасно люди надеются на то, что пройдут мрачные времена и наступит период всеобщего счастья. Будущее по законам природы не может быть хорошим, если прошлое было плохим.

А что если вся эволюция человечества, начавшаяся в нашем столетии, есть уклонение от какой-то эволюционной нормы и развитие в уродство?! Если есть уроды люди, почему бы не быть уродам цивилизациям и эпохам?! Если это так, то человечество в целом скоро окажется перед гамлетовской проблемой «Быть или не быть?». Не отдельные люди, а все человечество!

Под утро я на несколько минут задремал. Во сне мне явился Романтик.

— Приходи к нам, к мертвым,— сказал он.— Среди мертвых лучше, чем среди живых. Мертвые не делают добра, но и не делают зла. Мертвые никогда не встречаются, но и никогда не расстаются. Тут Невеста никогда не придет к тебе, но зато никогда не покинет тебя. Она будет вечно перед тобой, а ты будешь вечно протягивать к ней руки, не прикасаясь к ней. Что тебе еще нужно?! Твоя совершенная мораль есть мораль мертвых, а не живых. Приходи к нам! Мы тебя не ждем, но мы тебя навечно примем в наши ряды. Примем без радости, но и без огорчения. Приходи! Приходи! При...

Я очнулся. Вспомнил слова, которые Романтик сказал мне в последнюю встречу:

— Женитесь, заведите детей, сражайтесь вместе со всеми за улучшение бытовых условий и продвижение по службе, участвуйте в общественной жизни учреждения и всего города, ходите в гости, принимайте гостей,— говорил тогда Романтик.— Что вам еще нужно?! Все равно никакой другой жизни нет и не будет. Не мучайте себя. Живите! Просто живите, как все. А все остальное получится само собой, как следствие обычной жизни. Тем более, жизнь промчится, не успеете глазом моргнуть. И в конце жизни вы поймете, что самые великие ценности мира суть именно эти самые простые житейские пустяки. Но будет уже поздно в них окунуться. Пока молоды, спешите жить, но без всяких претензий поймать Жар-птицу. Таковой в природе вообще нет.

НЕВЕСТА

Позвонила Невеста.

— Ты на меня сердишься?

— Нет. Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. Выходи за меня замуж, пока не поздно еще.

— Я не стою тебя. И не хочу тебе портить жизнь.

— Ее уже невозможно испортить.

— Ну так себе не хочу портить жизнь.

— Это другое дело. Снимаю свое предложение.

— Не торопись. Еще, может быть, все образуется.

— Я могу подождать. У меня в запасе вечность.

— Говорят, Солдат завел себе подружку на заводе. Он не приводил никого домой?

— Нет. Но на моем диване, кроме тебя, спать никто не будет. Это место священное.

— Если заметишь что, позвони.

— Я не доносчик.

— Извини! Я думала, это в твоих интересах...

ЧТО Я ТАКОЕ

В последнее время я стал задумываться над проблемой: если ты следуешь моральным принципам (не подводишь сослуживцев, не обманываешь, держишь слово, делаешь добро, избегаешь причинять людям зло и т. п.), достаточно ли это для того, чтобы выглядеть хорошим человеком в глазах окружающих? И вообще, возможно ли такое, что окружающие тебя люди воспринимают тебя таким, каким ты сам считаешь себя и стремишься сделать себя? Я давно начал подозревать, что люди вообще не способны к объективным суждениям о ближних. Что думают обо мне мои соседи, я слышу каждый день. А ведь я им не сделал никакого зла, и они это прекрасно понимают. Солдат считает меня скрягой только на том основании, что я иногда отказываюсь ссужать его деньгами и даже осмеливаюсь просить его вернуть долг. И это свое мнение обо мне он высказывает всем нашим общим друзьям. И те соглашаются с ним, несмотря на то, что во все общие мероприятия я вношу денег больше, чем они. Это почему-то считается само собой разумеющимся. Но почему-то считается, что я должен вносить еще больше, но я — жмот, и потому не делаю этого. Некоторые жильцы дома считают, что я завел у себя бардак, что занимаюсь сексуальными извращениями. Многие мои сослуживцы на работе считают меня карьеристом. А Гробовой повсюду распространяет сплетню, будто я — интриган, и многие охотно верят в нее. Я к такого рода мелочам привык и не обращал на них внимание. Но вот недавно мне случайно пришлось прослушать разговор вроде бы самых близких друзей обо мне — Слепого, Моралистки, Теоретика и Социолуха. Моралистка сказала, что я изображаю из себя морального человека, кокетничаю этим, а что на самом деле я — человек глубоко безнравственный. Слепой заметил, что мы все в той или иной мере безнравственны, все склонны прикидываться порядочными людьми, что у меня это качество выражено, может быть, немного сильнее, чем у других, что я туповат и не очень-то интеллигентен, но в общем и целом неплохой парень. А в наше время и это плюс. Теоретик же сказал, что знает меня чуть ли не с пеленок, что способностями я не блистал, но был старательным и образцово-показательным отличником, что я кормлюсь чужими идеями. Социолух добавил, что я — хороший собеседник, но лишь как пассивный партнер, что слухи насчет моих способностей изобретателя оказались преувеличенными... И вот в таком духе они довольно долго «перемывали мне косточки». Я был просто ошарашен услышанным. Все это показалось мне чудовищной несправедливостью и даже черным предательством. Несколько дней я чувствовал себя несчастным и растерянным. Потом успокоился. Я решил, что бессмысленно рассчитывать на справедливый суд со стороны окружающих — такого суда нет и быть не может в принципе. Высказывая суждения о тебе, люди вольно или невольно думают о самих себе. Их суждения о тебе характеризуют не столько тебя, сколько их самих. Смысл имеет лишь официальное мнение о тебе твоего коллектива, фиксируемое в официальных характеристиках, и то, что удерживает каких-то людей около тебя в качестве твоих друзей, если это слово «друзья» вообще тут уместно. Главное — ты сам знаешь, что ты такое есть. Ты сам есть высший и справедливый судья самого себя.

Я, конечно, сделал вид, будто не слышал того разговора. Наши отношения после этого нисколько не изменились. Но во мне после этого что-то треснуло, сломалось. Состояние тоски и отчаяния стало накатываться на меня чаще, стало мучительнее и продолжительнее. Где-то в глубине сознания (на заднем плане) стала шевелиться мысль о бессмысленности жизни и о самоубийстве.

ЛОВИ УДАЧУ

Фюреру удалось получить место в целевой аспирантуре в Москве. Он намерен написать такую диссертацию, чтобы его оставили в Москве. А если не выйдет научная карьера, он женится на москвичке. У него там есть знакомая, которая согласна за приличные деньги вступить с ним в брак и устроить ему московскую прописку. Потом он с ней, конечно, разведется. Купит в кооперативе квартиру,— за взятку это несложно. Отец обещал помочь. Гнить в нашем болоте он не хочет и не будет ни в коем случае. Люди со всех концов страны устремляются в Москву и устраиваются там. Так почему бы и нам, русским людям, не делать того же?! В конце концов, Москва — наш русский город. Почему мы его должны уступать украинцам, татарам, грузинам, евреям, азербайджанцам, казахам и прочим?! Я сказал, что это — неизбежная расплата за империализм. Он сказал, что он лично никакой ответственности за этот империализм не несет. И считает, что русские люди имеют моральное право конкурировать с другими за лучшее место на своей собственной территории.

На проводах Фюрера Солдат напился и оскорбил Фюрера, назвав его хапугой и карьеристом. Невеста попробовала урезонить его и увести домой. Но он оскорбил и ее, назвав ее шлюхой. Невеста в слезах убежала, ее не успели удержать. Остряк, при всех обстоятельствах сохраняющий выдержку и достоинство, уволок Солдата домой. Настроение было испорчено. Мы разошлись.

— Боже, сколько еще грязи в наших душах! — воскликнула Моралистка, когда мы со Слепым провожали ее до автобусной остановки.

— Почему же «еще»? — удивился Слепой.— Эта душевная грязь есть нормальный продукт нашей жизнедеятельности. Мы ее источаем. И в будущем ее будет еще больше.

Я сказал Слепому, когда мы остались вдвоем, что я на его месте женился бы на Моралистке. Она — хороший человек. И как женщина очень привлекательна. А без недостатков людей нет. Он ответил, что непременно женится, когда ему станет совсем невмоготу. Но не на Моралистке, а на какой-нибудь глупой и некрасивой стерве. Почему? Чтобы потом развестись с ней без сожаления.

ЧУДО

Нам со Слепым осталась последняя надежда — надежда на чудо.

Несколько лет назад слепая девочка, гуляя в лесу, внезапно прозрела и увидела якобы Матерь Божию. Зачем и как занесло слепую девочку в чащобу, куда и зрячие-то боялись ходить, осталось невыясненным. К месту, где произошло чудо, началось паломничество. Потом произошло другое чудо: перестал хромать известный на весь город пьяница, прозванный Хромым. Пропагандисты из общества «Знание» уверяли, что у Хромого только прозвище имело отношение к хромоте. Но им не поверили. На Святом Месте предприимчивые попы быстро соорудили часовенку, дав кое-кому солидную взятку. Захотелось и Слепому посетить Святое Место. Меня он выбрал в качестве поводыря, утверждая, что и мне этот поход будет полезен. Я сказал, что даже божественные чудеса имеют пределы. Одно дело — избавить человека от сомнительной хромоты, и другое дело — вернуть безногому ноги. Слепой согласился со мной и добавил, что для прозрения нужны по крайней мере глаза, которых у него нет. А все-таки вдруг там что-то есть?!

На обратном пути Слепой сказал, что он узнал, почему люди стремятся в это Святое Место. Они поддерживают репутацию Святого Места не потому, что там выздоравливают, а потому, что туда ходят как на светлый праздник. Святое Место находится в самих людях. Нужна какая-то общепризнанная точка в пространстве, где заключенное в человеке Святое Место обнаруживает себя. Если, конечно, оно в нем есть. Сегодня он, Слепой, обнаружил, что в нем не осталось ничего святого. Я ответил, что если его теория насчет Святого Места верна, то и во мне тоже не осталось ничего святого.

МОИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ

На другой день Теоретик и Социолух зашли ко мне в кабинет. Я им рассказал о походе в Святое Место. Они посмеялись. Теоретик сказал, что теория Слепого верна лишь в отношении примитивных индивидов, и посоветовал перестать играть со Слепым.

— Знаешь, в чем твоя фундаментальная ошибка? — спросил он.— В том, что ты ищешь реальное решение иллюзорной проблемы. Надо перевернуть отношение: найти иллюзорное решение реальной проблемы. Зачем Слепому глаза? Видеть мерзость бытия? Не стоит. Без глаз у него есть хоть какое-то алиби. А страдания здорового человека мучительнее страданий уродов. Если урод, например, лишен любви женщины, это справедливо: он — урод. А если здоровый человек попал в такое положение, это несправедливо. Страдания Слепого суть результат нарушения закона адекватности самосознания индивида его объективному положению и возможностям. Он для своего уродства слишком умен, слишком образован, слишком благоустроен. Его страдания искусственно культивированы. Оставь их ему. Без них ему будет еще хуже.

Потом мы заговорили о пороках и добродетелях. Теоретик и на сей раз развил целую теорию. Он сказал, что можно жить с тайными пороками, но нельзя жить с тайными добродетелями. Пороки рано или поздно вылезают наружу сами, добродетели же — никогда. Добродетели и вырабатываются с таким расчетом, чтобы их видели. И потому их замечают с трудом. Пороки же стремятся скрывать, и потому их легко замечают. Пороки естественны, потому их скрывают. Добродетели искусственны, потому их обнажают. Добродетели возникают тогда, когда отсутствует возможность предаваться пороку, когда силен страх наказания за порок и когда они хорошо вознаграждаются. Порок сам по себе есть вознаграждение. Добродетель же ищет вознаграждения вовне. Добродетель навязывается силой, порок приходит без усилия. Добродетель есть карабканье вверх, порок есть падение вниз.

Я сказал, что эти идеи выше моего разумения, что я придерживаюсь самых примитивных представлений о добре и зле, о пороках и добродетелях. Делать людям добро и стремиться быть добродетельным — это же так просто и ясно. Тогда на меня набросился Социолух.

— Понятия добра и зла,— сказал он,— включают в себя субъективную оценку поступков. А она различна у различных людей. Кроме того, поступки людей можно оценивать как таковые по их намерениям, по их последствиям. Человек, стремящийся делать зло другим, не всегда добивается цели. Часто результатом его поступков является добро. Человек, стремящийся делать добро, часто тем самым причиняет людям зло. Какую моральную установку принять для себя — зависит от индивидуальных особенностей. Опыт миллионов людей доказывает, что обе установки плохи. Человек, стремящийся творить зло, вызывает ненависть и презрение у окружающих. А тот, кто стремится делать добро, становится посмешищем в глазах тех же окружающих.

— Какой вывод отсюда следует?

— Вывод очевиден, и люди так или иначе делают его для себя: живи как живется, изворачивайся, приспосабливайся, извлекай для себя пользу, избегай неприятностей. Ничего другого в этом мире нет и быть не может. Ведь мы — не продукт божественного творения, а всего лишь форма движения материи. Вон видишь, муха бьется о стекло! С точки зрения вечности и бесконечности материи мы — ничтожные мухи.

— Ты считаешь идею делания добра людям вообще неверной?

— Нет. Я ее считаю бессмысленной. Она логически противоречива и практически невыполнима. Можно ли делать добро, не осознавая, что делаешь добро? Для неразумной природы возможно. Но для разумного существа — нет. Но сознание того, что ты делаешь именно добро, превращает процесс делания добра в нечто показное и лицемерное. Приносить пользу людям и делать добро — не одно и то же. Первое есть явление практического расчета, второе — явление в сфере морали. Нас путают в самых примитивных понятиях. А мы, со своей стороны, вносим свою лепту во всеобщее смятение умов и чувств.

— И вообще,— сказал он в заключение,— во всех сочинениях и разговорах на тему о добре и зле, о пороках и добродетелях есть один коренной недостаток: в них пороки и добродетели рассматриваются как человеческие качества. А на самом деле они суть социальные отношения, которые лишь проявляются в форме человеческих качеств. Эти социальные отношения вынуждают людей совершать поступки, на основе которых мы и приписываем людям какие-то качества. Возьмите, например, Гробового. Порочен он или добродетелен? Ни то, ни другое. Он хороший семьянин. И для большинства сотрудников отдела он хорош. Если бы им пришлось выбирать — Гробового или Горева,— они предпочли бы Гробового. Почему? Горев им неудобен. Он предъявляет слишком высокие требования к себе и людям. Он слишком добродетелен, и в этом его порочность.

Социолух и Теоретик ушли. Я встал, открыл форточку и долго гонял муху, чтобы помочь ей выбраться наружу, как я думал — на свободу. Муха улетела. Я закрыл форточку. И только в этот момент я вспомнил, что на улице — холодная осень и что я выпустил муху на верную гибель!

ЖЕНИТЬБА СОЛДАТА

— Женюсь! — торжественно заявил Солдат.
— На Невесте? — спросил я испуганно.
— Не-е-т, на девчонке с нашего завода. Ничего особенного. Мы ведь только мечтаем о принцессах. Мечтаем, пока «гуляем». Тогда кажется, что все доступны. А женимся в конце концов на таких стервах! И где мы их откапываем?! Но моя — ничего. Все, что положено, есть. Образование — десятилетка. Единственная дочь в семье. Двухкомнатная квартира. Жить у нее будем. Тут тесно. И мать ни в какую. В общем, увидишь сам. Она тебе понравится. Скромная, простая. Ничего особенного. Так ведь мне для жизни она нужна, а не для кино. А институт побоку. Не всем же быть инженерами. Надо кому-то и работягой быть. А что плохого быть рабочим? Зарплата у меня хорошая, побольше, чем у инженеров. В будущем году меня посылают на курсы мастеров. С питьем кончаю: покуролесил, и хватит! В партию вступлю. Дети пойдут. Что еще нужно человеку?!.

Я слушал Солдата с тайной радостью: мои шансы жениться на Невесте повысились.

Регистрация брака происходила во Дворце бракосочетания. Дворец — типичное советское учреждение. Портреты классиков марксизма и наших руководителей. Лозунги «Семью — на службу коммунизма!», «Здоровая социалистическая семья — залог нашего победоносного шествия вперед к коммунизму». Плакаты. На одном из них плакатно-стандартные, красивые и здоровые молодые родители держат на плечах пару пузатых младенцев, а другую пару пышущих здоровьем крепышей — за ручки. Надпись на плакате: «И это — не предел! Нам, советским людям, и это по плечу!» Вышла толстая вульгарная баба с красной лентой — распорядительница торжества. Объявила, что процедура бракосочетания начинается. Грянул оркестр. Десять пар бракосочетающихся с толпой родственников и друзей двинулись по широкой ковровой дорожке во Дворец.

Потом нас разъединили — мужчин с женихами попросили в комнату женихов, а женщин с невестами — в комнату невест. Бракосочетающиеся по очереди вызывались в зал, где им в присутствии свидетелей и близких родственников вручались брачные свидетельства и обручальные кольца (последние были куплены по специальным талонам заранее и принесены сюда). Все выпивали по фужеру шампанского, которое (как и оркестр) было оплачено зранее. Толстая баба с красной лентой через плечо произносила речь о здоровой социалистической семье. Щелкали фотоаппараты (тоже зарвнее оплаченные). Потом молодожены с друзьями и родственниками на машинах, украшенных лентами, воздушными шарами и детскими игрушками (все это тоже было оплачено заранее), совершали поездку по городу. Первым делом — к памятнику Ленина нв площади Ленина, где молодожены возлагали цветы. Затем — к могиле Неизвестного солдата, где тоже возлагали цветы. Наконец — по историческим местам.

Вечером была пьянка в ресторане. Солдат держался чинно и почти совсем не пил. Зато мать его упилась основательно, дурным голосом орала вместе со всеми старые песни и плясала. Им было весело — они были пьяны. Я ускользнул потихоньку. На мой уход никто не обратил внимания.

КРАХ НАДЕЖД

Заведующим отделом меня все-таки не назначили. Решили, что у меня образования маловато. Назначили кандидата наук из политехнического института. Он собрал сотрудников отдела и два часа без передыху болтал об исторических решениях ЦК КПСС повысить эффективность работы всех учреждений и предприятий страны, о том, что надо перестроить всю работу отдела в духе решения ЦК, что пора кончать... что пора начинать... что надо развернуть... что надо положить конец... Мы слушали и жалели, что Гробового от нас взяли. Хотя он и сволочь порядочная был, но все-таки не мучал нас пропагандистской демагогией.

Позвонила Невеста. Спросила, можно ли меня поздравить с повышением. Я ответил, что у меня теперь может быть только понижение. Она сказала, что очень жалеет об этом. Значит, у меня не будет отдельной квартиры. А ей так хотелось пожить в отдельной квартире хотя бы один год. Потом мы, конечно, развелись бы и квартиру поделили бы. Но год она вытерпела бы ради кввртиры.

— Ладно,— наконец сказала она,— я выйду за тебя замуж. Но у меня есть условие.
— Какое?
— Я не обещаю тебе быть верной. Я остаюсь свободной, и ты не устраиваешь мне сцен ревности. Это же справедливо! Я здорова и красива. А ты... Согласен?
— Нет. Мне ты нужна целиком и полностью. Я тебе отдам себя тоже без остатка.
— Ты хочешь слишком много. Соглашайся на мое условие, пока я не передумала. Согласен?

И даже ради всех Невест
Я эту сделку не приемлю.
И с чистых падаю небес
На испоганенную землю.

КОНЕЦ КЛУБА

Жертвой горбачевской установки на трезвость пал наш Клуб. Его снесли с лица земли. Во дворе сделали маленький скверик. В центр скверика перенесли бронзовый бюст покойного секретаря ЦК КПСС Портянкина. Винно-водочные магазины на нашей улице закрыли, оставив лишь один, да и то в таком виде, что местные алкоголики утратили к нему интерес. Говорили, будто Клуб возродился в районе психиатрической больницы. Но мне ходить туда далековато. Да и желание пропало.

Я иду на бульвар. Сажусь на скамейку. Наслаждаюсь солнцем. Сидящий рядом со мной старик кормит хлебными крошками воробьев.

— Тысячекратно прославили соловьев,— произносит старик.— Самая гнусная птица — голубь — превращена в символ мира и святости. Для меня же все свмое чистое и непорочное в мире символизирует обыкновенный русский воробей.
— Какой же он русский? Воробей везде водится.
— Пусть! Но то, что он для меня — символ, это наша русская национальная черта.
— Когда-то у русских символом был двуглавый орел...
— Чужой. Если бы у нас во главе страны были русские, наверняка воробей был бы вместо орла.

Старик разбрасывает крошки. Разговаривает с воробьями, квк с детьми или старыми знакомыми.

— Смотрите-ка! Эти молодые совсем обнаглели. Прямо из рук рвут. А старики осторожные. В сторонке сидят. Схватит молодой кусок не по силам, они тут как тут. Теперь я прямо-таки кожей ощущаю смысл выражения «старый воробей». Мы, старики, все такие. Зазеваются молодые или схватятся за дело не по силам, мы налетаем и растаскиваем. Что поделаешь, закон природы. Глядите-ка, что вытворяют, стервецы! Маленькие, совсем вроде бы беззащитные, а живучие. Ничто их не берет!
— В Китае вроде вывели их совсем.
— Опять появились. Поразительно живучая птица. Мы вот скоро умрем, а тут по-прежнему будут прыгать и чирикать воробьи. Война пройдет... Может быть, все люди и животные погибнут. А эти пострелята выживут!
— Крысы, говорят, тоже выживут.
— Возможно. Крысы — умные животные. Но и воробьи уцелеют.
— Почему Вы так думаете?
— Не могу представить себе мир без воробьев. Без орлов, кур, голубей — могу. Без воробьев — нет. А вы?
— Тоже не могу.
— Значит, уцелеют.

Старик бросил последние крошки и ушел. Встаю и я. Воробьи пугаются скрипа моих ног, вспархивают на деревья. Они не знают, что они для меня значат. Я для них чужой.

АПОФЕОЗ

Наконец-то у нас в комбинате наладили отечественное производство глазных протезов по китайским образцам. Их переименовали в «Свет идей Октября». Причем это сделали без всякого юмора. Начальство комбината совместно с представителями райкома и обкома партии заседало восемь часов, прежде чем одобрили это название. Мне удалось устроить для Слепого пару глаз из первой же партии. И вот мы, нарядно одетые и с цветами, собрались у центрального входа больницы. Сестры вывели испуганного и бессмысленно улыбающегося Слепого. Без черных очков. С огромными небесно-голубыми, немигающими и невидящими глазами марки «Свет идей Октября». Я это зрелище не забуду вовек. Ничего страшнее я не видел за всю свою жизнь. Мы все окаменели от неожиданной ужасности того, что должно было бы быть прекрасным. Выручила Невеста.

— Смотрите! — закричала она весело (хотя по лицу ее ручьем текли слезы).— Какой красавец-мужчина!

Мы бросились обнимать Слепого, говорили ему комплименты о его прекрасных глазах, о том, как они ему к лицу. Слепой плакал от счастья. Но — без слез. И не мигая.

Вечером собрались у Слепого. Остряк фотографировал хозяина в различных позах. Слепой грозился разослать свое фото красивейшим женщинам города и покорить их таким образом. Моралистка сказала, что теперь Слепому надо отрастить усы и бороду. Сейчас это модно. У Слепого будет густая черная борода с проседью. Это будет очень эффектно в соче-

тании с большими голубыми глазами. Было очень уютно. На мгновение возникла неповторимая душевная близость.

— Я был круглый идиот,— произнес Слепой,— когда стремился обрести способность зрения. Теперь я займусь более важной проблемой: как научиться испускать настоящие слезы.

Если бы Будда выслушал Слепого, он исключил бы все болезни и уродства из списка человеческих страданий.

ПРАВО НА СМЕРТЬ

Теоретик сказал, что люди поступили бесчеловечно, сохранив ему жизнь. Слепой заметил, что Теоретик может отказаться от жизни, если она его не устраивает. Теоретик возразил, что, если бы его жизнь пресекли в самом начале, это было бы не его решение. А теперь он познал жизнь. То, что предлагает Слепой, есть проблема выбора для человека, осознающего себя живущим. И проблема эта, пожалуй, самая сложная из человеческих проблем.

— Я прочитал любопытную статью в американской газете,— сказал Теоретик.— Речь идет о праве людей, не желающих жить, на смерть. Конечно, если ты в состоянии покончить с собой, то ты делаешь это без всяких там прав. А если ты физически не можешь покончить с собой, например — если ты парализован? Ты даже голодной смертью умереть не можешь — тебя насильственно кормят. Человек требует, чтобы его убили. А врачи не хотят. Вот проблема. Думаю, что и для тех уродов, кто сам способен на самоубийство, тут есть проблема. Одно дело, когда ты кончаешь с собой вопреки законам и моральным нормам, и другое дело — когда ты это делаешь законно и морально оправданно. Иное отношение к смерти. Вот я и думаю: а что если начать борьбу за право на законную добровольную смерть?

— Борьба за права человека у нас рассматривается как преступление,— промолвил Остряк.

— Я не думаю, что процент самоубийств среди инвалидов выше, чем среди здоровых,— задумчиво заметил Слепой.— Самоубийство есть явление в среде здоровых людей, оказавшихся в нездоровых социальных условиях. И зачем торопиться на тот свет? От смерти все равно не уйдешь, а жизнь хороша сама по себе.

— Жизнь сама по себе ни плоха, ни хороша,— сказал Теоретик.— Она есть факт, и не более того. Жизнь может быть плохой или хорошей смотря по обстоятельствам. В живом организме есть механизм самосохранения. У человека он принимает форму страха смерти. Но этот страх не оправдывает жизнь как таковую. Если жизнь становится невыносимо тяжелой, то самоубийство становится естественной самозащитной реакцией. И тогда лозунг «Умри!» столь же правомерен, как и лозунг «Живи!».

— Основная психологическая ошибка в нашем отношении к смерти состоит в том, что мы на состояние после смерти смотрим так, будто мы вечно будем осознавать, что нас нет и никогда не будет,— проговорил Слепой.— На самом деле смерть есть просто превращение в Ничто, абсолютное исчезновение.

— Жаль,— вздохнула Моралистка.— Я бы предпочла, чтобы мертвые время от времени воскресали, чтобы осознать, что они мертвы, и испытать по этому поводу бесконечную боль и космический ужас.

— Зачем?!

— Хотя бы для того, чтобы один раз данную и короткую жизнь люди проживали более человечно.

— Страх смерти не проблема,— сказал Остряк.— Есть много способов его преодолеть. Один из них — постепенно привыкать спать все дольше и дольше. И, наконец, заснуть насовсем. Тогда грань между сном и смертью расплывается и исчезает. Причем полезно не сразу хоронить, а хранить труп дома как можно дольше. Умирающие должны знать, что и после смерти они остаются дома среди близких людей. Опыт жителей севера тут особенно интересен. Там к старости люди приучаются спать по шесть месяцев. Их еще в сонном состоянии выносят на мороз. И они на морозе потом «досыпают» годами. Очень удобно. Всем приятно, что родители рядом. И хлеба не просят. В наших условиях можно хранить покойников в специальных прозрачных холодильниках.

— Прекрасная идея! — воскликнул Теоретик.— Жизнь вообще можно построить так, что умирать будет совсем не страшно и даже приятно. Для этого надо следовать определенным принципам. Вот, например, один из них: чем больше сделаешь зла людям, тем приятнее умирать. Но зло имеется в виду не любое, а такое, чтобы можно было позлорадствовать. Мол, попробуйте теперь наказать меня! Опоздали, голубчики! Ах, если бы можно было хохотать после смерти! Земля на кладбищах тряслась бы, как во время землетрясения в Ташкенте или Ашхабаде.

— Я знал одного человека,— начал рассказывать Остряк,— который мог бы послужить классическим образцом преодоления страха смерти. Незадолго до смерти он взял

в долг много денег у всех своих знакомых, взял крупную ссуду в кассе взаимопомощи якобы на взнос в жилищный кооператив, взял в месткоме палатку и надувную лодку якобы для туристического похода, совратил одну молодую сотрудницу якобы с намерением жениться на ней и сделал многое другое. Все деньги он прокутил. Продал принадлежавший учреждению спортивный инвентарь и пропил вырученные деньги. Набил морду своему начальнику. Тот подал в суд на него. Когда он пропивал последний рубль, он хохотал так, будто выиграл в лотерею велосипед или телевизор. Особенно смешно ему было оттого, что его не успеют посадить в тюрьму за хулиганство и что с него не смогут высчитывать алименты совращенной им сотруднице. Так он и умер, смеясь и испытывая огромное удовлетворение от содеянного.

Если бы Будда услыхал рассказ Остряка, он вычеркнул бы страх смерти из списка человеческих страданий.

ВОТ И ВСЕ

— Что касается меня,— проговорил Бард,— то проблема жизни и смерти для меня решена. Ее решили сильные мира сего. Завтра я обязан выехать в «Атом». Что вам спеть на прощание? Спою «Марш уродов».

Уроды! Плевать на хвори!
Слепые, глядите в оба,
С дороги не сбиться чтобы!
Грядущего зрите зори!

Шагайте, безногие, в ногу!
Протезам — ничто расстоянье.
Где видит слепые сиянье,
Туда пролагайте дорогу!

Безрукие, руки раскроем!
Локоть друг друга почуем!
Свободу себе завоюем
Своею железной рукою!

Безголосые, взвойте песни,
Сочиненные тем, кто без слуха!
В бурном танце кружись, старуха,
В оденье из праха и плесени!

Правьте, безмозглые, нами!
Мир направляйте идеей!
О судьбах планеты радея,
Вовсю шевелите мозгами!

Дерзайте! И всюду народы
Забудут былые тревоги.
Все счастливы будут, как боги,
Поскольку все будут уроды.

Стали расходиться... Невеста ушла с Остряком. Похоже на то, что у нее с ним начинается такой же нелепый и бесперспективный роман, какой был с Солдатом. Мне хотелось крикнуть ей: останься, приди ко мне и будь мне женой на любых условиях. Я тебе буду таким мужем, каких больше не осталось на земле! Но она даже не оглянулась в мою сторону. В моем мозгу вдруг вспыхнула мысль: она же теперь никогда не будет ночевать на моем диване и насовсем исчезнет из моей жизни!

Ну, вот и все.
Допета песня.
Утерта тайная
Слеза.
И неизвестно,
Что бесчестней:
Быть то ли против,
То ли — за.
Все по отдельности
Банально.
А в целом — нечего
Понять.
И нет виновных
Персонально.
И в общем не на что
Пенять...

— Комедия окончена,— вдруг сказал Слепой, когда мы остались вдвоем.— Люди, как дети, с ними всегда надо разыгрывать какой-то спектакль, чтобы им хоть немного приятно было. Честно говоря, я с большим трудом доиграл свою роль до конца. Я же с самого начала знал, что из наших с тобой усилий ничего не выйдет. Мне просто хотелось сделать тебе приятное и немного облегчить тебе жизнь. Что дальше?

— Вечность,— ответил я.

Впервые в жизни я залпом выпил стакан водки. Затем — другой и заскрипел ставшими непослушными протезами к себе в каморку.

Я упал на диван, не снимая протезов. Изнутри разливалось тяжелое оцепенение, а откуда-то сверху опустилась гнетущая пустота. Имя ее — Вечность.

ЭПИЛОГ

Новые Липки. Небольшой сквер, засаженный чахлыми деревьями. Бронзовый бюст Портянкина на мраморном пьедестале. На лбу Портянкина, как обычно,— нецензурное слово из трех букв. В грязи около монумента сидит безногий пьяный мужчина с распухшей и заросшей щетиной физиономией. Он ругается, плачет и с остервенением ломает свои протезы. Окружающие его пьяницы вопят от восторга и смеются. Появился милиционер на мотоцикле с коляской. Пьяного инвалида с обломками протезов бросили в коляску и увезли. Пьяницы прекратили веселье и разбрелись.

...Шел 1987 год — семидесятый год жизни советского общества...

Мюнхен, 1982 — 1987 гг.



Глеб Горбовский

ОДА ВРЕМЕНИ

Плотней квинтэссенций,
прозрачней, чем божий эфир,—
в графинчике сердца
содержится сей эликсир.

Чуть мысли ослабли —
в него окунаю губу,
смакую по капле,
питаю движеньем судьбу.

Но вот заскучаю.
Ударит секунда в висок!
И вдруг замечаю:
уходит! Водою в песок...

Меж пальцев, меж ребер —
уходит! Мгновенья яа вес
считаю... И, ропот
уняв,— привожу себя в лес.

Там доброе племя
бытует, там мед на столах.
Там хвойное время
застыло смолой на стволах.

Там страх половинчат,
там свет разбавляется мглой.
Там можно графинчик
пополнить душистой смолой.

* * *

С. В.

Все повторится: лес, лужок,
яа ием проточная вода.
И только мы с тобой, дружок,
не повторимся никогда.

Пусть говорят, что мы с тобой
водою станем иль травой.
Что ж, пусть водой, но — голубой!
Журчащей, солнечной — живой.

Все превратится в прах и дым.
Виски у старости в золе.
Но пусть Есенин, молодым,
идет, как прежде, по земле.

Мы все привязаны к тропе,
чья суть — подзол и перегной,
но пусть любовь моя к тебе
любовью станет неземной.

Все повторится: свет и снег,
в Господнем кресле — сатана.
Но пусть лицо твое — навек —
в проеме тлеющем окна...

В ВОЛЬТЕРОВСКОМ КРЕСЛЕ

Лицом к ослепшему окну,
к морозно-пышному узору
вослед дыханию и взору
истечь сознаньем в тишину.

В промозглом погребе войны,
в объятьях стужи, как в бетоне,
в дубовом кресле, как на троне,
в пальто покойницы-жены.

Прорвется солнца луч! И тут,
на острие златого мига,—
увидеть лик архистратига,
услышать: ангелы зовут.

И смерть влетит в дверную щель
неслышно, как ночная птица;
под ней не скрипнет половица,
следы запорошит метель.

И вместе с креслом — на простор! —
туда, где космоса громада.
...То похоронная команда
беднягу вынесет на двор.

Джордж Р. Р. Мартин

С крестом и драконом

Фантастический рассказ

— Опять ересь,— сказал он. Солоноватая вода в бассейне тихонько чавкнула.

— Еще одна? — устало переспросил я.— Их теперь так много.

Его Высокопреосвященству Командору мое замечание пришлось явно не по вкусу. Он тяжело заворочался, по воде побежала рябь. Небольшая волна разбилась о край бассейна, вода тонким слоем покрыла кафельный пол. Теперь ботинки у меня окончательно промокли. Я отнесся к этому философски. Тем более что надел обувь, которую потом не жалко выкинуть. Я хорошо знал, что мокрые ноги — неизбежное последствие встреч с Торгатоном Девяти Кларнис Туном, старейшиной рода ка-Тейн, архиепископом Весс, исповедником четырех обетов, великим инквизитором Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа, советником его святейшества Новоримского папы Дарина XXI.

— Да будь ересей столько же, сколько звезд на небе, ни одна из них не стала бы от этого менее опасной,— торжественно провозгласил архиепископ.— И наша обязанность, святой долг рыцарей Христа бороться с каждой отдельной ересью и со всеми, вместе взятыми. К тому же эта ересь особенно непристойна.

— Примите мои извинения, Ваше Высокопреосвященство. Но у меня и в мыслях не было преуменьшать опасность. Просто миссия на Финнегане так вымотала меня, что я осмеливаюсь просить у вас отпуск. Мне необходимо отдохнуть, собраться с мыслями, немного восстановить силы.

— Отдохнуть! — Архиепископ опять зашевелился в бассейне, лишь слегка изменив положение своей огромной туши. Этого было достаточно, чтобы новая волна окатила пол камеры. Темные глаза без зрачков, помаргивая, уставились на меня.

— Боюсь, отец мой, это невозможно. Без вашего умения и вашего опыта нам в этой новой миссии не обойтись.— Затем голос его, как мне показалось, слегка потеплел.— К сожалению, не успел просмотреть ваш доклад по Финнегану. Велики ли ваши успехи?

— Малы. Впрочем, думаю, в конечном счете мы одержим победу. Церковь на Финнегане сильна. Когда наши попытки к увещеванию были отвергнуты, я вложил хоругви в десницы правых, и нам удалось прикрыть газету и радиостанцию, которые принадлежали еретикам. Наши друзья добились, чтобы суд отклонил протесты святотатцев.

— Это не называется «малы»,— заметил архиепископ.— Вы одержали значительную победу во имя бога и церкви.

— Происходили и беспорядки,— продолжал я.— Убито более сотни еретиков и с десяток наших людей. Опасаюсь, что, прежде чем с ересью будет покончено, еще не раз придется применять насилие. На наших священников нападают, стоит им появиться в городе, где укоренилась ересь. Правда, и вожаки святотатцев, покидая этот город, рискуют жизнью. А я-то надеялся, что удастся обойтись без репрессий и кровопролития.

— Похвально, но несбыточно,— сказал архиепископ Торгатон. Он опять заморгал, глядя на меня, и я вспомнил, что для существ его расы помаргивание — знак проявляемо-

---

Джордж Р. Р. Мартин (род. в 1948 г.) — американский писатель-фантаст, закончил Северо-Западный университет, по профессии преподаватель журналистики. Роман «Песня для Лиа» удостоен в 1974 году премии «Хьюго». В последние годы вышло несколько сборников его рассказов. Рассказ «С крестом и драконом» печатается по сборнику: «The Best 1970 Annual Worlds'SF». Daw Books INC, New York.

го нетерпения.— Кровь мучеников или кровь еретиков... Какое значение для человека имеет жизнь, если душа его будет спасена?

— Воистину так,— согласился я.

Несмотря на нетерпение, Торгатон, будь у него такая возможность, читал бы мне проповеди битый час. Подобная перспектива приводила меня в уныние. В переговорной камере не предусматривалось даже элементарных удобств, и у меня не было ни малейшего желания оставаться в ней дольше, чем я считал необходимым. Сырые стены камеры были покрыты плесенью, воздух, горячий и влажный, пропитан запахом прогорклого масла, характерным для расы ка-Тейн. Воротник нещадно тер мне шею, тело под сутаной горело, ноги насквозь промокли. К тому же начинало сводить живот.

Поэтому я опередил его, вернув к прежней теме:

— Вы сказали, милорд Командор, что новая ересь непристойна...

— Именно так.

— Где же она возникла?

— На Арионе, во Вселенной, отстоящей от Весс на расстояние примерно в три недели полета. Не могу понять, почему вас, людей, так легко совратить с пути истинного. Если кто-либо из расы ка-Тейн принимает веру, он не предает ее.

— Это хорошо известно,— вежливо заметил я.

Я не стал упоминать, что представителей расы ка-Тейн, которые приняли веру, было весьма и весьма немного. Существа эти были медлительны и тяжеловесны; большинство из них не проявляло никакого интереса ни к познанию чего-либо нового, отличного от принятого у них, ни, тем более, к восприятию других вероучений, кроме своей древней религии. Тун в этом смысле являлся исключением. Он был одним из первых новообращенных почти два столетия назад, когда папа Видас L разрешил принимать священнический сан гуманоидам других Вселенных. Неудивительно, что столь долгая жизнь и непоколебимая вера помогли Торгатону добиться такого высокого положения, хотя за ним последовало менее тысячи его сородичей. Ему оставалось жить еще по крайней мере лет сто, и он, несомненно, станет Торгатоном кардиналом Туном, если, конечно, сокрушит достаточное число ересей. Таковы времена...

— Наше влияние на Арионе ограничено,— продолжал тем временем архиепископ. Руки его двигались, взбалтывая воду, словно четыре уродливые клюшки из серо-зеленой плоти. И каждое слово вызывало дрожание пепельно-серых волосков вокруг его дыхательного отверстия.— Мало священников, мало церквей, немного верующих,— о каком влиянии может идти речь?! На этой планете еретики уже превышают нас числом. Я полагаюсь на ваш ум, вашу проницательность. Постарайтесь изменить создавшееся положение, сделайте его благоприятным для нас. Ересь настолько несостоятельна, что вы сможете легко опровергнуть ее. Возможно, что кто-то из заблудших вернется на путь истинный.

— Несомненно,— согласился я.— А какова природа ереси? Что я должен опровергать?

Самому-то мне это было совершенно безразлично — с меня хватало и недавно появившихся симптомов собственного разочарования в вере. Слишком много было ересей, с которыми я сталкивался; их символы веры и учения уже эхом отдавались в усталом мозгу и тревожили мой сон по ночам.

И как я мог быть тверд в собственной вере? Вердикт, который разрешал Торгатону принять сан, одновременно привел и к тому, что полдюжины планет отказались признать его епископом Нового Рима. А те, кто все-таки подчинились вердикту, посчитали бы особенно гнусной ересью само существование массивного, голого (облаченного лишь в мокрый епископский воротник) инопланетянина, плавающего в воде и поддерживающего авторитет церкви своими четырьмя перепончатыми лапами.

Конечно, христианство — единственная великая религия человечества, но что из того? Нехристиан в пять раз больше, а свыше семисот христианских сект объединяют больше верующих, чем Единая Истинная Межзвездная Католическая Церковь Земли и Тысячи Миров. Даже Дарин XXI, обладающий таким могуществом, всего лишь один из семи претендентов на папский престол. Когда-то и моя собственная вера была достаточно непоколебима, но я слишком долго пребывал среди еретиков и неверующих. Теперь даже и молитвами не заглушить сомнений.

Поэтому я испытал не страх, а, скорее, неожиданно для себя самого, живой интерес, когда архиепископ сообщил о сущности ереси на Арионе:

— Они причислили к лику святых... Иуду Искариота.

По положению старшего среди рыцарей инквизиции я командовал собственным звездолетом, который назвал «Христова истина». До того, как транспорт был передан в мое распоряжение, он назывался «Святой Фома», в честь одного из апостолов. Но я считал, что святой, печально известный своими сомнениями, не может быть подходящим покровителем для корабля, приписанного к Ордену воинствующих рыцарей Иисуса Хри-

ста. На борту «Истины» я не был обременен никакими обязанностями. Звездолетом управлял экипаж из шести братьев и сестер ордена Святого Христофора-путешественника, под командой женщины-капитана, которую я сманил с «торговца». Поэтому я мог посвятить все три недели путешествия от Весс до Ариона изучению еретической библии, экземпляр которой мне вручил перед отлетом викарий. Это был объемистый том, переплетенный в темную кожу, с золотым обрезом и множеством красочных иллюстраций. Для большего впечатления иллюстрации были выполнены методом голографии. Книга была великолепно издана; над ней явно потрудился человек, который знал толк в книгах и отлично владел ныне полностью забытым искусством книгопечатания. Картины, репродукции с которых были воспроизведены в книге, украшали стены Собора Святого Иуды на Арионе. Не будь их сюжеты столь богохульны, я бы, пожалуй, назвал картины шедеврами искусства столь же высокого, как искусство Таммерсвема и Рохеллидея, чьи полотна украшают Большой Собор Святого Иоанна в Новом Риме. На внутренней стороне обложки стояла печать цензуры с отметкой, что выпуск разрешен Лукианом Иудассоном, основателем Ордена Святого Иуды Искариота. Называлась книга «С крестом и драконом». Пока «Христова истина» проносилась в межзвездном пространстве, я углубился в чтение. Сначала я делал пространные выписки, чтобы лучше понять сущность ереси, с которой придется бороться, но постепенно странная, нелепая и запутанная история, изложенная в книге, захватила меня полностью. Книга была написана очень убедительно, языком страстным и поэтическим.

Вот так я впервые познакомился с притчей об Иуде Искариоте, существе сложном, противоречивом, по-своему необычном. Он был рожден от проститутки в мифическом городе-государстве Вавилоне в тот самый день, когда в Вифлееме появился на свет Спаситель. Детство он провел на грязных улочках и в сточных канавах, продавая, если приходилось туго, свое собственное тело, а став постарше, не гнушался быть сводником.

Еще в юности он испробовал силы в черной магии и, не достигнув еще двадцати лет, стал искусным магом. Именно тогда он становится Иудой — Укротителем драконов, первым и единственным среди людей, подчинившим своей воле самых страшных из созданных богом тварей — огнедышащих ящериц с огромными крыльями, которые обитали на Старой Земле.

Одна из лучших репродукций книги изображала Иуду в огромной сырой пещере. Огонь горит в его глазах, сверкающим бичом он замахивается на усмиренного громадного желто-зеленого дракона. В другой руке у него плетеная корзина, крышка корзины слегка сдвинута в сторону, и из-под нее высовываются три крохотные чешуйчатые головки детенышей дракона. Еще один «младенец» карабкается вверх по рукаву одежд Иуды. На этом эпизоде заканчивалась первая глава жития.

Во второй главе он уже Иуда-Завоеватель, Иуда — Царь драконов, Великий узурпатор. На репродукции он изображен верхом на самом крупном из драконов, в железной короне и с мечом в руке. Он превратил Вавилон в столицу величайшей из империй, когда-либо существовавших на старушке-Земле. Царство его простиралось от Италии до Индии. Он приказал возвести висячие сады и, сидя на своем «драконьем троне», правил оттуда миром. С высоты этого трона он вершил суд и над Иисусом из Назарета, называвшим себя пророком и возмущавшим народ. Связанного и окровавленного Иисуса бросила к подножию трона дворцовая стража. Иуда был не из терпеливых и, прежде чем закончить суд, обагрил руки кровью Иисуса. И так как Иисус продолжал упорно молчать, высокомерный Иуда повелел изгнать его, но прежде приказал отрубить Иисусу ноги.

— Исцелитель, исцелися сам! — издевался он.

Но однажды в ночи ему было видение, и он раскаялся. Иуда отрекся от престола, перестал заниматься черной магией, оставил все свои богатства, чтобы последовать за человеком, которого сделал калекой. Иуда стал «ногами Господа» и целый год носил Иисуса на спине, посещая самые отдаленные уголки царства, которым он раньше правил. Когда наконец Иисус исцелился, Иуда стал странствовать бок о бок с ним и с тех пор ствл верным другом и учеником Иисуса, первым из двенадцати. Иисус одарил Иуду способностью понимать все языки, а также вернул обратно и освятил драконов, от которых Иуда отрекся. Он послал своего ученика за океан, «нести мое слово туда, куда мне самому не дойти».

И настал день, когда померкло солнце и задрожала земля; и поворотил Иуда дракона, и полетел обратно через ревущие моря. Но когда достиг он стен Иерусалима, то увидел Иисуса распятым на кресте. И тогда пошатнулась вера его, и следующие три дня Великая Ярость Иуды пронеслась над древним миром. Драконы его стерли с лица земли храм в Иерусалиме, изгнали жителей города, а заодно до основания разрушили великие престолы власти в Риме и Вавилоне. Он отыскал и расспросил остальных из Двенадцати апостолов и узнал, как Симон, называемый Петром, трижды предал Господа. Тогда Иуда задушил его своими руками, а тело скормил драконам. После этого он послал своих драконов зажигать по всему свету погребальные костры по Иисусу из Назарета.

И воскрес Иисус на третий день, и возрыдал Иуда, но слезы его не могли смягчить сердце Христово, ибо в гневе своем предал Иуда его учение.

И возвратил Иисус драконов, и они вернулись, и погасли везде костры. Из утроб драконьих вызволил Иисус Петра, и воскресил его, и дал ему власть над церковью.

И тогда умерли драконы, сожравшие Петра, а с ними все остальные повсеместно, ибо совершил Иуда Искариот тяжкий грех. И Христос отнял силу и мудрость его, что воплощалась в укрощенных драконах. И отобрал Он у Иуды дар понимать все языки и исцелять, и лишил зрения, ибо в ярости своей Иуда был слеп. (Это все проиллюстрировано в книге репродукцией с прекрасно выполненной картины, на которой слепой Иуда рыдает над умерщвленными драконами.) И Он сказал Иуде, что многие люди станут вспоминать о нем только как о Предателе и проклянут его имя; и забудут, кем он был и что сделал. Но потом, вняв мольбам Иуды, Христос свершил благодеяние: он умножил ему срок жизни, чтобы в скитаниях своих Иуда мог поразмыслить о свершенных грехах, а перед смертью получить прощение.

Так начиналась последняя, самая длинная глава жизнеописания Иуды Искариота. Некогда Царь драконов, позднее — друг Христа, теперь он стал слепым странником, отверженным, лишенным друзей, скитавшимся по земле и обдуваемым всеми ее ветрами. И он продолжал жить, когда умерли люди, которых он знал, когда рассыпались в прах вещи, которыми он пользовался, когда исчезли с лица земли города, в которых он жил.

А первосвященник Петр, его враг, распространил по всему свету вымысел о том, будто Иуда продал Христа за тридцать сребреников. Теперь Иуда даже не осмеливался произнести свое настоящее имя; иногда он был «Бродячим Иу», а позже придумал себе еще немало других имен. Жил он более тысячи лет, стал проповедником, исцелителем, другом животных. За ним охотились, его преследовали, когда церковь, основанная Петром, стала скопищем развратных и алчных тупиц. Но он не был подвластен времени и наконец, познав мудрость, обрел покой; в его смертный час к нему явился Иисус, и они воссоединились, я Иуда возрыдал снова. И прежде, чем он умер, Христос обещал, что разрешит лишь неким избранным запомнить, кем был и что свершил Иуда; через столетия молва о нем распространится, ложь Петра в конце концов раскроется и навсегда будет забыта.

Так была описана в книге «С крестом и драконом» жизнь Иуды Искариота. В ней приводились также основы его учения и апокрифические книги, которые, считалось, он написал.

Закончив чтение толстого тома Библии, я дал его Арле-к-Бау, капитану «Истины Христа». Арла была женщина суровая, практически мыслящая и к тому же неверующая; именно поэтому я ценил ее мнение. Остальные члены моего экипажа, добрые братья и сестры Ордена Святого Христофора, с покорностью согласились бы с мнением архиепископа.

— Занятно,— сказала Арла, возвратив мне книгу.

Я усмехнулся:

— И это все?

Она пожала плечами:

— Прекрасно изложено, Дамиан, читается намного легче, чем ваша Библия. К тому же эта история более драматична.

— Допускаю,— сказал я.— Но она абсурдна. Невероятная мешанина из разного рода доктрин, апокрифических книг, мифов и суеверий. Занимательно — да, конечно. Впечатляюще, пожалуй, даже захватывающе. Но — нелепо. Разве вы не находите? Разве вы можете поверить в драконов? А в безногого Христа и в собранного по кусочкам Петра, съеденного драконами?

Теперь усмехнулась Арла.

— Разве история эта хоть сколько-нибудь глупее, чем превращение воды в вино? Или хождение Иисуса по водам? А человек, живущий в чреве кита?

Арле-к-Бау нравилось подтрунивать надо мной. Когда я выбрал в капитаны звездолета женщину, да еще атеистку, разразился скандал. Но она прекрасно выполняла свои обязанности, и ее присутствие помогало мне сохранять ясность мысли. Она обладала трезвым умом — этого-то у нее не отнимешь,— и я ценил такое качество куда выше, чем слепое повиновение.

— Но тут совсем другое,— защищался я.

— Да ну? — живо отреагировала она. Я понял, что она видит меня насквозь.— Ах, Дамиан, признайтесь, что вам самому очень понравилась эта книга.

Я откашлялся.

— Книга пробуждает интерес,— признался я. Мне нужно было оправдаться.— Вы же знаете, с чем мне приходится иметь дело: отклонения от догм, софизмы, высосанные из пальца, грязные политические махинации, цель которых — посадить на папский престол какого-нибудь амбициозного епископа с захудалой планеты или выжать уступку из Весс или Нового Рима. Эта война нескончаема, битвы ее вероломны и бессмысленны. Они истощили меня и нравственно, и физически; я постоянно чувствую себя опустошенным и виноватым.

Я похлопал по кожаной обложке книги.

— Здесь совсем другое. Конечно, ересь должна быть искоренена, но, признаюсь, мне очень хотелось бы встретиться с этим Лукианом Иудассоном.

— Книга и оформлена прекрасно,— заметила Арла, перелистывая страницы. Она задержала взгляд на одной репродукции. Видимо, ее поразил «Иуда, рыдающий над драконами», подумал я. И улыбнулся, увидев, что не ошибся. Похоже, картина произвела на нее такое же сильное впечатление, как и на меня. Я улыбнулся, но следом пришла грусть. Меня охватило предчувствие, что труды предстоят большие.

Таково было положение вещей, когда «Христова истина» прибыла в Аммадон, полупрозрачный, как фарфор, арионский город, где Орден Святого Иуды Искариота воздвиг свой Храм.

Арион был спокойной, приятной планетой, заселенной лишь в последние три столетия. Население здесь составляло примерно девять миллионов; два из них жили в Аммадоне — единственном городе на этой планете. С точки зрения технологов, промышленность на Арионе была развита выше среднего, но зависела она от ввоза оборудования. Успехов на Арионе если и достигли, то, пожалуй, только в области изящных искусств. Искусствам здесь придавали очень большое значение, они тут буйно процветали. На Арионе было мало верующих, большая часть населения вовсе не посещала церковь. Наиболее популярной религией был эстетизм, который едва ли вообще можно считать религией. Были здесь также и секты Даосов, Эриканеров, Старых истинных христиан, Детей Мечтателя и еще дюжина сект поменьше.

И наконец, здесь было девять храмов Единой Истинной Межзвездной католической церкви. Раньше их было двенадцать, но три уже перешли во власть Ордена Св. Иуды Искариота, добавившего их к дюжине недавно построенных прибежищ для быстро растущего числа своих приверженцев.

Епископ Ариона, смуглый, суровый брюнет с короткой стрижкой, встретил меня без всякой радости.

— Дамиан Хар Верис! — воскликнул он в некотором замешательстве, когда я появился на пороге его резиденции.— Наслышаны, наслышаны, но никогда не думал, что удостоимся чести принимать вас у себя. Наша паства здесь не так обильна...

— И с каждым днем скудеет,— добавил я.— Именно это и тревожит милорда Главнокомандующего, архиепископа Торгатона. И, должен сказать, в отличие от вас. Ваше Преосвященство, поскольку вы не сочли нужным доложить о деятельности секты почитателей Иуды.

Похоже, упрек рассердил его, но он не подавал вида. Рыцаря инквизиции страшатся даже епископы.

— Конечно, мы в курсе происходящего,— сказал он.— Мы делаем все возможное, чтобы бороться с ересью. Если бы вы помогли нам советом, буду чрезвычайно рад выслушать.

— Я инквизитор Ордена воинствующих рыцарей Иисуса Христа.— сказал я резко.— И никаких советов не даю, Ваше Преосвященство. Я принимаю меры. Для этого меня и послали на Арион, именно это я и собираюсь делать. А теперь расскажите мне, что вы знаете о ереси и об этом Лукиане Иудассоне.

— Я готов, отец Дамиан,— поспешил согласиться епископ.

Он подал знак слуге принести вино и сыр и начал кратко излагать недолгую, но бурную историю культа Иуды. Я слушал, полируя ногти о темно-красный лацкан своей куртки до тех пор, пока они не засверкали. Лишь время от времени я прерывал его рассказ вопросами. Он еще до середины не дошел, а я уже понял, что придется мне лично нанести визит Лукиану. Пожалуй, это будет самый разумный путь.

И я пожелал отправиться к нему немедленно.

Надо сказать, внешности на Арионе придавалось большое значение. И я полагал, что необходимо произвести должное впечатление на Лукиана не только своим положением, но и внешностью. Я надел свою лучшую обувь — начищенные до блеска темные ботинки ручной работы, которые никогда не надевал, отправляясь к Торгатону, строгую черную куртку с лацканами цвета настоящего бургундского и стоячим воротничком. На груди у меня было распятие чистого золота, в паре к нему — булавка для воротника в виде меча — символа рыцарей инквизиции. Брат Денис аккуратно покрыл мои ногти лаком цвета эбена и наложил такие же черные тени на глаза, а для лица не пожалел великолепной белой пудры. Я посмотрел на себя в зеркало, и меня охватил страх. Я попытался улыбнуться, страх исчез.

В Храм Святого Иуды Искариота я пошел пешком. Улицы Аммадона просторные, широкие, золотистого цвета. Вдоль улиц растут алые деревья, их называют здесь «шепчуветру». Их длинные, свисающие усики, казалось, действительно нашептывали свои секреты легкому ветерку. Со мной пошла сестра Джудит. Она была женщиной небольшого

роста, хрупкой на вид, и даже униформа Ордена Святого Христофора, с накинутым на голову капюшоном, не могла скрыть ее грациозности. Лицо у нее было мягкое и доброе, на нем выделялись широко распахнутые, по-детски невинные глаза. И тем не менее именно она вот уже четыре раза хладнокровно расправлялась с теми, кто пробовал на меня нападать; я очень ценил ее.

Храм Ордена Святого Иуды был недавно отстроен. Громоздкий, но, тем не менее, величественный, он возвышался над морем золотистой травы и островками мелких ярких цветов. Наружную часть стены, окружавшей владения, и фасад самого храма покрывали фрески. Я узнал некоторые из них, запомнившиеся мне по книге. Я ненадолго задержался, чтобы полюбоваться ими, прежде чем пройти через главные ворота. Не было ни охраны, ни даже привратника. Во внутреннем саду мужчины и женщины беззаботно бродили по траве среди цветов или сидели на скамейках под серебристыми деревьями и «шепчуветром».

Сестра Джудит и я немного постояли, потом двинулись прямо к дому.

Едва мы ступили на лестницу, в дверях возник полный блондин. Он остановился, выжидая, пока мы поднимемся. В его пышной жесткой бороде застыла улыбка. Одет он был в ниспадающую до сандалий рясу из тонкого сукна с изображенными на ней драконами и силуэтом человека с крестом.

Когда я приблизился, блондин поклонился.

— Отец Дамиан Хар Верис — рыцарь инквизиции? Приветствую вас во имя Иисуса и Святого Иуды.— И улыбнулся еще шире.— Я — Лукиан.

«Надо будет выяснить,— подумал я,— кто у епископа работает на еретиков». При этом хладнокровие не изменило мне: слишком долго я был рыцарем инквизиции.

— Отец Лукиан Моу,— обратился я к нему, отвечая на рукопожатие,— мне нужно задать вам несколько вопросов.

Я не улыбался.

Он же продолжал улыбаться:

— Я так и предполагал.

Кабинет Лукиана был довольно велик, но обставлен по-спартански. Еретикам зачастую присуща простота, которую, по-моему, утратили служители истинной церкви; Лукиан заслуживал снисхождения хотя бы за это. Большую часть стены за его столом-консолью занимала картина «Ослепленный Иуда рыдает над драконами». И глаз от нее было не отвести.

Лукиан тяжело опустился на стул и жестом руки предложил мне сесть. Сестра Джудит осталась в приемной.

— Я предпочитаю постоять, Отец Лукиан,— ответил я, зная, какой перевес дает такая позиция.

— Можете называть меня просто Лукианом,— сказал он.— Или Люком, если вам так больше нравится. Мы здесь почти не употребляем титулов.

— Вы — Отец Лукиан Моу, рожденный здесь, на Арионе, получивший образование в семинарии на Катадей, бывший священник Единой Истинной Межзвездной Католической Церкви Земли и Тысячи Миров,— чеканил я.— Я буду обращаться к вам, как это подобает вашему положению, и ожидаю того же от вас. Понятно?

— О да,— дружелюбно кивнул он.

— Я уполномочен лишить вас права совершать причастие и отлучить от церкви за то, что вы способствовали появлению ереси. На других планетах я мог бы даже потребовать вашей смерти.

— Но не на Арионе,— быстро возразил Лукиан.— Мы здесь терпимы, и нас здесь много, больше, чем вас.

Он улыбнулся.

— Ну, а что касается причастия — я уже давно не причащаю. Теперь я Первый Старший Законоучитель. Наставник, Мыслитель. Я указую путь, помогаю обрести веру. Отлучайте меня, Отец Дамиан, если это вас осчастливит. Стать счастливым — не того ли мы ищем?

— Значит, вы отреклись от веры, Отец Лукиан? Или избрали новую? — Я достал и положил перед ним экземпляр «С крестом и драконом». Теперь улыбался я, но в моей ледяной улыбке, вероятно, ощущались угроза и издевка.— И более нелепое вероучение мне еще не попадалось. Любопытно послушать, как вы беседовали с Богом и как Он ниспослал вам эту благодать, дабы вы смогли восстановить доброе имя того, кого называете Святым Иудой?

В ответ Лукиан улыбнулся с неподдельной радостью. Он взял в руки книгу и светло поглядел на меня.

— О нет,— ответил он.— Нет. Я сочинил ее сам.

Это сбило меня с толку.

— Как?

— Я сочинил ее сам,— повторил он, любовно баюкая книгу.— Конечно, я черпал из многих источников, в основном из Библии, но все-таки считаю книгу «С крестом и драконом» собственным детищем. Согласитесь, неплохо написано, а? Разумеется, я далек от претензий на авторство, хотя, ей-богу, горжусь тем, что сделал. Довольно с меня и разрешения на выпуск. Надеюсь, вы все это учитываете? Вот самое большее, на что я осмелился.

На мгновение я потерял дар речи, но только на мгновение. Потом поморщился.

— Вы обескуражили меня,— признался я.— Я ожидал встретить изобретательного безумца, какого-нибудь обманувшегося идиота, твердого в своей вере, о которой он якобы беседовал с Богом. Прежде я имел дело именно с такими фанатиками. А передо мной бодрый циник, который придумал религию для собственной корысти. Предпочел бы фанатиков. Вы недостойны даже презрения, Отец Лукиан. Вы будете вечно гореть в аду.

— Сомневаюсь,— ответил Лукиан.— В отношении меня вы заблуждаетесь, Отец Дамиан. Я не циник и не корыстолюбец. Я просто люблю Святого Иуду. По правде говоря, я жил в большем достатке, когда служил вашей церкви. Я поступил так по призванию.

От неожиданности я опустился на стул.

— Как так? Объясните, что вы имеете в виду!

— Именно это я и собираюсь сделать,— ответил он.— Сказать правду.— Он чуть не плакал.— Я — лжец.

— Вы хотите загнать меня в тупик вашими идиотскими парадоксами,— огрызнулся я.

— Нет, нет.— Он снова улыбнулся.— Всего лишь Лжец. С большой буквы. Это организация, Отец Дамиан. Можно сказать — религия. Вероучение возвышенное и могущественное. И я лишь ничтожнейший из исповедующих его.

— Я ничего не слышал о такой религии.

— Вы и не могли услышать. Это тайна. Должно быть тайной. Это-то вы можете понять? Людям не нравится, когда им лгут.

— Мне тоже не нравится, когда мне лгут.

Кажется, мои слова задели Лукиана за живое.

— Разве я не сказал вам, что буду говорить правду? Если Лжец говорит так, вы можете ему верить. Как иначе мы могли бы верить друг другу?

— Вас, значит, много,— сказал я.

Мне начинало казаться, что Лукиан, в конечном счете, просто сумасшедший. Как всякий еретик, он был фанатиком, но фанатизм его имел более сложную основу. Это была ересь в ереси, но я твердо помнил о своем долге разобраться во всем и навести порядок.

— Да, нас много,— улыбаясь сказал Лукиан.— Вы, возможно, удивитесь, Отец Дамиан, насколько нас много. Но есть некоторые вещи, о которых я не осмеливаюсь рассказать вам.

— Говорите о чем осмеливаетесь.

— С радостью,— сказал Лукиан Иудассон.— Мы, Лжецы, подобно последователям других вероучений, приняли несколько заповедей — ведь без заповедей нельзя. Есть вещи, не требующие доказательств. Мы верим: жизнь дана, чтобы жить. Это одна из заповедей. Цель жизни — жить, отрицать смерть, может быть, бросить вызов вечности.

— Продолжайте,— сказал я, невольно заинтересовываясь все больше и больше.

— Мы также верим, что счастье есть благо и его надо заслужить.

— Католическая церковь не отрицает счастья,— сухо заметил я.

— Сомневаюсь,— ответил Лукиан.— Но не станем уклоняться от сути дела. Каково бы ни было отношение церкви к счастью, она всегда проповедует учение о загробной жизни, о вечном духе, устанавливает мудреные понятия о нравственности.

— Верно.

— Лжецы не верят ни в загробную жизнь, ни в Бога. Мы воспринимаем Вселенную такой, какая она есть, Отец Дамиан, неприкрашенная правда всегда жестока. Мы, которые верим в жизнь и дорожим ею,— умрем. После смерти не будет ничего — только вселенская пустота, мгла и вечность. В нашем существовании не было ни цели, ни смысла, ни поэзии. Да и смерть не обладает этими качествами. Когда мы уйдем, память о нас недолго будет жить во Вселенной, и вскоре все станет так, словно мы никогда и не жили на свете. Миры, где мы обитаем, и сама Вселенная ненадолго переживут нас. В конечном счете все канет в Лету и жалкие усилия людей не смогут предотвратить ужасный конец. Все проходит, и ничто не имеет значения. Не бесконечна и Вселенная — ее судьба предрешена.

Я откинулся на спинку стула; от убогих и темных речей Лукиана меня бил озноб. Я поймал себя на том, что судорожно сжимаю распятие.

— Мрачная философия, к тому же ложная,— сказал я.— И меня самого смущали подобные мысли; думаю, каждый из нас в той или иной степени через это прошел. Но это не так, отец Лукиан. Моя вера укрепляет меня. Вера — щит от отчаяния.

— Ах, я знаю это, мой друг, рыцарь инквизиции,— ответил Лукиан.— Я рад, что вы все так хорошо поняли; еще немного, и вы будете с нами.

Я нахмурился.

— Вы коснулись самой сути,— продолжал Лукиан.— Истины — и большие, и малые — невыносимы для большинства. Пока мы верим, верим искренне и до конца,— какой бы лживой наша вера ни была,— мы находим в ней щит. В вашей, моей, любой вере — не имеет значения.

Он задумчиво потеребил взлохматившуюся светлую бороду.

— Наши психиатры твердят, что по-настоящему счастливы лишь те, кто верит. Верят ли они в Христа или в Будду, или в Эрику Стормьен, в переселение душ или в бессмертие, силу любви или природу, или в платформу политической партии — в результате это ведет к одному и тому же — вере. И они счастливы — и те, кто познал истину, и даже те, кто разочаровался и покончил с собой. Истины так необъятны, религии так ничтожны, да к тому же плохо сработаны и пестрят ошибками и противоречиями. Мы видим, что стоит за этим, чувствуем, как на нас давит темнота, и не можем больше оставаться счастливыми.

До меня уже дошло, к чему клонит Иудассон.

— Ваши Лжецы изобретают верования.

Он улыбнулся.

— Причем самые разные. И не только религиозные. Подумайте об этом. Правда — инструмент грубый. Красота всегда предпочтительнее правды. Мы изобретаем красоту. Верования, политические течения, высокие идеалы, вера а любовь и дружбу — все это вариации лжи. Мы лжем, говоря о тех или иных понятиях; лжем бесконечно, о чем бы мы ни говорили. Мы приукрашиваем историю, мифы, религии, делаем их более красивыми, улучшаем их, чтобы в них легче было поверить. Конечно, наша ложь несовершенна. Но истины слишком громоздки. Быть может, однажды мы найдем ту великую ложь, которая удовлетворит все человечество; пока она не найдена, пусть послужат тысячи маленьких неправд.

— Мне нет никакого дела до вас, Лжецов,— сказал я холодно, даже, пожалуй, зло.— Всю жизнь я был поборником правды.

Лукиан заметил снисходительно:

— Отец Дамиан Хар Верис, рыцарь инквизиции, я был о вас лучшего мнения. Вы сами — Лжец. Вы делаете полезную работу. Вы летаете на разные планеты и везде уничтожаете глупцов, мятежников, сомневающихся, которые осмелились посягнуть на основы той всеобъемлющей лжи, которой вы служите.

— Если моя ложь так притягательна, почему вы отказались от нее? — спросил я.

— Религия должна соответствовать культуре и обществу, работать на них, а не против. Если налицо противоречие, противопоставление, тогда ложь разрушается и вера оказывается поколебленной. Ваша религия хороша для многих других планет, но не для Ариона. Здесь царит всепрощение, а вера ваша нетерпима. Мы здесь любим красоту, а ваша вера слишком скупа на нее. Поэтому мы улучшили эту веру. Мы изучаем свой мир очень давно. Мы знаем его психологический срез. Житие Святого Иуды здесь будет пользоваться успехом. Его история драматична, своеобразна, в ней много прекрасного,— а эстетика привлекает. Это трагедия со счастливым концом, а на Арионе помешаны на таких историях. И драконы — недурное дополнение, верно? Думаю, что и ваша церковь должна поискать возможность как-то использовать драконов. Это восхитительные создания.

— Мифические,— вставил я.

— Едва ли,— ответил он, ухмыльнувшись.— Попробуйте доказать. Видите, все опять упирается в веру. Разве можно точно узнать, что происходило три тысячи лет назад? У вас — один Иуда, у меня — другой. И у вас, и у меня — священные книги. Разве истина в ваших? Вы можете поверить в это? Я допущен только в первый круг Ордена Лжецов, поэтому не владею всеми секретами, но знаю, что Орден этот очень древний. И не удивлюсь, если обнаружу, что все священные книги были написаны людьми, очень похожими на меня. А может, никакого Иуды вообще не существовало... Или Христа.

— А я верю в то, что они существовали,— сказал я.

— В этом храме сотни людей, и они верят в Святого Иуду и мою Библию вполне искренне. Вера — прекрасная вещь. Знаете ли вы, что число самоубийств на Арионе сократилось почти на треть с тех пор, как был основан Орден Святого Иуды?

Я стал медленно подниматься со стула.

— Вы так же фанатичны, Лукиан Иудассон, как все еретики, которых я встречал прежде. Мне жаль вас, вы утратили веру.

— Пожалейте себя, Дамиан Хар Верис,— ответил он и тоже встал.— Я обрел новую веру, новый смысл жизни, и счастлив. А вы, мой дорогой друг, терзаетесь сомнениями и оттого несчастны.

— Это ложь! — Боюсь, я уже кричал.

— Пойдемте со мной,— предложил Лукиан. Он коснулся панели на стене, и огромная картина «Иуда, оплакивающий драконов» скользнула в сторону; за ней находилась лестница, ведущая в подземелье.

— Идите за мной,— повторил он.

В подвале стоял огромный стеклянный чан, наполненный светло-зеленой жидкостью, а в ней плавало нечто, напоминавшее неопределенного возраста древний эмбрион, голое,

5 *

с огромной головой и атрофированным крошечным тельцем; оно было похоже одновременно на старика и на младенца. От рук, ног и полового органа существа тянулись трубки, которые соединяли его с системой жизнеобеспечения.

Лукиан включил свет, и странное существо открыло глаза: огромные, темные, они, казалось, заглядывали прямо в душу.

— Это мой коллега,— сказал Лукиан, похлопывая по стенке чана.— Джон Эйзью Кросс, Лжец четвертого круга.

— И телепат к тому же,— с досадой констатировал я.

Мне доводилось громить телепатов на других планетах — в основном это были дети. Церковь учит, что телепатические способности от сатаны — о них не упоминается в Библии. Но я никогда не мог примириться с этими убийствами.

— Джон «прочитал» вас, как только вы появились на территории храма, и уведомил меня,— сказал Лукиан.— Лишь немногие посвященные знают, что он находится здесь. Он помогает нам лгать наиболее убедительно, так как чувствует, когда вера искренна и когда лжива. У меня на голове, под кожей, укреплен датчик, поэтому Джон может в любое время разговаривать со мной. Именно он завербовал меня в Лжецы; он проник в самую глубину моего разочарования и понял, что моя вера изжила себя.

Затем заговорило существо; голос его доносился из громкоговорителя системы жизнеобеспечения.

— Я проник и в глубину твоего разочарования, пустосвят Дамиан Хар Верис. Ты задавал слишком много вопросов, инквизитор. Твоя душа опустошена, ты устал и не веришь. Присоединяйся к нам, Дамиан. Ты уже давно — Лжец!

На мгновение я заколебался, пытаясь заглянуть поглубже в свою душу и выяснить: во что же я верю? Я искал веру, искал огонь, который когда-то поддерживал мою веру, искал опору в учении церкви, искал Христа в сердце моем — и не нашел ничего. Я был пуст, все во мне выгорело, остались лишь боль и сомнения. Но, когда я уже был готов ответить Джону и улыбавшемуся Лукиану Иудассону, вдруг нашлось что-то, во что я верил, верил всегда.

Истина.

Я верил в истину, какой бы горькой она ни была.

— Он потерян для нас,— сказал телепат с издевательским именем Кросс[1].

Улыбка Лукиана погасла.

— Ах так? А я-то надеялся, что вы станете одним из нас, Дамиан. Казалось, вы уже готовы...

И вдруг я испугался. Надо было выбираться наверх, где меня ожидала сестра Джудит: Лукиан столько наговорил мне, а теперь я отверг их предложения.

Телепат почувствовал мой страх.

— Вы не можете принести нам вреда, Дамиан,— сказал Джон.— Идите с миром. Лукиан ничего не говорил вам.

Лукиан помрачнел.

— Я сказал ему слишком много, Джон.

— Да. Но разве можно верить словам такого Лжеца, как ты? — Маленький бесформенный ротик существа искривился в улыбке, его огромные глаза закрылись. Лукиан вздохнул и повел меня наверх.

Лишь несколько лет спустя я понял: лгал-то как раз Джон Эйзью Кросс, а Лукиан был только жертвой его лжи. Я мог причинить им вред. И сделал это.

Тем более, что это было очень несложно. У епископа нашелся кое-кто в правительстве и в средствах массовой информации, и сам я, с умом вложив деньги, тоже кое-кого нашел. Затем я открыто сказал о подвале, обвинил Кросса в использовании телепатических способностей при вербовке последователей Лукиана. «Кое-кто» оказались понятливыми и предъявили обвинение. Блюстители порядка организовали рейд и взяли Кросса под стражу, а позже судили его.

Он, конечно, был невиновен, и обвинения были бессмыслицей; телепаты могут читать мысли лишь в непосредственной близости — и не больше. Но телепаты встречаются редко, их очень боятся. Да и выглядел Кросс настолько ужасно, что его легко можно было сделать жертвой суеверия. В конце концов его оправдали, и он покинул город Аммадон, а возможно, и Арион и отправился неизвестно куда...

Но у меня никогда и не было намерения вынести ему приговор: достаточно было и обвинения. В воздвигнутом им и Лукианом здании лжи начали появляться трещины. Вера приобретается с трудом, но потерять ее легко: даже самая великая вера не устоит перед малым сомнением.

Мы с архиепископом немало потрудились, чтобы посеять сомнения. Это было не так легко, как я предполагал; Лжецы поработали неплохо. В Аммадоне, как в большинстве развитых городов, был объединенный фонд знаний — система компьютеров, которая связывала воедино школы, университеты и библиотеки и давала возможность пользоваться общей суммой знаний всем, кому они были необходимы.

Но когда я стал проверять эту систему, то вскоре обнаружил, что история Рима и Вавилона была слегка изменена и существовало три варианта записи жития Иуды Искариота: об Иуде-предателе, о святом и о царе — завоевателе Вавилона. Его имя также упоминалось в связи с висячими садами; была запись и о так называемом «Кодексе Иуды». В соответствии со сведениями из Аммадонской библиотеки, драконы вымерли примерно в то самое время, когда жил Христос.

В конце концов мы очистили записи от всей лжи, стерли ее из электронной памяти, хотя для этого нам пришлось сослаться на авторитеты других нехристианских миров, чтобы библиотекари и академики поверили, будто разногласия носят характер исключительно религиозных предпочтений.

К тому времени Орден Святого Иуды лопнул в ярком свете разоблачений. Лукиан Иудассон мрачнел и злился: по крайней мере половина его церквей закрылась.

Конечно, ересь никогда не исчезает полностью. Всегда найдутся те, кому неважно, во что верить. И до сего дня книгу «С крестом и драконом» читают на Арионе, а изящном городе Аммадоне, под сенью деревьев «шепчуветру».

Спустя год «Христова истина» под командованием Арлы-к-Бау доставила меня обратно на Весс, и прежде, чем послать сражаться с новыми ересями, архиепископ Торгатон дал мне наконец отпуск, о котором я просил. Итак, я одержал победу и церковь стала сильнее, а Орден Святого Иуды был полностью сокрушен. «Телепат Джон Эйзью Кросс был неправ,— подумал я тогда.— Он серьезно недооценил могущество рыцаря инквизиции».

Впрочем, позже я вспомнил его слова: «Ты не можешь повредить нам, Дамиан».

Нам? Что он имел в виду? Орден Святого Иуды? Лжецов?

Он лгал преднамеренно, понимая — я не остановлюсь перед тем, чтобы искоренить эту ересь. Но он понимал и другое — я не могу тронуть Лжецов, даже не осмелюсь упомянуть о них. А мог ли я? Кто поверит в разветвленное межзвездное тайное общество, старое как мир? Это попахивает паранойей, да и доказательств у меня не было.

Телепат лгал специально для Лукиана, чтобы тот выпустил меня,— теперь я в этом уверен. Кросс сильно рисковал, рассчитывая, что я попадусь в ловушку. Когда это не удалось, он добровольно пожертвовал Лукианом и его ложью — пешками в какой-то более крупной игре.

Итак, я уцелел. Но взамен обрел понимание, что во мне больше не живет вера. Ибо это слепая вера в истину, которую мне уже никогда не найти в моей религии.

Эта уверенность окрепла в тот год, когда я отдыхал, читая и размышляя, на Весс, Катадей и в созвездии Целия. Наконец я вернулся в переговорную камеру архиепископа и вновь предстал перед Торгатоном Девяти Клариис Туном в самой старой паре обуви.

— Милорд Главнокомандующий,— обратился я к нему.— Я не могу принять нового назначения. Прошу уволить меня в запас.

— По какой причине? — пробурчал Торгатон, слегка забрызгав меня водой.

— Я потерял веру,— просто сказал я.

Он долго рассматривал меня, мигая лишенными зрачков глазами, и наконец произнес:

— Ваша вера — предмет заботы вашего духовника. Для меня же важны только результаты вашей работы. Вы работаете хорошо. Можете не отказываться от должности; впрочем, мы и не дадим вам отставки.

Правда освобождает нас.

Но свобода пугает, от нее веет пустотой и холодом, а ложь часто бывает красивой и греет.

В прошлом году Церковь пожаловала мне новый межпланетный корабль. Я назвал его «Дракон».

Перевод с английского
А. Бранского

[1] C r o s s *(англ.)* — крест.

Павел Крусанов

Одна танцую

Рассказ

Ночью учителю снились попугаи. Птицы веерами распускали крылья и вдумчиво пели: «Милая моя, взял бы я тебя...» В восемь часов, по зыбкой трели будильника, учитель сел в постели и, не поймав тапок, утвердил пятки на холодных половицах. Он не помнил своих снов — морщил мозг, но чувствовал в черепе только вязкую хмарь. За окном, на самых крышах лежало стылое цинковое небо. Учителя хлестнуло ознобом.

— Труб-ба дело! — дремотно ежась, сказал он словами Андрея Горлоедова и, поняв это, зло, без слюны плюнул под ноги.

Учитель оделся, закинул на шею полотенце и вышел в утренний коридор. Кругом было тихо и пустынно; в кухне на сковороде нетерпеливо шкворкал маргарин.

Пока он мочился, от аммиачного духа глазам сделалось жарко. Теперь сквозь головную муть пробивалось: *Больше не звонить и не ходить — я никогда не привыкну ею делиться...*

По пути из ванной, окуная в полотенце сырое лицо, учитель столкнулся с Романом Ильичом. Тот двигался на кухню с джезвой и миской холодных макарон по-флотски.

— Эх-хе-хе! — вздохнул уныло Роман Ильич. — Жил хорь сто зорь, сдох на сто первой, провонял стервой!

— Кто? — Учитель застыл с устремленной к пожатию ладонью.

— У меня под ларьком сдохла крыса. Ее не вытащить. — Показывая, что он не может ответить на приветствие, Роман Ильич приподнял занятые посудой руки. — Она уже пахнет.

— Скоро приморозит, — успокоил учитель.

— Прежде она сгниет до костей, а я задохнусь до смерти.

Учитель уже стоял перед дверью своей комнаты, когда из кухни одновременно с жадным чавканьем маргарина, дождавшегося макарон, его догнал голос соседа:

— На этой неделе тебе Ленинград не снился. Верно, Коля?

Учитель толкнул дверь. Завтракал бутербродами с сыром и ревеневым соком. Без четверти девять, уже выбритый, с капюшоном на голове, учитель ступил на улицу, под октябрьский дождь.

В воздухе плавал запах прелого листа и мокрого железа; капли шептали хлипкую невнятицу. За квартал до площади, где ветшала древняя соборная церковь, тишину проткнул острый детский крик: «З-задастая!» Пронзительное «з» дрожало в воздухе, как стрела в мишени. Толстая женщина, шлепавшая туфлями в пяти шагах перед учителем, приподняла пестрый зонт и растерянно оглянулась по сторонам, — она походила на несколько булочек, спекшихся на противне. Водяная пыль наполняла пространство, расталкивала звуки, голос плутал в ней, дробился, звучал отовсюду. Убедившись, что поблизости больше никого нет, толстуха осторожно покосилась на учителя. В это время голос звонко уточнил: «Эй, з-задастая под з-зонтом!» «З» оставляло на теле тишины глубокие шрамы.

Крусанов Павел Васильевич (род. в 1961 г.) закончил Ленинградский педагогический институт им. Герцена, работал учителем, печатался в журналах и газетах, в 1990 году в издательстве «Всесоюзный молодежный книжный центр» (Москва) вышел его роман «Где венку не лечь». Живет в Ленинграде.

Женщина еще раз метнулась глазами по улице, втянула шею в сдобные плечи и покатилась к площади. Голос показался учителю знакомым. Он закинул голову и увидел балкон, забранный синим волнистым пластиком. В щели между двумя разошедшимися листами блестел озорной глаз.

— Зубарев! — позвал учитель и удивился, как звякнул в тишине коленчатый звук.

Глаз моргнул и убрался.

— Зубарев, — сказал он увереннней, — я тебя видел.

Над синей оградой поднялось смущенное лицо Алеши Зубарева — одиннадцатилетнего сына начальника вокзала.

— Почему не в школе?

— Я заболел, — сказал мальчик, — у меня в животе жидко.

— У тебя в голове жидко, — определил учитель.

Алеша застенчиво посмотрел в сторону.

— Вас, Николай Василич, под капюшоном не видно.

На площади блестели мелкие широкие лужи. У колокольни, под облупившейся вывеской «ТИР», учитель закурил. Чтобы скрыть от дождя папиросу, он тянул дым из кулака. Сквозь морось собор выглядел размягшим, утекающим в землю. Учитель обходил лужи и в яснеющей голове творил заклинание: *ты слаб перед ней, потому что любишь ее, будь сильным — забудь, что она есть.*

Надя, не открывая глаз, широко потянулась в растерзанной постели. Тугие, тяжелые груди поднялись в глубоком вздохе и снова опустились — накатилась и ушла медленная волна прибоя. Простыня закрывала ей только ноги и половину живота — батареи пылали, как муфельные печи. Надя распахнула веки: в комнате было совсем светло. Рядом, подставив свету свалявшийся затылок, посапывал Андрей Горлоедов. Минуту Надя лениво рассматривала его плотные лопатки, потом улыбнулась и едва сдержала смех, вспомнив, как ночью они запутались во взмокшей простыне, скатились на пол и повалили торшер. С улыбкой на припухлых губах она встала и накинула фланелевый халат.

На кухне шелестело радио. Надя вывернула ручку почти до упора — в пространство квартиры, заполняя его прямоугольную геометрию, хлынул раскатистый Маяковский.

Когда в кухню зашел Андрей, на плите уже бормотал чайник, и на сковороду перламутровой струйкой сочилось третье яйцо.

— А-а-африка, — сказал Горлоедов, пряча зевок в ладонь.

— Так бы в декабре топили. — Надя нацедила из крана воду в игрушечную металлическую кастрюльку и протянула Андрею. — Угости Гошу.

Тот принял посудину двумя жесткими пальцами и скрылся за дверью. Надя отнесла следом тарелки и сковороду. Большой попугай с алой грудью и зелеными фалдами крыльев при виде хозяйки расцепил клюв, коротко свистнул и закусил прут клетки. Андрей вернулся в комнату из ванной, когда Надя уже заварила чай и раскладывала по тарелкам яичницу с помидорами.

— Труба дело, — довольно сказал Горлоедов. — Помидоры в октябре! Триумф продовольственной программы! — Он взял вилку и подцепил горячий скользкий ломтик.

— Жаль, что у меня нет подруг, — задумчиво отозвалась Надя.

Горлоедов, не поднимая лица от тарелки, взметнул бровь.

— Ты тот мужчина, о котором хочется рассказывать.

— Расскажи своему педагогу, — Андрей как будто продолжал недавний разговор. — Тогда он наверняка заберет тебя к себе в Питер.

Попугай вдруг отчетливо скрежетнул: «Тр-руб-ба дело».

— Если он будет у меня ночевать, — сказала Надя, — тебе доложит об этом Гоша. — И напомнила: — Сейчас мне бьет торшеры другой дурак.

Снова вспомнив ночь, Надя прыснула в яичницу.

— Хорошо, что не вдребезги! — всхлипнула она. — У тебя мягкая спина.

Горлоедов ел внимательно, рот его карамельно блестел. Проглотив последний ломтик помидора, он заметил:

— С новым дураком поосторожней — костлявый.

— Идиот, — сказала Надя и задумчиво посмотрела в потолок. — Он влюблен в меня, он нежный.

— От любви есть верное средство — законный брак.

— Боже мой! — сказала Надя. — Кому бы я зла желала!..

— Как же ты прилипнешь к столичному городу?

Управившись под «Утреннюю почту» с чаем, Горлоедов вышел в прихожую и потянулся к вешалке за потертой кожаной курткой. Жикнув молнией, он провел ладонью по колючему подбородку.

— Куплю вторую бритву, — сообщил он. — Пусть лежит у тебя.

— У меня бывают гости. То-то удивятся.

Андрей притянул Надю к себе и стиснул руками так, что вся она растеклась на его груди, как теплый воск.

— Скажешь, что кроме них у тебя иногда бывает нормальный мужчина.

Он отпустил ее. Надя поправила на бедрах халат, подумала и, не найдя, что ответить, выдохнула:

— Битюг!

— Привет педагогу.— Андрей взялся за ручку двери.— А я в понедельник в Ленинград тащусь. Дня на два. Что привезти?

— Что-нибудь.

Горлоедов зазвучал подошвами по лестнице. Некоторое время Надя смотрела ему вслед, внимательно, но без чувства.

Звонок, объявляя перемену, встряхнул сонный школьный воздух. Учитель не стал ждать, пока в столовую набьются дети,— собрал в слоеную башню пустую посуду, отнес в мойку и простился с буфетчицей.

Каждый вечер до нынешней субботы — вот уже неделю — после уроков он ходил к Наде. Пил чай, старался быть веселым. Вчера следом за ним к Наде пришел Андрей Горлоедов, в его сумке звякали бутылки, которые он не ставил на стол при учителе, он пах бензином, как шоферская ветошь, и был развязным, будто имел на это право. За чаем он напевал, кося прозрачным глазом на хозяйку: «Ми-иленький ты мой, возьми меня-а с собо-ой...» Учитель чувствовал насмешку, но не понимал, где она кроется. Он ушел — Андрей остался.

Снаружи нудил дождь. Запах прелости и сырого железа был теперь не таким острым, как утром. Вспоминая вчерашний вечер, учитель томился. Несколько раз он замедлял шаг у телефонных будок, но, на миг останавливаясь, уныло плелся дальше.

Из дверей колокольни в мокрый простор соборной площади рвался гулкий медноголосый марш. Учитель свернул в шумный дверной раструб. Внутри, за стойкой помещался коренастый гражданин с седенькой войлочной шевелюрой, на бордовом сукне стойки лежали пневматические ружья. В щите с утками и мельницами, с краю, было проделано окно, в глубине виднелся другой щит с прикнопленной бумажной мишенью. Напротив окна, прикованная к стойке металлическим тросиком, матовой чернотой поблескивала мелкашка. Никогда раньше учитель здесь не был.

Сквозь марш он шагнул к мелкашке.

— Проверим глаз! — оживился гражданин. Войлочная шевелюра нырнула под стойку — музыка притихла.

— Пять выстрелов,— сказал учитель, доставая деньги.— Сколько до мишени?

— Двадцать пять.

— Мало.

В глазах гражданина мелькнул огонек.

Учитель отвел затвор, неторопливо вложил патрон в камору.

Когда на вытертое сукно упала пятая гильза, гражданин скрылся за щитом и вскоре вернулся с мишенью.

— Стреляешь, как Вильгельм Телль.

Учитель взял мишень в руки — пули легли кучно, немного левее яблочка, все в восьмерке и девятке.

— В институте готовят гармоничную персону,— словно оправдываясь, сказал учитель.— От физподготовки не увильнешь. Бегать и прыгать я не горазд — записался в стрелковую секцию.— Он снова посмотрел на мишень.— Шестая будет в яблочке.

— Приезжий? — Гражданин положил на сукно еще один патрон.

— Из Ленинграда. У вас — второй год. По распределению.

Учитель устроил на плече приклад, как вдруг, от невнятного толчка в затылок, оглянулся на дверь — по площади, распластанной за дверным проемом, шел Андрей Горлоедов. *Он все это время был у нее! Боже правый, кто бы мне сказал: сколько времени попугай учит два слова?!* Андрей пересек асфальтовое поле, ни разу не взглянув в сторону колокольни.

Сильнее вдавив приклад, учитель прицелился и спустил курок. Под новый бойкий марш войлочная голова исчезла за щитом. Учитель повернулся к выходу, в душе была гарь, пепелище. Он стоял в дверях, когда его догнал скачущий голосовой шарик:

— Молоко!

Роман Ильич Серпокрыл возвращался в овощной ларек из столовой, где только что проглотил солянку и биточки, слепленные из чистого хлеба. По дороге он думал о том, что стоило только патриархальной «селянке» поменять букву и выродиться в «солянку», как вместе с внешним смыслом изменилось и содержание того, что под ним крылось. «Изменяется имя — изменяется вещь»,— определял Роман Ильич.

Ларек встретил Серпокрыла тошнотным запахом. Снимая с двери навесной замок, Серпокрыл поморщился и тихо выругал живую природу за то, что она не умеет достойно

возвращаться в изначальный хаос. Внутри запах слабел и терялся. Поверх плаща Роман Ильич натянул бывший белый, а теперь серый с ржавчиной, халат, подвинул ближе к весам ящик с тепличными помидорами (мелкими, как горох, едва начинающими желтеть) и убрал с окошка заслонку.

Помидоров оставалось пол-ящика, когда он заметил, что к ларьку, помахивая стремительным «дипломатом», подходит учитель. Роман Ильич отсчитал сдачу хозяйке в цветастом павловопосадском платке и сквозь стекло приветливо кивнул соседу.

— Если милый при портфеле, значит, милый без делов!

— Скучный город — некуда податься,— сказал учитель, беспокойно осматривая содержимое ларька.— Сегодня у вас особенно душистый овощ.

— Это крыса.

— Ах да... От одной крысы такая конфузия?!

— Ты б ее видел — поросенок! Ребятня ее палками забила, а она от них — под ларек. Там и сдохла. Нынче — пятый день, самый аромат.

Учитель разглядывал редкое убранство витрины. Стекло отражало небо, где медленно свивалось в раковину облако — рваный клок смоляного дыма.

— Значит, крыса...— размышлял учитель.— Преобразилась русская земля.— Он кивнул на убогую витрину.— В полях — ветер, народ геройствует за зарплату, а крысы растут с поросят.

— Крыса ж не человек, она в природе без курса существует. А нам объедаться некогда, нам спешить надо к верной цели. Кто же в дороге ест? В дороге закусывают.

Учитель протяжно посмотрел на Серпокрыла, тот играл фомкой для взлома ящиков.

— Я слышал, ты с нашей королевной хороводишь? — сказал Роман Ильич.— Правда?

Морось туманила стеклянный лоб ларька, капли сливались друг с другом, копились и вытягивались в зыбкие протоки, делая лицо Серпокрыла муаровым.

— Зачем о грустном? — Учитель вонзил палец в помидоры.— Чудо селекционной науки?

— Грезы Мичурина.

— Взвесьте мне килограмм этих выкидышей.

Утром в воскресенье учитель проснулся усталым. Прошедшая ночь представлялась колодцем без света и воздуха. Перебирая в памяти вечерние мысли, он вспомнил, что думал так: *я не люблю ее — я хочу от нее слишком многого.* Теперь формула потеряла ночную ясность. *Чушь, я слабее, мне не пересилить. Бессмыслица: чтобы заставить ее быть со мной, я должен стать сильнее, не любить, но — зачем мне нелюбимая?..*

Учитель, прыгая на одной ноге и балансируя локтями, словно грач на проводе, натянул брюки, застегнул рубашку и затолкал ее под брючный пояс. Потом сел на кровать и остановил взгляд на стене, где висела, прикнопленная к обоям, фотография опального поэта, преданного родиной, с усталым лицом и сбившейся прядью на высокой залысине. Он сидел долго — взгляд тек на стену, отдыхая, ни над чем не трудясь. Наконец учитель встал, закинул на шею полотенце и двинулся в коридор.

На обратном пути из ванной он заглянул к Роману Ильичу. Тот сидел, развалясь на продавленном диване, наблюдал мерцающий телевизор и тянул кофе из чайной кружки.

— Ищу в долг постного масла,— сказал учитель.— В салат к вашим помидорам.

Серпокрыл, не выпуская из рук дымящейся кружки, покинул диван. Пока он двигал на полках подвесного шкафчика банки с крупами, учитель думал об этом внимательном наблюдателе жизни, о всегдашней его посвященности в городские дела. Впервые он видел возраст и седину, которые чувствуют его лучше сверстника.

Наконец Роман Ильич извлек из шкафчика запечатанную бутылку (вспорхнула со дна рыхлая пыльца осадка) и протянул учителю.

— Мне чуть-чуть,— замотал головой учитель.— Салат покропить.

— Отливай сколько надо.

В дверях учитель замешкался, подтянул в ширинке змейку, поправил на шее влажное полотенце, обернулся и спросил:

— Откуда вы знаете про королеву?

Серпокрыл сощурил лицо.

— Мелкий город — все на виду.

— Скажите мне о ней что-нибудь,— попросил учитель.— Я хочу о ней говорить.

— Что говорить? Яснее ясного.

— Но почему — все так?!

Серпокрыл сминал лицо, как гуттаперчевую маску, оно все покрылось ямочками, шишками и припухлостями.

— Эх-хе-хе! — сказал он, прихлебывая кофе.— Бес их за ногу!..

В тарелку с помидорами учитель положил нарезанный полукружьями лук, сыпанул соли, прыснул медовую струйку масла и перемешал состав, неторопливо и тщательно. Завтракал салатом с бутербродами. Ел без аппетита, рассеянно задерживая вилку у рта

и не замечая шлепающих по столу капель. Когда тарелка опустела, во рту осталась едкая горечь. *Пересолил... Честная примета.*

Десять минут спустя учитель стоял в телефонной будке. Он набрал номер, но, после первого же гудка, повесил трубку и вышел под дождь, забыв выудить из щели двушку. Память выдала спокойное отчаяние Бродского: «Увы, тому, кто не умеет заменить собой весь мир, обычно остается крутить щербатый телефонный диск, как стол на спиритическом сеансе...»

Надя вышла из дома и направилась вниз по улице, в гости к начальнику вокзала Евгению Петровичу Зубареву. Кропил дождь, жестяное небо провисло до крыш, неподвижное, сиренево-серое, как губы сердечника.

Сегодня Зубарев впервые позвонил Наде домой. Он балагурил, подбадривая самого себя, и, после вступительной болтовни, пригласил в гости. Надя догадывалась о симпатии, которую питает к ней ее патрон, и Зубарев не раз подкреплял ее догадку взглядом, словом, подарком. Когда, выходя из кабинета в приемную, он клал руку на Надино плечо, она чувствовала, что это не мимолетный жест — он отмечает ее как женщину.

Дверь отворил Алеша, за ним в коридоре вырастал хозяин. Зубарев был в костюме, из-под распахнувшегося пиджака широко выклинивался новый галстук.

— Ждем, ждем! Пропускай, Алексей! — Хозяин наполнил взгляд лукавой таинственностью, будто имел для гостьи добрую весть. Он принял плащ с Надиных плеч, заметил ее сырые туфли и скомандовал Алеше: — Тапки! — После, стараясь не оставлять щели, куда могла бы влезть и закрепиться пауза, нашлепал замазки: — Как мой дареный Гамаюн? Жив-здоров? Начал вещать, как положено вещей птице?

— Начал,— сказала Надя.— Теперь выбалтывает мои секреты.

В столовой стоял накрытый к обеду стол; в центре его искрила фольгой бутылка шампанского. Отобедав, Зубарев отправил сына в соседнюю комнату готовить уроки, бымснул пробкой и наполнил фужеры вином.

— Надя,— сказал он с липовой бодростью в голосе,— желаю изложить тебе факты моей судьбы. У меня такое дело, что лучше начать с биографии.— Некоторое время он утюжил ладонью складку на скатерти, потом заспешил: — В общем, три года как бобыль, живем вдвоем с Алешкой... А бобыль, он в своем доме, будто в чужом, места вещам не знает — не хозяин. Работы — сама знаешь, на дом рук не хватает, и сын без присмотра растет шалопаем...

— Евгений Петрович...— втиснулась Надя в голосовую толкучку, но Зубарев затормозил ее жестом.

— Хочется,— сказал он,— чтобы сегодня все было запросто, без чинов. Сегодня я — Женя.

— Хорошо,— согласилась Надя.— Женя, вы клевещете — с хозяйством все ладно. Обед был замечательный! — Грудь ее под платьем мягко плескалась.— Но если я правильно поняла, вы приглашаете меня экономкой?

— Идиот!— Зубарев хлопнул себя по лбу.— Мне было трудно начать со слов о моих чувствах... Надя, я буду счастлив, если ты согласишься выйти за меня замуж,— выпалил он и поднял фужер.— Я не жду теперь же...

— Это понятно,— сказала Надя, подвинув к хозяину свой опустевший бокал.— Но если без чинов, то могу ответить сейчас. Только... Сначала еще выпьем.— Она осушила следующий фужер, не отрывая его от губ, и — пустой — вернула на стол. Потом откинулась на спинку стула, рассеянно провела рукой по волосам — сделала все, чтобы казаться захмелевшей. Зубарев ждал. Надя подлила себе еще вина и, театрально вспорхнув бровями, удивилась: — Я работаю у вас второй год. Почему вы не пытались сделать меня своей любовницей?

Зубарев поставил недопитый фужер на стол и принялся поправлять на горле свежий узел галстука.

— Стало быть...— начал он, но потух, мучительно смял лоб и наконец выдавил из себя рыхлую голосовую колбаску: — Я не был уверен, что это тебя не оскорбит.

— Вы считаете, женщину можно оскорбить любовью?

— Вот как! — Зубарев моргал, галстук никак не давал ему покоя.— А теперь поздно?

Надя рассмеялась.

Тут в столовой возник Алеша. Пальцы на его правой руке были густо залиты чернилами. Он деловито подтягивал губы и, повернувшись так, чтобы грязь была заметна отцу, старательно размазывал чернила промокашкой.

— Ручка раздавилась,— сообщил он, плутая взглядом по потолку,— писать нечем.

Зубарев вынул из нагрудного кармана ручку с шариковым стержнем и протянул сыну.

— Шариковыми в школе не принимают. Ты что, забыл?

— Учи устные,— распорядился Зубарев.

— Устные я все выучил, больше мне знать нечего.

— Ну тогда, мельчайший, выцыганивай гулянку,— посоветовала Надя. Она улыбнулась Зубареву полуоткрытым ртом, обнажая идеальный прикус.

Зубарев, проявляя смекалку, ошпарил ее восторженным взглядом и слиберальничал:

— Ладно, двоечник, разводи пары!

Алешу выдуло из комнаты.

— Где я могу причесаться? — спросила Надя.

— Зеркало в прихожей.

Надя выскользнула в прихожую и, как дерево с шуршащей листвой, склонилась к Алеше, который торопливо зашнуровывал кеды.

— Кто у тебя в школе ведет историю?

— Николай Василич — герой труда и зарплаты. Он так сам говорит.

— Передай герою поклон от Нади, скажи: пусть придет ко мне завтра, буду ждать.

Она подошла к зеркалу и смахнула прядь волос, стекшую на глаза.

В понедельник, с разрешения патрона уйдя с работы немного раньше, Надя убрала квартиру, вычистила Гошину клетку и с хрустом, словно ватманом, застелила постель свежим бельем. После парной ванны она долго рассматривала в зеркале свое тело,— оставшись довольной, взяла с полки над раковиной плоскую матовую баночку, зацепила пальцем бледно-сиреневую сметанку и, ловко втирая ее в кожу, намазала шею, грудь, живот, бедра. Когда она надевала халат, из-под запахнувшейся полы юркнула наружу ароматная воздушная змейка.

В прихожей дуплетом щебетнул звонок. Надя досадливо закусила губу — гости узнавались по звонкам,— прошла в коридор, у замка помедлила, а когда распахивала дверь, на лице ее уже застывала, как восковая отливка, нагловатая улыбка. За порогом стоял Андрей Горлоедов, в кожаной куртке, пропахший табаком и бензином.

— Я пришел к тебе с приветом,— сообщил он. Вместе со звуком голоса к Наде подплыло терпкое винное облачко.— Перед гастролью решил отметиться.— Горлоедов игриво подступал к хозяйке.— Принимай!

— Я думала, ты давно в Ленинграде, а ты здесь,— Надя щелкнула себя пальцем по лбу,— «с приветом» и с таким выхлопом.

— Грузчики — подлецы,— сказал Андрей.— Машину после обеда затаривали, ползали, как тараканы дохлые,— у бригадира ихнего именины. Ну, посидел с ними ради пользы — чтоб запас скорее вышел и руки от стаканов отцепились для дела.— Вид Андрей имел вдохновенный, он рассказывал, не замечая, что его до сих пор не пригласили войти.— А когда за баранку сел, приспичило мне пива. Подрулил к шалману на привокзальной площади, а там сегодня эта гнида — сержант Гремучий — дежурит. Труба-ба дело! Только я третью кружку заглотил, он ко мне подскакивает: ты же, говорит, за рулем, сивушник, гони червонец и — я тебя не видел! Вот паскуда! Пришлось отстег...

— Езжай, куда ехал,— сказала Надя.

Андрей оглядел Надю рыбьим взглядом и спросил, стараясь наиграть голосом веселье:

— Кто ж от тебя, такой свежей, откусит? Зубарев? Или на школьного мыша заришься?

— Зарюсь.— Надя бесстыдно смотрела в разгорающееся лицо Горлоедова.

— Труба-ба дело! Ты меня, стало быть, гонишь?!

— Ага.

— Э-э,— протянул Горлоедов,— да ты серьезно...— Он совсем покраснел, развернул плечи и вздул на скулах злые гули.

— Ты бы перед Гремучим бычился,— сказала Надя.— А перед бабой не тем хвастают. Ученый — знаешь!

— Знаю: ты на наше хвастовство — копилка!

Надя смотрела на Андрея и медленно качала головой.

— Езжай. После потолкуем.

— Дорого яичко ко Христову дню! — Горлоедов сбежал по лестнице на один пролет, на площадке его сильно качнуло, он обернулся, зло подмигнул: — Отставь торшер от кровати! — и, прыгая через ступеньки, загрохотал вниз.

Надя сломалась над перилами, сырые волосы хлынули в пролет.

— Рули по белой полоске, а то колокольню свалишь!

В любви не может скрываться только радость хотя бы потому, что она (любовь), как все в мире, конечна. Очевидно и ясно. От этого горько уже в самом начале. Еще куда ни шло, если б в людях она рождалась и умирала одновременно, но люди слеплены на разный фасон, и износ любви у них разный. Так что душу кого-то из двоих обязательно ждет дыба. Впрочем, радость и счастье, как мука и боль, ощутимы и названы лишь потому, что сами конечны. Все названное — конечно. Вечного нет. И не надо... И так хорошо...

Учитель рассеянно ступал по влажному тротуару. Лужи, отражая сизое небо, казались до лоска звтертыми местами на асфальтовых штанинах улиц. Собственные его брючины липли к коленям, и те чесались под мокрой тканью. Учитель не замечал зуда, он помахивал «дипломатом» и, вспоминая, как хитроумно Алеша Зубарев избежал сегодня двойки по истории, улыбался носкам ботинок. После он думал о *ней*, окунался в теплый трепет, ничего не мог понять и решить для себя — хаос чувств щемил сердце.

У овощного ларька было смрадно и пустынно. Выставленные за стеклом возле банок с мандариновым вареньем мелкие шелушащиеся луковицы не привлекали хозяек. Витрина отражалась, удваивая свою нищету, в распластанной у ларька луже. Учитель задумчиво вошел в лужу, кивнул скучающему за витриной Серпокрылу и, невольно морща нос, серьезно сказал:

— Пожалуй, меня в самом деле меньше тянет в Ленинград. Видите: еще одна вещь становится мне ненужной. Скоро я сравняюсь в аскетизме с Диогеном и смогу обходиться без родины.

— Просто тебе стала нужна другая вещь,— определил Роман Ильич.— В тебе, как и в «селянке», сменилась буква.

Внезапно за спиной учителя закричала на тормозах машина. Он обернулся и обнаружил мордастый «КамАЗ», из одноухой кабины которого вываливался Андрей Горлоедов. Достигнув асфальта, Горлоедов сжал кулаки и двинулся к ларьку — красный, всклокоченный, злой. Только теперь учитель почувствовал, что брюки его мокры и безобразно липнут к ногам. Мысли отряхнулись и стали звонкими от прозрачности, пятки машинально нащупывали опору, руки соображали, куда примостить «дипломат», если кругом — лужа.

— Ну что, кавалер, драть твою мать!..— начал на ходу Горлоедов, но, дойдя до края лужи, в середине которой помещался учитель, остановился и разжал кулаки.— Труба-ба дело! — боднул он удивленно головой.— Мафия!

Некоторое время, медленно гоняя на скулах желваки, он прожигал учителя взглядом, потом картинно сплюнул на сторону и распорядился:

— Запомни: к Надьке не ходи. Ясно? Этот мармелад не тебя дожидается! — Андрей резко повернулся и зашагал к машине. Прыгнув на подножку, он потерял равновесие, но выправился, шлепнул дверцей (прижалось оттопыренное ухо) и с рыком сорвал «КамАЗ» с места.

Вслед машине учитель протяжно выпустил из груди воздух. За плечом шелохнулось пространство, он перекинул взгляд назад, и губы его неволько растаяли в улыбке. Сзади стоял Серпокрыл; теребя в руках фомку, он наблюдал уезжающий грузовик. Губы учителя растеклись шире. Серпокрыл, опережая вопрос, пригнулся к земле и, красный от натуги, завозил фомкой под ларьком.

— Надоела эта падаль,— сдавленно выдохнул он. И добавил: — Шиш достанешь! — Он выпрямился, плотный, шумно сопящий, и вдруг сощурился.— Что будешь делать, Коля?

От овощного ларька по улочке, обсаженной липами, учитель спешил к рынку. В поределых липовых кронах трещали сороки. По дороге учитель выкурил подряд две папиросы, торопился, но когда проскочил в ворота рынка, увидел, что ряды уже почти пусты и цветочницы не торгуют.

День отходил в сумерки. В сыром вечере город становился блеклым, дома теряли фактуру, казались унылыми глыбами — останцами подъеденной временем горной страны. Из колокольни гулко, как осыпь, катились наружу марши. *В душе — то огонь, то зола и пепел. Это делаешь ты.*

Около заветной двери учитель перевел дух; помедлил, полируя и притирая друг к другу заготовленные слова, потом утопил пупку звонка.

Надя стояла за порогом в светлой прихожей, мягкая, домашняя, халат с расчетливой небрежностью оставлял открытым накат ее роскошной груди. Пропуская учителя в дверь, она отступила в глубь прихожей (волосы, угодив в случайный ракурс, вспыхнули под электрической лампой) и громким сыроватым шепотом пропела:

— Я рада, что пришел, я ждала тебя.

— Твой посыльный вырастет крупным жуликом — дипломатом или директором гастронома,— сказал учитель, просыпая заготовленные прежде слова в какую-то головную мусорную щель.— Он обменял твое приглашение на право не учить урок. Мне пришлось отпустить его с чистым дневником.

Надя вплотную подошла к гостю (волосы ее пахли чем-то райским), расстегнула на нем куртку, просунула под полы руки, фыркнула, почувствовав щекой сырость и колкость свитера.

— Я ждала тебя, я рада, что ты пришел,— повторила она прямо ему в лицо.

В комнате учитель сразу закурил. Он боялся своих свободных рук, боялся свободных губ. Хозяйка поставила на стол глиняную, облитую кофейной эмалью пепельницу и спросила:

— Ты купил вина?

— Нет.— Учитель пробежал пятерней ото лба к затылку, создав на макушке ершистый вихор.— Я как-то не подумал.

— Хорошо, что подумала я.

Надя вышла из комнаты и вернулась с бутылкой «Акстафы» и плетеной корзинкой, полной яблок. Яблокам надавали пощечин до кровавого румянца. Попугай при виде корзинки взволнованно развернул крылья, прошел по клетке вприсядку и наконец жестяно выдал: «Труба-ба дело». Надя взяла с подоконника пыльную тряпку и накрыла клетку.

Когда они выпили, Надя без передышки снова наполнила бокалы и пылающим бочком подставила к носу гостя яблоко. Потом откусила сама и пристроилась на диване рядом с учителем.

— Скажи,— спросила она, слизывая с губ яблочную влагу,— разве в Ленинграде к женщине ходят без вина?

— Везде, где не почитают Коран, ходят к женщине с вином. Просто я бестолковый.

— Да, таких здесь больше нет,— подтвердила Надя. Теплой ладонью она пригладила ему вихор и поинтересовалась: — Тебе не жарко в свитере?

В спальне плавились батареи. Надя снимала перед зеркалом серьги, выскальзывала из фланелевого халата и, голая, собирала в косу лучистые волосы. Учитель чувствовал в ногах лихорадку. Чтобы унять дрожь, привыкнуть к тому новому, что теперь у него было, он обнял живую волну Надиного тела, поцеловал впадину ключицы, шею и, нерасчетливо угодив носом в волосы, захлебнулся райским духом.

— Зачем ты шаманил на Горлоедова, Коля? — Роман Ильич сочувственно разглядывал учителя, просачивающегося с улицы в утренний коммунальный коридор.— Камлал? Звал на помощь птицу Хан-Харети?

— Что случилось? — устало поинтересовался учитель.

— Горлоедов в кутузке.— Серпокрыл изучал сонную фигуру соседа.— Вчера на площади его сержант Гремучий задержал — Горлоедов, как помнишь, выпивши был. Не знаю, что за вожжа ему под хвост угодила, только он Гремучего начал гонять по площади перед бампером, как немецкий танкист балладного солдата, пока тот от Горлоедова не спрятался в пивном шалмане. Тогда Горлоедов пообещал сержанта после в блин раскатать, на шалман, мол, у него рука не поднимается, и погнал со своим прицепом по городу лужи расплескивать. А потом загнал машину на крепостную стену, на самую верхотуру — там только гаишникам сдался. Самого в отделение отправили, а машину, как ни прилаживались, спустить не смогли.

— «Нам разум дал стальные руки — крылья...» — сказал учитель.— Про сердце я не говорю. Чем не памятник эпохе?

— Увы. Подосиновики смекнули, что трезвому ни в жизнь не согнать эту механику вниз, и притащили назад Горлоедова. Посадили, как камикадзе, за руль, и он им устроил слалом — чистое художество!

Учитель молча пошел к своей комнате. Закрыл за собой дверь, разделся и лег в постель — уроков сегодня не было. Некоторое время он лежал, закинув руки за голову, глупо улыбался в потолок, потом упал в глубокую светлую воду. Он видел беспокойный и радостный сон, будто он цветущий куст и его треплет ветер. Проснулся за полдень с флейтой в сердце.

Учитель уже оделся, когда в комнату заглянул Роман Ильич. С мокрого его плаща текли на пол темные ручьи.

— Свежая легенда: королевна Зубарева окрутила.— Серпокрыл поймал встречный взгляд, дернул щекой и, исчезая за дверью, проворчал: — Город мелкий — все на виду.

Я знаю, что это правда, но лучше бы я этого не знал. Для каждого есть что-то, чего ему лучше не знать,— так легче жить. Некоторое время, закрыв глаза и шевеля губами, учитель сидел на кровати, потом встал, вывернул карман, отыскал в горсти мелочи двушку и показал ее наблюдавшему со стены поэту.

Улицу порол хлесткий, как проволока, дождь. Трубку сняли быстро, из нее просыпался деловой Надин голос:

— Слушаю!

— Зачем тебе Зубарев? — сказал учитель.— Зачем тебе все сразу?

— Все в порядке! Тебе останется! В по-ряд-ке! — повторила она, растягивая слово, как бельевую резинку.

Учитель повесил трубку. На миг ему показалось, что мир застыл, он не может вздохнуть, словно от удара в солнечное сплетение,— замерли в столбняке деревья, розги дождя, низкие цинковые тучи. Мир заклинило в безнадежной мертвой точке. Это было страшно. А через миг все покатилось дальше.

Алексей Шельвах

* * *

...не догнал черепаху, не одолел дракона,
женился на, прости Господи, алеутке,
за станком токарным стою покорно,
превозмогая боли в желудке,—
это от злоупотребления алкоголем,
или от курения натощак полжизни,
или от прожигания этой жизни глаголом
по ночам в безмятежно спящей Отчизне.

Скучно мне стало тешиться вздором —
героика глаголов! Творчество мук!
И дожить с таким заурядным позором
до стеклянных бисерных мух,—
ведь по зимнему времени отпущены
дни нам!
Я эти миги провел у станка
и поэтом не был, а был гражданином
К.

А теперь о бабах, то есть подругах,
с которыми... ну, это понятно:
о тщетных негах и потных потугах —
туда и обратно, туда и обратно...
где вы, музы, мойры прелестны?
Жизнь содрогается в области паха,
лодка бортами черпает бездны,
жена и дети не ведают страха.

Незавидная притча о блудном муже
и отце двудетном, не искавшем выгод.
Умру не хуже других, но —
уже,—
из автобуса в давке влеком на выход.
Не завоет по мне заводская сирена —
следующего к станку прикует бригадир.
Позади восьмичасовая смена.
Будущее прозрачно до черных дыр.

* * *

А вечером в колодце ближних,
под тополем добра и зла,
лиловый голубь, как булыжник,
летает, раззудив крыла.
Бритоголовый, с красным зраком,
как каторжник или вампир,
сыт науками или страхом,
он обещает миру мир,
и плоти — плеть, и духу — дуло...
А лозунг может быть и лжив.
А что воробушек Катулла?
Воробушек покуда жив.

* * *

От пурги железной рожа рябая,
но зато зеркальны будут болванки,—
стискивал зубы, станочек врубая,
в перерыве ждал на троих полбанки,
и полжизни прожил в жанре юродства —
ох, и пыла под кепкой подкорка,—
а по возвращении с производства
кушал несладко и грезил горько
о не случившейся лучшей доле
на этом (и единственном) свете —
о семантически чистом поле,
когда не стыдно жизни и смерти.

* * *

Поэтом буду — не забуду
прозрачную, как водка, ночку!
Евгении везде и всюду
толпятся гордо в одиночку.

О, осиянные сиренью!
По возрасту им не до сна!
И на устах — стихотворенья,
И девушка, как сон, нужна.

Блистают черные каналы
в тени классических колонн.
У девушек ланиты алы,
глаза как лед, власы как лен.

И до чего разумны речи!
И робкая (как Рок) рука
летит Евгениям на плечи...
Ищи, дуреха, дурака.

Алексей Максимович Шельвах (р. в 1948 г.) — поэт. Печатался в сборнике «Круг», журналах «Нева» и «Родник». Книга стихов «Черновик отваги» (1988) вышла в США. Живет в Ленинграде.

Владимир Кучерявкин

* * *

День второй унылого пьянства. Качает,
Даже когда идешь в туалет на рассвете.
Годы не те. И болтается сбоку для смеха
Голова, как на резинке тряпичный шарик.
Ну, встану, картин наберу, что Ольга понаписала,
Сяду в трамвай, что звенит-дребезжит зубами
(Рано еще, он пустой и вполне прохладный),
Место получше занять поеду на Невский.
Брови с лица убежали. Кругом газировки нету.
Мирный народ мирно в газоне пасется.
Слышно лишь, как в Самарканде тихо стреляют.
Да на грудь мне долго садится черная птица.

* * *

Который день: огород, смородина или малина,
Маленький ангел, все превращающий в хате,
Еда, приправляемая зеленью с перцем,
Слезы и крики, словно раскрывшийся космос.

Только сядешь за стол — снова зовут беспорядки.
Голова в облаках, ноги пускают корни.
И что же за чудо: звонкие крики сына!
Что за покой: спать в тишине, развалившись.

* * *

Октябрь. Бегают с ведрами в поле веселые дети.
Звонкие крики их в сердце так далеко раздаются,
Что станешь с открытым забралом посередине дороги
И слушаешь смирно... Падают листья на плечи,
Дятел стучит, кричит-верещит на крыше сорока,
Гуси летят болтливою стаей в нахмуренном небе,
Ветер западный мчится, морщинит холодные лужи,
Гонит какую-то дрянь, промочившую все на свете.
Так и стоишь посредине дороги, счастливый, и плачешь,
Звонко над полем бегут голоса, и роняет наряды
Роща далекая, лес, обступивший кордон и Быстрова,
Баню свою растопившего, верно уж, звонким поленом.

Владимир Иванович Кучерявкин (р. в 1948 г.) — поэт. Печатался в сборниках «Круг» и «Дети Стронция», в журнале «Родник». Первая книга стихов «Китайский заяц» готовится в издательстве «Советский писатель». Живет в Ленинграде.

* * *

Кочерга нв полу удивительно скачет! До боли!
И всю ночь, как безумный Ирак, верещит, не смолкая.
Мокрой брадой потрясая, носится ветер по саду.
Бьется усталый шофер, словно бабочка, в крепкой кабине и плачет.

Выйду я в поле по мокрой траве, засвищу во все стороны громко,
Заяц ли быстрый придет, волк притрусит и заглянет мне в очи.
Эх, как покрыли родную сторонку свинцовые мерзкие тучи!
Друг мой, медведь, наливай по второй, а потом и закусим.

Крылья намокли, в лохмотьях, никак не взлететь, а лежать неудобно.
Слышишь, как некий безумец вовсю рукомойником брякает, глупый.
Пусто же там, ни воды во всем доме, ни квасу, ни даже рассолу!
Ходят унылые тени по дому, лезут на стол мне, уныло о чем-то болтают.

* * *

Крыса за стенкой. Хвост распускает ветер.
Муха ползет по стеклу, тонким крылом шевеля.
Скоро проснутся: семейство, голодные гости.
Гонит солнце свою колесницу наверх.

А в Москве шебуршат, в Вавилоне тож неспокойно,
Халдеи числа слагают, в Багдаде гремят мечами.
Только тут верещат мне сороки, фыркают крыльями сойки,
И вороны орут, и бегает крыса за стенкой.

* * *

Август кончается. Блекнет трава, осыпаются листья.
По двору гости бродят, кто с кружкой, кто с полотенцем.
Потерянные какие-то, в глазах — голова кругами.
То интернационал запоют, то разграбят ближайшую грядку,
А то вот, дыхание затаив, слушают Пушкина дивные звуки,
Звучащие в этих местах по-осеннему дико.

В городке недалеком тихо. Оркестры медью не радуют слуха.
Ораторы в бой не зовут, как в столицах, сырыми речами.
Редкий турист вдоль прославленных стен пробегает под горку
Или в гору плетется, равнодушные очи на церковь уставя.
А с колокольни плывут колокольные звуки, вид благородный
Придавая горам, и туристу, и милицейской машине,
Лениво фырчащей наверх, к отделению, верно.

Керамзит подвезти, насчет шлака ль договориться,
Шофера поймать, жестянщику сунуть бутылку —
Вот и вся жизнь, да еще про дрова не забыть бы.
Да кабы сердце дышало, язык не брызгал отравой.



В. Я. Френкель

ЖАР ПОД ПЕПЛОМ

Новые штрихи к портрету Я. И. Френкеля

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК

Конец войны я помню так же хорошо, как и ее начало. Праздник Победы вскоре нашел свое продолжение в системе Академии наук. Ее руководство, как было принято говорить в те времена, «вошло в правительство» с предложением торжественно отметить юбилей академии: в 1945 году исполнилось 220 лет со дня ее основания. Дата не очень круглая, но уж время было такое праздничное! Положительное решение воспринималось как возобновление контактов между учеными, прерванных войной или, точнее, предвоенной ситуацией конца 30-х годов. В июне 45-го года десятки ученых со всех стран мира съехались в Москву на юбилейную сессию академии. Потом ее участники прибыли в Ленинград. Я обрадовался, когда отец сказал, что в гостях у нас будут супруги Жолио-Кюри и «какой-то» — по моим тогдашним представлениям — Пьер Оже: лишь учась в институте, я узнал о его работах по физике космических лучей. Что же касается супругов Кюри, то об их исследованиях я хорошо знал из замечательной книги М. П. Бронштейна «Атомы, электроны, ядра».

Наша гостиная-столовая была готова к приему гостей. Из ее больших открытых окон раскрывался вид на зазеленевший парк. Но, помню, еще ранней весной мама высадила в оконные цветочные ящики редис, укроп и прочую зелень. Она спросила у отца, не нарушит ли эта прозаическая деталь праздничного приема: ведь вполне вероятно, что гости подойдут к окну — и вместо маленького цветочного сада увидят маленький огород. «Да что ты,— сказал отец.— Это такие простые, милые люди!» Он знал их по поездкам во Францию в 26-м, 27-м и 31-м годах и по их посещениям Ленинграда в довоенные годы (в 1933-м и 1936-м). Мне он тогда же рассказал о том, что в лаборатории Жолио в дни оккупации Парижа готовилась взрывчатка для французских партизан маки и что золотые нобелевские медали, полученные супругами Кюри за открытие искусственной радиоактивности, он растворил — чтобы спасти их от возможной реквизиции, и они все годы войны простояли в бутылочке на полке с прочими химическими препаратами в их лаборатории. Словом, естественно, я ждал их прихода с большим нетерпением.

Г-жа Кюри, к сожалению, прийти не смогла, ей нездоровилось, а Фредерик Жолио и Пьер Оже приехали вовремя, отец прогулялся с ними по парку, а потом они пришли к ужину. Я с восторгом глазел на маленькую красную ленточку ордена Почетного легиона, приколотую к лацкану пиджака Жолио. Он показался мне очень красивым человеком с изящными простыми манерами. Разговор, как мне потом сказали, касался прошедшей войны, открывающейся перспективы мирной жизни и поэзии. Оба гостя были знатоками французской поэзии, которую хорошо знали и мои близкие. У Оже оказался с собой томик стихов, который он подарил нам на память об этой встрече. Когда пришла пора прощаться, Жолио выразил сожаление, что г-жа Кюри не сможет отведать таких вкусных вещей, и мама собрала для нее пакет со всякими вкусностями. Профессор Оже с покорившей всех нас простотой (а мама-то боялась, что их шокируют ящики с зеленью!) тут же сказал, что, поскольку он уже послезавтра будет в Париже, а они испытывают там продовольственные

Окончание. См.: «Звезда», 1991, № 9.

трудности, то он был бы очень признателен мадам Френкель, если бы она собрала небольшую посылочку и для его семьи. Мама с удовольствием выполнила и его просьбу.

Из английской делегации я помню профессора Макса Борна (эмигрировавшего в 1933 г. в Англию из Германии). Родители, отец, конечно, особенно, ждали своих друзей — П. Дирака и Р. Пайерлса, но они приехать не смогли (Дирак прислал отцу в подарок два замечательных вечных пера — зная его «слабость» к этим столь необходимым для физика-теоретика орудиям труда). Только в августе 1945 г., после известия о взрыве атомной бомбы, стали догадываться, что отсутствие этих двух ученых определялось их причастностью к работам по атомной бомбе; впоследствии эти догадки подтвердились: оба они много сделали для решения проблемы.

ИСТОРИЯ С ЧАСАМИ

Прошло несколько месяцев со времени юбилейных торжеств Академии наук в 1945 году, и в декабре этого года к нам домой позвонила секретарь тогдашнего директора Политехнического института профессора П. Л. Калантарова, нашего соседа по дому, с которым у отца были нормальные отношения. Директор просил профессора Френкеля зайти к нему по делу. Вскоре отец нам рассказал о существе состоявшегося разговора.

В июне 1945 г. один из членов американской делегации, знавший отца еще по 30-му году, обратился к нему с несколько подивившей просьбой: не могла ли бы миссис Френкель достать для его жены несколько пар шелковых чулок? Оказалось, что в США военных лет шелк был чем-то вроде стратегического сырья — шел на парашюты, так что шелковые чулки были дефицитом. Не знаю уж как, но мама эту просьбу охотно выполнила. Сейчас отец вспомнил, что американец, в свою очередь, спросил, не мог ли бы и он быть чем-нибудь полезен. А у Якова Ильича незадолго до этого украли часы. Хорошие часы очень необходимы человеку, всегда находящемуся в жестком режиме времени. Отец попросил купить ему хорошие наручные часы, добавив, что их стоимость с благодарностью перешлет американскому коллеге из небольших средств, которые у него остались в Англии за опубликованные там книги. На том и порешили, и Яков Ильич забыл обо всей этой истории. И вот проф. Калантаров ознакомил отца с копией пересланного ему письма председателя Всесоюзного общества культурных связей с заграницей В. Кеменова — С. В. Кафтанову.

В. Кеменов 10 декабря 1945 г. писал председателю Всесоюзного комитета по делам высшей школы: «На юбилейную сессию Академии наук СССР приезжал из США профессор М. (назовем его так.— *В. Ф.*). Перед его отъездом из СССР проф. Ленинградского политехнического института Френкель Яков Ильич просил его купить для него в США ручные часы, указав при этом, что у него есть в США „какие-то“ деньги (что-то вроде причитающегося гонорара). Проф. М., купив часы, передал их генеральному консульству СССР в Сан-Франциско для пересылки проф. Френкелю с тем, чтобы была возмещена стоимость часов — ам. дол. 56,35. Ген. консульство запросило НКИД о том, что за деньги имел в виду проф. Френкель, но, поскольку дальнейшая задержка оплаты часов была недопустима — вынуждено было эту сумму проф. М. оплатить (за счет ВОКС).

Обращая Ваше внимание на недопустимость такого поведения советского ученого, прошу Вас принять нужные меры. Председатель правления ВОКС В. Кеменов».

Кафтанов переслал копию письма Калантарову, тот вызвал Френкеля (и отдал ему копию письма, с которой и я перепечатываю сейчас текст) — и пошло-поехало! Часами этими отца попрекали долго — уж не меньше лет пяти!

Почему я не «обнародовал» фамилии проф. М.? Дело в том, что то ли Кеменов, то ли Кафтанов, то ли Калантаров еще одну копию письма направил директору ФТИ А. Ф. Иоффе. И с Абрамом Федоровичем у отца тоже был соответствующий разговор, впрочем, вполне дружественных тонах. Выяснилось, что проф. М. настаивал на немедленной уплате небольшой суммы (указанной в письме) — и именно из-за этого разгорелся сыр-бор. Абрам Федорович сказал Якову Ильичу: «Вы что — не знали М.?» — «Нет, хорошо знал».— «А как же вы не знаете, что о нем идет слава большого скряги!»

Все же я думаю, что нетерпеливыми оказались деятели из Генконсульства, а не проф. М. Казалось бы, самое простое дело — написать самому профессору Френкелю. Нет, проще, выходит, было завести «дело» против него.

Абсурдность всей этой дурацкой истории помогает понять «рассуждение от противного» — известный метод математических доказательств. Представим себе собрание совета американского университета, в котором работал проф. М., рассматривающего его личное дело. Обвинение: низкопоклонство перед советским ученым и антипатриотический поступок, выразившийся в том, что американский профессор попросил у своего коллеги из СССР приобрести для его жены несколько пар шелковых чулок. Даже с учетом охватившей США на короткое время эпидемии «охоты на ведьм» — представить это просто невозможно!

ДОМ УЧЕНЫХ В ЛЕСНОМ

Сразу по окончании войны, кажется, по инициативе ленинградцев, возникло движение под девизом «Ученые — производству». Организовывались консультации работников научных, в том числе и академических, учреждений заводским инженерам. Отец включился в этот процесс. Он в то время возглавлял совет Дома ученых в Лесном, и именно там проходили эти консультации. Яков Ильич к этим работам относился с большим интересом и кое-что о них рассказывал. Так, к нему обратились из реставрационных мастерских, ведавших восстановлением часов в Петропавловской крепости. Бой часов сопровождался «вызваниванием» какой-то, связанной с городом, мелодии. За то время, что часы во время блокады не работали, колокола «потеряли» тон. Отец пояснил, в чем заключалась физическая подоплека этой потери тона, и сделал соответствующие рекомендации, сущность которых я, к сожалению, не знаю. Институту протезирования он предложил идею протеза ноги со сгибающимся «коленным суставом» (для случая, когда нога была ампутирована выше колена). Сравнительно небольшая электрическая батарейка включалась в цепь, когда здоровая нога касалась земли; при этом протез немного сгибался — и это должно было в сильной степени облегчить движение инвалида. Обратились к нему из бумажной промышленности — и он развил простую — модельную теорию «бумагопрокатного стана». Я корю себя за то, что не опубликовал в свое время отчет отца по этой теме. Зато другую консультационную свою деятельность он успел оформить в качестве статьи. В ней речь шла о возможности замены в целом ряде устройств твердых подшипников — «каплеподшипниками»: сплющенные капли некоторых жидкостей могли отлично конкурировать с дорогостоящими «стандартными» подшипниками.

Незадолго до смерти отца, осенью 1951 г., к нему домой пришла группа инженеров Металлического завода (в те времена — завода имени Сталина) — из отдела водяных турбин. Речь шла у них об эрозии поверхностей турбинных лопаток. Отец объяснил этот процесс явлениями электрических пробоев микрополостей в жидкости, которые образуются в процессе кавитации. Вопрос был ему хорошо знаком — как я понял позднее, обнаружив в его архиве на этот раз законченную, но не опубликованную при жизни статью. Поздней осенью 1951 г. к нам домой, помню, пришла весьма внушительно выглядевшая депутация офицеров из Военно-воздушной академии имени Можайского. Консультации касалась вопросов работы электрических машин (генераторов и двигателей), функционирующих на самолетах.

В 70-х годах я провел вечер в обществе замечательного московского физика-теоретика, профессора А. С. Компанейца, автора известных работ по физической кинетике, ударным волнам и теории взрывов. Разговор зашел — как это всегда бывало в моих встречах с физиками — о Якове Ильиче. Сравнивая стили мышления отца и одного из его коллег-теоретиков, Компанеец заметил: «Яков Ильич был ближе к истокам». Я это понимаю так, что свои построения он вел от физики — через математику, что большую роль в его научном творчестве играл выбор модели, максимально близкой к изучаемому явлению. (В 1924 г. в письме к своему отцу Яков Ильич рассказал о впечатлении, которое произвел на него голландский профессор П. С. Эренфест: «Его устами неодушевленные предметы — молекулы, атомы, электроны — разговаривают друг с другом... любят и ненавидят и вообще оживают, превращаясь в микроскопических обитателей одушевленной вселенной. Для Эренфеста или, точнее, у Эренфеста физика является не столько точной наукой, сколько художественной драмой или комедией из жизни атомов и электронов». В этой характеристике люди, знакомые с научным и преподавательским творчеством Якова Ильича, видят не только портрет, но и автопортрет. (Это, пожалуй, общее правило: в других людях мы подмечаем близкие нам самим черты.))

Вот такая «близость к истокам» определила и то, что в середине 40-х годов Яков Ильич на базе своей консультационной деятельности во Всесоюзном институте авиационных материалов (в Москве) создал новую лабораторию (и стал в ней штатным научным руководителем) — экспериментальную, занимавшуюся проблемами трения, смазки и другими вопросами прикладной молекулярной физики. Около двадцати печатных работ, изданных в 1945—1951 годы, явились результатом деятельности отца и его ближайших сотрудников по лаборатории ВИАМа.

Я указал выше, что вся эта консультационная работа, как и лекции, читавшиеся в рамках Общества по распространению политических и научных знаний, проходила у отца в основном в Доме ученых в Лесном. В качестве председателя совета Дома он занимался также и другими вопросами. Так, в 1945 г. в рамках культурной программы в Доме ученых состоялся вечер встречи с М. М. Зощенко и А. А. Ахматовой. Мы пошли на него всей семьей. Атмосфера в небольшом концертном зале была уютной и вместе с тем праздничной. Это ощущение было несколько омрачено эпизодом, случившимся во время выступления Зощенко. После того как он прочел один из своих одновременно очень смешных и грустных (если вдуматься в них) рассказов, из зала прозвучал такой вопрос: «Вот, товарищ Зощенко, смотрю это я на ваших героев и думаю, как же мы с такими „героями“ одержали победу в Великой Отечественной войне?» В зале возникла напряженная тиши-

на. Секунду помолчав, Зощенко ответил: «А я смотрю на вас». Ответ был встречен дружными аплодисментами.

Август следующего (1946-го) года мы провели на Рижском взморье. Там с горечью и тревогой прочли постановление о ленинградских журналах, о Зощенко и Ахматовой. Уже осенью этого года, по возвращении в Ленинград, у отца потребовали объяснений — почему на вечер встречи в Доме ученых были приглашены именно Зощенко и Ахматова? Он ответил: потому что они — крупнейшие ленинградские писатели...

РАССЫПАННЫЕ СТРАНИЦЫ КНИГИ

Уже появились в нашей печати первые статьи, воскрешающие в памяти времена, когда в стране началась очередная кампания, направленная против творческой интеллигенции,— борьба с космополитизмом. Ни в какой мере не ставя перед собой задачи проследить все ее этапы, я буду основываться на своих собственных воспоминаниях.

Летом 1947 г. работа Якова Ильича по кинетической теории жидкостей получила самую высокую — по тем временам — внешнюю оценку: ей была присуждена Сталинская премия I степени. Друзьями Якова Ильича это воспринималось как снятие опалы, которой он, несомненно, подвергался с начала 30-х годов, когда прекратилось официальное признание его заслуг, выразившееся, в частности, в том, что он не был избран действительным членом Академии наук, куда выставлялся различными учреждениями во время каждой кампании по выборам.

Не забыть атмосферы приподнятости и праздника, царившей в эти дни в нашем доме.

Осенью этого же года, по окончании школы, я поступил на физико-механический факультет Политехнического института. Начались занятия, и, по-моему, в ноябре (или это было в ноябре 1948 года?) некоторым из студентов-первокурсников раздали анкеты. Получил такую анкету и я.

Заполняя ее, в пункте о роде занятий родителей я написал: отец — преподаватель вуза; мать — научно-технический переводчик. Дома я обо всем этом не рассказал, не придав на первых порах никакого значения этому событию.

Но вот прошло какое-то время, и, придя на занятия, я узнал, что напротив деканата нашего физико-механического факультета вывешен список студентов-физмеховцев, приказом директора ЛПИ переведенных на другие факультеты института. Просмотрев этот список, нетрудно было определить, по какому признаку эти анкеты распространялись: их получили студенты, во время войны оказавшиеся на оккупированной территории, а также евреи (хотя и не все: выборка расшифровке не поддавалась). В этом списке я обнаружил и себя. Рассказал об этом отцу. Через короткое время он побывал в деканате. Потом спросил меня: «Ты что там написал о моей работе?» Я ответил. Грустно улыбнувшись, отец сказал: «Пострадал от собственной скромности. Написал бы, что я — профессор ФМФ, и не было бы этого недоразумения. Впрочем, с тобой-то все в порядке». Увы, с другими «в порядке» не было. Отец помог нескольким из числа к нему обратившихся попасть на наиболее устраивавшие их факультеты-заменители, но ситуацию в целом исправить ему не удалось, и я не знаю даже, пытался ли он это сделать. И тогда, и позднее, насколько мне известно, он вступался за конкретных лиц, но с положением вещей в целом не боролся, понимая, я думаю, бессмысленность этих попыток.

Мне представляется, что именно тогда он столкнулся с проявлением не бытового, а запланированного антисемитизма. Эта усиливавшаяся в конце 40-х — самом начале 50-х годов кампания (достигшая апогея уже после смерти отца, в деле врачей) тяжело ударила по системе его еще в юности сформировавшихся взглядов. Оберегая нас, он не обсуждал эти вопросы дома, но я уверен, что все последующее развитие событий — не только антисемитизм, но и наступление на интеллигенцию и культуру, августовская сессия ВАСХНИЛ, постановления о музыке, дела «критиков-космополитов», травля «физиков-идеалистов» — надломило его здоровье.

В 1965 г., готовя книгу об отце, я, оставаясь в рамках самоцензуры, написал об этом. После некоторых согласованных со мной правок рукопись пошла в набор, и в конце 1965 г. я получил корректурные ее листы. Выправил корректуру, порадовавшись, в частности, тому, что сохранились и странички, описывающие события 47—51 годов, и стал с нетерпением поджидать выхода книги. Но вскоре меня вызвали в издательство и предложили изъять из текста соответствующие странички. Меня поставили перед дилеммой: или я соглашусь с предложенным сокращением, или вся книга в целом пойдет по новому кругу внутреннего рецензирования. «Поверьте,— сказали мне,— тогда из нее полетит гораздо больше текста, если она и вообще-то уцелеет». Я заколебался: за плечами у меня было несколько лет напряженной работы. Стоило ли рисковать? Ведь книгу-то я писал отнюдь не только ради этих страничек. И согласился. Конец книги перебрали, и она увидела свет в 1966 году.

Случайно у меня остался лишний экземпляр корректуры — с текстом, рассыпанным впоследствии. Вероятно, сейчас я бы написал его иначе. Но сегодня он играет роль доку-

мента: вот какие в общем-то, по нынешним временам, осторожные и достаточно сдержанные строчки тогда, в 1966 г., на «заре застоя», считались крамольными:

«Физики всего мира восхищаются научным подвигом Нильса Бора». Есть ли что-либо более нелепое, как утверждать на этой основе, что они низкопоклонствуют перед датской физикой? Есть ли хоть один здравомыслящий физик, который будет слепо восхвалять (или хулить) ту или иную работу только потому, что она выполнена и опубликована в Дании, Германии, Советском Союзе или Соединенных Штатах Америки? Конечно, нет.

Эти азбучные истины были в конце 40-х годов преданы забвению. Именно тогда на страницах многих наших газет и журналов замелькало слово «низкопоклонник». Необоснованной критике, а по существу грубым нападкам подвергались крупные ученые. Объективная оценка ими вклада иностранных ученых в развитие современной физики часто считалась признаком космополитизма. Академика Семенова, например, обвиняли в низкопоклонстве, основываясь на том, что он свою книгу по цепным реакциям посвятил памяти Сванте Аррениуса и Ван'т Гоффа. Признание работ ряда советских физиков-теоретиков крупнейшими физиками Запада считалось показателем идейной порочности этих работ.

Яков Ильич Френкель был «прекрасным объектом» для приклеивания ярлыка низкопоклонствующего перед западной наукой. Действительно, ведь его книги и статьи выходили не только в СССР, но и в Германии, Англии, Америке и Франции. Его «Волновая механика» и «Электродинамика» увидели свет сначала за рубежом. Для наиболее рьяных «критиков» Якова Ильича причина этого совершенно ясна. Факт издания этих его двух книг и других книг и статей в Германии и Англии свидетельствует о том, что Френкель «спешит помочь американцам использовать достижения советской науки в интересах монополистического капитала» — не более и не менее! Эта фраза взята из статьи бывшего преподавателя Ленинградского политехнического института М. Кузьмина, опубликованной в журнале «Вестник высшей школы». Она отнюдь не вырвана из контекста, а вполне отвечает содержанию и духу всей этой клеветнической заметки.

Когда проф. В. Ф. Каган, возглавлявший в 20-е годы научный отдел Госиздата, узнал о тех обвинениях, которые предъявляются Френкелю, он переслал ему справку следующего содержания: «Сим удостоверяю, что Я. И. Френкель в середине 20-х годов обращался в научный отдел Госиздата с предложением напечатать две его книги „Электродинамика“ и „Волновая механика“. Отдел был вынужден отклонить это предложение, так как его издательские возможности были тогда ограничены и он имел предписание издавать только такие книги, которые могли служить прямыми учебниками для вузов».

Справка эта вряд ли могла помочь Френкелю в то время; она сохранилась в архиве Якова Ильича как своеобразное свидетельство событий тех лет. В его бумагах есть и ответ на статью Кузьмина, адресованный в «Вестник высшей школы» (и не опубликованный на его страницах), в котором разоблачалась лживость содержавшихся в статье по существу политических обвинений, написанных в недопустимо развязном тоне.

Прервем на минуту «автоцитирование». Недавно сотрудник ФТИ им. А. Ф. Иоффе А. Г. Остроумов любезно предоставил мне ксерокопию письма, полученного его отцом, проф. Г. А. Остроумовым, от академика А. Ф. Иоффе. Вот отрывок из этого письма.

«Ленинград, 14 декабря 1948 г.

Глубокоуважаемый Георгий Андреевич!

В ноябрьских номерах „Литературной газеты“ напечатаны две статьи некоего Львова об идеализме в физике. В одной из них приводится цитата из старой книги Я. И. Френкеля, объясняющая метод определения волнового поля вероятности электрона. Львов рассматривает эту цитату как проявление идеализма.

Хотя статья и принадлежит столь малограмотному и поверхностному автору, как Львов, но появление ее в таком органе, как „Литературная газета“, видимо, придало ей в глазах многих большее значение, чем она заслуживает по своему содержанию. По существу дела, Я. И. Френкель, конечно, не идеалист, как это понятие определил В. И. Ленин: он не сомневается в реальности вне нас существующего мира и в его познаваемости. Но он не является и последовательным представителем диалектического материализма.

С дружеским приветом!

А. Иоффе».

Продолжу цитату из рассыпанного текста своей книги.

Яков Ильич утверждал, что факт издания его — и чьих бы то ни было — книг за рубежом ничего общего не имеет с пренебрежительной оценкой достижений советской физики, которую, кстати, никто из настоящих ученых никогда и не высказывал. Да и не мог высказывать — слишком очевидны были ее успехи не только для самих советских физиков, но и для их иностранных коллег. Взаимное уважение вклада ученых разных стран в общую сокровищницу знаний — одна из отличительных черт интернационального характера науки. Добавим, что публикация работ советских физиков в иностранных журналах в 20-е годы и издание советских физических журналов на английском и немецком языках в 30-е и первую половину 40-х годов во многом способствовали междуна-

родному признанию советской науки (ныне все ведущие физические журналы Советского Союза выходят за границей в переводе на английский язык).

На одном из заседаний совета Политехнического института Яков Ильич, отметая нелепые обвинения в низкопоклонстве, остроумно заметил, как можно легко опровергнуть тезис о том, что издание книги советского автора за границей доказывает его «раболепие» перед иностранной наукой (а этот тезис служил рефреном во всех обвинениях, предъявляемых Якову Ильичу). А именно, если встать на позицию формальной логики, то этот факт свидетельствует как раз об обратном. «Раболепствуют» перед советским автором те, кто за границей переводит и издает его труды: заключение столь же нелепое, как и породивший его тезис.

Кажется, именно на том же заседании произошел и такой эпизод, рассказанный Яковом Ильичом. Один из выступавших в прениях на совете сказал примерно следующее: «Профессор Френкель отрицает свое преклонение перед Западом. Но вот характерный факт: даже его носовые платки помечены латинскими буквами».

Как следовало реагировать на эту «улику»? Яков Ильич достал носовой платок и высморкался — под сочувственный смех той большей части совета, которая не утратила чувства юмора.

Вот еще один пример, характеризующий уровень той критики, которой подвергался Яков Ильич в Политехническом институте. Директор этого института К. Н. Шмаргунов обвинил его в издевательстве над советским колхозным строем на том основании, что в своей книге «Введение в теорию металлов» Яков Ильич использовал предложенный им много лет назад термин «коллективизация электронов».

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

К обвинениям в низкопоклонстве присоединились обвинения и в идеализме. Они не содержали ничего нового по сравнению с теми, которые выдвигались в конце 30-х годов. В рукописи, являвшейся, вероятно, основой доклада Якова Ильича на одном из собраний, посвященных вопросу об идеализме в современной физике, он пишет:

«Как физик, для которого занятие наукой не представляет собой занимательную игру, а является делом чести и долга, я никогда не был, да и не мог быть идеалистом. Внешний мир, изучаемый физикой, всегда представляется мне объективной реальностью, а не игрой моего собственного воображения, и притом реальностью познаваемой, а не трансцендентной».

«Только очень ограниченные или очень несведущие люди могут усмотреть в моей „Волновой механике" идеалистические концепции... Эти люди не способны понять метафорические выражения, которые предназначались мной для более образованных читателей. Так, например, говоря о квантовой статистике, я пользовался такими выражениями, как „симпатия" между электронами с противоположно направленными спинами или „антипатия" между электронами с одинаково направленными спинами, отнюдь не потому, что я склонен к антропоморфным представлениям, а, наоборот, потому, что они совершенно чужды мне, а следовательно, и абсолютно безопасны. Тем людям, которых подобные антропоморфные сравнения могут ввести в соблазн, читать серьезные книги не рекомендуется...

Я лично не считаю необходимым писать свои книги суконным языком, тщательно вытравляя из них все, что может способствовать оживлению и лучшему усвоению излагаемого — порой сухого — материала. Право пользования метафорами не должно быть монополией поэтов; оно должно быть предоставлено и ученым».

СТЕНОГРАММЫ НЕ ГОРЯТ!

С Политехническим институтом Яков Ильич был связан с 1916 года, когда начал посещать семинар новой физики, организованный там профессором Политехникума А. Ф. Иоффе. Вернувшись в Петроград из Крыма ранней весной 1921 г., он практически сразу приступил к преподавательской работе на незадолго до этого (в 1919 г.) организованном физико-механическом факультете. Здесь Френкелем был воспитан ряд крупных физиков-теоретиков. И — приходится констатировать — именно в Политехническом институте во второй половине 40-х годов против него была развязана особенно оголтелая кампания. Одним из тяжелых ее этапов была проверка работы кафедры теоретической физики ЛПИ представителем Министерства высшего образования доцентом П. Е. Зребным. После проверки состоялась его беседа с заведующим кафедрой профессором Я. И. Френкелем. Отец буквально кипел, рассказывая по свежим впечатлениям об этой беседе. Некоторые вопросы Зребного, по словам Якова Ильича, носили просто провокационный характер, но он заверил своих домашних, что на провокацию не поддался. Было это зимой 1948 г.

Думаю, что М. А. Булгаков не подозревал, какую долгую жизнь получит фраза из «Мастера и Маргариты» — «Рукописи не горят!» А ей суждено было стать крылатой! Сколько раз она цитировалась, выбиралась в качестве заголовков к информации о сенсационных находках. Я вспомнил об этом сейчас, чтобы сказать: «Стенограммы не горят!» Но тогда, в 1948 году, отец и не упомянул нам — чтобы, очевидно, не беспокоить, что разговор его со Зребным стенографировался... Прошло около 40 лет с тех давних пор, и вот мой брат, профессор С. Я. Френкель, позвонил мне и сказал: «Приходи, я тебе покажу фантастический документ!» Когда я зашел к нему, он протянул мне папку с пожелтевшими листочками машинописного текста. На первой странице я прочел:

«Стенограмма

беседы представителя Министерства высшего образования доц. Зребного с заведующим кафедрой теоретической физики Ленинградского политехнического института членом-корреспондентом Академии наук СССР Яковом Ильичом Френкелем 7.I.1948 г. Беседа велась в присутствии секретаря парткома Ленинградского политехнического института, в присутствии члена ВКП(б), зам. декана физико-механического факультета и члена ВКП(б), заведующего кафедрой диалектического материализма».

Стенограмма занимала 34 страницы текста.

Оказалось, что папка эта находилась на работе в бумагах незадолго до этого скончавшегося Зребного. Она случайно попалась на глаза коллеге брата, который и переслал ее Сергею Яковлевичу.

Не говорил нам отец и о том, что кроме него и Зребного в тот день на беседе присутствовали другие официальные лица из ЛПИ. Нетрудно установить их фамилии, да нужно ли?

Сейчас я приведу некоторые выдержки из вопросов Зребного и ответов на них Френкеля — не выстраивая их в том или ином порядке, а просто следуя стенограмме. Стенограмма — неправленная, подписанная только Зребным; я позволил себе поправить в ней только очевидные стилистические огрехи, то ли соответствовавшие живой речи, то ли привнесенные стенографисткой.

«**Зребный.** Ваши лучшие работы — что они дали социалистическому народному хозяйству? Экономию или реально, что по ним строится и где они используются непосредственно? Я не беру здесь во внимание лекционный курс, который Вы читаете. Это — особая статья, о нем речь будет впереди.

Френкель. Сама теоретическая физика еще дальше стоит от промышленности, чем от экспериментальной физики. Теоретическая физика имеет большое значение для металлургии. Те области физики, которые этими вопросами занимаются, я полагаю, принесли пользу нашей промышленности. Я могу об этом судить хотя бы по тому, что многие лица обращаются за помощью... Теоретическая физика непосредственно с техникой и промышленностью не связана.

Зребный. Ваша теория жидкостей чем-нибудь помогает социалистическому строительству?

Френкель. Я думаю, что помогает. Если бы это было не так, то вряд ли дали бы мне за нее Сталинскую премию.

Зребный. Как Ваша кафедра ставит у себя идеологические вопросы? Как ведется борьба за выполнение указаний ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам? ...Как Вы в своем курсе ставите вопрос о партийности в науке, вопросы диалектического материализма?

Френкель. Вопрос партийности науки мы в своих лекциях не затрагивали. Философские вопросы также в физике не освещались. Если и затрагивались вопросы диалектического материализма в лекциях, то стихийно, не руководствуясь мнениями, которые составляют его сущность. Я не думаю, что физическое изложение вопросов физики противоречит материализму. Нужно учить студентов мыслить в духе принципов материализма, но сама диалектическая философия должна развиваться на базе фактов, которые накапливает наука.

Зребный. Как Вы воспитываете советский патриотизм у студентов в Вашем курсе?

Френкель. Я подчеркиваю роль русских ученых — Лебедева, Столетова, не говоря уж о Ломоносове. Я упоминал также новые имена — Петрова (когда читал курс электродинамики). Имя Яблочкова приходилось только упоминать, потому что у него [работы] технического порядка, а я излагал проблемы теории.

Зребный. Философия не оторвана от физики, а зачастую философы лучше разбираются в вопросах физики, чем сами физики: возьмем работы классиков марксизма.

Френкель. Позвольте мне иметь свою точку зрения».

Далее доц. Зребный, пытаясь изложить одну из работ отца, утверждает, что в числе развитых в ней понятий имеется и нечто «направленное против диалектического материализма».

Френкель. Тогда нужно изменить некоторые позиции диалектического материализма.

Зребный. Пожалуй, нужно структуру теоретической физики пересматривать, а не марксистскую философию.

Френкель. Философия должна развиваться, а не стоять на месте, а развиваться она может только на основе фактов, открываемых в науке. Большинство лиц, которые занимались вопросами квантовой механики, эти факты не игнорировали.

Зребный. Нужно (в работе над учебниками.— *В. Ф.*) базироваться на учении Маркса, Энгельса, Сталина. Это — духовный источник для развития всех наук.

Френкель. Мне нужны не общие принципы, а конкретные результаты и развитие их. Я должен исходить с точки зрения не только принципов, но и фактов.

Зребный. Кризис физики заключается в том, что теоретическая физика пока опирается на философию Юма, Беркли, Канта, Гегеля и разновидность этой философии в работах Маха, Пуанкаре, Дюгема, Пирсона, Оствальда и других буржуазных физиков-идеалистов, в частности, физиков копенгагенской школы.

Френкель. Копенгагенская школа сделала тоже очень много для физики. Мне кажется, что философия даже на Западе является не основой физики, а крышей, которую пытаются навести на здание, которое уже построено. Принцип диалектического материализма нужно иметь в виду, но нельзя думать, что на основе этих принципов можно построить все здание. А здание это строится самыми разными людьми, иной раз разумными, иной раз неразумными.

Зребный. Приведу пример о роли диалектического материализма. Красная Армия победила немцев потому, что у нас была марксистская стратегия и тактика. И в физике мы победим, вооружившись диалектическим материализмом, а идеализм потерпит поражение».

ОРГКОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ФИЗИКОВ

Инспекция П. Е. Зребного была только началом массированной атаки на Якова Ильича. В февральском и апрельском номерах за 1948 г. журнала «Вестник высшей школы» появилась упоминавшаяся выше статья М. Кузьмина. В ноябре 1948 года была опубликована статья В. Львова в «Литературной газете». Не хочется мне раскрывать здесь ту неприглядную роль, которую сыграл этот журналист в судьбе не только одного Якова Ильича — и не только в 40-х, но еще и в 30-х годах.

17 декабря 1948 г. по инициативе Министерства высшего образования (им в то время руководил С. С. Кафтанов) было принято решение о созыве Всесоюзного совещания физиков. Повестка дня формулировалась так: «Современное состояние физической науки и вопросы улучшения качества подготовки физиков». К марту 1949 г. подготовительный комитет провел 32 заседания. Протоколы их сохранились. В 1990 г. подробные выписки из них привел проф. А. С. Сонин в серии своих публикаций в журнале «Природа» (№ 3—5). Председатель оргкомитета А. В. Топчиев (впоследствии академик, вице-президент АН СССР) сказал тогда: «Я считаю, что наше совещание должно быть на уровне совещания, которое прошло на сессии ВАСХНИЛ, и ⟨мы⟩ должны провести его на высоком идейном уровне».

В семейном архиве сохранилась папка, на которой я, разбирая бумаги отца в 1953—1954 гг., написал: «Гонения». Тяжело просматривать сейчас эти материалы. Там имеется и доклад, прочитанный Яковом Ильичом на заседании оргкомитета. Выдержка, приведенная из этого доклада А. С. Сониным, совпадает с хранящимся у меня его текстом. В соответствии с названием совещания основная часть доклада Якова Ильича была посвящена проблемам квантовой механики, статистической физики, взаимоотношения физики и математики. Но в начале доклада (который был ему поручен, судя по первым строкам текста, оргкомитетом) Яков Ильич возвращается к своему заявлению на партгруппе физико-химической конференции. Он показывает на примерах своей работы (сближение жидкостей и твердых тел; метод аналогий в физике), что уже тогда — и позднее — придерживался материалистических представлений.

В чем была — как мне кажется — суть тогдашнего его конфликта? Ведь отец уже и в то время (как мы видели) отнюдь не выступал против материалистического подхода к явлениям природы и, более того, указывал, что сам он ему привержен. Выступление его было направлено против ограниченных, не разбирающихся в физике людей, которые позволяли себе в менторской форме поучать специалистов, что диалектический материализм (сводившийся у них к известной триаде) есть необходимое и достаточное средство для решения всех самых жгучих проблем. Они тем самым политизировали физику, навязывая ей свои догмы, кстати, противоречившие стандартным положениям диалектической философии, предусматривающей развитие своих собственных представлений, в первую очередь — на основе опытных данных. Второе, что вызывало протест отца (и это происходило уже и на моих глазах),— это требование своеобразной канонизации философских произведений, прежде всего Энгельса и Ленина («Материализм и эмпириокритицизм»). «Диалектику природы» Энгельса отец прочел уже после войны, и, сколько я помню, он не видел в изучении этой книги возможности найти выход из тех трудностей, перед которыми стояла физика. От этой физики Энгельс в 80-х годах прошлого века был бесконечно далек, новый этап ее развития начался уже после его смерти — в 1900—1905 гг. работами Планка и Эйнштейна. Так же критически он отнесся к книге В. И. Ленина, справедливо полагая ее в основном полемической, хотя и находя в ней интересные страницы и догадки, тем более удивительные, что Ленин никогда не считал себя не только физиком, но и философом. Яков Ильич любил повторять высказывание, которое он приписывал Ленину: «Ничто так не способствует дискредитации идеи, как доведение ее до абсурда» (правда, этот емкий афоризм он не использовал в официальных своих выступлениях; я не нашел его ни в печатных, ни в рукописных статьях отца; к сожалению, я не знаю, в какой из работ Ленина он был им высказан). Из отцовских комментариев к прочитанному им у Энгельса я запомнял только возмущение оценкой, которую Энгельс дал Ньютону («индуктивный осел»).

От отца я слышал сатирические стихи, написанные онегинской строфой, героем которых был, помнится, некий философ:

Он по-марксистски совершенно
Мог изъясняться и писал,
Легко ошибки признавал
И каялся непринужденно.

Ошибки признавать отец долго отказывался, тем более что, по его глубокому убеждению, в своих философских суждениях (высказываемых, как правило, «в скобках», походя) он их и не делал. И каяться отказывался, и если иногда я с болью за него нахожу в рукописях его выступлений (в основном перед советом ФТИ и его парткомом) соответствующие фразы, то, конечно, могу утверждать, что сделаны они были по принуждению. Правы ли были мы, его родные и близкие друзья, побуждавшие сделать эти заявления, — затрудняюсь сказать. Уж очень крутые в конце 40-х годов наступили времена! Можно вспомнить крылатые слова Евтушенко о Галилее: «Он знал, что вертится Земля, // Но у него была семья». Не зря же во время одной из проработок в ФТИ прозвучала примерно такая фраза: отказ Френкеля публично и печатно признать свои ошибки позволяет нашим идейным противникам за рубежом создать вокруг него ореол некоего современного Джордано Бруно (и впрямь! близкий друг Якова Ильича Павел Павлович Кобеко после одного из философских заседаний, где Яков Ильич «не дрогнул» под напором своих недоброжелательных критиков, воскликнул, обняв отца: «Таких, как вы, во времена инквизиции посылали на костер!»).

А. С. Сонин в указанной серии статей подробно излагает содержание докладов, сделанных на заседании оргкомитета совещания физиков — С. И. Вавиловым, М. А. Марковым и Я. И. Френкелем. В прениях по докладу Вавилова В. Ф. Ноздрев (работавший в МГУ) обрушился на ведущих советских физиков. В частности, он сказал: «Чтобы бороться с различными буржуазными пережитками в нашей советской науке, необходимо, в первую очередь, разбить наголову космополитизм как „теоретическую основу“ всех идеологических извращений и шатаний, а также разоблачить конкретных носителей этих проявлений, безродных космополитов типа акад. Капицы, проф. Френкеля, Маркова и др.». «Физический идеализм — та цепочка, которая привязывает ученых к колеснице империализма. Разоблачая мракобесов, открытых философских идеалистов, мы обязательно должны разоблачать службу лагерю реакции физических идеалистов».

А. С. Сонин пишет далее: «На заседаниях оргкомитета стало хорошим тоном громить „идеализм“ Френкеля; редкий докладчик отказывал себе в этом удовольствии. Но особенно преуспел в этом П. Е. Зребный, физик, доцент Института легкой промышленности; он посвятил Френкелю все свое выступление». В дальнейшем каждый выступавший считал своим долгом обругать М. А. Маркова. «Однако все понимали, что главной жертвой был не он, а Френкель. Френкель это тоже понимал».

Итог обсуждения доклада отца подвел А. В. Топчиев: «Вы знаете,— сказал он, обращаясь к Френкелю,— все решения партии, которые приняты за последние годы, вы знаете дискуссии... Поэтому мы просим вас, чтобы вы признали, что ошибки ваши есть серьезные ошибки... Я не слышал, чтобы вы сказали: „Права критика, я ошибался“».

Но Френкель стоял на своем: «Резюмируя, я хочу сказать следующее. На этом совещании я охотно, без всякого насилия над самим собой, покритикую те взгляды, которые изложены мною в „Волновой механике“ и повторялись в других книгах, указав, однако, что это не было моими взглядами, а было взглядами создателей квантовой механики, против которых я ничего противопоставить тогда не мог и излагал без критики. В этом моя ошибка, и я это обвинение полностью признаю. Но она была вызвана несколько наивным тогда отношением к зарубежной науке» («Природа», 1990, № 5, с. 96).

Последняя фраза была по форме уступкой Якова Ильича. Смысл ее заключался, я думаю, в том, что в годы, когда писалась «Волновая механика», успехи этой новой замечательной области физики были настолько впечатляющими, что о конструктивной критике говорить было рано.

Как известно, совещание по физике в конечном итоге не состоялось: за два-три дня до его начала, как говорят, раздался телефонный звонок и Кафтанову было предложено его не проводить. По наиболее вероятной версии, в дело вмешался могущественный в то время И. В. Курчатов, который, будучи прекрасным физиком, отлично знал всех гонимых в то время ученых и понимал, какую пагубную роль может сыграть наметившийся физический аналог августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Речь в этой версии идет о звонке Курчатова Сталину. Я часто думаю о том, что эту версию можно точно проверить, если в секретариате Сталина велся некий журнал (похожий на «камер-фурьерский» журнал Николая I или, если говорить о хронологически более близкой аналогии — тот журнал, который вели секретари В. И. Ленина и который лег в основу бесценной для историков «Хроники жизни В. И. Ленина»). Ведь точно известен очень «узкий» временной промежуток,

в течение которого такой звонок мог иметь место (16—21 марта 1949 г.). По результатам — отмене совещания — очевидно, что такой звонок в кабинете Кафтанова прозвучал: вот тот редкий случай, когда можно добром помянуть «телефонное право»!

А в № 9 «Природы» за 1990 г. в качестве реплики на публикацию А. С. Сонина появилось письмо в редакцию И. Зорича. В нем, со слов покойного акад. Л. А. Арцимовича, дается такая версия событий. Трое ведущих физиков, имена которых не названы, в середине марта 1949 г. обратились к Берии с просьбой приостановить проведение совещания (поскольку Берия курировал атомные работы, видимо, это были физики-ядерщики). Берия ответил, что сам этот вопрос решить не сможет, ему надо доложить о сложившейся ситуации Сталину. Сталин распорядился совещание не проводить, дав этому сакраментальное пояснение: «Оставь их в покое. Расстрелять их мы всегда успеем». И. Зорич полагает, что «слова Сталина были адресованы Жданову, истинному режиссеру задуманного действия, а Берия лишь смаковал их».

Изложенная версия вполне правдоподобна с поправкой на то, что предполагаемый И. Зоричем адресат замечания Сталина — Жданов — умер примерно за полгода до описываемых событий.

ГОНЕНИЯ

Борьба с «низкопоклонством перед Западом», космополитизмом, идеализмом в философии на этом, однако, не прекратилась, но была продолжена не на всесоюзном, а на «локальных» уровнях. Такими «уровнями» стали в начале 50-го года советы и партийные организации ФТИ и ЛПИ.

В папке «Гонений» есть многочисленные машинописные варианты одних и тех же отцовских выступлений. И это при том, что свои физические статьи и книги он писал не только сразу набело, но практически без помарок (правда, это объясняется тщательным их предварительным продумыванием). На этих рукописях 40-х годов видны поправки, внесенные разными людьми, которым отец предварительно давал их прочесть. Я узнаю почерк своего брата, который у нас считался знатоком философии, сотрудницы отца — Т. А. Конторовой, наконец, А. Ф. Иоффе. Давалось все это отцу необычайно тяжело, так что вопрос о том, стоило ли его склонять к «покаянию»,— отнюдь не риторический: это, безусловно, сказывалось на его здоровье. Но мы, его близкие, боялись более страшного.

Так, среди «Гонений» сохранилось заявление, поданное Яковом Ильичом в партком ФТИ. «В 1932 году,— читаем в этом заявлении,— я написал учебник по волновой механике, который до сих пор служит основанием для критики моей якобы идеалистической позиции в вопросах квантовой механики. При переиздании моего учебника статистической физики в 1947 г. я заключил в него ряд глав из „Волновой механики", оставив, однако, много мест неисправленными и тем самым укрепил то мнение, которое возникло в кругах наших философов относительно идеалистического характера моих философских позиций. Я должен признать, что в прошлом сам дал для подобного мнения достаточно убедительный материал, заявив публично (в 1931 г.), что методы диалектического материализма в физике неприменимы, и ни разу не заявив в печати, что я давно уже убедился в ошибочности этого заявления и отказался от него. В сущности говоря, даже тогда, когда я сделал это заявление, я являлся „стихийным" материалистом и никогда не подвергал сомнению ленинский тезис о реальном существовании материи вне нашего сознания и о ее познаваемости. Согласно Ленину, признание этого принципа и определяет философский материализм».

Далее, на страницах, посвященных физическому обсуждению принципа неопределенностей, Френкель пишет: «Моя вина заключается в том, что я в ряде случаев допускал неточную терминологию, совершенно недопустимую при трактовке философских вопросов. При изложении ряда общих вопросов квантовой механики я пользовался неточными формулировками, метафорами, которые могли быть восприняты рядом читателей (в особенности не физиков) превратным образом, в буквальном смысле. Сюда относятся, например, такие неудачные выражения, как „свобода воли" электрона, и связанные с использованием этой метафоры фразы об отсутствии детерминизма в элементарных событиях, т. е. о нарушении принципа причинности и т. д.».

Опять напрашивается психологический мотив линии поведения отца, обнажившийся в последней части процитированного текста. Человек убежден в абсолютной правильности, неопасности своего поступка. Но его настойчиво, а течение длительного времени разные люди, в том числе и пользующиеся его уважением, убеждают в противном: метафоры, использованные им для оживления и лучшего понимания, образного запоминания текста,— губительны для студенчества, недопустимы в учебниках, потому что уводят молодых людей в сторону от материалистического взгляда на природу. А это сейчас, во время обострившейся идеологической борьбы, совершенно недопустимо, вредно, играет на руку нашим идеологическим и политическим противникам.

Ну, и если называть вещи своими именами, то шла настоящая травля крупнейшего советского физика, к тому же — с пошатнувшимся здоровьем (еще в 1946 году, при снятии с военного учета, врачи, к которым отец на моей памяти до этого времени никогда не обращался, обнаружили у него сильную гипертонию). Шло какое-то, мне представляется, кафкианское действо: серьезные физики, имеющие определенные заслуги перед наукой, некоторые из них — бывшие студенты Якова Ильича, обвиняли его в идеологических грехах, которые сами они, конечно же, грехами не считали. А бедный отец признавался в этих грехах, которые в глубине души, конечно же, грехами не считал. Разумеется, были в числе его «критиков» действительно ограниченные, плохо знающие физику люди, убежденные в его идеализме; были и откровенные карьеристы, наживавшие на кампании «борьбы с идеализмом» псевдонаучный и политический капитал. Словом, ситуация была полностью аналогичной той, которая в то время царила в биологии, литературе и литературной критике, музыке.

В задачу заседания парткома ФТИ входило убедить Я. И. Френкеля в объективном вреде его идеалистических высказываний, прежде всего якобы имевшихся в «Волновой механике»[1]. От Якова Ильича требовалось заявление в центральной печати («Правде» или «Известиях») — с признанием своих идеологических ошибок и отказом от высказываний о диалектическом методе и его приложениях в современной физике, сделанных в 1931 г. Яков Ильич представил вариант такого заявления, но он показался недостаточно покаянным и одобрен парткомом не был; ему предложили написать другой вариант. Он на это не пошел, и такой документ составлен им не был.

Я припоминаю в то время только два-три публичных (но, конечно, не в печати!) выступления в защиту отца, в частности — профессоров Политехнического института А. А. Горева, Л. Н. Добрецова, М. П. Костенко и доцента А. Р. Шульмана. Отказ от выступления на такого рода собраниях, молчание — и это уже воспринималось как поступок со знаком «плюс».

Особенно огорчили отца резкие выступления против него младшего коллеги по Физико-техническому институту, профессора Д. Н. Наследова, принятого в нашем доме (если воспользоваться несколько архаичным выражением) еще с довоенных лет. В июне 1950 г. он опубликовал в «Ленинградской правде» статью, в которой повторял обвинения, сделанные им и некоторыми другими физиками (увы, среди них был и А. Ф. Иоффе) в адрес Якова Ильича. Я читал эти материалы несколько раз. Ну, во-первых, в свежем номере газеты — нас они тогда возмутили, безумно жалко было отца, да и беспокоились мы за него. Затем — году в 1963—64-м, готовя книгу об отце. Уже тогда мне было трудно себе представить, что концовка этой статьи: «Советские физики, как и все советские люди, понимают и ценят заботу Партии о них, заботу величайшего ученого нашей эпохи, нашего вождя и учителя товарища Сталина. И мы великолепно понимаем, что именно потому, что нами руководит такой гений человечества, как Иосиф Виссарионович Сталин, советским ученым и техникам удалось столь быстро создать новую технику... Ему, вождю народов товарищу Сталину, великой партии большевиков мы благодарны за те необыкновенные условия для развития, роста советской науки, которые у нас созданы» — воспринималась, естественно, как примелькавшаяся и обязательная норма для такого рода публикаций.

Прошло еще несколько лет. В 1973 г. я готовил статью об отце для одного из американских журналов по истории науки. Мне подумалось, что ряд американских физиков в свое время откликнулся в периодической печати на юбилейную сессию Академии наук 1945 года (так, например, как это сделали их английские коллеги). Оценку научного вклада Якова Ильича в разные области физики мне казалось уместным дать в этой статье в их изложении: я надеялся их найти в такого рода публикациях. Отправился в хорошо мне знакомый богатый зал справочной литературы Библиотеки Академии наук СССР. Сотрудница практически сразу же принесла мне несколько толстенных томов библиографии американской периодики того времени. Они были оснащены всевозможными указателями, облегчающими поиск, в частности, и указателями имен. Я собирался в нем поискать имена членов американской делегации на сессии 1945 года, но заодно, по уже сформировавшейся привычке, посмотрел заветную букву «Ф». К своему удивлению, нашел фамилию отца — ссылка вела к известному журналу «Science Letters» («Новости науки»). Журнал имелся в библиотеке, я тут же его выписал и в тот же день просмотрел. В номере от 16 сентября 1950 года была помещена небольшая — на страничку — информация, озаглавленная: «Выговор советскому физику». Начиналась она так: «Русские преследуют крупнейшего своего физика-теоретика за то, что он является „носителем

[1] Я приведу здесь только два отзыва о «Волновой механике» Якова Ильича. Одно из них принадлежит Р. Фейнману; оно было высказано в личном письме ко мне, а затем, с его разрешения, я включил это суждение крупнейшего теоретика нашего времени в свою статью об отце. Фейнман написал мне: «Когда я был студентом, великолепные книги (great books) Вашего отца по волновой механике оказали на меня сильное и глубокое влияние». О другом я узнал совсем недавно: вспоминая 1941 год и свой многодневный путь из Москвы в эвакуацию, в Ашхабад, А. Д. Сахаров писал: «В Муроме мы провели десять дней в ожидании эшелона. Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле — читая книги Френкеля по квантовой («волновой») механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял».

идеалистических утверждений", „отрицательно относится к диалектическому материализму", а в своих трудах иногда выполнял роль рупора взглядов буржуазных физиков. Этой последней жертвой „марксистско-ленинской теории" является д-р Я. Френкель, признанный глава (top man) теоретической физики и квантовой механики. Работа д-ра Френкеля предположительно может быть связана с созданием русской А-бомбы (атомной бомбы.— *В. Ф.*), хотя американские коллеги, которые знают и восхищаются его работами, и не уверены в правильности этого предположения».

Далее в статье я неожиданно обнаружил краткое изложение публикации Наследова из «Ленинградской правды», ей давалась резко отрицательная оценка; указывалось, что, очевидно, в советской физике готовится нечто вроде того, что было ранее сделано Лысенко в биологии. И добавлялось, что все эти данные почерпнуты из перепечатки статьи Наследова в одном из свежих номеров другого известного американского журнала — «Physics Today» («Физика сегодня»). Подшивка этого журнала за 1950 г. также имелась в библиотеке, и спустя еще какое-то время мне его выдали в читальном зале. И действительно, в сентябрьском номере этого журнала (за 1950 г.) под рубрикой «Вести из-за рубежа» и под заголовком «Физика в СССР» была помещена статья Наследова из «Ленинградской правды» — без всяких комментариев, поскольку редакция журнала, видимо, и не без оснований — полагала, что комментарии здесь излишни. Так я прочел эту статью в третий раз — уже по-английски. Этот эффект чтения смутно, в общих чертах запомнившегося текста, на иностранном языке (к этому добавились еще несколько прошедших с середины 60-х годов лет) — произвел сильнейшее впечатление. Его абсурдность, бессмысленность, обида за отца — эти чувства меня буквально захлестнули.

В то время Д. Н. Наследов был жив, продолжал работать в ФТИ в качестве заведующего большой лабораторией. Мы встречались с ним — в основном в коридорах института, и видел его на разных семинарах и заседаниях. Вначале мне захотелось «уколоть» его — подарить снятую со статьи ксерокопию: еще одну добавку в «список научных трудов», причем добавку, напечатанную в престижном зарубежном журнале. В это время публикация в таких журналах была отнюдь не зазорной. Но Наследов был уже стар, выглядел плохо, словом,— от такой «мести» я отказался.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СТАТЬИ

В 1949 году научная общественность мира должна была отметить 70-летие со дня рождения Эйнштейна. В США, где с 1933 г. в эмиграции жил великий физик, было решено издать специальный сборник работ, к участию в котором привлекли ведущих физиков и философов мира. Сборник назывался: «Альберт Эйнштейн, ученый и философ». Замечательную статью автобиографического характера написал для этого тома и сам юбиляр. Из Советского Союза к участию в сборнике его редактор, профессор П. Шилпп, пригласил Л. Д. Ландау и Я. И. Френкеля. Отец с большим энтузиазмом отнесся к этому предложению, тем более что несколько ранее, кажется, с 1946 г., начал размышлять о путях выхода из ряда фундаментальных трудностей, стоявших тогда перед квантовой механикой. Он полагал, что путь их преодоления должен лежать в рамках полевой теории материи, которую начал разрабатывать. Эти вопросы тесно переплетались с проблемами философскими (причинно-следственные отношения в новой квантовой механике, статистическая причинность и т. д.), т. е. как раз с теми вопросами, которые на протяжении многих лет упорно и глубоко исследовал Эйнштейн.

Отец написал свою статью по-английски, ее перепечатала мама, Шилппу он сообщил, что в ближайшее время перешлет английский текст. Английский историк науки д-р П. Хох переслал мне ксерокопию телеграммы, которую отец отправил Эйнштейну в день его 70-летия (14 марта 1949 г.): «Примите мои сердечнейшие поздравления, глубочайшее восхищение, самые добрые пожелания. Собираюсь послать Вам свою статью на русском языке и английский ее перевод в июне. Френкель». Надо вспомнить, что это был уже 49-й год, развернулась широкая кампания борьбы против космополитизма, преклонения перед западной наукой и т. д. Словом, Якова Ильича уговорили, прежде чем отсылать статью в США, как-то обезопасить себя от возможных последующих обвинений. Он принял такое решение. Поскольку В. М. Молотов в 1944 г., т. е. всего за 5 лет до описываемых событий, помог отцу переправить в Англию рукопись «Кинетической теории жидкостей», отец обратился к Молотову с письмом, в котором просил поддержки в пересылке статьи для юбилейного эйнштейновского сборника. К сожалению, его копии у нас нет.

Надо сказать, что отцу, наверное, пришлись бы по вкусу строчки Пастернака: «Не надо заводить архива, Над рукописями трястись». Он не оставлял у себя вторых экземпляров отправляемых им, даже важных, писем еще и потому, что писал практически всегда от руки. Письма к себе от коллег, однако, хранил, но все довоенные письма — от Эйнштейна (несколько писем), Эренфеста, Бора, Паули, Дирака, Бриллюэна, Жолио — погибли во время блокады, а после войны переписка с иностранными коллегами быстро угасла. То немногое, что мне удалось собрать, получено из архивов — зарубежных и советских или непосредственно от адресатов отцовских писем.

Конечно, можно было бы найти указанное письмо В. М. Молотову в архиве МИДа, но существо его я помню хорошо, так как в свое время, до отправки, читал его.

Молотов переправил письмо Якова Ильича своему заместителю — А. А. Громыко. Как-то вечером, когда мы все собрались в кабинете отца, зазвонил телефон и «барышня» с междугородной станции сообщила, что проф. Френкеля вызывает Москва. Затем уже другая «барышня» — секретарь Громыко — соединила его со своим шефом. Точно содержания отцовской «составляющей» я не помню, но помню, как он, повесив трубку, удовлетворенно сказал: «Ну вот, все в порядке. Возражений против отправки нет!» Мама уточнила: «Он так и сказал?» Отец ответил: «Он сказал следующее: „Профессор Френкель, статья эта Ваша и Вы вправе ею распоряжаться так, как Вам хочется. Мы, однако, не советовали бы ее публиковать"».

Мы начали убеждать отца, что это и есть мягко высказанный отказ, но он упирал на первую часть разговора («Вы вправе...»), стоял на своем и даже рассердился на нас, когда мы продолжали отстаивать свою — казавшуюся нам очевидной — трактовку.

Мама тогда прошла в соседнюю комнату, где стоял параллельный телефонный аппарат, и, не говоря об этом отцу, позвонила его младшему товарищу по Физтеху, проф. С. Е. Бреслеру. Быстро обрисовав ему ситуацию, она попросила его сразу же приехать, несмотря на относительно позднее время. Семен Ефимович жил сравнительно близко от нас и вскоре, к удивлению Якова Ильича, оказался у нас. Он не скрывал звонка матери. Помню его фразу: «Старик (так он дружески называл отца, которому в то время было 55 лет), Вы сошли с ума!» Якова Ильича уговорили, взяли с него честное слово, что не отправит статьи.

Слово он сдержал, но, конечно, было это ему ужасно досадно. Досадно и больно и мне, рассматривая сейчас этот великолепно изданный том (из широко известной «Библиотеки современных философов»), сознавать, что Якова Ильича нет среди плеяды его авторов!

Кое-какие параграфы этой своей статьи отец сумел опубликовать в 50—51 гг. на страницах журнала «Успехи физических наук», но без указания на то, что это — выдержки из несостоявшейся «эйнштейновской» статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1951 г., ближе к лету, состояние здоровья отца сильно ухудшилось. Во время отпуска, в июле, он узнал, что без согласования с ним тогдашний директор ФТИ А. П. Комар, в 1950 г. назначенный на эту должность вместо основателя института А. Ф. Иоффе, уволил одну из сотрудниц руководимого отцом теоретического отдела. Яков Ильич пытался ей помочь, рассылал телеграммы — ничего не получалось. Вернувшись в Ленинград, возобновил работу и начал читать лекции в Политехническом институте, но в середине сентября был вынужден впервые в жизни взять бюллетень. Плохое самочувствие усугубилось тем, что он, поднимаясь в автобус, сорвался с подножки и порвал себе ахиллесово сухожилие, после чего был вынужден ходить, опираясь на палку. Вместе с мамой они уехали в Репино и жили там недели три-четыре в одном из санаториев. Нападки на отца прекратились: я думаю, что в ФТИ (где большинство сотрудников его любили и ценили) понимали, в каком состоянии он находится. А может, мы, озабоченные нездоровьем отца, просто об этом не знали, перестали этим интересоваться.

Он скончался в ночь на 23 января 1952 г.

* * *

Мне бы не хотелось, чтобы после прочтения этих страниц у читателей возникло впечатление, что жизнь отца была сплошной чередой гонений и неприятностей. Я позволю себе привести здесь несколько фраз, заключающих мою книгу: «Яков Ильич был счастливым человеком. Он любил свою Родину, любил свою науку. Природа щедро наделила его талантом, который еще при жизни получил всеобщее признание и принес ему мировую известность (...) Можно по-хорошему позавидовать такой судьбе!»

Та сторона его научной жизни, которая сконцентрированно представлена в этих заметках, не была доминирующей в его жизни, главным в ней было научное творчество, приносившее ему удовлетворение и радость. Это справедливо и для последнего, послевоенного периода, когда соответствующий мотив стал звучать все более тревожно и сильно. Достаточно сказать, что за этот период им было написано 6 книг [1], опубликовано более 80 статей, он продолжал работать с учениками, аспирантами, летом отдыхал, в течение рабочего года приобщался к культурной жизни страны и города, сам много рисовал, играл на скрипке. Выбор приведенного выше материала определялся тем, что он долгие годы

[1] Уже после смерти Якова Ильича мы узнали, что еще в 1950 г. в США переиздали оба тома его «Волновой механики».

оставался под запретом: даже в 1986 году, когда в Академии наук вышло второе издание «Воспоминаний» об отце, ряд острых характеристик времени, особенно послевоенного, был — по согласованию с авторами — все же изъят из их статей. Времена сейчас счастливо переменились, и мы узнаем не лакированные, приглаженные, а истинные биографии наших современников.

Отец часто повторял полюбившееся ему замечание А. И. Герцена (кажется, из «Былого и дум»), звучавшее, сколько я помню, так: «Объективности я требую от врагов, от друзей я ожидаю пристрастия». В моем случае, однако, принять этот нравственный завет возможным не представляется. Опубликовав ряд материалов об отце, я практически никогда не позволял себе давать оценок его поступкам, а тем более значимости его научных работ — излагая существо этих работ и рассказывая о его поступках, подкрепляя написанное цитатами из его писем, докладов, других документов, из мемориальных статей о нем, книг по истории науки или из устных рассказов. Этим я старался ограничить свое понятное пристрастие.

Поначалу я хотел закончить эти заметки представлением некоторого мозаичного портрета Якова Ильича, «выложенного» из высказываний авторов «Воспоминаний» о нем. Однако это заняло бы много места. Я бы считал большой для себя удачей, если просмотр моей публикации побудил бы ее читателей обратиться к этой книге. А закончить мне представляется уместным фразой об отце, принадлежавшей его товарищу и коллеге — П. Л. Капице: «Я никогда не встречал таких добрых людей». Она была высказана в частной беседе, а затем, с разрешения Петра Леонидовича, опубликована мною. Именно доброта (как непреходящая духовная ценность) в сочетании с отпущенным отцу талантом во многом определила ту роль, которую в 20—40-е годы он сыграл в развитии самой физики и создании — вопреки всем препятствиям — нравственного климата, без которого такое развитие было бы затруднено и заторможено.



Борис Зотов

ВТОРАЯ ТАЙНА «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Самая жгучая тайна «Слова о полку Игореве», которая до сих пор вызывала множество научных споров,— это имя автора великого памятника древнерусской литературы. Системно-методологический анализ текста позволил с достаточной определенностью решить эту задачу и доказать, что автор «Слова...» — Кирилл Туровский. С момента опубликования работы («Вопросы истории», 1988 г.) этот вывод серьезно не оспаривался.

Естественно, возникло желание с помощью того же системного подхода решить и вторую по значению тайну «Слова...» — раскрыть наконец любителям отечественной истории маршрут Игоревой рати и место последней битвы с половцами. Изучив десятки гипотез (авторов различных вариантов нахождения Каялы даже в кратком обзоре назвать затруднительно. Вот хотя бы основные: Карамзин, Глухов, Аристов, Бутков, Кудряшов, Ваденюк, Лонгинов, Афанасьев, Федоров...), я убедился, что большинство исследователей ограничивается при анализе всего одним-двумя критериальными признаками. Так, существует «днепровско-дунайский вариант» (автор — академик Б. А. Рыбаков). На чем он основан? На плаче Ярославны и ее, Ярославны, галицком происхождении. Остальные факты отметаются или трактуются чрезвычайно вольно. Скажем, не укладывается в схему Дон, так как великая река объявлена Донцом, и т. д. А ведь именно в «Слове...» Игорь мысленно мерит расстояние от Великого Дона до Малого Донца; перепутать, совместить эти названия просто невозможно.

В рамках системного подхода необходим объективный учет всей совокупности исторических, военных, экономических, географических, археологических и других имеющих отношение к делу сведений. Только так можно обойти острые углы явных разночтений и даже противоречий в описании похода Игоря первоисточниками, которые сбивают с толку уже не первое поколение исследователей (разброс — около семисот тысяч квадратных километров).

Для начала уточним взаимоотношения между противоборствующими сторонами и типовые ратные маршруты эпохи «Слова...».

РУСЬ И СТЕПЬ В XI—XII ВВ.

Население южнорусских степей складывалось под влиянием Востока. Гигантский расовый котел, кипевший в Заволжье, периодически выплескивал в Северное Причерноморье очередную генерацию скотоводческих племен. До половцев здесь кочевали печенеги, ясы, торки. Как и половцы, это были народы тюркского происхождения с нечетко выраженной государственностью.

Половцы разгромили отряды своих предшественников и заняли степное пространство от Дона до Днепра и от Черного и Азовского морей до Северского Донца и реки Самары. Есть сведения, что некоторые племена так называемых «диких» половцев кочевали и за Доном. В 1055 году половцы (кумане, кипчаки) совершили свой первый набег на Пере-

---

Зотов Борис Иванович (род. в 1933 г.) окончил Военно-инженерную академию им. В. Куйбышева. Автор книг «Цветы горьких трав», «Повесть о Митрофане Терскове», «По следам золотого идола», «Происшествие на Невском», «Каяла» и др. Член СП СССР. Живет в Москве.

иславское княжество. В 1066-м набег повторился уже в более крупных масштабах. С тех пор за полтора столетия, точнее, до 1210 года, половцы совершили 74 крупных и множество мелких нападений на Русь. Из этого числа 28 раз половцев приводили враждующие между собой русские князья. Ну в 46 крупных опустошительных набегов состоялось без особого приглашения. Земли, территория степняков не интересовала, ее кругом было вдоволь. Военная добыча — другое дело. Ценности, имущество, церковная утварь, оружие, лошади и другой скот, да сами люди, рабы, живой товар — вот что требовалось половцам. В летописях появились горькие записи. Вот дае из многих, непосредственно относящиеся к всеизвестному Кончаку.

«Много зла створи крестьянам, одних плешина, а иных избиша, множайшия же избиша младенец» (1179 год).

«Пошел бяше окаянный и безбожный и треклятый Кончак со множеством половец на Русь, похупся яко пленити хотя грады Руские» (1184 год).

Летописцы не скупились на бранные эпитеты. Перед словом «половец» всегда почти ставилось «окаянный», «шелудивый», «лукаавый». Но соседей не выбирают. Русским князьям приходилось думать о безопасности и мирных способах защиты торговых путей и границ своих земель. Количество заключенных с половцами миров не уступает количеству битв. Только Владимир Мономах «мироа есмь створил с половечьскыми княжи без единого 20».

И все же и примирения, и многочисленные смешанные русско-половецкие брачные союзы не давали гарантии безопасности. Клятвы легко нарушались, а войны между родичами были обычным делом. Брат не щадил брата, сын шел против отца. Союзник превращался во врага. Как-то тмутараканский князь Роман Саятославич (1078—1084 гг.) нанял половцев для укрепления своих рядоа в борьбе против Всеволода. Но непрочный союзник тайком заключил договор со Всеволодом. Полоацы убили Романа, а его сына Олега продали в рабство.

Огромное значение для раскрытия тайны похода Игоря имеет изучение географии и характера боевых действий за все полтора столетия сосуществования Руси и половецкого Поля. Из 74 крупных набегоа половцев 19 пало на угловое, как бы выдвинутое в степь Переяславское княжество. Минимум 4 набега пришлось на отдаленное Рязанское княжество. Остальные нападения распределились между Киевом, Черниговом, Новгород-Северским. Нападавшие проявляли жестокость не только по отношению к населению — страдали и церковники. Так, 19 июня 1095 года половцы ворвались в святая святых Киевской Руси — в Печерскую обитель. Священники и монахи были перебиты, деревянные постройки сожжены, монастырь разграблен дочиста.

Русь ответила Полю 18 походами, причем первый сорганизовался не сразу после аозникновении угрозы с Поля, а лишь 40 лет спустя. По характеру эти походы можно разделить на две категории. Перааая — это попытка догнать половцев, угонявших людей и скот. Степняки искусно пользовались княжескими усобицами и нападали, как правило, на оголенные, оставшиеся без защиты города и веси. «А половцы землю нашу несут розно и ради суть, оже межи нами рати» (1097 г.). Поэтому приходилось организовывать преследование. Термин «отполонить», т. е. догнать захаатчиков и освободить плененных людей,— а летописях двенадцатого века один из самых ходовых. Походы второй категории связаны с разбойными нападениями половцеа на купеческие караваны. Дон, Днепр и Дунай представляли собой важнейшие торговые аорты, их приходилось защищать. Подчас русские полки стояли весь сезон у днепровских порогов, обеспечивая проход так называемых «гречников» — купцов с товарами на ожиаленном пути «из варяг в греки».

Нажим Поля на внешние коммуникации Руси усилился в Игоревы времена. В 1167 году князь Мстислаа Изяславич держал такую речь:

— Братья! Пожалейте о русской земле, о саоей отчизне и дедине: ежегодно половцы уводят христиан в свои вежи, клянутся нам не воевать и вечно нарушают клятву, а теперь уже у нас все торговые пути отнимают.

КУДА И ЗАЧЕМ ШЕЛ ИГОРЬ?

Чем же был поход Игоря? Второстепенным пограничным эпизодом, импульсивной полководческой промашкой своевольного феодала? Или же смелой и широко задуманной операцией с далеко идущими целями?

В «Слове...» есть прямые и ясные указания на значительную удаленность финальной части похода от границ Руси, оставшейся, как сказал автор, «далече за шеломянем». Вот примеры: «Ольгово хороброе гнездо далече залетело», «Далече зайде Сокол, птиц бья — к морю», «Черные тучи с моря идут». И уже совсем определенное — «а поле незнаеме, среди земли Половецкия». Стало быть, о пограничном эпизоде речи нет.

По тексту «Слова...» разбросан ряд точных сведений о намерениях Игоря и о крупных географических ориентирах, фиксирующих район его интересов. В соаокупности они

весьма красноречивы: «искусити Дону Великого», «да позрим Синего Дону», «главу свою приложити, а любо испити шеломом Дону», «на реце Каяле у Дону Великого», «половцы идут от Дона и от моря», «стрелами с Дону Великого»... Наконец, совсем конкретное: «поискати града Тмутороканя, а любо испити шеломом Дону».

Нелишне отметить прозорливость автора поэмы, будто услышавшего отголоски будущих споров аокруг похода: эпитетом «Великий» он отсекал версию о том, что за Дон при желании можно попытаться выдать его приток Малый, или Северский, Донец, который ну никак не «тянет» на величественность.

Если обратиться к статистике и подсчитать количество обращений, сделанных в «Слове...» к различным географическим названиям, то ряд будет выглядеть так: Дон (Великий) — 15, море — 12, Каяла — 6, Киев — 6, Донец (Малый) — 4, Тмутаракань — 4, Чернигов — 3, Сула — 3. Остальные не более двух раз.

Есть в «Слове...» и лобовое указание: «Игорь к Дону вои ведет». Оно подтверждается соответствующей летописной записью «мниха Лаврентия». Правда, Ипатьевский список о Доне умалчиает и повествует лишь о Кяале и море, в котором «истопоша» часть Игоревой рати. Дон, море, Каяла во всех источниках стоят на призовых местах, оспариввть это невозможно.

О море стоит сказать подробнее. Исследоаатели, разыскивающие Каялу за сотни километров от моря, обычно ссылаются на то, что в древнерусской литературе морями довольно часто называют и озера. Понимая, что термин «море» может относиться лишь к достаточно крупным водоемам с непросматриваемым противоположным берегом, которых в бассейне Северского Донца нет и не было, они приводят примеры весенних половодий, когда «реки разливаются морями», достигая а ширину многих километров и создавая иллюзию морского простора.

Однако гидрографические данные показывают, что в данном регионе а первой половине мая все реки имеют уже установившийся, меженный уровень. Конечно же, год на год не приходится, и можно допустить, что в 1185 году весенний паводок был сильнее и произошел позднее обычного. Но что из этого следует? Только то, что поход в это аремя вообще не мог состояться: разлившиеся ледяными «морями» десятки рек (среди них полдюжины значительных) стали бы непреодолимыми преградами.

И еще о морях-озерах. Ипатьевский летописец, повествуя о битве, упоминает кроме моря еще и озеро. Для него это разные объекты: озеро — небольшой водоем, «вкруг» которого шел Всеволод; «аокруг» моря не пойдешь... В знаменитом плаче Ярославны есть слова «в поле безводне», определенно указывающие на маловодную приазовскую степь.

Подведем некоторые итоги. Поход полков группы князей во главе с Игорем не следует считать ааантюрой, набегом на беззащитные кочевья полоацеа с целью заурядного феодального грабежа. Не будем идеализироаать Игоря: ясно одно — он сумел создать довольно крупный военно-политический союз ряда княжеств. Хотя черниговские и новгород-северские земли в те времена выставляли порой на поле брани свыше 20 тысяч воинов — примерно в полтора-даа раза больше, чем отправилось а поход 1185 года,— не стоит забыаать, что а нем участвовала исключительно конница. Ни в одном из источников нет сведений о пеших полках, да и сам характер похода, рассчитанного на быстрые действия против чрезвычайно мобильных степнякоа, требоаал высокой подвижности наступающих сил.

Было бы наивностью думать, что союз князей стал возможным только благодаря родственным связям его участников и организаторскому опыту Игоря. Настойчивость, с которой князья во главе с Игорем устремлялись к Дону еще до похода 1185 года и после него, говорит о других, более глубоких основах этого союза. Экономические и политические интересы князей, не имевших выхода к Днепру, были обращены на юго-восток, на сухопутное ответаление аажнейшего торгоаого пути «из варяг в греки» и на удобные аодные пути по Сеаерскому Донцу, Дону и Синему (впоследствии Азовскому) морю, к богатому товарами Востоку, к Сурожу и заветной Тмутаракани. На тмутараканское княжение Игорь к тому же имел бесспорные наследственные праaа.

Тут надо вспомнить деда Игоря по прямой, отцовской, линии — Олега Святославича, князя Тмутараканского. В 1097 году решением Любечского княжеского съезда Тмутаракань была закреплена за наследниками Святослава, т. е. за Олегом и его потомством. Известное изречение «у Англии нет ни аечных союзников, ни вечных врагоа, а есть лишь вечные интересы» можно отнести и к Древней Руси. У Игоря торговые и военные интересы скрещивались на путях, ведущих к его законной дедине.

Становится еще более понятным, почему Игорь столь неохотно участвовал в совместных с киевскими князьями боеаых действиях, а то и игнорировал их. В свою очередь, киевский великий князь Святослав был озабочен собственными проблемами и боролся с полоацами, имея в виду прежде всего обеспечение безопасности плавания торговых караванов по Днепру. Более того, Саятослаа не хотел преследовать разбитых половцеа и очищать от них Приазовье. Ведь в этом случае Тмутаракань доставалась его политическому сопернику — Игорю. А в том, что Святослаа сам имел виды на Тмутаракань, не приходится сомневаться — несколькими годами позднее он грозил аойной князьям рязан-

ским, выставившим права «на некоторые волости тмутараканские». Очень возможно и такое: узнав о походе Игоря, именно Святослав дал знать об этом половцам, поскольку крупная победа новгород-северского князя и овладение им Тмутараканью могли пошатнуть великокняжеский престол.

Таким образом, в сепаратизме Игоря и его союзников проявились объективные феодальные центробежные силы, закономерно приведшие Киевскую Русь к развалу всего через несколько десятилетий. Действия Игоря можно критиковать (восемь веков спустя это легко), но принижать их значение нет оснований.

Значение похода, масштаб его задач убедительно доказывает отечественная история: поражение Игоревой рати настолько ослабило Русь, что немедленно начались нападения на русские земли, осада городов, разграбления сел.

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ И ЕГО СКОРОСТЬ

За год до похода, в 1184 году, киевский князь Святослав нанес половцам очень крупное поражение за рекой Орелью, разгромив пятидесятитысячное войско при 97-ми князьях. Только в плен было взято при этом более семи тысяч человек.

За два месяца до похода Игоря, 1 марта 1185 года, Святослав победил Кончака за Хоролом, взяв 6000 пленных. После этого состоялся еще поход берендеев, разгромивших вежи половецкие в низовьях Днепра.

Игорь, конечно, понимал, что сложилась обстановка, благоприятная в военном отношении. У него были все основания сделать вывод о том, что силы противника подорваны и что достаточно еще одного внезапного, быстрого и решительного удара сравнительно небольшой, но подвижной и хорошо вооруженной рати, чтобы довершить разгром половцев и добиться осуществления поставленных задач.

Заметим, что русские рати, по летописным данным, были способны успешно действовать против численно превосходящего войска кочевников.

В «Слове...» имеются лишь общие указания о направлении, в котором двигалась Игорева рать: «половцы неготовыми дорогами побегоша к Дону Великому», «Игорь к Дону вои ведет», «Русская земля уже за шеломянем еси», «Гзак бежит серым волком, Кончак ему след правит к Дону Великому». Эти указания свидетельствуют о том, что Игорь действительно, как и было им задумано, двигался к Дону, далеко удалившись от границ русской земли.

Основная сухопутная дорога, кратчайшим и удобным путем связывающая район Новгород-Северский — Чернигов — Путивль с Тмутараканью, проходит через современные города Харьков, Изюм, Красный Луч, Азов. Расстояния, измеренные (по дорогам) по точным современным картам, равны: от Путивля до Изюма, т. е. до границ Половецкой земли, 382 км, от Изюма до низовьев Дона — 263 км, что составляет в сумме 645 км.

Всеволод, который вел свой полк из Трубчевска через Курск, воспользовался короткой дорогой, идущей в район Изюма долиной реки Оскол. До устья Оскола на Донце имеется множество мест, удобных для быстрой переправы войск. Ширина реки здесь не превышает 50—60 метров, глубина на мелях и перекатах — около 1 метра. Тмутараканская дорога идет от Изюма на юго-восток и пересекает сначала небольшую реку Тор, а затем Дон в его низовьях. Именно здесь водная преграда преодолима, потому что приходится последовательно переправляться через ряд проток и русл, причем ширина главной протоки во многих местах не превышает 150 м, а глубина — 1,5 м. Весеннее половодье в бассейне Дона проходит в марте — первой половине апреля, и к началу мая все реки имеют нормальный уровень воды.

Приведенные выше данные относятся к 19 веку, других просто нет. «Книга Большому Чертежу», составленная в 17 веке, подтверждает наличие в районе Изюма колесного брода через Донец. Далее известно, что в конце апреля — начале мая в южных степях уже имеется подножный корм для лошадей, что могло позволить Игорю отказаться от громоздкого и малоподвижного колесного обоза и обойтись легким вьючным.

Все эти батальные детали свидетельствуют о тщательном планировании рейда, о правильности выбора Игорем времени его начала.

Итак, Игорь двигался по старому большаку Путивль — Изюм — Тор — Дон (не потому ли всякую наезженную, нахоженную дорогу стали называть «торным путем»?). Половцы каким-то образом узнали о наступлении, их обозы под прикрытием ночи пытались уйти к Дону малоезжеными, второстепенными дорогами. В «Слове...» об этом говорится так: «А половцы неготовыми дорогами побегоша к Дону Великому». Стало быть, была и «готовая» дорога. Все сходится.

...Вопрос о скорости движения войск Игоря — первостепенной важности. Исходные данные на этот счет есть. Ипатьевский список отмечает начало похода 23 апреля, после Пасхи, во вторник; Татищев постулирует другую дату — 13 апреля. Далее, считается твердо установленным, что 1 мая 1185 года действительно состоялось солнечное затмение. По летописным данным, затмение наблюдалось при подходе Игоря к Донцу, после чего Игорь с войском вышел к реке Оскол и здесь два дня ожидал брата Всеволода, который шел из Курска «иным путем».

В дальнейшем объединенные силы выдвинулись к реке Сальнице, где встретились с разведкой, доложившей о том, что половцы, видимо, уже предупреждены о походе русских; князья приняли решение ускорить наступательное движение, дабы не до конца растерять преимущество внезапности. Бросок к реке Суурли, преследование разбитых половцев, а на следующий день — битва в окружении, которая оканчивается на Каяле к полудню следующего дня, т. е. 5 мая, во второе воскресенье после Пасхи,— вот основные события.

Для определения местоположения этих рек, отсутствующих на современных картах, собственно, и требуется внести полную ясность в вопрос о скорости движения войск Игоря.

Скорость движения войск в войнах той эпохи в значительной степени зависела от многих обстоятельств: местности, времени года и суток, погодных условий, от состояния дорог, от состава войск и степени их втянутости в поход, от конкретной тактической обстановки и т. д.

Средний темп движения колеблется в пределах от 20 до 30, при относительно коротких походах — до 35 километров в сутки.

Длина среднесуточного перехода для пехоты составляет 35—45, для кавалерии — 45—55 км. Длина форсированного перехода соответственно равна 50—60 и 65—80 км.

При обычном переходе число часов движения равно 7—9, а при форсированном — 10—12. Через каждые два-четыре перехода войскам обычно дается однодневный отдых. Таковы общие данные.

Что касается уникальных марш-бросков, то они продолжаются в течение 16 и больше часов.

Газета «Красная Звезда» 4 августа 1946 года сообщала, что стрелковая часть со всем оснащением за 19 часов в трудных условиях совершила пеший переход длиною 80 км.

По 70 км за переход преодолевали пехотные полки Суворова и римские легионы под командованием Юлия Цезаря.

Известен рейд конницы генерала Плиазантона в войне 1861—1865 гг. в Северной Америке, когда за сутки было пройдено 136 верст.

Владимир Мономах в своих «Поучениях» утверждает, что он с дружиною в один день из Чернигова поспевал в Киев «до вечерен». По современной дороге это составляет 145 км.

Эварницкий в «Истории запорожских казаков» называет такие цифры: для конных полков от 80—120 верст в один переход.

Наконец, в «Книге Большому Чертежу» указано, что от Царева Града (в устье Оскола) до Перекопа «быстрою ездою ехати 5 дней, а с телегами ехати недели две». По Муравскому шляху это составляет 600, а птичьим кратчайшим путем — 450 км, т. е. никак не меньше 90—120 км в сутки (с телегами — 35—45 км).

Войско Игоря было конным, следовательно, вполне возможно, что отдельные переходы составили 80 и более километров.

Сопоставим данные проведенного анализа с расстоянием в 645 км от Новгород-Северского до Азовского моря. Мог ли Игорь действительно добраться до устья Дона за время с 22 апреля до 5 мая? Очевидно, мог: конному войску в среднем предстояло проходить 46 км за сутки. Но статистический подход дает лишь общий абрис этой проблемы. Нужен более точный динамический пространственно-временной анализ похода с учетом опорных дат и географических точек.

ДИНАМИКА ПОХОДА

Календарный план похода, реконструированный по летописным данным, не соответствует указанным в тех же летописях опорным датам. В самом деле, 1 мая вечером Игорь подходил к Донцу, потом пошел к Осколу, где два дня простоял в ожидании брата Всеволода, которому из Трубчевска через Курск действительно удобнее и ближе было идти вдоль этой реки. Но от Донца до Оскола Игорь мог дойти, даже совершив сверхфорсированный переход, лишь к исходу 2 мая. 3 и 4 мая он провел в ожидании брата, а 5 мая, в воскресенье, уже «пали стязи Игоревы». Таким образом, на движение к Сальнице и все последующие бурные события, красочно описанные в «Слове...» и летописях, просто не остается времени.

Поэтому приходится брать более надежную точку отсчета времени. Такой точкой, на наш взгляд, является 5 мая, второе воскресенье после Пасхи. Привязка к религиозным праздникам наиболее точна: перепутать такие даты летописцы 12-го столетия не могли.

5 мая как дата события, оставившего глубокий след в сознании современников, и должно рассматриваться наиболее достоверным числом, позволяющим восстановить календарь событий. Это удобнее делать в ретроспективе.

Итак, 5 мая, воскресенье,— день пленения Игоря. 4 мая, суббота,— бой в окружении

и неудачная попытка пробиться назад, к Донцу. 3 мая, пятница, «во время обедне» — удачный бой на Суурли и преследование половцев до глубокой ночи.

2 мая, четверг,— выход на реку Сальницу, встреча с разведкой, доложившей о том, что половцы уже извещены о походе русских, и принятие решения ускорить движение — осуществить ночной переход к Суурли.

1 мая, среда, вечер (твердо установлено, что именно в этот день было солнечное затмение) — переправа через Донец на участке Изюм — устье Оскола и движение вечером, ночью и утром к Сальнице.

Значит, ожидать брата Всеволода Игорь мог только в течение 30 апреля и первой половины дня 1 мая, никак не позже солнечного затмения. Становится очевидной ошибка летописца, торопившегося поведать читателю о солнечном затмении. Воспринимаясь как знак свыше, как провозвестник несчастья, оно оказало сильнейшее воздействие на воображение людей двенадцатого века, отсюда и ошибка. Отметим особо, что автор «Слова...» еще больше спешит рассказать о потрясающем небесном знамении и относит это событие вообще к самому началу похода!

Кроме того, очень и очень сомнительно, чтобы Игорь мог единолично решать вопрос (возникший в связи с затмением и ропотом напуганного войска) о прекращении похода до встречи с основным союзником — братом. Этот важнейший и общий для участников похода вопрос мог обсуждаться только 1 мая, после соединения войск Игоря и Всеволода.

Сверим даты теперь. Если 30 апреля Игорь дал войскам дневку у Донца в районе устья Оскола, а 23 апреля покинул Новгород-Северский, то он должен был покрыть за 7 суток 482 км, делая в среднем 68 км за переход. Примеры подобных темпов в истории войн того времени имеются. Вспомним хотя бы девятидневный поход Мстислава в 1168 году, когда в день войска проходили по 55 км.

Заметим еще, что летописец указывает на «тихое» движение в начале похода для сбора войск в движении и постепенного втягивания конского состава в марш. По Татищеву, Игорь начал поход «идучи тихо, сжидаяся с войски, а наче видн, что кони были тучны». Следовательно, татищевская дата начала похода — 13 апреля — не должна отметаться без всяких оснований. Можно предположить, что верны обе даты: просто участники похода, со слов которых делали записи летописцы, назвали началом похода его разные фазы.

13 апреля мог состояться выход в поле авангарда дружины Игоря; к его бивуаку стягивались в течение, скажем, первых двух-трех дней войска из ближних уделов, затем и сам Игорь двинулся на Путивль, часто останавливаясь для приема и осмотра прибывающих союзных дружин.

В конце концов, начало похода многотысячной конной рати нельзя уподоблять старту велосипедной гонки: выстрел, и секундомер пущен. По всей вероятности, 23 апреля есть начало второй фазы похода, т. е. начало движения основного ядра Игоревой рати. Эта фаза могла начаться где-то в районе юго-восточнее Путивля, и тогда без особого напряжения Игорь мог за неделю выйти в район рандеву с братом и полком ковуев, после чего войско оказалось уже в полном сборе.

Уточнив скорость и календарный план движения войск, вернемся к вопросу о реке Сальнице, которая, как мы уже предварительно выяснили, должна находиться в одном переходе от устья Оскола на основном маршруте. Опытный полководец, Игорь, естественно, использовал время стоянки на Осколе для ведения разведки. Прежде всего нужно было прощупать, в соответствии с замыслом операции, главное направление — на юго-восток, к низовьям Дона. 30 апреля и 1 мая разведка углубилась на два перехода в половецкую землю на правобережье Донца, 2 мая она вернулась к Сальнице, где встретилась, как, очевидно, было заранее обусловлено, с основными силами, совершившими переход к той же Сальнице вечером 1 мая и в ночь с 1 на 2 мая.

Есть все основания полагать, что, переправившись на вражескую, половецкую сторону Донца, Игорь двигался форсированно. Тогда от Сальницы до Дона должно быть 3 форсированных перехода конницы. Есть другое важнейшее летописное сообщение, подтверждающее это обстоятельство. В 1111 году Владимир Мономах тоже стоял на Сальнице, имея сведения разведки о том, что противник накапливается на левобережье Дона и частью сил, идущих из земель «диких» половцев, еще переправляется через Дон. Мономах ждал подхода этих сил субботу, воскресенье и какую-то часть понедельника. Следовательно, с уверенностью можно сказать, что Сальница должна находиться между Осколом и Доном, причем расстояние до Оскола должно быть примерно в два с половиной — три раза меньше, чем до Дона.

Единственная река, удовлетворяющая этому требованию,— это Бахмут, правый приток Северского Донца. Слово «Бахмут» (лошадка) — татарского происхождения. Но татары появились здесь позже, в тринадцатом веке, значит, во времена Игоря река имела другое наименование. В «Книге Большому Чертежу» Сальница отождествлена с Сольницей и показана как правый приток Донца в районе Изюма, т. е. несколько выше Бахмута. Однако Сольница упоминается только в отдельных экземплярах «Книги», в других дошедших до нас экземплярах этого издания Сольница не значится. Остается предположить, что первые, «сигнальные», экземпляры были розданы специалистам для проверки и ошибочные записи перед печатанием основного тиража устранялись. Ведь в книге есть река «Бахмутова», и запись о Сольнице была попросту излишней. Отметим также, что именно на Бахмуте, а не в районе Изюма имеются издревле известные огромные соляные залежи, здесь всегда добывалась каменная соль в больших масштабах, и поныне один из населенных пунктов на Бахмуте носит название Соль.

Встреча с разведкой, вероятнее всего, произошла на Бахмуте в районе современного Артемовска, т. е. на основной дороге в 75—80 км от Оскола и в 190—200 км от Дона. Сведения разведчиков были таковы, что требовалось или ускорить движение, или возвращаться. Поэтому Игорь совершил форсированный поход к Суурли. За остаток дня 2 мая, за ночь со 2 на 3 и за утро 3 мая могло быть пройдено 65—80 км, и Суурли следует отождествлять с одним из притоков Миуса или Тузлова. Летопись подтверждает незначительность этой реки как водной преграды: ее переходили вброд, через нее стреляли и т. д.

В пятницу 3 мая начался бой на Суурли. В «Слове...» это событие отражено так: «С зарания в пяток потопташа поганые полки Половецкия». Преследование разбитого противника продолжалось до глубокой ночи. Пылкие молодые князья, выйдя из-под опеки Игоря, в погоне за славой и трофеями утомили свои полки, особенно конский состав, до крайней степени. Передовые отряды, по-видимому, в преследовании достигли дельты Дона. Берег западной протоки Дона — Мертвый Донец — на многих участках заболочен, поэтому, как сказано в «Слове...», русские вынуждены были бросить часть трофеев и «начаша мосты мостити по болотам и грязливым местам».

Ночлег Игоревой рати с пятницы на субботу должен был состояться в поле, примерно в 25—30 км к северу от места впадения Мертвого Донца в Азовское море.

Эта ночь прошла тревожно. В ходе боя были получены точные сведения о подходе основных, неожиданно крупных сил половцев. Стало окончательно ясным, что расчет на внезапность и быстроту действий не оправдался. Противник сумел своевременно собрать в кулак бóльшую часть половецких князей с их воинами и готов окружить полки русичей. Нужно было немедленно, используя ночь, отходить к Донцу; именно это и предлагал Игорь на совете князей. Но крайнее утомление значительной части войска, особенно лошадей, не позволило отойти своевременно. «Далече есмь гонил по половцех, а кони мои не могут»,— услышал Игорь.

РАЙОН ПОСЛЕДНЕЙ БИТВЫ. ГДЕ ИСКАТЬ КАЯЛУ?

О том, что последняя битва с половцами состоялась в непосредственной близости к двум крупнейшим географическим ориентирам — Дону и Синему морю, в «Слове...» имеется около двух десятков указаний. Синее море — это Сурожское море, позже названное турками Бахр-Азак, что в переводе означает «Синее море». Впоследствии название моря трансформировалось в Азовское.

Вот некоторые из указаний на близость Каялы к Дону и Азовскому морю. «Черные тучи с моря идут», «Идти дождю стрелами с Дону Великого», «На реце Каяле у Дону Великого», «Веют с моря стрелами», «Половцы идут от Дона и от моря и от всех стран».

Отсюда следует, что катастрофа произошла в районе, ограниченном с востока Доном, с юга — Азовским морем и с запада, вероятно, рекой Каялой. В самом деле, если в субботу утром Игорь с войском находился, как мы видели, в 25—30 км к северу от устья Мертвого Донца, то в течение дня он не мог уйти с этого места далеко. И вот почему. Русские были окружены и вынужденно вели сражение в пешем строю, ибо значительная часть конского состава еще накануне была измотана. Сколько же могло пройти русское войско за день 4 мая, пытаясь пробиться назад, к Донцу, если оно было окружено? Ведь войско подвергалось беспрерывному обстрелу и атакам противника. Очевидно, никак не больше одной трети обычного перехода пехоты. Таким образом, в самом лучшем случае могло быть пройдено 12—16 км.

Ночь застала поредевшую рать в безводной местности, в окружении. Пришлось продолжать движение с боем и ночью, так как останавливаться на ночлег в сложившейся обстановке было невозможно. Однако, вероятнее всего, направление движения изменилось. Дело в том, что до ближайших рек по основной дороге оставалось не менее 40—50 км, а недостаток воды наверняка уже давал себя знать. Гораздо ближе Тора или Донца, очевидно, была Каяла, и теперь войска двигались не на северо-запад, как раньше, а почти на запад, по направлению к современному Матвееву Кургану.

Сделаем маленькое отступление. «Каял» по-тюркски означает «вьющийся, извилистый». Многие исследователи интерпретируют слово «Каяла» как «каменистая». Действительно, северный берег Азовского моря местами достаточно высок для того, чтобы впадающие в него реки прорезали ущелья-каньоны с порогами, сужениями и т. д. Собственно, в рассматриваемом районе есть только одна река — Самбек.

Слово «Самбек», по-видимому, турецкого происхождения. В двенадцатом веке оно употребляться для географических названий здесь еще не могло. Остается предположить, что это и есть Каяла.

...В ночь с субботы на воскресенье русские воины продвигались еще медленнее, так как к этому времени их силы уже иссякали: шли третьи сутки боя. Вряд ли за ночь было пройдено более десяти километров. На рассвете дрогнул полк ковуев. Поскольку прямая дорога на северо-запад надежнее всего опекалась половцами, ковуям могло представляться, что легче прорваться на юго-западе,— там оставался шанс выйти на так называемую Изюмскую, т. е. восточную, ветвь Муравского шляха. По этой дороге уже не представляло трудности выбраться к Донцу.

Но ковуев, конечно, догнали, перерезали им дорогу к Муравскому шляху, оттеснили к морю и здесь истребили. Большинство ковуев, как сказано в Ипатьевской летописи, «в море истопоша». Сторонникам концепции, по которой Каяла находится в непосредственной близости от границ русских земель и потому «море» тождественно с «озером», следует обратить внимание на то, что летописец несколькими строками выше упоминания о море, в котором утонули ковуи, повествует об озере, подле которого сражался Всеволод. Таким образом, речь безусловно идет о разных объектах.

После ухода ковуев сражение распалось на отдельные схватки. Поэтому а воскресенье 5 мая существенного перемещения войск произойти уже не могло. Следовательно, местом последней битвы Игоревой рати с половцами следует считать район в 20—25 км юго-восточнее Матвеева Кургана.

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

О чем говорят археологические данные? Половецкие накурганные каменные изваяния 12—13 веков обнаружены по берегам Дона в нижнем течении и по левому берегу Днепра. Северная граница половецких стоянок может быть очерчена низовьями рек Псел и Северский Донец. В лесостепных районах за Осколом и в бассейне Донца выше Изюма половецких «баб» нет. Напротив, здесь обнаружены остатки укрепленных русских поселений 12 века (например, Холок на Осколе). Наивысшая плотность этих «баб» наблюдается у Днепровских порогов, на реках Самара и Тор, а также у места впадения реки Миус в Азовское море.

Таким образом, центр ареала обитания половцев — «среди земли половецкия» — находится в верховьях реки Миус, в 20—30 км от места гибели русских полков.

Для более точного анализа я дважды выезжал в этот район. «Вычисленный» за письменным столом маршрут совпал с современной автомагистралью № 13, ведущей в Ростов-на-Дону: цепочка древних курганов вдоль магистрали доказывает это. Сотрудники Новочеркасского краеведческого музея по моей просьбе обработали данные о находках оружия 12 века. На предполагаемом маршруте движения Игоревой рати плотность находок выше фоновой, и я получил документ, что моя гипотеза подтверждается археологическими сведениями.

Кроме оружия среди археологических находок 12 века есть дорогие китайские ткани — те самые «паволоки» и «аксамиты», о которых упоминает «Слово...». Есть сведения, полученные мной в музеях Чехословакии, о значительном поступлении китайского фарфора в этом же веке и, что примечательно, именно из-за Карпат.

В 1990 году Центральное телевидение демонстрировало многосерийный фильм «Великий шелковый путь». В нем прослежен караванный торговый маршрут из Китая в Европу через Среднюю Азию до Каспия. В дальнейшем маршрут разветвляется на два пути: один через Персию и Византию, другой, менее длинный, через низовья Волги и Дона. Об этом же говорится а журнале «Китай» (№ 12 за 1990 год). В этой связи становится понятным двукратное обращение в «Слове...» к таинственным «хинови». Очевидно, речь идет о китайских торговых караванах, проходивших через южнорусские степи и далее через Карпаты в Западную Европу с грузом шелка и фарфора.

В кладе, обнаруженном на территории Михайловского монастыря в Киеве, представлены шелковые ткани 11 видов [1]. Этот клад датируется как раз концом 12 века и является ценнейшим источником по внешнеторговым связям Древней Руси.

Шелковые ткани 12 века обнаружены также в Старой Рязани и при раскопках Очаковского городища в Киевской области. Богатый женский головной убор из красного шелка был найден на черепе в захоронении, расположенном рядом с саркофагом Ярослава Галицкого (Осмомысла). Нелишне вспомнить, что Осмомысл и его дочь Ярославна — герои «Слова...».

Мозаика Спасо-Преображенского Черниговского собора испещрена письменами той же школы, что была представлена в тмутараканском храме, построенном в 11 веке Мстиславом [2].

В Софийском Новгородском соборе обнаружен рисунок острым предметом (граффити) начала 12 века. На нем изображен храм с шлемовидными, луковичными куполами. Такие купола свидетельствуют об их восточном, а не византийском происхождении. В частности, шлемовидные навершия храмов характерны для Индии. Между тем ранее считалось, что «луковицы» появились на Руси несколькими столетиями позднее в связи с особыми погодными условиями, так как византийские купола — уплощенные сегменты сферы — не могли сами собой очищаться от снега. (Это мнение И. Э. Грабаря, высказанное в начале века, считалось незыблемым.)

Таким образом, летописные свидетельства и данные «Слова...» о половцах и о широких торговых и иных связях и интересах Руси, географически неотделимых от торговых путей Северного Приазовья, являющегося их главным связующим элементом, подтверждаются многочисленными археологическими сведениями.

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ НЕТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

Неожиданно для автора гипотезы от руководителя одной из групп московских экстрасенсов инженера И. Е. Кольцова поступило предложение проверить маршрут Игоревой рати методом так называемой биолокации. Не вдаваясь в суть этого метода, который я бы пока не относил к научно обоснованным, считаю возможным сообщить о результатах.

Независимые эксперименты, в том числе и с лицами, не знакомыми с изложенной в данной работе гипотезой, показали следующее. Маршрут движения полков Игоря совпадает с гипотетическим до Суурли, т. е. до водораздела рек Миус и Тузлов. Далее он разветвляется. Одна часть войска почти в точности следует по гипотетическому пути и гибнет всего в пяти-семи километрах к северо-востоку от района, определенного автором данной работы. Таким образом, гипотеза подтверждается методом биолокации. Однако экстрасенсы дают еще один район заключительного сражения для некоторой части русского войска. Он находится, по мнению биолокаторщиков, поблизости от места впадения в Дон Северского Донца. Каких-либо письменных или иных подтверждений этого варианта развития событий мной не было обнаружено. Возможно, дело в том, что точность метода не позволяет разделить события восьмисотлетней давности разного времени: в тот период состоялось несколько походов к Дону, и Игорь участвовал в трех таких походах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни одна из выдвигавшихся гипотез о Каяле, включая предложенную в данной работе, не может претендовать на стопроцентное подтверждение, ибо в источнике есть взаимоисключающие сведения. Достаточно сравнить версии, изложенные в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Задачу следует поставить так: какая гипотеза имеет максимальную вероятность правдоподобия?

В научном обиходе находится практически один и тот же массив исходной информации, связанной с походом 1185 года. Для существенного продвижения вперед в исследовании этого похода необходимо резко увеличить объем привлекаемых сведений. Кабинетная работа и догадки отдельных исследователей ощутимого результата в данном вопросе дать уже не могут. Необходимо провести широкое комплексное исследование, первоочередными задачами которого могут стать:

— сбор и статистико-картографическая обработка всей совокупности археологических находок северо-приазовского региона;

— целенаправленное археологическое изучение 16 курганов на автомагистрали № 13 между Ростовом-на-Дону и Матвеевым Курганом, а также курганов и местности западнее Марьевки, севернее Новостроенки и южнее Самбека;

— поиск и введение в научный обиход неисследованных рукописей конца 12 века, хранящихся в библиотеках страны, в Староафонском монастыре и других зарубежных хранилищах.

Раскрытие тайн «Слова о полку Игореве» — наш общий исторический долг.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев С. М. Сочинения. Книга I. История России с древнейших времен. Тома 1—2, «Мысль», 1988.
2. Карамзин Н. М. История государства Российского. М., «Книга», 1988.
3. Полное собрание русских летописей. Петроград, 1923.
4. Татищев В. Н. История российская. Т. 3. М.-Л., 1961.
5. Слово о полку Игореве. Л., «Сов. писатель», 1990.
6. Федоров В. Г. Военные вопросы «Слова о полку Игореве». М., Артиллерийская академия, 1951.

[1] Культура средневековой Руси. Сб. статей. Л., «Наука», 1974, с. 66—69.
[2] Там же, с. 202.

Из литературного наследия

Владимир Купченко

«И КРАСНЫЙ ВОЖДЬ, И БЕЛЫЙ ОФИЦЕР»...

Максимилиан Волошин написал эти строки в 1926 году, вспоминая пережитое им в период гражданской войны:

> И красный вождь, и белый офицер —
> Фанатики непримиримых вер —
> Искали здесь, под кровлею поэта,
> Убежища, защиты и совета.
> Я ж делал все, чтоб братьям помешать
> Себя губить, друг друга истреблять...
>
> «Дом поэта»

Стихотворение автобиографическое. Какие же реальные люди стояли за этими «и... и...»? Единичные ли это лица — или их было много?

Начнем с белых. По-видимому, первым белым офицером, появившимся в доме поэта, был Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941), давний его (с 1911 г.) знакомый, муж М. И. Цветаевой. Летом 1918 г. подпоручик Эфрон приехал в Коктебель в отпуск. Но сначала были письма, которые рисуют не «штафирку», случайно оказавшегося в «том» лагере, а боевого офицера, убежденного белогвардейца (много ли таких документов нам известно?..).

«Дорогие Пра и Макс, только что вернулся из Армии, с которой совершил фантастический тысячеверстный поход. Я жив и даже не ранен,— это невероятная удача, п⟨отому⟩ что от ядра корниловской Армии почти ничего не осталось. Сергей Иванович (мой друг, к⟨отор⟩ый жил у вас) убит в один день с Корниловым под Екатеринодаром [1]. Брат Саши Говорова дважды ранен, москвич Богенгардт Всеволод Александрович, если Вы его помните, был ранен в живот и теперь выздоровел. Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова. Для меня особенно тяжела потеря Сережи Гольцева.

Но о походе после. Теперь о Москве. Я потерял всякую связь с Мариной и сестрами, уверен, что они меня давно похоронили, и эта уверенность не дает мне покоя. Пользовался всяким случаем, чтоб дать знать о себе, но все случаи были очень сомнительны. Пра, дорогая, громадная просьба к Вам — выдумайте с Максом какой-нибудь способ известить Марину и сестер, что я жив. Боюсь подумать о том, как они перемучились это время. Сам я тоже нахожусь в постоянной тревоге о них. Если Вам что-нибудь известно — умоляю известить телеграммой по адр⟨есу⟩: Новочеркасск. Воспитательная ул⟨ица⟩, д⟨ом⟩ Вагнер, подпор⟨учику⟩ Эфрону.

Живу сейчас на положении „героя" у очень милых местных буржуев. Положение мое очень неопределенно,— пока прикомандирован к чрезвычайной миссии при Донском правительстве. М. б. придется возвращаться в Армию, к⟨отор⟩ая находится отсюда верстах ⟨в⟩ семидесяти. Об этом не могу думать без ужаса, ибо нахожусь в растерзанном состоянии. Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о к⟨ак⟩ой не имел до сего времени понятия. Переходы приходилось делать громадные — до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал! Спать приходилось по 3—4 ч⟨аса⟩ — не раздевались мы три месяца — шли в большевистском кольце — под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды — приходилось и их брать с бою у большевиков. Заходили мы и в черкесские аулы, и в кубанские станицы, и, наконец, вернулись на Дон. Остановились, как я уже говорил, в 70 верст⟨ах⟩ от Ростова и Черкасска. Ближе не подходим, п⟨отому⟩ что здесь немцы.

Наше положение сейчас трудное — что делать? Куда идти? Неужели все жертвы принесены даром? Страшно подумать, если это так.

Буду с нетерпением ждать вашей телеграммы и письма.

Проголодался по людям. Так бы хотелось повидать совсем *своих*.

Привет. Целую. *Сережа*.

12 мая 18 г. Новочеркасск».

В конце мая следует новое письмо — на имя Е. О. Волошиной:

«Дорогая Пра, письма — Ваше и Макса — меня очень обрадовали: первое, что я получаю за все это время.

Не разделяю Вашего мрачного взгляда на будущее России. Сейчас намечается ее выздоровление, воссоединение и в ближайшем будущем (два-три года) она будет снова великодержавной и необъятной. Никто ее не сможет ни разделить, ни растоптать. Говорю это, основываясь на фактах, о которых расскажу при свидании.

Рвусь к Вам, и, кажется, удастся вырваться недели на две. Только что перенес первый приступ возвратного тифа — жду повторения, и по выздоровлении постараюсь выехать.

Я очень устал и даже не устал, а постарел: мечтаю о креслах, внуках и... мемуарах.

Будьте здоровы — милая Пра. Целую Вас и Макса.

Сережа.

Новочеркасск, 28 мая 18 г.

Спасибо Максу за стихи. Каковы они — не могу сказать, потому что принимаю теперь все восторженно. Необходимо об очень многом тебе — Максу — рассказать, но в письме — неудобно. Меня судьба опять бросила в самый центр будущего переворота. Но... я потерял вкус к ним — тем более, что последний переворот будет очень невкусным.

Пишите! Ваши письма для меня — большая радость».

По-видимому, в июне-июле Эфрон сумел приехать в Коктебель: сохранился его фотоснимок в группе с М. А. и Е. О. Волошиными, Н. Н. Евреиновым, художником А. К. Шервашидзе и членами семьи певцов братьев Кедровых. Сергей Яковлевич босиком, в коротких штанах — и ничем не отличается от других отдыхающих...

Следующее его письмо датировано 12 апреля 1919 г., написано оно на «трофейном» бланке: «Р.С.Ф.С.Р. Политический Отдел I-ой Червоной Казачьей Бригады. № ....Д. армия». Текст — карандашом.

«Дорогие — Христос Воскресе.

Праздников в этом году я не видел. В Симферополе пробыл всего два дня, в Благовещенье выступили на фронт, в Св. Воскресенье были уже на фронте. 3-го апр⟨еля⟩ были в бою. Выбивали красных с высоты и сбили, несмотря на сильнейший огонь с их стороны. Сейчас мы зарылись в землю, опутались проволокой и ждем их наступления. Пока довольно тихо. Лишь артилле⟨рийский⟩ огонь с их стороны. Живем в землянках. Сидим без книг — скука смертная.

На земляных работах я получил солнечный удар. Голова опухла, как кочан. Опухоль спустилась на глаза, должен был ехать в тыл, но отказался из-за холеры и тифа в лазаретах. Сейчас опухоль спала.

Целую всех. Надеюсь в скором времени хотя бы на денек к Вам вырваться.

Сережа».

Волошин в это время находился в Одессе, откуда отплыл в Крым на парусной шхуне 10 мая 1919 г. За время его отсутствия полуостров снова стал советским — и 15 мая, в Евпатории, происходит встреча поэта с «красным вождем». Впоследствии Волошин так вспоминал об этом: «Город не имел никаких сношений с остальным Крымом: морем нельзя было выйти из порта — на рейде сторожил французский флот. Железная дорога бездействовала — паровозов не было. Мне захотелось есть, и я зашел в один из еще не закрытых ресторанов. Там рядом с нами за соседним столиком сидела семья. Ее глава, толстый господин в усиках и в каскетке, так пристально приглядывался ко мне, что я обратил на них внимание. Дама, пожилая, полная, была прилично одета. Дети — мальчик и девочка — были вполне „дети хорошей семьи", с ними сидела сухопарая девица, имевшая вид гувернантки. Его самого я определил по виду как „недорезанного буржуя". Он подозвал мальчика, что-то прошептал ему, и мальчик направился ко мне и спросил: „Скажите, Вы не Максимилиан Волошин? Папа послал узнать". Я подошел к соседнему столику. „Вы меня знаете? Где мы встречались?" — „А я был у Вас в Коктебеле несколько лет назад. Я к Вам заезжал из Судака по рекомендации Герцык [1]. Мы с Вами полночи просидели, беседуя в вашей мастерской. Вы мне показывали рисунки. Я был тогда еще в почтовой форме". Мы с ним дружески побеседовали, но я так и не вспомнил его. ⟨...⟩

На следующий день, бродя по городу, я встретил барышню, которая имела вид гувернантки. Я спросил ее о вчерашних знакомцах. „Они сейчас у себя".— „А где они живут?" — „Их вагон стоит на путях, возле вокзала".— „Почему же он живет в вагоне?" — „Он всегда в собственном вагоне".— „А, в собственном вагоне? Почему

---

[1] Л. Г. Корнилов был убит 13 апреля 1918 г.

[1] Герцык Аделаида Казимировна (1874—1925), поэтесса, критик, и Евгения Казимировна (1878—1944), критик и переводчица.

Купченко Владимир Петрович (р. в 1939 г.) — один из ведущих специалистов по творчеству Максимилиана Волошина. Член СП. Живет в Ленинграде.

же он в собст⟨венном⟩ вагоне? Разве он сейчас какая-нибудь важная птица?" — „Как же, они командующий 13 армией".— „А как же его фамилия?" — „NN". Я сейчас же отправился на вокзал. Спросил вагон NN и полчаса спустя снова сидел у NN. Он меня сперва расспросил о моей судьбе. Я ему рассказал подробно об Одессе, о нашем путешествии, о матросах, о нашем затруднении выехать дальше... Он сказал тотчас же: „Я сию минуту телеграфирую Дыбенке, чтобы от них прислали нам паровоз. И завтра сам отвезу Вас до Симферополя. Будьте здесь на вокзале с матросами завтра в 4 часа"».

Спасителем Волошина и его спутников оказался Иннокентий Серафимович Кожевников (1879—1931) — бывший линейный механик Харьковского телеграфа, организатор партизанской борьбы в Башкирии в 1918 г. С февраля 1919 г. он командовал группой войск Донецкого направления. Затем (в марте-мае) — 13-й советской армией. В Крым Кожевников приехал на отдых по настоянию Ленина (на почве невроза сердца у него начались обмороки).

В пути до Симферополя командарм поделился с Волошиным своим открытием: «Вот Вы знаете, товарищ Волошин, что земля делает каждое мгновение, крутясь вокруг солнца, 22 движения — и ни в одной космографии — почему? А я понял... Помню раз, когда я в Сибири был на дальнем севере, туземцы костер развели: они у огня грелись. Я присмотрелся и вижу — у них правильные планетарные движения получаются: с одной стороны — огонь, а с другой стороны ледяной ветер; я подумал: ведь в солнечной системе как раз та же констелляция — здесь солнце, а с др⟨угой⟩ стороны междузвездная стужа, 270 градусов,— представляете себе, какой сквозняк. Вот она и вертится, бока себе обогревает — то одним краем, то другим. А у ней еще „ось вывихнута", представляете себе, как ей трудно? По-моему, пора землю от влияния солнца освободить. Что ж это, право: точно она в крепостной зависимости от солнца! Вот я решил землю освободить. Сперва мы ей ось выправим: ведь климаты имеют причиной главн⟨ым⟩ образом искривление земной оси. А когда мы ось выпрямим, тогда на всей земле — один ровный климат будет.

— А как же вы ей ось выпрямлять будете?

— А у меня для этого система механических весел придумана по экватору. Они и будут грести, то с одной стороны, то с другой.

Обо что грести? Вот как начнем грести, тогда и узнаем, в чем земля плавает. А потом путешествовать поедем по всемирному пространству. Довольно нам в крепостной зависимости от солнца, точно лошадь на корде, по одному и тому же кругу бегать».

Прощаясь, Волошин пригласил Кожевниковых к себе — и 10 июня они навестили Коктебель.

* * *

20 июня 1919 г. Феодосия вновь занята белыми — и вскоре Волошин включается в борьбу за спасение генерала Н. А. Маркса, служившего у красных и арестованного белой контрразведкой. Свою позицию в междоусобной распре поэт формулировал (в письме к Б. В. Савинкову 28 сентября (11 октября) 1920 г.) так: «Я отнюдь не нейтрален и не равнодушен, но стремлюсь занять ту синтетическую точку зрения, с которой борьба всех в настоящую минуту противопоставленных сил представляется истинным единством России и русского духа». А в стихотворении «Гражданская война» (22 ноября 1919 г.) сказал об этом же:

А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других...

Борьба за Н. А. Маркса дискредитировала Волошина в глазах большинства офицеров. Но все же не всех. В очередной отпуск с Перекопа приезжает С. Я. Эфрон, проведший часть времени в Коктебеле, а часть — в имении Бусалак под Старым Крымом (оттуда отправлено его письмо Волошину от 11 — или 17-го — сентября 1919 г.). 27 сентября Эфрон пишет уже из Новороссийска:

«Дорогие Пра и Макс.

Пишу второпях в Новороссийске. Сначала о деле. Деньги, к⟨отор⟩ые я вам должен — вышлю из Харькова. Хочу выслать, как можно больше, а расходы выявятся только к концу пути. Это первое. Второе: встретил в Новороссийске брата Всев⟨олода⟩ Мейерхольда[1]. Последний арестован, находится здесь в тюрьме и предается в⟨оенно⟩-полевому суду с обвинением в активной помощи большевикам и в выдаче офицеров. Брат его уверяет, что обвинение нелепо, и умоляет, если ты, Макс, можешь, чем-нибудь помочь его участи. М. б. ты напишешь Новгородцеву или Гримму?[2] Сообщаю тебе на всякий случай адрес брата: Ростов н/Д, Пушкинская 120. Мейерхольду — имя забыл. ⟨...⟩

Выехал с дурным предзнаменованием: с парохода неподалеку от Феодосии упал за борт офицер и утонул.

Орел, кажется, мне все же придется брать. По последним сведениям, в Москве и окрестностях восстание. Дай Бог, чтобы это оказалось правдой.

В последний день до отъезда получил письмо Марины и Али и в Харькове получу еще одно. У меня теперь крепкая надежда увидеть их».

30 сентября 1919 г. из Ростова была отправлена Эфроном открытка следующего содержания:

«Дорогой Макс, Грим⟨м⟩а не застал — он уехал. С Кречетовым[1] повздорил (он очень противный).

Твою книгу издавать раздумали. Это я узнал от Кречетова. И черт с ними! Не возись с этим народом. Во главе издательского дела стоит Чириков (!)[2].

Сегодня еду дальше — будь здоров. Целую всех. *Сережа.*

Корреспонд⟨ентский⟩ билет получил от „Велик⟨ой⟩ России"[3]».

Следующее письмо Эфрона из армии от 5 октября 1919 г. помечено: «Курск — Орел».

«Дорогие, вот я и в полку, но не в том, ⟨в⟩ к⟨ак⟩ом думал. Наш полк развернулся в несколько полков — я перешел в 3-й Офицерский генерала Маркова, в к⟨отор⟩ом собрались наиболее мне милые офицеры. Так и пишите мне — Д⟨обровольческая⟩ А⟨рмия⟩. 3 оф⟨ицерский⟩ генерала Маркова полк — полковая пулеметная команда — подпоручик Эфрон. Мы продвигаемся на Москву. Меня встретили в полку так радушно, что я сразу почувствовал себя хорошо. Живется нам лучше, чем раньше. Старым офицерам дают верховых и верх⟨овых⟩ лошадей, что очень облегчает жизнь здесь. Жители относятся к нам великолепно.

Асенька, в Харькове был у Алексеева. Он редко милый человек — если хотите все знать об Марине — напишите ему по адр⟨есу⟩: Харьков, угол Московск⟨ой⟩ и Петровского пер⟨еулка⟩. Отдел пропаганды — Театральное отделение. Владимиру Васильев⟨ичу⟩ Алексееву.

В Москве будем к Рождеству.

Пра, Макса, Асю, Майю и всех друзей целую и люблю.

Ваш Сережа».

Между тем в Крыму ширится подпольная борьба против белых: забастовки на предприятиях, диверсии на транспорте, нападения на тюрьмы с освобождением политзаключенных... 5 мая 1920 г. в Коктебеле состоится подпольная конференция большевиков. Контрразведке удается обнаружить ее; делегаты, отстреливаясь, уходят холмами от погони; один из них (Илья Хмелько-Хмельницкий) забегает в дом Волошина. Максимилиан Александрович спрятал его на чердаке, но подпольщик поторопился уйти — и был схвачен. «Волошин в этом деле рисковал своей жизнью»,— вспоминал И. Г. Эренбург, свидетель этого эпизода. В этот же период в волошинском доме укрылся разыскиваемый белыми меньшевик Моисей Исаакович Гинцбург (Даян, 1877—1940): поэт спрятал его в своей постели и невозмутимо разговаривал с нагрянувшими к нему контрразведчиками... (Впоследствии Даян стал редактором «Известий Феодосийского ревкома».)

Одновременно в доме Волошина бывали: начальник Феодосийского торгового порта кавторанг Александр Александрович Новинский, военный инженер полковник Александр Викторович Цыгальский, штабс-капитан Сергей Александрович Толузаков, юнкер Константиновского училища Всеволод Юрьевич Степанов... 9(22) сентября 1920 г. Волошин писал А. Н. Ивановой в Париж: «При большевиках мой дом является убежищем для белых, при добровольцах — для красных. Вообще единственное, что я делаю в сфере общественной, это всеми силами мешаю людям истреблять друг друга. Благодаря этому мне пришлось вмешаться и в несколько политических процессов». А в письме к А. В. Гольштейн (тоже в Париж) 10 сентября добавлял: «И теперь для меня не так важны политические программы и стороны, сколько человеческая личность. ⟨...⟩ Я свободно подхожу к большевику и к монархисту, к матросу и к генералу».

Именно в это время в доме Волошина квартировал генерал-лейтенант Калинин (имя и отчество выяснить не удалось): 23 сентября, по-видимому, перед отъездом, он оставил Волошину свою шинель... А вскоре приходит еще одно письмо от С. Я. Эфрона, датированное 24 сентября (7 октября) 1920 г.:

«Дорогие Пра и Макс, за все это время не получил ни одного письма от вас. Я нахожусь сейчас под Александровском[1] — обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулеметному делу. Эта работа — отдых по сравнению с тем, что было до нее. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев, о которых вы, конечно, знаете из газет. Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу, и нам приходилось очень туго. Но несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили блестяще. Результаты наших трудов сейчас видны для всех. Все дело было в том,— у кого — у нас или у противника — окажется больше „святого упорства". „Святого упорства" оказалось больше у нас, и теперь на наших глазах происходит быстрое разложение красной армии. Правда — у них еще остались целые армии, остались хорошие полки курсантов (красных юнкеров) и коммуни-

---

[1] Мейерхольд Артур Эмильевич (1863—1932).

[2] Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) и Гримм Эрвин Давидович (1870—1940) — профессора.

[1] Кречетов — псевдоним поэта Сергея Александровича Соколова (1879—1936); в 1910 г. он издал первый стихотворный сборник Волошина.

[2] Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — писатель, в дальнейшем эмигрант.

[3] «Великая Россия» — газета, выходившая в Севастополе в 1918—1920 гг., основатель — В. В. Шульгин.

[1] Ныне Запорожье.

стов, но все же общее положение изменилось резко в нашу пользу. За это лето мы разбили громадное количество полков, забрали в плен громадное количество пленных и массу всяких трофеев. При этом все наши победы мы одерживали при громадном превосходстве противника в количественном и в техническом отношении.

Жители ненавидят коммунистов, а нас называют „своими". Все время они оказывают нам большую помощь всем, чем могут. Недавно через Днепр они перевезли и передали нам одно орудие и восемь пулеметов. Вся правобережная Украина охвачена восстаниями. С нашего берега каждый вечер мы видим зарево от горящих деревень. Чем дальше мы продвигаемся, тем нас встречают лучше.

Следует отметить, что таково отношение к нам не только крестьян, но и рабочих. В Александровске рабочие при отступлении красных взорвали мост, а железнодорожники устраивали нарочно крушения.

Наша армия пока ведет себя в занятых ею местах очень хорошо. Грабежей нет. Вообще можно сказать, что если так будет идти дальше,— мы бесспорно победим. Единственное, что пугает меня,— это наступившие холода и отсутствие у нас обмундирования. Правда — действующие полки более или менее одеты, но на тех пленных, которые к нам поступают,— страшно смотреть — они совсем раздеты и разуты, часто даже в одном белье. Правда, говорят, будто французы обязались снабдить нас обмундированием до зимы. Но зима уже дает себя чувствовать (в Екатеринославе [1], напр⟨имер⟩, уже выпал снег), а пока французы, кажется, еще ничего не присылают.

Красная армия вся разбита, и с первыми морозами ее остатки разбегутся. Дай Бог, чтобы к этому времени мы были одеты.

Имеете ли вы что-нибудь из Москвы? Я узнал, что в Ялте живет Анна Ахматова. Макс, дорогой,— найди способ с ней связаться: м. б. она знает что-либо об Марине».

Как видим, Эфрон все три года оставался верен «белой идее», что начисто развеивает легенду о том, что он «довольно скоро» разочаровался в белой армии, увидев «ее преступления, разложение, крах» (А. Павловский. Куст рябины. Л., 1989, с. 160). И поэма «Перекоп» — апофеоз «добровольчества» — написана М. И. Цветаевой по рассказам (и записям) мужа. А «остыл» он к «лебединому стану» лишь в эмиграции, в середине двадцатых.

Правда, оптимизм, выраженный в последнем из приведенных здесь писем, уже очень скоро был развеян. В карандашной записке без даты (и это — последнее его письмо из действующей армии!) он приписал:

«Дорогие, письмо мое было написано неделю тому назад. За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров. Я жду со дня на день вызова в действующий полк, ибо убыль в офицерах там большая.

Макс, милый, если ты хочешь как-нибудь облегчить мою жизнь,— постарайся узнать что-либо об Марине. Я думаю, что в Крыму должны найтись люди, которые что-нибудь знают о ней. Хотя бы узнать, что она жива и дети живы. Неужели за это время никто не приезжал из Совдепии?

Очень хотелось бы попасть к вам хоть на день, но сейчас положение таково, что нельзя об этом и думать.

Целую Пра и тебя. Пишите мне, ради Христа.

Ваш *Серг⟨ей⟩*».

Перемирие с Польшей было подписано 12 октября 1920 г.; наступление белых на правом берегу Днепра против Второй Конной и 6-й армий окончилось 14 октября полным поражением. В ноябре наступает финал. Красными взят Перекоп, части белых отходят (а то и бегут) к портам. Пятнадцатым ноября датировано предсмертное письмо еще одного офицера — знакомого Волошина. Это К. Краснопольский, бывший преподаватель Учительского института в Феодосии. Он пишет: «Моя милая, дорогая семья!.. Прощайте!.. Борьба, видимо, кончена. Мы раздавлены. Но наш Вождь нес правду и милость. Всем, всем добро... Ухожу, но не исчезаю. Иду к своим. Встречу и Вас в свое время. Господи, благослови моих родных! Благослови и меня. Более подробные сведения может обо мне дать писатель Волошин Максимилиан Александрович, живущий в Коктебеле... Целую прощальным поцелуем...» Это письмо, адресованное в Харьков, почему-то осталось в архиве Волошина, став метой одной из бесчетных трагедий, разыгравшихся в те дни...

* * *

В последующие два года Волошин в избытке встречался с «красными вождями» разных масштабов — вплоть до предревкома Крыма Я. Э. Гавена. Но они отнюдь не просили у него «защиты и совета», и встречи эти происходили не в его доме. А вот бывший командарм-13 неожиданно появился в Коктебеле! Случилось это 11 января 1923 г., И. С. Кожевников был проездом — и они с Волошиным «всю ночь провели напролет в беседе и чтении». За миновавшее время гость успел побывать товарищем министра иностранных дел Дальневосточной республики, эмиссаром для организации партизанского движения в Приморском крае, полпредом РСФСР в Бухаре. По собственной инициативе он привез Волошину документы на выезд в Берлин. Поэт только что похоронил мать — и, казалось бы, момент для поездки был самый подходящий. Но ему не на кого было оставить дом (с бесценными архивом и библиотекой), а кроме того, хотелось реализовать свои творческие замыслы: все то, что было «давно задумано и душит» (как он писал 1 марта 1923 г. Т. Д. Цемах в Берлин).

А в конце марта в Коктебель приходит письмо Кожевникова — уже из Литвы, куда он был назначен полномочным представителем:

«Дорогой и милый Максимилиан Александрович.

Я в Литве. Вы удивлены? Возвращаясь из Крыма, я по настоянию моего правительства срочно выехал в Ковно, потому не успел ничего сделать лично в отношении улучшения условий Вашей работы. Исправляю свою ошибку, не зависящую от меня, пишу письмо Анатолию Васильевичу, в копии которое посылаю Вам.

Кстати, посылаю Вам материал о возмутительном отношении в Литве к работникам искусства. Разрешаю Вам его использовать в печати. ⟨...⟩ В Берлин Вы поедете непременно через Ригу и Ковно и остановитесь у меня. Целую Вас крепко, крепко, мой дорогой друг.

И. Кожевников.

P. S. Посылаю Вам „Накануне": в ней помещено Ваше стихотворение „Русь" [1]. Еще раз целую и жду письма».

На обороте листа (с бланком: «Полномочное представительство Р.С.Ф.С.Р в Литве») было напечатано на машинке письмо к А. В. Луначарскому:

«23 февраля 1923. № 11. Ковно.

Многоуважаемый Анатолий Васильевич, я был в Крыму в начале февраля, виделся там с Максимилианом Александровичем Волошиновым (sic! — *В. К.*). Он много работает, в частности, заканчивает „Пути Каина", но живет отвратительно во всех отношениях. К тому же за день до моего приезда похоронил мать и остался совсем один.

Ко всем этим невзгодам, местные блюстители порядка, рассматривая его как „буржуя", усугубляют без того неважное настроение.

Он просил меня передать Вам его теплый привет: мы с ним старые добрые знакомые по искусству.

Чтобы облегчить ему работу, я полагал бы: 1) выслать ему личное охранное свидетельство, за подписями Михаила Ивановича и Вашей, или как Вы найдете более удобным, но непременно из Москвы.

2) выслать ему охранную грамоту для дома, мастерской, библиотеки, архивов и дать распоряжение крымским местным властям (Феодосии и Коктебель) о содействии по охране, как самому Максимилиану Александровичу, так и его домовнику, в случае его поездки в Москву или отлучки куда-либо из Коктебеля.

Обо всем этом я намеревался переговорить лично с Вами. Мой спешный выезд в Литву был причиной тому, что я этого не сделал.

Очень прошу Вас уведомить меня о получении этого письма, а также и о предпринятых Вами шагах и результате их.

С коммунистическим приветом

Полпред Р.С.Ф.С.Р. в Литве

И. Кожевников».

Судя по всему, И. С. Кожевников был белой вороной в рядах «красных вождей» — и в конце концов был из этих рядов вытеснен. В 1924—1926 гг. он работал в Наркомате почт и телеграфов, в дальнейшем его следы теряются. (То, что Г. Я. Сокольников счел нужным в 1928 г. мимоходом «пнуть» Кожевникова в своей автобиографии — плохой признак.) Обстоятельства смерти Иннокентия Серафимовича в апреле 1931 г. неизвестны — но показательно, что на его имя было надолго наложено табу (первое известное мне упоминание — в 1959 г.). Скорее всего, бывший командарм опередил С. Я. Эфрона, в 1941 году расстрелянного в подвале НКВД...

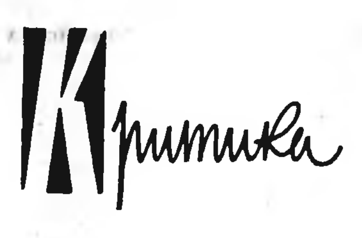
Снова — как когда-то для коктебельского мудреца — они стали равны. По слову М. И. Цветаевой:

Белым был — красным стал.
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал.
Смерть побелила...

---

[1] Ныне — Днепропетровск.

[1] Лит. приложение к г. «Накануне» (Берлин). № 40, 18 февраля 1923 г.



В. Г. Белоус

«СКИФСКОЕ», ИЛИ ТРАГЕДИЯ «МИРОВОЗЗРИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ» К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Помышляющий о судьбах России в двадцатом столетии вряд ли пройдет мимо безжалостных строк А. Солженицына о репрессированных большевиках: «Может быть, тридцать седьмой год и нужен был для того, чтобы показать, как малого стоит все их *мировоззрение*, которым они так бодро хорохорились, разворашивая Россию, громя ее твердыни, топча ее святыни,— Россию, где *им самим* такая расправа никогда не угрожала» [1].

Действительно, «они» получили по заслугам, по собственной их вере или, точнее, по неверию. Ну а другие, кто пришел в революцию с великими помыслами и воззрениями; кто никакой власти не вкусил; те, для которых истина, смысл — были как раз в революции; те, кто «разворашивал» Россию ради России новой, преображенной; те, кому расправа угрожала и угрожает при любых политических режимах: онито — как?

Если следовать линейной логике «преступление — наказание», то и они получили сполна — по вере их собственной. Получив, ушли в небытие, оставив после себя непрочитанные тексты, необъясненные свидетельства собственных иллюзий, надежд и разочарований. Что нам сегодня, например, такие слова: «Представления наши о революции социальной еще примитивны, абстрактны: перетиранье кумиров культуры в летучую пыль труда не есть революция; в воспламенении пыли, в блистающем, преображающем светоче, в молнии перерождения духа ее ожидаем — мы, *скифы*»? [1]

Не прочитали мы эти (и многие другие, упрятанные в «спецхраны») строчки в свое время, а теперь, пожалуй, и цитировать их небезопасно — по отношению к репутации «символиста» и «антропософа» А. Белого: сегодняшние симпатии читающей публики не на стороне «революционеров», какую бы революцию они ни защищали — политическую, социальную, духовную. Куда более точной и исторически справедливой может показаться оценка З. Гиппиус: «Бедное „потерянное дитя“, Боря Бугаев, приезжало сюда и уехало вчера обратно в Москву. Невменяемо. Безответственно. Возится с этим большевиком — Ивановым-Разумником (да, вот куда этого метнуло!)... „Я только литературно!“ Это теперь: несчастный! — Другое „потерянное дитя“, похожее — А. Блок» [2].

Но прислушаемся и к противоположной стороне: «Вечная эта история: „благоразумные“ корят и поносят „безумных“. Вечные это два стана. „Благоразумные“ всегда стоят за прочный, твердый старый мир; „безумные“ всегда ищут землю Обетованную, хотя бы на пути к ней десятилетия надо было бы скитаться в пустыне. И каждый из нас должен твердо выбрать, к которому из двух станов хочет он принадлежать» [3].

[1] Солженицын А. «Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования». «Новый мир», 1989, № 8, с. 75.

[1] Белый А. «На перевале. 1. Весенние мысли». «Наш путь», 1918, № 2, с. 121.

[2] Гиппиус З. «Синяя книга. Петербургский дневник. 1914—1918 гг.». Белград, 1929, с. 211. (Запись от 24 октября 1917 г.)

[3] Иванов-Разумник. «А. И. Герцен. 1870—1920». Пг., 1920, с. 153.

Белоус Владимир Григорьевич (род. в 1951 г.) — кандидат философских наук, специалист в области истории русской общественной мысли. Печатался в специальных научных изданиях. Живет в Ленинграде.

Слова эти — одного из российских «безумцев», «большевика» (по мнению З. Гиппиус), а точнее — «скифа» (по собственному его определению) — Иванова-Разумника. О нем и о «скифском» мировоззрении пойдет у нас здесь речь.

Разумник Васильевич Иванов (1878—1946), известный в истории отечественной мысли и литературы под псевдонимом Иванов-Разумник, представлял то интереснейшее направление литературной критики и общественной мысли начала столетия, которое исповедовало философию творчества, или смысло-творчество. Основные вехи его творческой деятельности: 2-томная «История русской общественной мысли» (1906), выдержавшая пять изданий; исследования «О смысле жизни» (1908) и «Об интеллигенции» (1908); публикация в сборниках «Сирин» (1913—1914) романа А. Белого «Петербург»; организация в 1917 году альманахов «Скифы», авторами которых были А. Белый, Е. Замятин, А. Ремизов, М. Пришвин, Н. Клюев, С. Есенин, Л. Шестов и др.; публикация в левоэсеровской газете «Знамя труда» «Двенадцати» и «Скифов» А. Блока; организация в послереволюционном Петрограде (1919—1924) Вольной Философской Ассоциации («Вольфилы»); наконец, мемуары «Писательские судьбы» и «Тюрьмы и ссылки», опубликованные посмертно в Нью-Йорке,— одни из первых свидетельских показаний о противостоянии мысли и безмыслия в советской России 20-х — 30-х гг. [1].

На сегодняшней волне всеобщего интереса к темным и белым пятнам в истории отечественной культуры фигура Иванова-Разумника остается практически незамеченной, а творчество — невостребованным. Выскажу гипотетическое объяснение, отчего так происходит. С одной стороны, извините: не читают и не знают. С другой: знать не желают. Потому как при нынешней тотальной идиосинкразии ко всякого рода идеологиям и принципам в случае с Ивановым-Разумником встречаешь личность, последовательно проводившую мировоззренческий принцип в жизнь, настаивавшую не на плоскости оценок-однодневок, но на последовательном поиске *смысла* — литературного произведения, творчества, жизни.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«Шел в комнату, попал в другую» — так, вслед за грибоедовской героиней, любил повторять Иванов-Разумник. Студент-математик Санкт-Петербургского университета, одновременно проходивший курс историко-филологического факультета; литератор, «примкнувший» (по собственному выражению) к идеологии народничества и воевавший всю сознательную жизнь с марксизмом; публицист, «не занимавшийся политикой», но постоянно высказывавшийся по основным социально-философским вопросам своего времени с той «принципиальной высоты», которую именовал «мировоззрительной», Иванов-Разумник был замечательным представителем «поколения на повороте» (выражение Л. Я. Гинзбург).

«Наше поколение,— писал он в 1926 году в предисловии к воспоминаниям «Четверть века»,— родившееся около 1880 года, немного раньше, немного позже,— прожило в зрелом возрасте поразительную эпоху: первую четверть XX века. Бурный взлет творческой волны, революция мысли (Ницше), политическая революция в России, мировая война, революция 1917—18 гг., мировое потрясение, начало гибели старой Европы, вихрь, в котором мы жили и живем» [1].

В архиве Иванова-Разумника, находящемся в Пушкинском Доме, есть обычная общая тетрадь в картонном переплете, на сорока листах которой — первое самостоятельное произведение шестнадцатилетнего юноши — «нравственно-философский этюд» «Мое мировоззрение». Работа эта — наивна и схематична, но мысль — центральная в творчестве Иванова-Разумника — о разделении людей на «разряды», согласно целям их жизни (идея, которая в разных модификациях будет преследовать автора всю его жизнь),— впервые заявлена именно здесь:

«К первому разряду будут принадлежать люди, для которых физическая цель жизни стоит выше нравственной,— это разряд... *людей-скотов*. Ко второму разряду принадлежат те, для которых нравственная цель жизни стоит выше физической,— это малочисленный разряд *людей-человеков*» [2].

Через десять лет в «Истории русской общественной мысли» «разряды» трансформируются в «общественные группы»: в «мещанство» и «интеллигенцию». «Интеллигенция и мещанство — это две силы, действующие в диаметрально противоположных направлениях, две непримиримо враждебные силы: мещанство — это та среда, в неустанной борьбе с которой происходил процесс развития русской интеллигенции» [3].

[1] Творческая биография Иванова-Разумника подробно и глубоко исследована А. В. Лавровым во вступительной статье к переписке А. А. Блока с Р. В. Ивановым-Разумником. (См.: Александр Блок. «Новые материалы и исследования. Литературное наследство». Т. 92, кн. 2. М., 1981, с. 366—385.)

[1] ИРЛИ, ф. 79, оп. 1, № 145, л. 1.

[2] ИРЛИ, ф. 79, оп. 1, № 77, л. 6.

[3] Иванов-Разумник. «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.». Изд. 2-е, доп. СПб., 1908, т. 1, с. 16.

Может быть, современный читатель, пробежав глазами эти строки, скажет вслед за булгаковским героем: «Подумаешь, бином Ньютона». Действительно, исторический процесс в XX столетии оказался настолько сложным, что измерять его какой угодно дихотомией — значит упрощать и уплощать действительность: чем лучше схема «интеллигенции — мещанство» схемы «пролетарии — буржуа»? Позднее в мемуарах «Тюрьмы и ссылки» Иванов-Разумник назовет «Историю русской общественной мысли» «юношеской» работой. Но не будем и мы столь придирчивы к этому произведению. Сила аргументов «Истории» в их последовательности и строгости, а излишний схематизм ее стал своего рода теоретической данью уходившему в прошлое XIX столетию — веку позитивизма и органической теории, господства логики и целесообразности. Век XX еще только приоткрывал завесу нового времени надеждами на радикальное преобразование общества, на преображение человеческого духа.

В «Истории русской общественной мысли» Иванов-Разумник — идеолог нового народничества — общественного движения и течения мысли, противостоящего российскому марксизму. Спор неонародничества и марксизма — это, по мнению автора «Истории», прежде всего конфликт двух противоположных мировоззрений:

«Чего же не могут понять могикане ортодоксального марксизма? Они не понимают, что их социально-экономический критерий бессилен проникнуть в глубь явлений, что есть вещи, навеки недоступные для их плоского поверхностного измерения, что никакими сложнейшими социально-экономическими формулами не передать и не объяснить простейшего вопроса философии: зачем жизнь? зачем смерть? Они не хотят понять того, что социально-экономический критерий остается в своей силе, но что сверх него и за ним неизбежен другой критерий — этический, философский, религиозный» [1].

На смену рационалистически ориентированному «знанию» приходит «вера», понимаемая как постоянный поиск и обретение смысла. Основной мировоззренческий метод, именуемый Ивановым-Разумником «имманентизмом», предполагает, что смысл не существует вне субъекта, вне самосознающей личности, вне «слабого, смертного, „только" человека». Человек раскрывается в творчестве. Самой простой и всеобъемлющей формой творческой деятельности является жизнь, поэтому смысл приоткрывается через деятельность: внутри себя самого начинает человек поиск смысла истории, жизни, искусства. «Подлинность», «искренность» творческой жизнедеятельности становятся важнейшими, критериальными признаками того, что в феноменологии называется редукцией, или радикальным сведением сознания к самому себе, к собственным первоистокам.

В мировоззренческом диалоге с символизмом Иванов-Разумник настаивает на том, «чтобы вера эта не была, во-первых, верой только словесной, а во-вторых — чтобы не была она камнем осельным на жизненном творчестве человека, на художественном творчестве поэта» [1]. И, наконец, самое главное: «Внутренним выявлением символизма является мистика, и путь этот искренний символист должен проделать до конца. Построить теорию символизма может и человек, вполне рационалистически настроенный; символист должен оправдать ее жизнью и творчеством: hic Rhodus, hic saltus [2]» [3].

Слова эти, адресованные А. Белому, вполне можно отнести и к самому Иванову-Разумнику: что такое «История русской общественной мысли», как не стремление через столкновение «интеллигенции» и «мещанства» (философия истории!) описать исторический конфликт мировоззрений на российской почве; что такое его «духовный максимализм», как не попытка «оправдать» собственную теорию, то есть преодолеть своим жизнетворчеством пределы заранее заданной теоретической схемы, выйти к вере через отрицание пределов, определяющих и ограничивающих поиск. Вот почему «имманентизм» проявляется в «максимализме», а «максималист» оказывается синонимичен, тождествен — «революционеру»: «революционер есть воплощение *духовного максимализма*,— вот его глубочайшая сущность, каковы бы ни были ее проявления» [4].

Современному читателю, который иначе как по «партбилету» судить об исторической личности не может, представим Иванова-Разумника и с этой стороны. На IV съезде партии социалистов-революционеров в ноябре 1917 года обнаружился странный казус: «оказалось, что Иванов-Разумник состоял членом редакционного коллектива ЦО партии (газеты «Дело народа»), не являясь членом партии. Он заявил, что по моральным побуждениям не может состоять членом какой-либо партии» [5]. Возможно ли сегодня представить редактора, скажем, «Правды», не состоящего членом соответствующей партии?

В апреле 1921 г. Иванову-Разумнику пришлось публично объясниться в отношении к господствующей политической силе. В открытом письме в редакцию журнала «Вестник литературы» он писал: «В марте месяце этого года в московских газетах было напечатано (как сообщили мне два лица, сами это читавшие), будто бы я подал заявление о своем желании вступить в число членов РКП(б).

Не имея возможности проверить первую половину этого сообщения — действительно ли было напечатано в московских газетах такое известие,— имею зато возможность самым решительным образом опровергнуть вторую его половину — о заявленном мною желании вступить в РКП (б). Ни заявления, ни желания такого у меня не было, нет и не будет» [1].

«Киплинговская кошка, которая гуляла сама по себе» — так определит собственную партийно-политическую ориентацию Иванов-Разумник в позднейших мемуарах. Подтверждение этой позиции можно обнаружить в статье под выразительным названием «Свое лицо», появившейся в газете «Знамя труда» 28 октября 1917 года:

«„Большевики" — победили; они у власти. И если в дни торжества серого социалистического центра, в дни власти бескрылой социалистической серости, в дни пошлых издевательств над „запломбированными" деятелями левого социализма, если в те дни не было нравственной возможности стать на сторону горе-победителей, увязнувших в реакционном болоте, то в нынешние дни победы „большевиков", в дни их торжеств и силы — каждый из нас может и должен прямо и смело наметить *свой* путь, не идя за колесницей победителей. 〈...〉

Диктатура одной партии, „железная власть", террор — уже начались, и не могут не продолжаться. Ибо нельзя управлять иными мерами, будучи вполне изолированными от страны. Я знаю, что в этой преступной изоляции больше всего виновато именно социалистическое „большинство", умывшее ныне руки подобно Понтию Пилату; я знаю, что часть этих болотных людей готова идти дальше, готова призывать громы земные на „большевизм", готова вопить: „кровь его на нас и на детях наших"... Но я знаю также, что дорога внешнего и внутреннего террора — не мой путь, что здесь пути мои одинаково разошлись с одними и другими...

А практические выводы?.. Надо резко отмежеваться на обе стороны, чтобы сохранить свое лицо. Ибо *свое лицо* — самое дорогое, самое святое, что только может быть у человека».

У «скифской» мировоззренческой ориентации странная судьба: для большевиков и последующей советской критики взгляды эти всегда оставались идеологически неблагонадежными — эсеровскими (со всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками, придаваемыми этому политическому штампу); для сегодняшнего «перестроечного» самосознания они, безусловно,— слишком революционны: мессианство нынче не в моде. Но любопытно, в какую современную идеологическую рубрику отнести «скифство»: антизападническую или «русофобскую»? Как интерпретировать такой, к примеру, текст:

«...Россия — погибла, и пусть плачут те, которым дорога была она, как „географическое единство", более того — как „великая держава". С ними у нас нет общего языка, мы не поймем и даже не расслышим друг друга, мы на разных сторонах пропасти. И если для них „географическое единство" односмысленно с „отечеством", а „великая держава " — с „родиной", то это значит, что мы с ними говорим на разных языках. Это не значит, чтобы наше „отечество" было только „человечество"; нет, в человечестве мы — русские, и не можем, и не хотим другими быть, мы имеем свое национальное лицо, свою народную душу. Но это именно и значит, что „родина" имеет для нас смысл не географический, а духовный, что „отечество" мы понимаем не внешне, а внутренне.

Гибнет географическая родина, гибнет великодержавное отечество. И в гибели его только нарождается, только укрепляется отечество внутреннее, родина духовная, через которых только и может пройти в мир во всякой стране вселенская идея наших дней. И гибель *той* России есть не победа, а поражение старого мира, столь извне победоносного. Я больше скажу: чем сильнее была бы видимая победа старого мира, чем полнее была бы гибель внешней России, тем глубже было бы поражение первого, тем полнее было бы торжество России внутренней» («Россия и Инония», май 1918 г.) [1].

Кажется, строки эти написаны сегодня; так сближаются времена: не только событиями, но и смыслами. Ибо вновь беснуются идеологи России «внешней», в бессилии наблюдая распад уже советской империи; беснуются и плачут оттого, что у них нет и никогда не было на сердце России «внутренней» — духовной родины. Да и возможно ли абсолютно плоскими — «фобией» или «фильством» — именовать то, что было и будет Россией, «русской идеей», даже если не станет «географического отечества»? Впрочем, не о разрешении старого, извечного спора, столь обостренно актуализированного сегодня, может идти речь. «Скифское» — «вечная революционность

[1] Иванов-Разумник. «Литература и общественность». СПб., 1911, с. 117.

[1] Иванов-Разумник. «Вершины. Александр Блок. Андрей Белый». Пг., 1923, с. 84.
[2] Здесь Родос, здесь прыгай! *(лат.)*.
[3] Там же, с. 70.
[4] Иванов-Разумник. «Заветное». «О культурной традиции». Статьи 1912—1913 гг. Пб., 1922, с. 130.
[5] «Краткий отчет о работах IV съезда партии социалистов-революционеров». Пг., 1918, с. 72.

[1] ЦГАЛИ, ф. 591, оп. 1, № 86. (Письмо было опубликовано в «Вестнике литературы» (1921, № 4—5, с. 17) со значительными редакционными сокращениями, что вызвало протест Иванова-Разумника.— См.: ЦГАЛИ, ф. 95, оп. 1, № 745, л. 2.)

[1] Иванов-Разумник. «Вершины...». Пг., 1923, с. 211—212.

(для любого строя, для любого внешнего порядка)», вечный поиск «непримиренного и непримиримого духа» [1].

Центральный пункт «скифского» мировоззрения — идея духовной революции. Революции духа — всегда желание, настаивающее на самореализации личности здесь и теперь; волевой импульс, концентрирующийся в данном историческом пространстве-времени. Одновременно: революция — это свобода, потенциальная открытость, шанс. Революция — преддверие движения. Совершенный шаг — уже выбор, уже плен. Длительное пребывание в атмосфере свободы-революции невозможно: она опьяняет, обжигает, делает людей недееспособными или, наоборот, сверхдеятельными. Недочеловек воображает себя сверхчеловеком.

Именно поэтому революция не может быть процессом, длительностью; она — замирание сердца перед прыжком вниз; она — миг просветления, озарения, преображения — для одних и помутнения рассудка — для других.

«Основной вопрос революции» — это проблема самореализации человека и общества. Что выплеснется из людей, когда — «все дозволено»? Духовное Преображение или смерть миллионов «старух-процентщиц»?

Революция заканчивается завоеванием власти. Дух революции отвердевает (и отлетает!) в деяниях. Осуществленная свобода — соединение двух несовместимых смыслов: как холодный огонь или круглый квадрат.

Мировая революция как духовное преображение — таково основное содержание доклада Иванова-Разумника «Достоевский и К. Леонтьев», прочитанного на заседании Вольной Философской Ассоциации 23 октября 1921 года. Сделаем несколько извлечений из стенограммы этого заседания.

«Тема преображения — это тема, которую нужно проследить в глубине истории, как она впервые встречалась у пророков, как она потом в Элладе изредка и обрывками появлялась в „Федре“ Платона, у трагиков некоторых, у неоплатоников чаще, как эта тема становится основной темой христианства, как все христианство в первые свои героические времена построено на этой идее, но потом она пропадает с Блаженного Августина и опять появляется у Данте... в его „Божественной Комедии“, которая вся построена на этой идее преображения, как весь гуманизм строится на этом и как идея эта превращается в ту самую мировую революцию, в тот самый социализм, который якобы так диаметрально противоположен этой идее. ⟨...⟩

И вот, когда мировая революция, которую мы чаем и ожидаем,— конечно, не та, которая свершилась теперь, в эти годы, конечно, не та, которая совершится через пятьдесят или сколько-нибудь лет, в России или в Европе, потому что все это только ступени, которые думают, что они дошли до предельной революции, что они дошли уже до социализма, просто не понимают, ни что такое революция, ни что такое социализм, просто говорит об „обезьяне“, о кривом зеркале, просто не понимают, что есть определенные шаги, есть определенные ступени, мимо которых не пройти, но считать эту ступень, которая только начинается с земли, за последнюю ступень высочайшей лестницы, значит просто не понимать того, что есть всемирная история. ⟨...⟩

Мир принял или примет революцию, и он победит революцию, победит социализм... Но мы знаем, что пройдут года и десятилетия и придут на смену новые ступени, что завершающая ступень, о которой сейчас мы не можем и помыслить, что последняя мировая духовная революция... не может в конце концов не прийти» [1].

В тезисах к докладу «Памяти Кропоткина» («Вольфила», март — апрель 1921 года) Иванов-Разумник отметил: «Что такое подлинный революционер? — Тот, которого надо повесить на другой день после революции» [2]. Неповешенным же была уготована судьба стать «задушенными» — так называл он в «Писательских судьбах» тех, кто оказался «живым» в условиях господства победившей революции. Последний подцензурный псевдоним Иванова-Разумника — «Ипполит Удушьев»; последние «душевные» (выражение самого Иванова-Разумника) строки в «Отрывке и Нечто» — вместо завещания:

«Удушьев, Ипполит Маркелыч, конечно, еще не один раз появится в русской литературе, а какое имя он будет тогда носить — не все ли равно! Важно не имя, а принцип: мировоззрительное отношение к литературе. Не умирало оно за те сто лет, которые прошли теперь от времени появления „Горя от ума“, не умрет и еще через сто лет, не умрет, пока жива русская литература, что бы там ни говорила княгиня Марья Алексевна» [3].

Не умирало и не умрет... Так ли?

ТРАГЕДИЯ

Многие его слова сегодня кажутся пророческими. Например, такие: «Между драмой и трагедией та разница, что драма есть смерть человека, а трагедия — духовное рождение его в муках и страданиях» [1]. Написано в 1913 году, задолго до «смерти», до «трагедии», до «духовного рождения». Путь, который предстояло пройти Иванову-Разумнику, был еще впереди.

Как же в 20—30-е годы складывалась судьба российских граждан-с-мировоззрениями? Сделаем несколько выдержек из писем Иванова-Разумника Ф. И. Витязеву (Седенко), в начале 20-х руководителю кооперативного издательства «Колос», в 30-х — репрессированному.

28 апреля 1923 г.: «В пакете — рукописи книги „Вершины“; подзаголовок: „Ал. Блок, А. Белый“. Сперва я их назвал: „Вершины символизма“, но потом испугался громоздкости и нецензурности: символизм, мистика, буржуазная идеология, контрреволюция. Другим словом:

Как бы это изъяснить,
Чтобы нам не рассердить
Большевистской важной дуры,
Нашей чопорной цензуры...»

7 февраля 1924 г.: «„Вершинами“ я, вероятно, подвел „Колос“, так как книга такого автора, как я, в наше марксистское время не может рассчитывать на сбыт».

25 марта 1926 г.: «С тех пор, как над „Колосом“ стряслась беда, мне не приходилось писать Вам. Больно и грустно было за дело, которое просуществовало ряд самых тяжелых лет — и должно закончить свое существование теперь, когда наша блестящая совпродукция и совпромышленность достигла, по газетам, довоенного уровня. Что делать! Сегодня — ты, а завтра — я, вчера — Вольфила, сегодня — „Колос“. Всех нас лопает Левиафан „советской общественности“; думаю, что слопает когда-нибудь и индивидуально. Я уже очень близок к этому состоянию: впереди работы — никакой, не говоря уже о своей, но даже и переводной; вообще — крышка. Еще немного побарахтаюсь в пасти Левиафана, а потом знаю: ам! — и нет меня».

22 декабря 1927 г.: «Декабрь для меня оказался замешан круто. ⟨...⟩ Если бы мне удалось выкроить хоть год, хоть полгода незагроможденного житейским хламом существования, то, конечно, написал бы я книгу „Петербург“ и „Москва“ [2], которая вся сидит в голове (а отчасти и написана). Но так как житейского хлама с плеч не сбросить, это первое; а второе — так как эта книга теперь никому не нужна и еще долго не будет нужна,— то значит и не судьба быть ей написанной. Подождем — не под дождем. Эта утешительная народная мудрость действует успокоительно. А лет через 30—50 „какой-нибудь монах трудолюбивый“ (впрочем, не монах, а историк литературы) отряхнет пыль десятилетий с наших хартий и напишет все то, что мы не могли написать».

21 июня 1928 г.: «Простите за напоминание, но скажу Вам между нами, что теперь я в таком мешке, в котором не бывал еще за эти годы. До конца июня есть на что прожить, но с июля — полное отсутствие и работы, и денег, и перспектив работы. Даже и занять не у кого».

18 сентября 1929 г.: «А минута пришла для меня наитруднейшая, и я обращаюсь к Вам за советом.

Дело в том, что местная детскосельская милиция, совершенно испакостив за последние годы пять лучших домов в Детском Селе (переезжала из одного в другой через каждые два года), обратила благосклонное внимание на лучший из оставшихся в целости домов — дом № 20 по Колпинской улице. Восемь квартир, занимающих лицевой фасад дома (в том числе и моя), предназначены для нового помещения милиции и для частных квартир власть имущих: начальника милиции, брандмейстера, предисполкома и т. д. Все мы, восемь владельцев квартир, получаем повестки о немедленном выселении *к 1 октября*.

Куда я денусь со своей библиотекой — не постигаю. Правда, выселяемым предложено занять комнаты (по коридорной системе и с одной кухней на десять семей) в отремонтированном советском доме, бывшем заразном бараке; но надо лично повидать этот дом, чтобы понять — что это такое.

Выселение, конечно, беззаконно. Обращение к местному прокурору — конечно, бесплодно, хотя и обращусь к нему (все местные власти — друзья и приятели). Обращение к ленинградской прокуратуре — быть может, и окажет действие, но уже после того, когда милиция выселит нас на улицу и когда наши квартиры будут заняты власть имущими местными сатрапами. ⟨...⟩

Простите, что утруждаю; но в этом доме и в этой квартире живу уже (страшно сказать!) 22 года, и быть выброшенным из нее как раз в год двадцатипятилетия своей литературной деятельности — не очень-то весело.

А впрочем — суета сует и всяческая суета. Один дом бывает нерушимый и вечный — дом из шести досок. Да и тот, впрочем, не всегда „нерушим“. Вот теперь есть проект о превращении Митрофаньевского кладбища в сад для гулянья и о сносе памятников — в том числе и Аполлона Григорьева. Уж если его выселяют с вечной квартиры, то насколько же естественнее выселить меня с временной!»

14 мая 1932 г.: «Если бы Вы подумали, что я не хочу „компрометировать“ себя перепиской с „ссыльным“, то очень ошиблись бы; такие соображения низменного порядка весьма далеки от меня,— и ведь переписывался же я (хоть и очень редко)

Стр. 162, сноски:

[1] Иванов-Разумник. «Скифское (Вместо предисловия)». «Пути революции». Берлин, 1923, с. 7.

[1] ИРЛИ, ф. 79, оп. 1, № 151, л. 4—5.
[2] ИРЛИ, ф. 79, оп. 1, № 155, л. 2.
[3] Ипполит Удушьев (Иванов-Разумник). «Взгляд и Нечто. Отрывок». «Современная литература». Л., 1925, с. 182.

Стр. 163, сноски:

[1] Иванов-Разумник. «Заветное...», с. 142.
[2] Речь идет о романах А. Белого.

с Марией Александровной Спиридоновой, которая с точки зрения властей предержащих, вероятно, во много раз „опаснее" и компрометантнее Вас. Это все вздор» [1].

Отрывки из писем, приведенные выше, не требуют пространных комментариев. Строки эти производят впечатление затягивающейся петли: и книга о творчестве Белого не была написана Ивановым-Разумником, и выселение из дома по Колпинской, 20 состоялось, и переписка с ссыльным Ф. Витязевым не смогла бы его «скомпрометировать». В феврале 1933 года с известной неизбежностью последовал арест самого Иванова-Разумника, а затем потянулись долгие годы «тюрем и ссылок» — так начался очередной акт трагедии.

«1933 год: с февраля восемь месяцев сидения в одиночной камере ДПЗ (Дома предварительного заключения), а потом ссылка на три года в Новосибирск, вскоре замененная ссылкой на такой же срок в Саратов.

1936 год: „по отбытии ссылки" — разрешение поселиться в Кашире, но отнюдь не вернуться домой, к семье, в Царское Село.

1937 год, сентябрь: арест в Кашире, перевод в Москву, в Бутырскую тюрьму, в общие камеры, где пребывал год и три четверти.

1939 год, июнь: освобождение, без новой ссылки, но и без права вернуться домой, в Царское Село. Удавалось бывать там только хитростью, прописываясь „временно".

Так прошло время до начала войны и до занятия германскими войсками Царского Села 17 сентября 1941 года.

Обвинения?

1. Был „идейно-организационным центром народничества" (обвинение 1933 года).

2. Продолжал после ссылки „контрреволюционную деятельность" в Москве, проживая в Кашире (обвинение 1937 года).

3. Покупал в 1921 году берданку, подготовлия вооруженное восстание против советской власти (обвинение 1937 года).

4. На втором Съезде Советов, в апреле 1918 года, произнес антибольшевистскую речь и „был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов, ныне готовым подтвердить свои слова на очной ставке" (обвинения 1938 года)» [2].

Не станем опровергать здесь эти трагикомические обвинения: жизнь Иванова-Разумника не укладывается в краткий конспект. Видимо, когда воспоминания «Писательские судьбы» и «Тюрьмы и ссылки» придут к широкому читателю, этот разговор будет продолжен. На один только вопрос дать ответ необходимо: меняются ли «люди-с-мировоззрениями», меняются ли их мировоззрения?

Вот как отвечал на него сам Иванов-Разумник в «Тюрьмах и ссылках»:

«Мы привыкли мыслить все еще старыми „довоенными" категориями, в то время как мир перевернулся на своих основаниях, сошел со своей оси — и лишь Гамлеты от революции могут думать, что прежними методами можно прийти к каким-либо результатам. „Народничество — это социализм, социализм — это демократия", а в итоге войн и революций нашей эпохи демократия погребена, быть может, на весь XX век под обломками рухнувших миров. Все политические партии сыграли свою роль — и, впредь до воскресения демократии, не воскреснут; воскреснет же она лишь в итоге ряда новых мировых войн. Мировая война между двумя станами диктатуры — неизбежна, но наше место — au dessus de la mêlée [1]. Стан фашизма — буржуазной диктатуры — враждебен нам и по целям и по методам действий; стан коммунизма неприемлем по методам. Бесплодно вести с этими методами борьбу путем старых приемов: говоря словами Герцена — нелепо ставить себя в положение человека, желающего подняться по лестнице в то самое время, когда с нее сходят сплошным и сомкнутым строем шеренги солдат. Значит — стать в сторонке и сложить руки? Нет, но делать свое дело. Это дело теперь, при новых условиях и задачах, заключается единственно в работе над старыми и вечными культурными ценностями. Надо не лакействовать, не приспособляться, не чегоугодничать, а делать в своей области ту работу, которая переживет и диктатуру, и коммунизм, ибо оба они — лишь переходные формы...» [2]

Если бы судьба уготовила Иванову-Разумнику только отечественные «тюрьмы и ссылки», видимо, трагический экзистенциальный опыт «жизни во все стороны» был бы неполным.

Гимназическое сочинение 1895 года шестнадцатилетнего Разумника Иванова имело название: «Никто не может быть счастлив вне своего отечества (Любовь к Родине)» и заканчивалось такими словами: «Из всего вышеприведенного можно заключить, что может ли кто-нибудь быть счастлив вне своего отечества — вопрос спорный, и не нам, конечно, решать этот вопрос» [3].

Жизнь распорядилась иначе. Оказалось, что решать этот вопрос пришлось именно ему, Разумнику Васильевичу Иванову. В сентябре 1941 года он оказался в зоне немецкой оккупации, а с весны 1942 года — в немецких «беобахтунгслагер» Конница

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 106, оп. 1, № 64, лл.: 78; 85; 117 об.; 123; 135 об.; 136; 159 об.— 161 об.; 176.

[2] Иванов-Разумник Р. «Писательские судьбы». Нью-Йорк, 1951, с. 8—9.

---

[1] В стороне от схватки *(фр.)*.

[2] Иванов-Разумник Р. В. «Тюрьмы и ссылки». Нью-Йорк, 1953, с. 124—125.

[3] ИРЛИ, ф. 79, № 13, л. 5 об.

и Штутгарта. Изменились ли здесь воззрения Иванова-Разумника? Сделаем извлечение из его письма Ф. Степуну, философу и писателю, отправленного из Конница 10 ноября 1944 года:

«Война эта, „вторая семилетняя", движется так, что напоминает теорию Льва Толстого в „Войне и мире" о фатальном движении народов Европы сперва с Запада на Восток, а потом обратно с Востока на Запад. Но нынешняя вторая семилетняя война — более широкого размаха: тут обратное движение идет и с Востока, и с Запада, и с Юга, и даже с Севера. А мы оказались спрессованными в центре всех этих приложений сил — положение довольно жуткое и заставляющее вспомнить псалом царя Давида: „Камо бегу от лица Твоего?" И нет ли у Вас под Дрезденом такого места, куда можно было бы, если понадобится, бежать от лица войны? ⟨...⟩

Недавно писал мне знакомый из Зальцбурга, что город переполнен русскими беженцами из Белграда, старыми эмигрантами; прибавляет к этому, что 4000 их добровольно остались в Белграде, решив покончить с эмигрантским житьем и отдаться на милость большевиков; судьба их, конечно, предрешена. Газеты сообщают, что старые русские эмигранты, четверть века прожившие в Болгарии, уже арестованы там и отправлены в Советский Союз. А если Запад и Восток одолеют Германию, „отец народов" немедленно потребует выдачи ему на расправу и вас, старых эмигрантов, и нас, новых беженцев.

Но если даже единицы и уцелеют, то когда еще удастся наладить русскую культурную жизнь за границей в том размере, в каком она была до войны,— многие издательства, газеты, „Современные Записки" и т. д. Боюсь, что вся эта линия культуры невосстановима. А между тем нельзя пассивно складывать руки, и уцелевшим снова придется начать свою кропотливую работу — в безмерно более трудных условиях, чем это было после первой мировой войны и революции, если действительно свершится та „большевизация Европы", о которой теперь пишут все газеты. Придется ждать решения от Третьей мировой войны, которая, надо полагать, неизбежна во второй половине XX века».

Из письма тому же адресату, спустя полтора года (отправлено из Мюнхена 3 июня 1946 г.):

«Если будете писать мне — пишите на имя моего племянника, не упоминая моего имени. Мы здесь все еще живем под дамокловым мечом „репатриации", но очень надеемся на защиту и UNRRA и UNO. А впрочем — надо быть готовым ко всяческим дальнейшим неожиданностям, и не только в нашей личной судьбе, но и в судьбах мировых. Впереди еще много всего будет.

С искренним приветом,

Ваш *Р. Иванов»* [1].

Строки эти, видимо, были последними из написанных Ивановым-Разумником. В ночь с 3 на 4 июня 1946 года он был сражен инсультом и, проболев пять дней, скончался 9 июня, не приходя в сознание. Последний свой приют обрел Р. В. Иванов в Мюнхене — вне своего Отечества.

Вместо эпитафии — слова из «Записок писателя» Е. Лундберга (1918 г.): «В покорности судьбе И[ванова]-Р[азумника], в общей нашей готовности нести крест и ответить за него, в этой *облегченности* духа и плоти, есть нечто от завета Достоевского: „Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться... Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасенье себе: возьми себя и сделай себя ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть сделаешь себя за все и за всех ответственным искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть на деле и что ты-то и есть за всех и за все виноват"» [2].

* * *

«Люди-с-мировоззрениями» проходят свой путь до конца, не изменяя ни своему лицу, ни своим принципам. Обретая жестокий личный опыт общения с тем, что получит название «тоталитарные системы», они, может быть, так до конца и не осмыслят (это задача следующей, постмировоззренческой эпохи), что в фундамент тоталитаризма были заложены и их одержимость и нетерпимость. Таков путь индивидуальной трагедии.

Когда же на смену мировоззрениям приходит боязнь обобщений и смыслотворчества и слово перестает совершать восхождение к глубинным началам непознанного, неизведанного и бесконечного смысла, рождается «новый человек» — безмировоззренческий и «безальтернативный» (выражение М. Гефтера). Так складывается трагический результат трагической истории XX столетия.

«Сама трагедия нашего познания есть искус и преддверие к мистерии жизни; сначала ищем мы смысла жизни в терминах знания; и этот смысл от нас ускользает; потом ищем мы этого смысла познанием; и его не оказывается вовсе; тогда вопроша-

---

[1] Неопубликованные письма Р. В. Иванова-Разумника (Ф. А. Степуну). Публикация Ж. Шерона. «Новый журнал», Нью-Йорк, 1989, март, с. 313—315.

[2] Лундберг Е. «Записки писателя», Берлин, 1922, с. 204—205.

ем мы познание, в чем смысл этого познания. И смысл оказывается вне познания; само познание оказывается одной из сторон деятельности; и смысл и ценность деятельности» [1].

Действительно, трагедия жизни, первоначально проявляясь как рождение и гибель мировоззренческого отношения к действительности, оказывается бессмысленной вне уникального экзистенциального опыта, который обретает человек, созидающий и теряющий. Сегодня, переживая этот опыт, мы, возможно, не только осмыслим иные мировоззрения, оставшиеся — увы — литературными памятниками отошедшей эпохи, но и одновременно поймем самих себя — богооставленных и забытых.

[1] Белый А. «Символизм». М., 1910, с. 72—73.

В. Камянов

ПРОВОДЫ БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ

1. ОСЕНЬ ПАТРИАРХОВ

За долгие годы поднадзорности и подотчетности наша изящная словесность заметно издергалась, усвоила привычку нервозно оглядываться (нет ли позади «хвоста»?), с трудом одолевая внутренний озноб и томясь предчувствием, что вот сейчас ей придется говорить «под протокол».

Легко ли проходят эти ознобные состояния с переменой общественного климата? Ответим так: не столько проходят, сколько трансформируются в горячку и нервозность расчетов с казарменно-лагерным прошлым, попытки поскорее от него отмыться, дав волю сарказму, облегчающему смеху над порождениями дня вчерашнего.

Писатель посттоталитарной поры притиснут, словно в транспортной давке, к своему гонителю партократу, с которым еще не сведены счеты.

Иное дело культура, наконец-то прорвавшая кордоны. Сановный упырь, раскрылившийся над миром, для нее и был, и, можно считать — не был; существовал как предмет нечевльно необходимого «упыреведения», но не как инстанция, которую надо объезжать по кривой, уламывать или умасливать. Знать упыря для нее не значило знаться с ним.

Виктору Ерофееву, который своим саркастическим выступлением «Поминки по советской литературе» открыл многомесячную дискуссию на страницах «Литературной газеты» (1990, № 27) [1], не простился недостаток скорби на лице. Как и следовало ожидать (мгновенная реакция боксера, увидевшего, что противник неосторожно «открылся»), ему очень скоро намекнули, что он подобен дурачку, пляшущему на похоронах. Оппоненты сочли неприличным в столь скорбный момент сам тон В. Ерофеева, который, по отзыву Руслана Киреева, на панихиду явился «с кнутиком».

Позвольте, замечу я, но нацистский режим в Германии тоже выпестовал для своих нужд «культуру»-угодницу (она взошла на тех же эстетических дрожжах, что и ныне отпеваемая). Ее фанфарный шум и бесславную гибель у нас неоднократно отмечали, но, насколько помнится, не обнажая голов над ранним (лишь 12 жила) прахом.

Так то для нас чужое и чуждое! А тут в своем же доме... Что — утрата? Кому как. Но отчего критику-насмешнику подставляют взамен зеркала лик веселого дурачка с помпоном? А как же? Нарушил заповедь соборности: всем миром грешили, теперь с постным видом покаемся. И нашим Буало от эстетики соцреализма среди опечаленных сограждан будет не так одиноко.

Алла Марченко, оглядываясь на этапы большого пути нашей легальной литературы («Во чьем пиру похмелье», ЛГ, № 31), убеждена, что всему свой черед: была, дескать, вихревая, романтическая пора, которой понадобился свой рупор — «застрельщики теории и практики соцреализма», а потом, по прошествии лет, та духоподъемная «картина самоуничтожалась»; за что же судить «застрельщиков»? За верность времени? Вроде бы логично.

Но как же тогда могло случиться, что в «Бесах» Достоевского подробно расписана рапповская и ждановско-сусловская культурная политика? Придерживаясь аксиомы о писателе как пленнике своей эпохи, автора «Бесов» с его предвидениями явно придется перемещать далеко вперед из родного ему XIX века.

Признавая застрельщиков истинными выразителями вихревой, переломной эпохи, мы должны согласиться: Бунин, Булгаков, Замятин, Платонов, не приноровившиеся к поступи гегемона, справедливо и закономерно стояли ближе к застреленным, чем к застрельщикам.

Приняв к руководству правила нашего школярского «историзма», станешь лишь глазами хлопать при виде возвращенной литературы, которая почему-то возвысилась над *своим* временем, хотя теорией подобное не разрешено. Что ж, тем хуже для теории: не заносись, ни человека ты не постигла, ни искусства, которое позволяет нам быть современниками Гомера, Шекспира, Рабле, протопопа Аввакума...

Оно откупоривает границы любой самой заносчивой эпохи, устраивая межэпохальные сквозняки, потому что его мера ценностей межэпохальна и, допустим, Платонову или Булгакову легче было найти общий язык с Гомером, чем с Фадеевым или Вишневским, жившими через улицу.

Могут возразить: Бунин, Платонов, Булгаков по творческому рангу выше, оттого и на вещи глядели с высоты своего роста, а Федееву с Вишневским или Гладковым бил в глаза свет окон на Старой площади. От такого довода (он мелькал в наших дискуссиях) никакой поддержки принципу «историзма», только новая путаница. Зададимся тогда вопросом о писателе не очень ярком, державшемся в тени крупных реалистов рубежа веков — В. В. Вересаеве: отчего он, всегда тяготевший к радикалам, не пожелал заблуждаться вместе с большинством?

Только что переизданы его полузабытые романы «В тупике» (1921) и «Сестры» (1931), где Россия, вздернутая на дыбы, увидена не из-под конских копыт, не из-под руки державного всадника, а с нормального для художника-летописца возвышения. Например, в «Сестрах» о раскулачивании рассказано так, что, прочти мы эти страницы, не взглянув на имя автора, его легко будет заподозрить в подражании резко обличительной прозе последних лет, да нет, почти в копировании Б. Можаева или С. Антонова. А еще — в полемическом выпаде против Шолохова, который свидетельствовал (тогда же!) об актах геноцида с оглядкой на партийную дисциплину, осторожно и уклончиво — в тоне «сейчас, граждане, потерпим, зато потом...».

А пластический дар Шолохова поярче вересаевского. Но не в пример автору «Поднятой целины» Вересаев не золотит пилюлю умильными речами про «кулацких» детей, которых-де обязательно выведут в люди, обласкают-воспитают (прогнозом, однако, не предусмотрено, что половина из них не выдержит дальней дороги, а остальным до старости не отмыться от анкетного клейма).

Налицо — коренное различие исходных установок. Вересаеву и в голову не приходит подсуетиться в угоду волевым перекройщикам мира: дескать, высок наш, писательский, счет к персонажам, но для вас — со скидкой; партлидеры в его глазах — ответчики за беззаконие. А для Шолохова — законодатели, вдохновенные преобразователи и социального уклада, и морали.

Пробуя в романе о коллективизации совместить несовместимое, Шолохов обречен на сбои в счете, раскачку между всегдашней нравственной нормой и новейшим фарисейством: «Нравственно то, что нам на пользу».

По сути, «крушение гуманизма» наших признанных корифеев (Горького — прежде всего) началось с их уступок фарисейству (вспомним Пастернака: «Все тонет в фарисействе»), разрушительному для духа принципу *пользы*.

Пойдя на такую уступку, они оказались без нравственного компаса или при особом компасе, где стрелкой ведают уполномоченные на то лица. А скромный писатель Вересаев, не доверяя чужим дядям дергать стрелки, определял меру добра и зла по староинтеллигентскому разумению. И вышел прав. «Застрельщики» же с их верностью руководящим установкам удостоились панихиды. Поучительно.

«Партийными были и Гомер, и Шекспир, и Сервантес, и Толстой, и такой, внешне беспартийный, художник, как Чехов»,— по без вызова провозглашает Д. Урнов на страницах «Комсомольской правды» (1990, № 189). Спрашивается, отчего же перечисленные авторы (первый от последнего отделен тремя тысячами лет) так похоже отвечают на коренные вопросы духа, если каждый в свое время и на своем месте представлял группу сограждан-единомышленников, канувшую, конечно, в безвестность? Что это за чудесные партии, заморозившие свои программы на тысячелетия? Таких историей не зафиксировано.

С опорой на авторитет Ленина Д. Урнов заявляет: «Хочет ли этого или нет автор, он служит определенным интересам». Партийным, разумеется.

Стоп. Нельзя мимоходом о главном. Если «хочет ли — не хочет» — все едино, тогда во имя чего автор «служит»? Партийной корысти ради? Верно. У партидеологов ближний прицел: даешь выгоду! Художник для них призывник: не умеет — научим, не изъявит воли — приневолим.

И. Золотусский, выступая с Д. Урновым под общей газетной шапкой, уместно вспомнил, как Белинский обучал Гоголя партийности, но без успеха. От себя добавим, что народнический идеолог Н. К. Михайловский внедрял ту же премудрость в сознание «внешне беспартийного» Чехо-

[1] На эту статью «Звезда» уже откликнулась статьей Е. Бича «С надеждой на будущее» (1991, № 2). К дискуссии, вызванной статьей В. Ерофеева, стоит вновь обратиться хотя бы потому, что она со всей наглядностью продемонстрировала, насколько еще крепка в нашем литературном сознании аксиоматика соцреализма.

Камянов Виктор Исаакович (род. в 1924 г.) — критик, литературовед. Автор книг «Поэтический мир эпоса. О романе Л. Толстого „Война и мир“» (1978), «Доверие к сложности» (1984), «Время против безвременья» (1989). Член СП. Живет в Москве.

ва, но в награду за хлопоты дождался карикатуры на себя (рассказ «Хорошие люди»). Хочет или не хочет художник служить «определенным интересам» — ведь это самая суть дела. Пренебречь ею значит ампутировать душу искусства.

Не в пример Гоголю и Чехову, корифеи соцреализма *хотели*, ибо поверили в верховность «определенных интересов», а поверив, твердой ногой стали на партийную платформу. Что ж, на то они дети своего времени, когда, по словам А. Марченко, возобладала «вечная мечта о социальном равенстве и социальной справедливости». Мечта, вера — вот признанные поощрители авторской воли. Ну, дальше уж, кажется, копать некуда, подоснова новейшей «партийности» вся на виду. Да нет же, только слой дерна снят. Еще раз сошлюсь на роман Вересаева «Сестры».

Почти вся первая его часть выполнена в форме дневника, который ведут молоденькие сестры-москвички, сбросившие шляпки ради красных косынок. Обе хоть и вперились взорами в сияющую даль, но недовольны собой, делятся с дневником сомнениями: честны ли они перед товарищами, годятся ли для эпохальных свершений? Нет, политически та и другая вполне безгрешны, но никак не сладят с капризами собственной натуры, которая норовит выплеснуться за рамки комсомольских дел. Что ж, на то пора молодости, брожения сил, не послушных дисциплинарной узде. О том и дневниковые сокрушения: «Мы какие-то не такие». А рефлексия, подсматривание за собой для краснокосыночниц — вовсе недопустимая роскошь.

Напуганные этой внутренней много- и разноголосицей, сестры готовы сами репрессировать себя, забрасывают и дневник и учение, пробуя стать красней своих косынок. Одна из них до того духом окрепла в борьбе, что наловчилась раскулачивать крестьянских детишек — в пользу пролетарских. «Гадюка!» — бросает ей свой же активист-комсомолец, позабыв заблуждаться заодно с остальными и конфузя нынешних поборников «историзма».

Но ведь волей того поколения двигала вера, «мечта о социальном равенстве». Правда это или нет? Часть правды, удобная в идеологическом обиходе. Вера, мечта, возбуждающая идея — на виду. А за ними — толща человеческой психики, наработанная веками *сложность*, способная, устав от самой себя, позавидовать *простоте*, зажечь при случае факел идейности ради острых минут факельного шествия, восторга сопричастности великой ломке.

Если со стороны глядеть, волей вересаевских героинь правит верность мечте, сознательность. Но автор романа, глядя не со стороны, раздвигает сеть готовых объяснений, дабы прозондировать подпочву поступков. Такова, если угодно, его специальность художника-психолога, пусть и не самого искусного, но прошедшего добрую старую школу.

Оглянемся на двадцатые годы. Вот совсем не знаменитый «Рассказ о самом главном» Е. Замятина, в нем речь идет о подавлении крестьянского мятежа на исходе гражданской войны. Видим: стенка на стенку сошлись. «Орловские, советские мужики в глиняных рубахах» по одну сторону, «пестрые келбуйские мужики» — по другую. А рядом, нет, в гуще тех и других — повествующее лицо, «я» рассказчика.

Давно ли достучалась до наших умов здравая мысль, что в затверженной строке «На бой кровавый, святой и правый...» лишь первые слова не ложны — «бой кровавый»? А вот голос замятинского рассказчика — в разрыв треска пальбы: «И это я — орловский и келбуйский, я — стреляю в себя, задыхаюсь, мчусь через мост, с моста падаю вниз — руки крыльями — кричу...» Позднейшая умудренность? Смотрим на дату — 1923-й. Насмешка, что ли, над теорией?..

А над вязким глинистым полем, над мостом, высоко в зените располагается у Замятина странный призрачный город, где обитают души вещей и души людей. На поле рев «Ур-ра-а!», пытье пуль на излете, вверху среди высоких залов все меньше воздуха. Глоток за глотком он убывает — с новым чмоканьем пуль, новой кровью внизу, у моста: в земное бедствие вовлекается «небо».

Писателю понадобились резкие смены ритмов, совмещение реальных планов с условными, дабы образовалась сюжетная «ниша», где дано очнуться оглушенным, незрячим от ярости душам и хоть на миг одолеть вязкость «глинистого» мира. Символика надоблачных залов и молчаливых групп здесь воспринимается как взрыв трагического подтекста эпизодов кровавой схватки. Резкостью переходов от «глины» к небесному городу, от хрипов к тишине обозначен удушающий абсурд братоубийства. Традиционный психологизм преображен у Замятина в символику последнего напряжения душ, ввергнутых в кровавый хаос. И верно: рассказ о *самом главном*.

Нет, не зря Маяковский начисто отвергал психологизм в искусстве, окрестив его «психоложеством»: интерес к жизни души, аналитическое упорство губительны для литературы *факта*, с которого только сдери газетную обертку — обратно не запакуешь. Да и пафос углубления плохо совместим с пафосом пламенного утверждения.

Поборник «историзма» на наш запрос о действиях «застрельщиков» выдает справку: их перьями водила святая вера. И захлопывает окошко. А мы опять сучим: позвольте, вот у Вересаева сестры-энтузиастки пользуются той же верой, идеей, как шорами, чтобы не замечать лишнего ни в себе, ни вокруг, а разве у писателя меньше поводов для оглядки и сомне...

— Но ведь вам же русским языком сказано: другая э-по-ха!

Да, про это слышали. Не одну сотню раз. Но раньше того усвоили из классики: «Широк человек», а уж писатель шире всего широкого — рамок эпохи, политплатформы и т. п. И если он сделался зашоренным «застрельщиком», ищи, куда подевалась его «ширь» и зачем ему шоры.

Кроме того, не ясно, каким образом «субъективно честный» писатель сберегает чистоту и огонь веры на крутых политических виражах, когда идейная «платформа» под ним ходуном ходит. Какая уж тут, помилуйте, честность перед собой: выгибайся вместе с «линией», пока не скатился под откос!

У Д. Оруэлла — о писателе, подконтрольном партократии: «Если ему приходится по команде менять ориентацию, он вынужден либо врать о своих подлинных чувствах, либо их решительно подавлять. В любом случае он разрушает свой творческий потенциал. Его не только покинут творческие замыслы — сами слова, к которым он обращается, будут под его пером выглядеть мертвыми». Отмахнемся ли от такого заключения? А ведь и его можно квалифицировать как панихиду «с кнутиком».

Так какую же литературу провожаем сегодня без почестей? Ту, что при стройно голосующих Советах признавала себя *советской*. Покладистую, прирученную, послушную тоталитарным законам. Так сказать, литературу — в законе. Для ее патриархов давно настала пора глубокой осени.

2. МЕНЯЕМ ПОРОСЯ НА КАРАСЯ

Конечно, у нас, в России, и глухие заборы щелясты, и голь на выдумку хитра: то там, то здесь правда протискивалась сквозь заслоны. Да и охранники с течением лет подустали от своей церберской службы. Но ожидание окрика, озноб между лопаток — то и другое сказалось на «осанке» легальной литературы, что особенно заметно при ее встречах с литературой возвращенной.

К произведениям, угодным режиму, трудно приложить критерий, который представляется безотказным Ю. Буртину: «„Литература“ — все, что правдиво, то есть талантливо». Талантлива ли та же «Поднятая целина» (речь, естественно, только о первой книге)? Безусловно. Вопрос о ее правдивости и задавать неловко — настолько очевидны обходные маневры романиста, наказавшего себе смотреть на события сквозь фильтр партдирективы.

Такое качество литературы, подотчетной властям, как талантливая изворотливость (дурной сон, если с позиций доброй старой эстетики), выпало из поля зрения Джорджа Оруэлла, зато у него в статье «Подавление литературы», которая только что цитировалась, есть интересный прогноз насчет ближайших перспектив тоталитарного общества: «Оно, вероятно, учредит некий шизофренический образ мышления». Сбылось. Мертвым «застрельщикам» соцреализма не дано сгинуть бесследно. Как носители хорошо отрепетированного способа мышления они и теперь — среди нас, демонстрируют, до чего же просто отмыкаются эстетические ли, психологические ларчики: нужен один лишь поворот ключа — по ходу властных целеуказаний эпохи. Один лишь поворот — и полная ясность.

Оглядите, к примеру, поле дебатов по национальному вопросу, где туда-сюда летают полемические стрелы, обвинения в подрывах, подкопах и фобиях. Какова же, интересно, природа фобий?..

Анатолий Стреляный в статье «Песни западных славян» («Литературная газета», 1990, № 32) заметил, что «важнейшим, бездонным источником русофобии было и остается отвращение к большевизму», тем самым косвенно удостоверяя зыбкость самого термина «русофобия», в котором ему слышен плеск «бездонного источника».

Отогните край термина-ярлыка — тут же обнаружите стихию совсем другой фобии — политической.

Словцо «русофобия» звучит возбуждающе — то ли как «Наших бьют!», то ли как «Вставай, страна огромная!», но, будоража чувства, оно водит нас за нос, блефует, выдавая карася за порося. Услышал, к примеру, русский житель нынешней Прибалтики либо Узбекистана от местного обывателя «Оккупант!» или «Понаехали тут на нашу голову...». И что же? Россия оскорблена с ее многовековой историей или государственная система, которую обыватель не умеет иным способом уязвить, как обругав по-черному Иванова или Сидорова, пришельцев из Центра.

А когда за океаном звучало «Русские идут!» — это устами наших недругов гаркала национальная ненависть? Но потеплели отношения двух сверхдержав, и где ее следы? Или различные вариации на тему «Прощай, немытая Россия» в исполнении некоторых литераторов-эмигрантов? Они, то есть вариации, что — взывают к отпору, требуя гневных вердиктов о шельмовании великой нации? Такие вердикты (их из номера в номер публикуют издания — «заединщики») бьют мимо цели, ибо рождены рассчетливым буквализмом восприятия, когда крик боли, досады униженного, выброшенного за кордон россиянина переводится на язык «патриотического» протокола: так, мол, и запишем — имярек плюнул в душу России! А имяреки тем временем тоскуют о русских березках...

В конце 30-х, когда Сталин с присными принялся подбаалять в обычное пропагандистское пойло острые националистические пряности, попутно задавая острастку недостаточно пылким патриотам, русский мыслитель Г. Федотов писал: «Должно быть, в России накопилось много дурных соков, ненависти, пораженчества. Но сомнительно, чтобы предметом ненависти могла быть Россия. Все-таки для такого вывиха необходимо хотя бы пространственное удаление, отрезанность от нее». В словах замечательного философа и социолога слышится недоверие: а не морочат ли нам голову толками о ненависти к России? Для Г. Федотова сомнительна их достоверность, ибо такая ненависть — аномалия, «вывих».

В самом деле, ненависть — чувство очень активное, вроде состояния объявленной войны, ей нужен компактный образ врага, «ощутительный предмет», пользуясь словами Толстого, сказанными именно об этом чувстве. Россия? Сама неоглядность, богатейший спектр национальных и культурных традиций — онтологическая данность, плохо поддающаяся уплотнению. Для здешнего жителя — часть вселенной, среда твоего обитания; невзлюбить ее — себе дороже выйдет: примешься до судорог напрягаться, отстраняясь от «ощутительного предмета»,— душу надорвешь (совсем иное дело — любовь с ее энергией притяжения, сердечного слияния с «предметом»). А ненависть с «пространственного удаления» (если словами Г. Федотова)? К чему? К национальному, так скажем, субстрату? Больно уж неоднороден, разносоставен. К прославленной на весь свет литературе, музыке, балету? Такое было бы чистейшей патологией, смердяковщиной (вот уж кто истинный ненавистник родины — так Смердяков).

Нет, для агрессивного, туго сжатого чувства неподходящий объект — Россия. Агрессивное чувство против нее выжжет, опустошит все вокруг себя. Тем дело и кончится. Что ясно каждому, не съехавшему с психической нормы.

Снова сошлюсь на Г. Федотова, который в 1940 году писал: «Русское национальное чувство, подобно патриотизму старых европейских народов, было лишено горячечных симптомов. Уверенность в себе позволяла быть великодушным». «Горячечные симптомы» были бы столь же неестественны, как суетливая оглядка и нервозность великана, вдруг вообразившего, что его сейчас обидят. Для самого многочисленного народа необъятной страны абсолютно нормальна спокойная «уверенность в себе», а не закомплексованность невротика, готового шарахаться от куста или тени.

Нынешние стенания о «русофобии» — не что иное, как «горячечный симптом» нервозности великана, если, конечно, согласиться, что встревожен сам великан, а не доброхоты, трубящие ему в ухо о покушении на его честь. Великан слушает их рассеянно. Но заметим эту манеру стражей великаньей чести — фиксировать косые взгляды в сторону российской государственности как *национальное* оскорбление.

Слова А. Стреляного о «бездонном источнике русофобии», большевизме, сильно задели критика Вадима Кожинова, который выступил на страницах «Литературной газеты» с пространной отповедью («К спорам о „русском"», 1990, № 37).

По В. Кожинову, «русофобия» как явление и отвечающий ему термин возникла задолго до большевизма. Следует длинная выписка из Тютчева, который в 1867 году обозначил этим словом настроения тогдашних «западников». Так в чем конкретно обвинил их поэт? В дурной склонности шельмовать (следом за либералами эпохи Николая I) основы российской государственности, а также «современные (речь о пореформенной поре 60-х.— *В. К.*) направления общественной мысли», отдавая во всем предпочтение Западу.

Читаем тютчевский текст, водя глазами за указкой В. Кожинова, и видим: термин «русофобия» здесь накрепко связан с текущей политикой, идеологией, даже не намеки на поругание заветных святынь *нации*. Так ведь и А. Стреляный, отогнув ярлык термина, обнаруживает за ним фобию, да не ту — политическую. И Тютчев, по сути,— его союзник: термин заведомо не равен себе.

А как раз все любители возбуждать им публику настаивают на буквальном прочтении термина. И неудивительно. С заменой карася на пороси приходит полная свобода рук. Раз нанесена кровная обида, можно и самому не церемониться, объяснять чуждые тебе идеи составом *крови* их носителей, а вдобавок бередить глухие инстинкты, родовую «пра память» соотечественников, которые-де унижены неоплатимо — за одну лишь принадлежность к роду и племени. Темный инстинкт подозрительности к «чужаку» (предполагается — берегущему камень за пазухой) — надежный союзник националистов, умельцев распалять агрессивность «подпольного человека».

3. ИВАНОВ И САРРА

Для уточнения наших позиций в нынешних горячих спорах небесполезно воспользоваться уроками классического психологизма, которому открывалось тайное тайных людских побуждений.

Характерно, к примеру, как сто лет назад отзывался на чеховскую драму «Иванов» все тот же суровый наставник умов Н. К. Михайловский. Заглавного ее героя он аттестовал попросту — «ломающийся болтун». И, соответственно, Чехов объявлялся автором «плохой драмы», способной внести смуту в умы читателей. Тут что — обыкновенный сбой чутья и вкуса? Нет, скорее так: неусыпная бдительность пастырей душ, который следит за умственной диетой своей паствы: никаких сомнительных разносолов!

И молодой Чехов прекрасно знал: на его пути — контрольный пост педантов-диетологов, чей либеральный догматизм непробиваем. Знал — и среди персонажей драмы отвел место именно такому либералу-догматику. Это доктор Львов, удостоившийся от другого персонажа меткой характеристики: «Так честен, так честен, что всего распирает от честности». Названо, значит, опорное свойство — спесивая честность, — от которого, как от «дано» в условиях задачки, нам следует двигаться дальше, постигая характер? Не совсем так.

В пору «Иванова» (конец 80-х) чеховский персонаж начинал понемногу перерастать рамки собственной характерности. За ними уже угадывалась не просто правда — сверхправда вот об этой живой душе, которую все сильней угнетает чувство необратимости Времени, бесследного убывания жизни.

«Безвольные» герои зрелого Чехова, выпавшие из бурной исторической полосы в мертвую зыбь безвременья, будут монотонно повторять «наша жизнь», «моя жизнь», охватывая ее взглядом от предела к пределу. Но и на пороге сахалинского путешествия (1890) уже просматривался этот особый сюжет с участием неприкаянной души и хмурого пространства Жизни, где нет зацепок, чтобы замедлить скольжение к краю, занять себя чем-то неординарным — для отвода глаз все от того же края.

Прежде Чехова у Льва Толстого прозвучал (а «Войне и мире») мотив — все люди в меру своей находчивости спасаются от жизни: «кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками... Только бы не видеть *ее*, эту страшную *ее*».

Женщинами?.. Центральный герой чеховской драмы «Иванов» именно за такую возможность ухватился, переполошив родню и соседей, ибо его избранницей стала девушка другой веры — Сарра Абрамсон. Женитьба на Сарре — шаг неординарный. И, видимо, решимость Иванова нарушить табу — яркий штрих к портрету, примета духовной незаурядности?..

Лейтмотив героя в первом акте: есть жизнь в ярких красках, а есть серенькая; первая неведомо где, вторая — общий удел; достойны первой лишь яркие натуры... А он, Иванов, из какого разряда? С безотрадным для себя ответом на этот вопрос Иванов и вступает в сюжет. И с горьким осадком на душе после вчерашних самообольщений.

Прежняя самооценка уже перечеркнута, или почти перечеркнута, ее след — в исповедальных повторах: Сарра ради меня пожертвовала всем, принесла бы еще сотню жертв, потребуй я их, она все еще любит меня... и отрезвляющее: «Ну-с, а я ничем не замечателен...» Теперь тот *яркий* поступок режет ему глаза, слишком контрастируя с общей — и собственной! — серостью. Надо, значит, по-иному прилаживаться к жизни. Следует ключевой монолог I акта («Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок...»), а обращен он как раз к доктору Львову, которого так просто не собьешь, ибо тот отыскал для себя нестираемую *яркую* краску — роль честного прогрессиста-моралиста, застрахованного от сомнений и нравственных кризисов.

Характер, тип тут уже дан с экзистенциальной подсветкой. И хотя важен сам по себе *портрет* из галереи современных типов, но не менее важен и тип выбора: по какому шаблону удобнее Львову или еще кому-то выравнивать строй души, дабы уберечь ее от болезней роста и тягот самоорганизации?

Выбор этот, конечно, бессознателен и напоминает ерзанье в полусне на продавленном ложе с ноющими пружинами, от которых нет пощады бокам.

«Человек бежит по коридору своей жизни»,— скажет позднее Андрей Платонов. Чеховские люди редко *бегут*, чаще бредут или переминаются с ноги на ногу, но отлично чувствуют тесноту «коридора» и убыль отпущенных им сил. Иными словами, за портретированием типов у Чехова всегда — драма человеческого существования, обычная, рутинная драма, на что указывают и такие заголовки, как «Скучная история» или «Иванов».

Однако современникам далеко не всегда было дело до обертонов и оттенков чеховского слова. Даже В. Г. Короленко в оценке «Иванова» оказался не многим проницательней Михайловского, обнаружив в драме «нововременские» настроения, обозвав заглавного героя «пошлым негодяем» и взяв под защиту как раз доктора Львова — «человека, который негодяйством возмущается, который заступается за „жидовку" и страдающую женщину...».

По убеждению Короленко, Чехов напрасно очернил порядочного человека, заставив того «писать анонимные письма и делать подлости». Увы, взгляд Короленко на чеховскую драму сугубо партиен и не захватывает ее глубины. Сам же этот историко-литературный казус способен раздвинуть границы нынешних споров и о «застрельщиках соцреализма», и о национализме, прояснить их гносеологическую основу.

Что раньше всего занимает художника? Если нравственные устои и гражданская позиция соотечественников, то он взялся за дело, которое по плечу оперативному очеркисту или социологу. Если жизнь человече-

ской души, то аудитории автора призвана к сотворчеству на иных началах, нежели при чтении эссе или фельетона. Но против такого переключения с регистра на регистр есть стопор партийности. И он безотказен, когда та отвечает складу ума или прочно в него внедрена.

«Художник ловит на свою антенну голоса из мира, неизвестного ему самому»,— заметил Г. Федотов. Да, художник-то ловит и улавливает. Но как быть, если его аудитория лучше всего ловит на свою антенну голоса из мира, где авторитетны доктор Львов и Лида Волчанинова («Дом с мезонином»), а всякое несогласие с ними протоколируется как вызов приличиям и чуть ли не мракобесие? Вопрос, не потерявший остроты и в разгар поминок по соцреализму.

В драме Чехова скандальней остальных попирает приличия ее заглавный герой, окончательно добивая своим черствым отношением смертельно больную жену, которая для него «пожертвовала всем». Она-то пожертвовала, а он при ссоре бросил ей в лицо: «Замолчи, жидовка!»

Мы уже успели заметить, что заступничество за «жидовку» помогло доктору Львову завоевать симпатию старшего современника Чехова — Короленко. Но интересно, как сама-то Анна Петровна (Сарра Абрамсон) отзывается на выкрик мужа и на глумливые «каламбуры» мужнина дяди («Жид крещеный, вор прощеный, конь леченый...»)? А никак. Пропускает мимо ушей эти скребучие ноты — да и только. Отчего так? Очень просто: ей понятна нарочитость скребучих нот. Мужнин дядя Шабельский — тот сердечно привязан к Сарре, а дразнит ее «каламбурами», дабы перебить безотрадный ход своих мыслей. Что же до Иванова, нет в нем, конечно, никакой расовой спеси, а есть черная тоска от сознания духовного своего банкротства.

А. Суконик в работе «О Чехове, Ляле-комсомолке» («Литературное обозрение», 1990, № 9) очень точно заметил: «Чехов одной из своих задач ставил дискредитацию буквального, объективного значения слова в пользу субъективно психологического состояния человека». Тут речь о позднем Чехове. Но уже на пороге 90-х у него дискредитируются и сами буквальные значения слов, и давно обкатанные темы, которые персонажи ворошат в порядке своеобразной терапии — дабы не так давило чувство *пустоты*. Сюда относятся всякие откровения о «жидах крещеных», про которых-де каждому известно, каковы они.

Но не зря задета именно эта тема. Персонажи драмы, обнаружив себя затерянными среди хлябей безвременья, рады любой спасительной соломинке, тем паче — возвышающему обману о разных «по сорту» — нациях, среди которых своя, слава богу, ценней. Есть, значит, страховка от последнего места в людском ряду. А доктор Львов совсем иначе подстраховал себя — укрепившись в отрадной роли защитника морали и благородного рыцаря «жидовки», за нечуткость к которой он и «подлеца» ввинтит в уши виновному.

При чеховском взгляде на человека, чей удел — космический неуют, возня с самим собой, когда Жизнь не указчица пути, никуда не торопит и сама застоялась,— при таком взгляде у пресловутого «нацвопроса» — особый поворот. Не «Отчего постыдна вражда к инородцу?» или «В какой среде она процветает?», а — «Чем инстинкт вражды или превосходства дорог его носителю?»

4. ЧТО СЧИТАТЬ ГВОЗДЕМ НАШИХ АНКЕТ?

Напомню сказанное прежде о романе «Сестры». Комсомольский энтузиазм его героинь — вроде бы прозрачнейшая из стихий, перелился в девичьи души из кипятильника бурной эпохи. И какие тут еще проблемы? Для агитатора их нет. Для художника — непочатый край. Хотя бы оттого, что его человеку рамки эпохи тесны и прежде социального выбора им уже взят старт в забеге «по коридору своей жизни», получены от нее негласные указания.

— Какие? — интересуется Вересаев, наблюдая демарши своих энтузиасток, вроде бы покорных одному лишь диктату эпохи.

— Какие? — интересовался молодой Чехов, следя за эволюциями издерганного помещика Иванова, осквернившего однажды уста липким словом «жидовка».

Такая мера пытливости вполне уместна при взгляде на буйно цветущий ныне национализм. И вопросы на ум приходят не о том лишь, насколько национализм опасен и какими новейшими поветриями поощрен, а и о том, как глубоко впечатан в структуру личности и *зачем* он ей.

Есть довольно удачное объяснение национального гонора: шовинист свободен от многих хлопот, ибо в случае чего ему не надо разыскивать виноватого — виноват, конечно, «инородец». У Роберта Музиля («Человек без свойств») об этом сказано так: «Национальное чванство есть лишь тот особый случай, когда по искреннему убеждению выбираешь себе такого козла отпущения, который не состоит с тобой в кровном родстве и вообще как можно меньше похож на тебя самого».

Тут националист схвачен за руку в сокровенную для него минуту, когда свой мусор он тайком подбрасывает соседу. Но подобное наблюдение — это еще «тепло», а не «горячо». Если же держать в уме «антропологические откровения» (Н. Бердяев) искусства, намного «горячей» расшифровка других уловок, к каким прибегают не всякий миг, а лишь озадачившись

смыслом ли, бессмыслицей существования и не успев отвести взгляда от *нее*, увидев «эту страшную *ее*» (Толстой), Жизнь то есть.

Пред ее ликом вроде бы и стушеваться — не велик грех. Особенно если свой дар — существование — употребил кое-как. Или все-таки зазорно терять осанку? Тогда на крайний случай есть под рукой копилка общего пользования, групповая, так скажем, «заначка» с набором ценностей и отличий — сословных, классовых, земляческих... национальных: «А у моей нации кровь светлее!» Изрек такое, и вроде разом полегчало: наше место не последнее!

Национальное чванство всегда изнутри подточено догадкой его носителя: «В чем-то я ущербен!» А значит, тем острей у него позыв пестовать национальную амбицию и орлом поглядывать окрест.

В гоноре шовиниста — смесь «сдаюсь!» и «сдавайся!», попытка вторым выкриком заглушить первый, вытеснить из ума и подсознания догадку о собственной ущербности. (Снова о «русофобии»: многомиллионному народу, давшему имя России, роль униженного «инородцами» подойдет не больше, чем слону роль козла отпущения.)

...У Гранта Матевосяна среди персонажей его саги о Цмакуте видное место принадлежит деду Месропу Казаряну — колхозному конюху, а по главному его задору и сердечному запалу — армянскому националисту, который на роль «козлов отпущения» определил азербайджанцев, соседей своих по горным пастбищам.

Зачем ему это? — вопрос, составляющий сердцевину Месроповой истории. Хотя проще было бы поинтересоваться, *из-за чего* конюх воспылал враждой к целому народу. Тут, кстати, и простейший ответ готов: счеты за отца у Месропа не сведены с соседями, а значит, отрава неотплаченной обиды гуляет по жилам. Но даже недалекому Левону, сверстнику и давнему антагонисту Месропа, понятно, что тот темнит, всякий раз заново расчесывая свою болячку: не в обиде дело, а в самом Месропе, который пристрастился к национализму, как к сильному наркотику.

Персонажу Матевосяна хорошо знакомо чувство космического неуюта перед лицом вечных гор, когда они словно хмурятся на него: сумел ли делами и думами быть заодно с ними или растратил себя по мелочам, впустую проплутав по здешним тропам? Конюху Месропу это немое вопрошание — как нож острый, потому что человек он вздорный, непутевый, с мешаниной случайных знаний в голове. Но на свою беду тонкокож, восприимчив к смутным лесным ли, луговым голосам, кружению ястреба над ущельем. К несмолкающему гулу Времени. И бродит конюх возле родников, вырезая на мху автографы: «Месроп К. XX в.». Какая ни есть — весточка потомкам.

А *теперь* среди односельчан отрадно ли ему слыть никчемным пустозвоном? Одно остается утешение: растить в душе вражду к соседям-«туркам» и надуваться национальной спесью.

Заманчивость для него такого занятия высвобождается особенно четко, когда узнаешь, что за свои «настроения» Месроп принял венец мученика, отбыв лагерный срок. Причем заявил на него «куда надо» (в самую расцветную пору ГУЛАГа) присосавшийся к Месроповой судьбе Левон, которому очень нравилось выкрикивать интернациональные лозунги.

«И они были вполне довольны друг дружкой, потому что каждый оправдывал существование другого»,— замечает автор. Неразлучность шовиниста и глашатая агитпрописей тут напоминает топтание двух забулдыг, которые, навалившись один на другого, кое-как держатся на ногах, а расцепив объятья, растянутся среди дороги.

Конюх Месроп целую жизнь порывался встать с четверенек, дабы справить торжество над «турками» и всласть покозырять своим «армянством». Но тем верней являл свою никчемность. И нынешние националисты разных мастей, принимая горделивые позы, враждебно косясь на «инородцев», по-месроповски выдают себя. Вырезав из своих анкет лоскут с ответом на «пятый пункт», они размахивают им, как банкнотой, хотя она неконвертируема. И отчего графе «национальность» предпочтение перед соседними: «пол», «возраст», «профессия»? Так ведь из соседних сложней извлечь трубный призыв к сплочению. Между тем в нравственном укладе личности национальный компонент вряд ли весомее, чем, допустим, «психология пола».

История о Месропе рассказана давно, около двадцати лет назад, когда у сильных мира еще не было нужды раздувать межнациональную рознь. Но звучит очень актуально, ибо тут схвачен момент самовозгорания фобии, которую затем ничего не стоит раздуть в большой костер.

Уж на что далек Матевосян с его сарьяновской гаммой красок от мягкого, «акварельного» Чехова, а ведь у цмакутского конюха Месропа душа (или дух?) не на месте по тем же примерно причинам, что и у русского помещика Иванова, которому тоже впору оставлять среди леса автографы («Иванов Н. А. XIX в.»), ибо у обоих при обостренном чувстве *существования* не нашлось сил сладить с жизненной ношей (одно из ключевых признаний Иванова: «Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула»). Только диковатый Месроп, пробуя удрать с последнего места, хочет, чтобы это место заняли разные прочие... «турки», а для Иванова такие приемы запретны: образован и чистоплотен...

Знакомясь поближе с заглавным персонажем драмы, трудно отбросить догадку, что и в пору жениховства влюбленный, но

очень занятый собой, своим душевным неустройством, Иванов где-то в дальних закоулках памяти и тайком от ума уже сберегал «жидовку» — про запас. Не оттого, что Саррину нацию числил вторым сортом. Просто эгоцентрику важно держать под рукой безотказное средство самозащиты, желательно — с парализующим (чужую активность) действием. А против подруги-единоверки где такое найдешь?

И вот в минуту истерического срыва интеллигентный Иванов выстреливает в лицо супруге «жидовку». Но тут же следом: «Так знай же, что ты... скоро умрешь...» Какой из ударов сильней? Определить трудно. Оба — из числа тех, что должны разить наповал. И «жидовка» — рассчитанный удар по больному месту, а не внезапный оскал национальной вражды. Или... второе тоже?

Нет, по сути, здесь вот что: человек, сорвавшийся со всех тормозов, уже не думает соблюдать правила, ни себя, ни ближнего не щадит, ибо не видит от Жизни пощады; осознав жизненное крушение, он крушит все вокруг. Как именно крушит? Да по-дикарски, пользуясь вековым опытом унижения *другого*, подвернувшегося ответчика за твою боль: «Все ваше племя низкое, моему и в подметки...»

Тут — конфронтация с целой Жизнью, не оправдавшей надежд, и пароксизм бунта взвихряет нравственную муть, накопленную в обход рассудка. А при либеральном анализе поднявшейся мути Иванов выходит заурядным негодяем, Чехов же — морально неразборчивым автором. Вот и примиряйте либеральное сознание с художественным, пробуйте внушить благородному позитивисту, что всплеском национализма обозначен у Чехова край, предел, где человек, надломившийся под жизненной ношей, спешит отыграться на том, кто еще ниже согнут!

Национализм — извечное «табельное» средство самовозвышения без личных затрат. И нынешние вспышки фобии, помимо всего прочего,— яркий след школы обезличивания, пройденной поколениями советских граждан.

Что же до художественного сознания, то ему душновато в границах «нацвопроса». Все-таки серьезному искусству раньше всего интересен *внутренний* человек. Желательно — не самый усердный накопитель психологических шлаков. А запахи национального предрассудка въедливы, и в каком бы закутке души тот ни таился, растекаются вширь. Персонаж, уличенный в национальной нетерпимости, уже не брат нам по человечеству, а крадущийся за кем-то из наших братьев хищник. И очень ли нас тронут его любовные томления либо ностальгия по босоногому детству?

В принципе искусство — область абсолютных (т. е. надпартийных, внеклассовых, вненациональных) критериев справедливости. Соприкасаясь с ним, мы восстанавливаем свою изначальную природу, очищаемся от накипи партийной и любой другой предвзятости. Или надеемся очиститься. И недаром то искусство, что на службе у партийной ли, национальной идеи, всегда с душком, ибо воспалено желанием часть человечества забраковать.

5. ПОД КРОВЛЕЙ «КАЗЕННОГО ДОМА»

Напоследок еще два слова о дискуссии вокруг ерофеевской статьи. Уже взглянув на ее заголовок «Поминки по...», всякий, кто не ленится следить за ходом наших полемик, мог держать пари насчет того, что, во-первых, очень скоро Ерофееву предъявят список мастеров от Мандельштама до Шукшина, которых он должен из опалы исключить; во-вторых, что кому-то из спорщиков, чья очередь еще не подошла, не терпится подбросить публике дежурный перл про грязную воду и ребенка в ванночке. Тут, знаете,— как с исправным автоматом: опущен жетон — шипит струя. Правда, статью под заголовком «Не выплеснуть бы ребенка» (А. Рубашкин, «ЛГ», № 43) пришлось после ерофеевской ждать целый квартал. Но полезный совет хозяйки «не выплескивай...» появился на газетной полосе с той же неотвратимостью, с какой в ранней чеховской драме на главного героя обрушивались поучения доктора Львова.

Многие из пережитых нами чудес предвидела классика: и разгул политической бесовщины, и угрюм-бурчеевскую войну с водной стихией, и новейший апломб либерализма, которому мысли и дела сограждан известны наперед. Так нет ли резона прислушаться к «внешне беспартийному» (Д. Урнов) Чехову, уяснив попутно вес и цену поучений Н. К. Михайловского, строгого регулировщика на перекрестках культуры и специалиста по надзору за талантами?

Конечно, его надзор за Чеховым еще не был чреват оргвыводами, но впереди по курсу, каким шел народнический идеолог, уже маячили партдокументы по вопросам искусства.

Семьдесят лет нашей политической поднадзорности и подконвойности очень мало отдалили нас от Н. К. Михайловского и прагматической эстетики шестидесятников, которым он наследовал. Скорей напротив. Стеная под прессом инструктивной идеологии, мы по своей же охоте брали уроки у ее недальних предтеч, мастеров укрощать, упрощать, нацеливать искусство. А его собственную логику постигать не спешили.

И теперь нам неспроста горько на поминках по специскусству, чей ум так льстил нашему, чья вера согревала сердца. Но, например, и любому романтику из гитлерюгенда после весны 45-го было горько расставаться с «Хорстом Весселем», не меньше, наверное, горчившим кровь, чем «Марш энтузиастов». Коричневое искусство, однако, скоро померкло в памяти большинства немцев, расточилось, как тяжелый бред.

По-своему прав Ю. Оклянский, примкнувший к строю поборников «историзма» («По ком звонит колокол», «ЛГ», № 44), когда он заявляет, что «под кровлей и сводами общего казенного дома с вывеской соцреализма» процветала «искренняя революционная романтика». Верно: «искренней романтике» хорошо было цвести за железным занавесом на огороженном пространстве, где ее овевали родные запахи. Под кровлей и сводами третьего рейха «Хорст Вессель» тоже звучал романтично и пламенно.

Однако в «казенном доме» тоталитаризма искажающая акустика. Она способна сообщить некоторое благозвучие даже хриплым кличам. Если же выйти наружу, все эти бравые куплеты и гимны, от которых должны дрожать «одряхлевшие кости», воспринимаются как хмельной галдеж.

Иными словами, эстетику «казенного дома» желательно хотя бы теперь оценивать не по ее собственным меркам.

Будем и впрямь историчны, только не на ждановско-сусловский манер. Вспомним «Котлован» Платонова, самый ранний прозаический отклик на истребительную практику раскулачивания, вспомним тех же вересаевских «Сестер». Разве там не отпевались творения бардов коллективизации!

Отступим от нынешнего дня вспять — на столетие, когда Чехов лишь краем задел (драма «Иванов») тему национализма. И что видим, отступив? Даже бегло ее коснувшись, Чехов весомей нашего ответил на еще не написанные трактаты о «русофобии» и статьи о «жидомасонстве».

Смещаемся от Чехова на десятилетия вперед, и в повествовании Гранта Матевосяна о цмакутском конюхе находим точнейший взгляд на природу шовинизма, достигающий душевной подпочвы, откуда тот тянет соки.

Нормальная квалифицированная литература не согласна плохо думать даже о плохом человеке: он для нее — «часть мирового природного тела» (А. Белый). А застрельщики соцреализма и о своем образцовом герое думают плохо и плоско (т. е. и неквалифицированно и неуважительно к нему) — как о воспитаннике класса и продукте эпохи.

Уже по одной этой причине правоверный застрельщик — жилец «казенного дома», а за его стенами — попросту *не жилец*. Он сам же подает заказ на панихиду по высокоидейным своим творениям.

В каком бы направлении мы ни пересекали рубежи десятилетий, всюду отыщется памятливая литература-труженица, не согласная и близко к себе подпускать казенную словесность, чья энергия уходит в свисток.

Серьезное искусство рачительно: опыт минувших поколений всегда при нем; тогда как застрельщики по-люмпенски бесшабашны и беспамятны, мимо «отеческих гробов» проскакивают на рысях и с посвистом: сами-де с усами! Уже поэтому мир между той и другой словесностью исключен. «Их принципиальные установки разделены вечностью» (если воспользоваться энергичной формулой Альбера Камю).

В этой статье и рискнул соединить историко-литературную тему с национальной именно потому, что в связке они позволяют четко проявиться двум принципиальным установкам, когда по одну сторону — творения все тех же временщиков-застрельщиков, по другую — Поэзия на все времена.

А где же место националистов? Возле первых. Зазор между коммунистами и националистами не больше разницы между дискриминацией человека по классовому признаку и по признаку расовому.

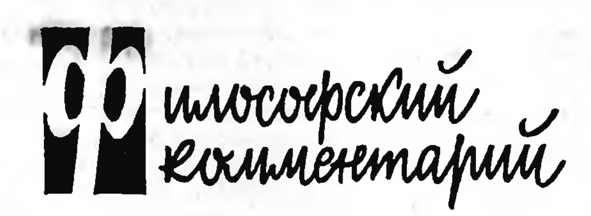
Как уже упоминалось, под флагом соцреализма дискриминирован и образцовый герой — энтузиаст великих свершений. У него отнято право на философскую рефлексию, религиозный порыв (либо скепсис), вольное партнерство с бескрайним Миром, где у живой души более высокое предназначение, чем сгинуть в угоду утопистам-схематикам, пополняя собою статистику жертв очередной деспотии либо изо всех сил ее подпирая.

Удивительно ли, что очень многие исполнители «Интернационала» готовы брататься с шовинистами, особенно если партократия не по-хорошему прищурилась на какой-либо из ведомых ею народов. Тут — тайное братство погонщиков людского «стада», которых мутит и при беглом упоминании о достоинстве личности.

Специскусство, направляемое твердой рукой, успешно нивелировало умы, угождая тем самым не одной лишь партократии, но и любителям сортировать людей по «мастям» или «породам». А мы нынче затеяли ученые прения о праве застрельщиков на место в истории культуры, чью духовную основу они оскверняли и расшатывали, как могли.

Под острым углом сошлись спецкультура, воодушевленная призывами, и просто культура — одухотворенная. Навязывать им консенсус — значит ущемлять вторую. Займет ли снова, укрепит ли она свои прежние позиции? Вопрос не менее мучительный, чем другой, с которым он связан: «Можно ли ждать каких-нибудь милостей от природы после немилосердного над нею глумления?»

Что касается культуры, то обнадеживает возвращение первоклассных мастеров, которые вовремя поспели к панихиде по специскусству, заказанной ими гораздо раньше нашего.



Г. Л. Тульчинский

МЕЛАНОМА ПОНИМАНИЯ

Родимые пятна, родинки, столь милые иногда любящему сердцу, играют, как утверждают медики, двоякую роль. Накапливая меланин, они спасают организм от смертельной опасности. Но они же и — центры этой опасности. Бывает, сковырнет человек родинку нечаянно и включит механизм собственной гибели. Раковые клетки, лишенные центра локализации, разносятся по всему организму. Живые ткани метастазируются. Меланома. А то вдруг родимое пятно само начинает болеть, распухать, кровоточить...

Духовный опыт аккумулируется в языке. И опыт этот может быть разным, в том числе и злокачественным — он тоже хранится и накапливается в языке. Такие сгустки зла, «родимые пятна», могут стать привычными от повседневности и повсеместности стереотипами, шаблонами осмысления действительности, легко узнаваемыми чертами уютного дома души. Живет себе человек, целое общество в понятном мире, уму и душе удобно, нигде не жмет и не больно.

Но не приведи бог сковырнуть такую «родинку» — добраться до буквального смысла таких расхожих стереотипов! От сотрясений и перегрева общественного организма значения и смыслы некоторых родимых слов начинают распухать, изъязвляться... Весь знакомый, привычный, удобно понятный мир расползается на глазах, превращаясь в омертвелую ткань, отравляющую своими соками живое. Казавшийся уютным дом души разваливается, рушатся скрепы между людьми, а человек остается одинокий и беззащитный под пронизывающим холодным ветром жизни.

Меланома понимания. То, что переживает сейчас наше общество. Пораженный ею, жаждущий понимания разум подобен Мидасу — все, чего он ни коснется, превращается в собственную противоположность. Демократия — в игру самозванческих амбиций, кооперация — в усиление монополизации и мощный механизм инфляции, акции — в форму изъятия средств у граждан, аренда — в средство закабаления, правовое государство — в гонку законотворчества на все случаи жизни. Не буду множить примеры обессмысливания разумного — симптомы болезни.

В нынешних дискуссиях предлагается множество — иногда взаимоисключающих — диагнозов болезни и программ-курсов лечения: от обличений чьей-то злой воли или заговора и упований на личные качества руководителей до указаний на «механизмы торможения», экономическое решение всех проблем. Не покидает впечатление, что диагнозы ставятся фактически без знания реального больного и носят подозрительно непререкаемый характер.

Все больший круг проблем настоящего и перспектив развития общества связывается не просто с «человеческим фактором», а с его сердцевиной: мировоззрением, идеалами, ценностями и «принципами» — всем тем, что определяет смысл и мотивы поведения отдельных людей, коллективов, социальных групп и народов, короче говоря, с их духовным опытом. Обновление самых различных сфер общественной жизни, в том числе — вполне материальных и вещественных, приходит во все нарастающее противодействие с этой «нематериальной» силой. Она оказывается куда прочней и опасней «механизма торможения», пугала бюрократизма. Из тумана неназванного все более отчетливо проступает не просто стена, в которую упираются силы перестройки и за которой отсиживаются ее противники, а нечто агрессивное, более того — обнаруживаемое в самых радикальных перестроечных силах. Дух на то и дух, чтобы быть вездесущим.

Что это? Нечто чужеродное, искусственно, силой насаждающееся? Или речь идет о духовном вирусе — чужеродном образовании, попавшем, однако, в благоприятную среду, переродившем ее по своему образу и подобию, нарушив ранее живые связи и омертвив ткани ранее живого организма? Или он сам культивирован этой средой, являясь квинтэссенцией определенных черт марксизма, российского его понимания, глубже — определенного типа революционно-демократической идеологии, более того — специфически российского миропонимания, возможно — православия?

Речь идет не о предопределенности «русской идеи», избранничестве народа-богоносца и т. п. Обо всем этом можно говорить и спорить много, долго и красиво, как обычно и бывает, когда спорят о чем-то неконкретном, когда открываются просторы свободного полета и фантазии чувства и ума. Речь идет о вещах весьма конкретных, объективно демонстрирующих, по крайней мере, уникальные особенности российского духовного опыта.

Речь идет о языке — «великом и могучем», действительно и бесспорно таковом, как велик и могуч российский духовный опыт. И этот язык действительно уникален, резко выделен среди любых других языков. Прежде всего тем, что свыше 40% его лексики носит оценочный характер. В любом другом языке оценочная окрашенность словарного запаса не превышает 15%. Этот факт хорошо известен лингвистам и культурологам, но не привлекал, к сожалению, достойного внимания.

На русском языке практически невозможно выразиться точно, однозначно, объективно, терминированно. Ты сразу же погружаешься в стихию оценок, эмоций, страстей. Поэтому, когда надо выразиться безоценочно, приходится сплошь и рядом заимствовать иностранную лексику. Нам явно мало «руководителя», «начальника», «заведующего», «директора», «администратора», «управленца» и т. д. Мы знаем, что это такое — ничего хорошего, и теперь подавай нам компетентного «менеджера», который квалифицированно и грамотно (объективно!) будет заниматься «маркетингом», «промоушен», «лизингом» и т. п. И тут же этот «менеджер» приобретает оценочный окрас. Русский язык — стихия столкновения позиций, игры амбиций и страстей, самовыражения и самоутверждения. Он глубоко личностно интонирован — самой речью, но прежде всего — лексикой.

Это язык художественной, но не научной литературы. Поэтому наша художественная литература полна личностных неологизмов, оценочно-адаптированных говоров, а научная — заимствованных терминов. Этот язык дал великую словесность, отразившую нравственные искания и борения высшего накала страстей. Но этот язык не ориентирован на объективную истину. Точнее, он ориентирован на поиски и выражение правды-правды, но не правды-истины, на идеал и соответствие ему, а не реальности. Зачастую — в ущерб, а то и в укоризну этой реальности.

Хорошо известны трудности перевода на русский временных форм английских глаголов. Богатство и развитость этих форм в английском чрезвычайное по сравнению с российским арсеналом аналогичных языковых средств. Англичанин стремится к точности, определенности временных параметров жизнедеятельности, русский же знает или «миг между прошлым и будущим», или застывшую вечность прошлого и метафизическую беспредельность будущего. И в том и в другом случае точность ему не обязательна.

Не переводится на русский язык и английское «self». В лучшем случае мы скажем: «я — концепция» или «яйность». Русское «я» — результат не самоопределения (буквально — самоограничения), а самозванчества. Оно то раздувается до тотального человекобожества, то сжимается до ничтожества, полной растворенности в коллективной общности. В русском языке имеется лишь 2000 лексических единиц для выражения индивидуальных черт личности. Для сравнения: в немецком таких слов — 4000, а в английском — 17 000. Индивидуальность другого человека, его неповторимость, причем точно охарактеризованная, — явно не предмет повышенного интереса в этом внешне коллективном и внутренне самозванческом духовном опыте. Не случайно российская философия проявляла обостренное внимание к проблеме имени: для П. Флоренского, С. Булгакова, А. Лосева имя есть метафизический принцип бытия и познания. Знать имя, знать название — главная проблема российского сознания. Так же, как и самоназывания для самозванцев. Где еще основатели государства отказываются от собственных имен и фамилий, самоназывая себя псевдонимами-кличками? Где еще мыслима политическая партия, сама себя именующая «национально-*патриотической*»?

«Земля — достояние народа...» И ведь это записывается в закон. Но земля не может принадлежать народу. Она может принадлежать тому, кто ее обрабатывает. На юге России издавна жили вместе разные народы. Греки ловили рыбу, русские занимались ремеслами, украинцы — земледелием, молдаване — скотоводством, евреи торговали. Этносы могут уживаться до тех пор, пока один из них не начнет претендовать на землю и государствен-

---

Тульчинский Григорий Львович (род. в 1947 г.) — доктор философских наук, профессор Ленинградского института культуры. Автор книг «Проблема понимания в философии» (1985), «Проблема осмысления действительности» (1986), «Разум, воля, успех. О философии поступка» (1990). Живет в Ленинграде.

ность. Как только это происходит — возникает ситуация Палестины, Ливана, Ольстера, Карабаха... Здесь могилы и моих предков, и моих, и моих... Здесь наши храмы, и наши, но и наши, и наши... Эта кочка башкирская, а эта — татарская. Все. В лучшем случае — вавилонская башня.

Но ведь «нация», по сути дела, столь же пустое, бессмысленное и опасное понятие, как и «класс». Они важны для теоретических рационализаций — абстрактных инвентаризаций, но не для использования в реальной жизни. В жизни национальная, как и классовая принадлежность — извне навязываемое отнесение человека к некоей абстрактной категории. Отец — узбек, мать — украинка, живет в Киргизии, ни по-киргизски, ни по-узбекски, ни по-украински не понимает. Говорит по-русски и относит себя к русской культуре. Но ему говорят: ты — узбек. Отец и мать — татары, сам живет в Киеве, ни татарского, ни украинского не знает, но ему говорят: ты — татарин. Это не выдуманные примеры, а живые люди, мои хорошие знакомые.

Когда сегодня говорят о «нации», то вместо этнического самосознания навязывают человеку инвентарную бирку. О самостоятельном выборе, самоотнесении, самоидентификации личности с определенной культурой забывают напрочь. Медико-полицейские характеристики, выдаваемые за определение «национального», лишают личность этого выбора. Как и класс, нация — издержка невротически-коллективистского сознания, когда человек, не чувствуя себя личностью, не зная себя и своих интересов, думает, что они выражаются в его принадлежности к абстрактному множеству типа нации или класса. Эти представления ведут прямым путем к «региональному хозрасчету», «ущемлению рабочего класса на выборах»... Эти идеи не ведут ни к чему, кроме как к разделению общества на враждебные станы, к сталкиванию лбами представителей различных категорий. А живой человек, один и тот же,— он ведь может быть и рабочим, и молодым, и тянущимся к образованию, и много еще кем... С биркой-принадлежностью проще. Леность ума и души.

Язык, разумеется, лишь выражает этот духовный опыт, но он же, будучи инструментом выражения, и определяет, задает этот опыт. И когда реальная жизнь требует новых мыслей и поступков, проявляется неоднозначная роль языка. Если мы имеем дело с целыми яблоками, достаточен будет язык натуральных — целых положительных чисел. Но как только возникает ситуация с половинками и дольками яблок, язык натуральных чисел ведет к парадоксам, противоречиям, «сползает» с реальности, освобождая место новому, более точному языку, использующему дроби. Тот же, кто будет упрямо пользоваться только целыми числами, обрекает себя на невротические тупики мысли и истерические проклятья в адрес ускользающей реальности.

Как писал Н. А. Бердяев в «Судьбе России», «русская нелюбовь к идеям и русское равнодушие к идеям нередко переходят в равнодушие к истине. Русский человек не очень ищет истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то социально, ищет спасения. В этом есть что-то характерно русское, есть своя настоящая русская правда. Но есть и опасность, есть отвращение от путей познания, есть уклон к народнически обоснованному невежеству. Преклонение перед органической народной мудростью всегда парализовало мысль в России и пресекало идейное творчество...» Неужели это и есть «судьба России»?

Целый Съезд народных депутатов СССР всерьез и с превеликим пафосом заклинал пороси в карася перед лицом всего мира. Дискуссии законодателей велись не о существе дела — не о частной собственности. Всему разумному человечеству — в совокупности и в отдельности — давно известны только два вида собственности: долевая (частная) и неделимая (например, на взносы). Все остальное от лукавого. Но дискуссии и велись лукаво — о названии. Спор шел вокруг оценочно приемлемого слова, а не о существе дела. Вернее, была типично невротическая (а у кого-то — истерическая) реакция: заклясть существо дела — больное, непривычно холодное, «неуютное», с которого «теплое и уютное» омертвело сползает и ссыпается. Стоило только сковырнуть привычное.

«Частная собственность», а заодно и собственность просто — плохо. Потому как эксплуатация. Но если снять коросту, пену, чугунную плиту первого слоя «общественной собственности» на уровне владения — общая значит ничья, если дойти до уровня распоряжений, как откроется пестрый, кипучий, бурлящий мир интересов начальников, начальничков и прочих «ответственных работников», своей волей распоряжающихся подвластной — не своей (своей) — собственностью. А если спуститься до уровня использования, то какие открываются возможности «рядовых» граждан, «трудящихся», привычно пользующихся своими (ведь не общими же?!) средствами и продуктами труда. Вот так общественная собственность! Еще как чья!

И эксплуатации ведь никакой нет. Эксплуатация — это когда присваивается прибавочный продукт. А тут присваивается, отчуждается от человека и основной продукт. Речь идет об элементарном — о присвоении результатов чужого труда. В любом юридическом справочнике именно так определяются деяния широкого спектра от тихого воровства до разбоя. Уже становится не по себе — лучше бы не ковырять эту родинку «общественной собственности».

Но инерция борьбы с эксплуатацией, частником несет дальше. Ее пафос выражается

законодательно — в борьбе с «нетрудовыми доходами». И нужно очень резко затормозить эту инерцию ума и души, чтобы осознать бессмысленность, если не полный идиотизм этого словосочетания. «Нетрудовой доход» — это все равно что «круглый квадрат» или «железная деревяшка». Не то прилагательное и не к тому существительному. Доход не может быть трудовым или нетрудовым. Доход может быть законный или незаконный. В терминах «трудовой — нетрудовой» «трудящемуся» непонятно, что такое наследство, клад, подарок, творческий гонорар, доход с патента. Как с дольками яблок. До невроза и истерики. Ведь не трудился, не вспотел, а доход есть! А я потею, тружусь всю жизнь, и дохода никакого, а он...

Труд никак не связывается с доходом на Руси, труд — это нечто подневольное, вынужденное, рабское. Какой тут доход! Доход — что-то туманное, далекое, сомнительное, не про нас, не наше. Наше — не доход, а доходяга. От труда можно только «дойти». А достаток либо от того, что смог «достать» что-то или даже кого-то, либо от барских или царских щедрот — «дача». И ведь до сих пор убогие бидонвили, слепленные из уворованно использованных-присвоенных материалов «трудящимся» на милостиво выделенных ему властями неудобьях, называются «дачами». Зато торгово-закупочная деятельность, когда не потеют, а доход имеют,— нечто непонятное, не наше, подозрительное. Недаром купеческий Новгород всегда был костью в горле московских князей и царей. Недаром в русских былинах одни богатыри, но практически нет ни одного ткача, ремесленника, а единственный крестьянин — Микула Селянинович — появляется только в связи с тем, что на него наезжает очередной княжеский рэкетир и пытается взять-поднять неподъемное — землю.

Можно долго говорить о психологии рабского, подневольного труда, обессмысленного и раздавленного княжеско-государственным рэкетом присвоения результатов чужого труда. Но ведь не с народником-популистом говорить об этом! А таковых — левых и правых,— по данным социологов, в 1990 г. только в Москве — 87% населения. Его волнует прежде всего «справедливость» очередного перераспределения, справедливость очереди.

Никак России вот уже полтора века не пролезть через угольное ушко первоначального накопления. Все понимают, что с той стороны всем станет лучше, очень даже ясно видит, как это «лучше» выглядит. Но никак не пройти через изначальную узкость. Надо, но только всем миром. Как это кому-то, вот ему, будет лучше, чем мне?! Почему?! За что?! А я?! Общество в целом и каждый в отдельности, как Терешечка на лопате у Бабы-Яги, растопырили ручки и ножки — никак не пролезают в печь.

Что такое «коллективная собственность»? Собственность не может быть коллективной — у нее должен быть ответственный хозяин. Коллективность же — аргумент для безответственности и бесхозяйственности. Но до сих пор униженное и раздавленное сознание «бессобственников» апеллирует к справедливому переделу, рвется к правде, хочет знать подлинную правду, всю подноготную. Больше просто на ум не приходит. А лексика, язык продолжают выдавать с потрохами кошмар исторического опыта. «Подноготная» — это ведь когда иголочки под ногти. А «подлинная правда» — это ведь правда, взятая под линем, под поркой. Орудие пытки так и называлось — линник. Под линником и добывалась на Руси подлинная правда, мало отличимая от самооговора.

Русское «изумиться» — тоже из пыточного лексикона, пыточных листов, и означало — потерять сознание от пыток, стать невменяемым, выйти из ума, из-умиться. Замечательна именно возвратная форма этого глагола — не его изумили, а сам из-умился. Так и видишь заплечных дел мастера, ведущего запись пыточного ляста-протокола. Да и близкое к «изумиться» — «ошеломить», быть «ошеломленным» буквально означает «получить оглушающий (опять же невменяемость) удар по голове». Ошеломленный и изумленный русский народ. Ошеломленные и изумленные от подлинной правды советские люди.

Глаза отказываются вглядываться в собственное прошлое. А язык продолжает заклинать его, вызывая тени и призраки. «Октябрьская революция — плод жидо-масонского заговора, но мы не можем поступиться ее идеалами» — вот сущность позиции отечественных национал-социалистов, позиции истерико-невротической, утратившей ориентацию в реальности и потому проклинающей и заклинающей эту реальность вязью бессмысленных словосочетаний. «Прогностическая педагогическая модель организационно-воспитательного воздействия культурно-просветительного учреждения на неинституционализированные молодежные объединения», «когнитивная модель парадигматической структуры рекреативной бифуркации микрокосмоса личности» — это уже из камлания деморализованных профессионалов от теории и практики культпросветработы. Разница только в том, что национал-социалисты пользуются привычно-оценочной лексикой, а «специалисты» привычно вяжут паутину из красивых заграничных терминов. Ни то, ни другое к реальному существу дела отношения не имеет. Меланома понимания.

Это — диагноз. История болезни, ее носители, переносчики и т. п.— тема другого разговора, непростого, трудного, но необходимого. А лечение... Меланома практически неизлечима — невозможно локализовать злокачественные образования. Так и с меланомой понимания — клетки старых смыслов, старого духовного опыта должны распасться, освобождая новую ткань заново осмысленной действительности.



Василий Яновский

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

III

Пушкин — это Империя и Свобода.
Г. Федотов

Худое, моложавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, уговаривающий голос с дворянским «р». Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время каждое слово — точно гвоздь: прибивает мысль — ясную, определенную, смелую.

В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразою голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый, там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение. И независимо от того, соглашались ли мы с «лектором» или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая,— Россия и Европа! Такие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались, главным образом, на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европою. Печерин, Чаадаев, Герцен, может быть, Соловьев.

Кстати, Германия, несмотря на весь свой исторический блуд, не выдвинула ни одного крупного мыслителя, который бы отважился покаянно изобличить свой общенародный грех, вскрыв основную национальную язву.

В Федотове внешне все было переменчиво, противоречиво и неустойчиво, все, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивающее многих возможных союзников (но и кое-кого из врагов привлекавшее).

В Париже тридцатых годов я часто встречался с Георгием Петровичем, почти ежевечерне. На собраниях «Круга» или правления «Круга» и «Внутреннего Круга», в пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова и т. д.

Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который, в основном, признавал ответственность православия за Русскую историю. И с какой радостью он цеплялся за все новое, прекрасное, пускавшее ростки вокруг нас в эмиграции.

— Вот теперь,— взвизгивал он,— после матери Марии социальное дело вошло уже навсегда в православную церковь, и другим остается только его продолжать...

К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу.

Чем могло бы стать такое православие, свидетельствует тот факт, что в Париже тех лет почти все кинулись в лоно русской церкви. И не только равнодушные, коренные скептики, но и французские католики, русские — еврейского вероисповедания, даже воинствующие атеисты.

Принято говорить об особой ноте парижской литературы (или поэзии), но это явное недоразумение. Особая парижская нота наблюдалась и в философии и теологии, в политической деятельности и в живописи, даже в шахматах. Весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческою удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, европейской России, чем наша молодая литература.

Белый французский хлеб и красное винцо питали всех одинаково, а римское восприятие национальности как юридической принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось настоящим откровением.

Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским рапетом и бургундской грушею «дюшес», прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства.

Недаром Поплавский раз в виде упрека ему сказал:

— Вот вы, если бы это понадобилось, никак не согласились бы ради своих убеждений взорвать Шартрский собор!..

И сидевший тут же Мережковский обрадованно поддержал:

— Вот, вот, видите, в чем дело.

Не помню, что ответил Георгий Петрович, думаю, что он действительно не был способен взрывать готические соборы. И не обязательно по малодушию.

А во время испанской войны Георгий Петрович написал статью о Пассионарии, признавая за последней историческую правду. Это выражало тогда чувства большинства из нас.

Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие все собирались туда. Кровно, идейно и традиционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством. История повторялась: опять — ни Ленин, ни Колчак. Демократия еще раз профуфукала страну. А если вовремя ограничить свободу граждан, арестовать генералов и коммунистов с анархистами, железною рукой направить экономику, давая работу и хлеб населению, то, пожалуй, удастся еще спасти режим... Но что же тогда останется от демократии? В этом заключалась квадратура круга. «Христианство и демократия»,— утверждал «Новый Град» Фондаминского и Федотова, и им вторил из Германии Степун. Но что это означает на практике? Где и когда такой режим осуществлялся? Если обязательно нужны полицейские и работники ассенизационного обоза, то не лучше их заводить автономно от Евангелия и Святой Троицы...

Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие «проклятые» вопросы, примирия со злейшими противоречиями. Многое кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее. Недаром один профессор православного института, где преподавал Георгий Петрович, некая светлая личность, потребовал исключения Федотова, «тайного масона и марксиста». Богословский институт поддерживался англиканскими филантропами, и одернуть эту «светлую личность» оказалось делом нетрудным. Но потасовка такого рода стоила Федотову много внутренних сил; впрочем, она же сблизила его с молодыми литераторами.

Фондаминский ежедневно затевал новое эмигрантское объединение, а идеологически его оформлять должен был все тот же бедный Георгий Петрович, вплоть до юбилейных спичей и поздравительных адресов. Приходилось часто удивляться, как его хватает на такой подвиг. Но душа заметно уставала от сплошных «банкетов» под опекою Ильи Исидоровича. К тому же надо было жить и кормить семью, что тоже изматывало живую силу.

Летом Федотовы уезжали на дамских велосипедах к Луаре и дальше, по долине реки, мимо рыцарских замков и средневековых церквей. Георгий Петрович обожал галльскую землю, ее импрессионистскую зелень и строгую готику, ее белый хлеб и кисленькое вино, сыры и вспыльчивых, горячих, но изумительно толковых французов, где в сутенере и проститутке звучит логика Паскаля и Декарта.

Бунин выпивал бокал Клико и залихватски клялся, что в Москве и шампанское лучше! А стерлядь, а икра, а Волга... За сим следовал весь кухмистерский вздор казака Крючкова.

Федотов знал величие французской истории. И не спорил, когда я доказывал, что культура началась вокруг Средиземного моря у народов с карими глазами. Но он всегда, с непоколебимым мягким упрямством, старался обратить наше внимание на ужасы революций латинского мира. Вопрос, была ли в Англии когда-либо революция, занимал нас тогда всерьез. Тема сводилась к одному: можно ли очеловечить похабный режим без братоубийственных мутаций?

Наступили роковые осенние дни 1938 года, кончившиеся после частичной мобилизации полным поражением в Мюнхене. В разных эмигрантских углах сразу зашевелились многочисленные аспиды, готовясь присоединиться к обозу Гитлера. Федотов, единствен-

Продолжение. См.: «Звезда», 1991, № 9.

ный в нашем кругу, был за Мюнхен. Этого мы долго не могли простить ему. Пассионария и Мюнхен; обе эти половинки одинаково важны для уразумения Федотова.

Рассуждения его приблизительно сводились к следующему: современная, глобальная война приведет к окончательной гибели старой неповторимой Европы, независимо от победы или поражения. Так что лучше отсиживаться за линией Мажино и продолжать молиться, строить соборы, писать стихи — пока есть еще малейшая возможность всем этим заниматься!

А мы возражали: «Даже если линия Мажино отвечает своему назначению, от затхлого воздуха разлагающихся рядом живых и мертвых трупов задохнется любое свободное творчество, иссякнет последняя вдохновенная молитва, потеряют убедительность лучшие архитектурные монументы».

Зимой того же года был создан наш «Внутренний Круг», некий орден, которому надлежало конспиративно существовать и бороться в надвигающейся долгой ночи. И мы все единогласно высказались против кандидатуры Г. Федотова.

— Это же курам на смех! — вопил Фондаминский. — Вы С. Жабу принимаете, а Георгия Петровича забраковали. Это ведь курам на смех! — повторял он свое любимое выражение.— Вы разошлись с Федотовым по одному вопросу. Но Мюнхен миновал: это уже прошлое. Теперь возникают новые темы, где Георгий Петрович может оказаться впереди нас всех...

Действительно, получался анекдот. И Федотов с супругою были приглашены в наш «Внутренний Круг». Очень знаменательно для наших тогдашних настроений, что Е. Федотова (как я уже, кажется, писал) на первом же организационном собрании резко осведомилась:

— Меня, главным образом, интересует, будем ли мы и здесь только болтать или, может быть, начнем бросать бомбы?

Уже в Нью-Йорке к концу войны мне пришлось «экзаменовать» Федотова. Тогда И. Манцирали, Елена Извольская, Лурье и я начали издавать «Третий Час», журнал экуменического и пореволюционного толка. В каждом номере, подчас на разных языках, мы печатали статьи Бердяева, а Федотова, бывшего здесь рядом, не приглашали даже на наши собрания, наказывая его за непримиримое отношение к Советскому Союзу — в пору Сталинграда!

Вспоминаю, как Федотов раз днем пришел к Извольской: мы с ней, по-видимому, должны были выяснить, подходит ли он для «Третьего Часа» — достаточно ли хорош!.. Федотов был уже очень болен, после очередного припадка говорил неровно, спадающим голосом и отпивал маленькими быстрыми глотками красное винцо, которым «Третий Час», верный старой парижской традиции, всегда угощал собравшихся. Невесело посмеиваясь, Федотов говорил:

— Вы меня не принимаете, а Казем-Бека печатаете...

И я услышал старое «курам на смех» Фондаминского. Расставаясь, он с грустью как бы подвел итоги беседы:

— Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующий день после победы.

Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно заморозить, иначе все прогнившие части развалится, и не будет больше Европы! Я с ним спорил. Но теперь вынужден признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать.

— России должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою, или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!

Так я понимал подчас его речи, и они мне казались бредом. Только в свете последних «китайских» ходов истории пророчества Георгия Петровича становится полной реальностью. И никакие спутники Луны здесь не помогут, как не помогли немцам Фау-1 и Фау-2. Погибает тот, кто борется против всего мира на два фронта.

* * *

Вся тяжесть идеологической борьбы в «Новом Граде» покоилась на плечах Федотова. И. И. Фондаминский был, главным образом, организатором, планировщиком. Георгий Петрович должен был лить живую воду в проложенные трубы.

Илья Исидорович считался у эсеров блестящим оратором, что вместе с красноречием Керенского тоже относится к загадкам эпохи. Мы слушали Фондаминского с улыбкою. Когда раз перед ответственным выступлением я посоветовал ему говорить покороче и отнюдь не больше сорока минут, он искренне удивился:

— Мне случалось говорить подряд четыре часа, и тоже все слушали,— застенчиво похвалялся он.

И он не врал, конечно. Солдаты на фронте перед летним наступлением пьянели от речей Керенского, а матросы носили на руках комиссара Черноморского флота Фондаминского. Затем Чхеидзе... Все тогда считались Жоресами русской революции. Наваждение? Глупость? Глупость отдельных людей или целой эпохи?

Мне было неловко слушать Керенского или Фондаминского, точно перед голым королем — вот-вот народ догадается об этом. Оба они были эмоционально очень талантливы, но по-разному ограниченны или просто неумны. Я всегда страдал при их выступлениях, с нетерпением дожидаясь конца, точно признавая и свою долю ответственности за этот детский лепет.

Павел Николаевич Милюков звучал совсем в другом ключе: нечто чужое, трехмерное, но практически устойчивое, защищенное, если не от урагана, то хотя бы от случайного дождя.

Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций или кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме, о демократии, о великом интеллигентском ордене. Предполагалось, что если его или нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана — светлыми силами!

Я упорно указывал на то, что, в сущности, нет ни одного места за пределами квартиры Фондаминского на 130, Авеню де Версай, где мы могли рассчитывать на 51 процент голосов. И это ставит под сомнение разумность нашей тактики. Кроме того, мы литераторы, и совершенно нелепо подвизаться в стольких кругах и кружках, не имея собственного журнала.

Фондаминский этого не понимал: к тому же создавать конкуренцию своим «Современным запискам» ему, разумеется, не хотелось. Будучи «профессиональным оптимистом», он неизменно повторял:

— Подождите, подождите, мы скоро завоюем «Современные записки».

Но меня поддержал Федотов; присоединилась и молодежь, главным образом, активный в келейных переговорах Софиев. Не помню подробностей, но на очередном собрании правлении Фондаминский заявил нам, что будет альманах — «Круг».

По инициативе Георгия Петровича мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сандвичи, фрукты. Вместо обычного доклада «Круга» с прениями — только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает... А время между тем приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам... все одинаково и каждый по-своему.

Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребрениками, обеспечив себе место в обозе Гитлера.

Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает, главным образом, полное отсутствие сюрпризов в нашей среде. Все карты были давно на столе и открыты: в этом смысле игра велась почти честно.

Раз в неделю, кажется, по вторникам, Федотовы принимали у себя в «студии». Там, вокруг девиц, дочки Нины и ее подруг, басили срывающимися голосами семинаристы православной академии; заглядывали туда и монпарнасцы, часто Софиев.

Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минутку позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными, византийскими глазами под гусеницами бровей.

Софиев там и романсы пел, и стихи декламировал, вел себя не то молодым офицером, не то студентом — вообще пользовался успехом у дам. Благодаря ему и будущие батюшки проникались тоже романтическими тенденциями. Бывала там молодая, хорошенькая женщина, мать двоих ребят, а в числе семинаристов являлся уже в монашеской рясе некто Ж. Он жадно мечтал о карьере иеромонаха и писал свою диссертацию на тему монашества, сравнивая эту желанную дщерь с невестой Господней из Песни Песней. Итак, Ж. увлекся молодой матерью, и она сбежала от мужа. Но Ж. потом стал жертвою еще других соблазнов: он уехал в Англию, женился на дочке англиканского пастора и стал священником епископальной церкви.

Этой атмосфере молодежи и флирта хозяин не только не мешал, но даже каким-то эзотерическим путем способствовал...

Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически; даже, вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся Блошиный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все как на подбор темные, скучные и, главное, не по мерке.

Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые имевшие деньги как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги — грех, никто в русском Париже не сомневался.

Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял:

— Друзья заставили заказать... Мне это совсем не нужно, но они говорят: «Стыдно вам щеголять в рубищах»!

Поплавский злословил: «Дай русскому интеллигенту пояс к брюкам, и он все-таки напялит еще помочи, ибо нет у него ни уважения, ни веры к собственному брюху».

Действительно, в летнюю жару, когда Федотов снимал пиджак, на нем красовались и пояс, и подтяжки. Но объяснялось это, главным образом, тем, что брюки были чужие, совсем не по мерке. В Нью-Йорке чуть ли не при первой нашей встрече Федотов у вешалки напялил на себя пальто с таким необъятным клешем, что все кругом только развели руками.

И вот, несмотря на свою подчеркнутую внешность пожилого профессора и неряшливую одежду, какие-то определенно сексуальные, податливые, убаюкивающие, женственные флюиды щедро истекали из Георгия Петровича с ощутимой силой. Есть такая русская линия эротизма — от Достоевского, Соловьева, Розанова... Тут древние боги уживаются с Византией, церковью и Ветхим Заветом. Вот такое магнетическое поле явно ощущалось вокруг Федотова.

Был это, в сущности, не совсем на своем месте человек, не сумевший или не отважившийся вполне выразить себя. Думаю, что Федотов вздыхал с огромным облегчением, когда оставался наконец наедине с книгой и стаканом невкусного чая.

Припоминаю, как однажды на Вест Сайд, в Нью-Йорке, к Федотову ввалились громоздкие носильщики, не то, чтобы увезти пианино, не то, чтобы его перетащить на другой этаж. Нина Федотова в молодости усиленно музицировала. Начались переговоры между дамами и черными атлетами. Какие-то формальности не были соблюдены, и возникали мелкие затруднения. В это время профессор, подхватив единым, несколько унизительным движением и чай, и книгу, и полы халата, вознамерился незаметно юркнуть к себе в комнату, но и дочь и жена тут же в один голос крикнули: «О, трус!» — чем обратили мое внимание на эту знаменательную сцену. В разных сочетаниях я еще несколько раз в жизни наблюдал такое его вихревое, «предательское» движение прочь в самый разгар каких-то житейских, практических передряг. Это не было только трусостью: он отдавал себе отчет в своей полной деловой беспомощности.

Приближалась страшная осень 1939 года. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.

Наконец радио передало о дружеской встрече Сталина с Риббентропом в Москве. И вскоре в актюалитэ мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы типа Сталина и Гитлера могли думать, что им удалось покончить с рыцарской Польшей.

А первого сентября, кажется, в газетах мелькнула, наконец, энигматическая фраза: «Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией» — dans un etat de guerre. Mobilisation generale.

Скрещенные силуэты двух-трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 года. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: закрыто, pour la duree [1].

В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!) Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!

В кустах против Сената расположилась противовоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие, юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая дочь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.

А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком разевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.

Я спешил на собрание правления «Круга» и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой

[1] Надолго *(фр.)*.

и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев и у метро Конвансион пережил нечто, напоминающее «Казнь» Верещагина.)

Итак, я спешил на собрание «Круга», но не попал туда — завертелся в общем героическом и праздничном вихре. В парке, перед дулом одного противовоздушного орудия, торчала ветвь молодого деревца: ее собирались уже отпилить. Но солдатик вдруг догадался и торопливо подвязал бечевкою ветку, так что зелень больше не мешала панораме. (Даже стройный фельдфебель блаженно улыбнулся, радуясь спасению невинного деревца.) Где ты, милый пуалю из Ланд или Прованса? Кто через год сбросит твой окоченевший труп в тесную немецкую могилу? А может, ты убежишь из плена и станешь героем черного рынка, уверяя, что не стоит воевать за евреев и иностранцев?

Уже с самого начала войны мы сразу как-то магически закружились. Личная и деловая жизнь претерпевала коренные изменения. Многие были мобилизованы или записались добровольцами, другие ожидали повестку с вызовом в армию и чувствовали себя настоящими рекрутами. Менялись условия работы и открывались новые сексуальные возможности; семьи перетасовывались, как картинки в колоде карт. А интеллектуальные встречи становились все реже и жиже: музы смолкают в обществе пулеметов.

Но Фондаминский затеял новый кружок — франко-русский. Там эмигрантские «генералы» должны были спорить с французским intellectuels. Из последних я знал только Габриель Марселя, ставшего вскоре вождем католического экзистенциализма. Нас, молодых, Фондаминский за недостатком места не пригласил. Я счел это оскорблением и явился на первое собрание непрошеный. Фондаминский только вздохнул, впуская меня.

Когда я пожаловался Федотову, он, понимающе посмеиваясь, сказал:

— Он и со мной так поступает. У Ильи Исидоровича для каждого особый балл. Вам, скажем, дается десять, а мне двенадцать, вот и вся разница.

Эти собрания не оправдывали моих надежд, и я перестал их посещать. Бердяев говорил о национальной душе. Габриель Марсель (и еще кто-то из Сорбонны) возражал очень трезво:

— Все это очень мило и интересно, однако мы теперь находимся в состоянии войны с безжалостным врагом и должны его победить любой ценой.

Такого рода практические речи производили нехорошее, скучное впечатление — слишком уж просто и плоско. Несмотря на то, что все мы приветствовали эту войну и считали ее священной, о конкретной победе никто не думал, и общее настроение было вполне апокалипсическое. Можно утверждать, что, наученный горчайшим опытом, весь русский спектр эмиграции бессознательно ждал катастрофы и в победу не верил. «Да,— думали многие из нас,— солнце когда-нибудь взойдет. Но пока наступает длинная ночь, и надо через нее брести».

Наступила зима «смешной» войны, в которой, впрочем, ничего забавного не наблюдалось. Новый, 1940 год я встречал у Федотовых. Из наших старших пришла только одна мать Мария. Фондаминский обещал заглянуть, но застрял по пути. Была еще семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. Мы с женой привели еще кого-то с Монпарнаса — для девиц. Водка, вина. И селедка, салаты, винегреты, ветчина — все, как полагается, но радости не было. Эта встреча Нового года скорее походила на похороны. Мы крепились, старались по-обычному шуметь, веселиться, пели, произносили патриотические речи, чокались. Но что-то не клеилось: наше нутро знало некую правду, которую сознание отказывалось принять.

Для многих это был последний год во французском Париже, а для некоторых вообще последний год жизни. И мы хоронили старую, прекрасную, нищую, творческую галло-русскую жизнь и заодно с нею блистательный европейский гуманизм. Навстречу нам шагали неоканнибалы, неокаины, неопримитивы. История кружила по спирали. Герцен так описывает встречу Нового, 1852 года: «Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри были смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться».

У нас в полночь Георгий Петрович заставил себя произнести спич с обычным в таких случаях условным пафосом. Затем говорила мать Мария. Повязанная черным платком, болезненно румяная, курносая, русская, она все же походила на св. Терезу Испанскую. Не помню, что она сказала, но особого оптимизма она тоже не проявила.

Кое-как, то увязая клювом, то хвостом, перевалили через эту «смешную» зиму и заплатили с трудом весенний квартирный «терм».

В Париже по-обычному расцвела сирень. В сумерках газовые фонари бросали зеленый свет. Жизнь торжествовала, и аборигены перестали таскать с собою противогазы в нелепых коробках.

А 10 мая немцы прорвали фронт у пресловутого Седана и ринулись к морю. И денька через два-три все обыватели догадались, что война почти проиграна: Париж будет сдан.

В гараже, у метро Пастер, на соломе уже спали беженцы из Лилля... До чего похоже

на вшивые русские вокзалы или на общежития времен испанской кампании. Вообще, в бедствиях народы становятся похожими друг на друга. Это только удача и богатство развивают в них новую спесь.

После долгого перерыва я отправился к Фондаминскому собрать нужную информацию: в конце концов, эти ветераны катастроф имеют связи и должны знать досконально, к чему теперь надлежит готовиться.

У Ильи Исидоровича днем в освещенной весенними лучами солнца столовой я застал Соловейчика, Ивановича и еще несколько такого толка знакомых. Они были углублены в странное занятие: сверяли по спискам имена разных людей, преимущественно зубров. Как я понял из дальнейшего, Керенский еще в начале мая отправился в комиссариат полиции 16-го аррондисмана и сделал заявку на пропуск из Парижа для «всей группы».

После объявления войны иностранцам, разумеется, было запрещено разъезжать по Франции без особого позволения. И теперь Соловейчик отправлялся в участок получать желанные свидетельства, решив предварительно сверить по списку имена зарегистрированных, ибо некоторые воспользовались уже другими оказиями и давно смылись.

Фондаминскому не пришло в голову включить кого-нибудь из нас, молодых, в эти списки; позже прислали из Америки «чрезвычайные» визы опять-таки только для уже известных всем, заслуженных деятелей.

Между прочим, я именно в эти дни старался выпроводить свою беременную жену из столицы и не мог получить sauf conduit[1]. О себе, разумеется, в смысле разрешения на выезд я не беспокоился.

Однако Фондаминский с умеренной заботливостью меня спросил:

— А вы что собираетесь предпринять?

В понедельник, 10 июня, под вечер, я очутился у Федотовых. Кажется, я пытался включить жену в караван друзей, покидающих Париж легально.

Оказалось, что Георгий Петрович не успел еще получить своего пропуска и собирался завтра смотаться к Фондаминскому за документом. Я советовал выезжать пораньше, поездом, невзирая уже ни на какие комиссариаты и не теряя драгоценного времени.

— Выйдите на улицу и понюхайте пустые улицы,— сказал я,— вы поймете, что ворота города открыты.

Это выражение понравилось Е. Н. Федотовой, и она, в сердцах споря с мужем, повторила:

— Вот именно, выйди и понюхай! Никаких удостоверений больше не надо.

На этом мы расстались. На следующий день мне удалось усадить жену в поезд. Сам я выехал всего только на день позже, 12 июня. 13-го, к вечеру, немцы были уже у застав Парижа.

В Пуатье многие русские высадились, в сущности, мы не знали, что происходит. Мне все еще мерещилось, что на Луаре будет оказано сопротивление: новые армии займут левый берег, и мы все выполним свой долг. Это отсутствие правильного понимания обстановки, вероятно, стоило жизни многим милым людям.

В Пуатье я и семья Гржебиных, к которым меня прибило, потеряли несколько драгоценных дней (в течение которых «оптимисты» получали транзитные визы и переходили границу у Ируна). Там, в Centre d'Accueil, я столкнулся с заблудившимся Гершенкроном, ценнейшим сотрудником «Круга», он собирался поселиться в знаменитом монастыре под Пуатье. Всегда болезненный, он теперь был не в меру раздражен и тоже не отдавал себе отчета в происходящем. Как общее правило, никто не мог сразу примириться с мыслью, что Франция капитулирует. Кроме того, увы, наши материальные дела не были в блестящем состоянии. Так, Гершенкрон почти сразу начал жаловаться на мать Марию: они встретились на Лионском вокзале, случайно в толпе. Уезжали Мочульский с Юрой, сыном матери Марии,— она оставалась в Париже. У них у всех были заранее приготовленные билеты вместе с пропусками Керенского. Но Юре не хотелось покидать Париж, он упросил мать позволить ему остаться. Тогда Гершенкрон, бедняга, купил Юрин билет, заплатив наличными.

— Зачем мне нужен был этот билет! — негодовал он теперь в Пуатье, очевидно, издержав уже последние деньги.— Проехали же вы без всяких билетов.

Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая, растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на «педалях», в четыре, пять дней — благо подвернулся толковый спутник.

Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлэн пестрит от стрелок «крутых подъемов». Этот пробег на велосипедах — и не для осмотра готических замков — был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.

[1] Пропуск *(фр.)*.

Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда, неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно, не одобряя покупку.

Они решили отправиться на запад, к Ла Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский. Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды — к самому оплоту будущей атлантической стены.

Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сквозные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.

А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети — ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемодны и артриты.

Кто помоложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, политические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.

Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас как лучшая пора отпуска, каникул, освобождения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое винцо в обществе находчивых и понятливых южан, нетрудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Маньчжурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи — жадность, глупость, похоть, зависть, гнев — те же, приблизительно, повсюду.

В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно — татарской, царской или социалистической.) А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться «под небом вечно голубым», то она, пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)

А через год Федотовы прикатили из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.

Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).

Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:

— Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!

Когда я с семьей добрался наконец до Нью-Йорка, в июле 1942 года, на пристани нас приветствовала Е. Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.

В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен... Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и обер-офицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль, здесь царствовавший, по наслышке, напоминал Ригу, а теперь хлынули «европейцы», и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.

Георгий Петрович, конечно, примкнул к «Новому журналу», но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.

Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Иерусалим, Афины и Рим.

У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:

— Как вы думаете, отстоят Севастополь?

Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа,

ввели новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым — место его нового рождения,— был кровно заинтересован в утвердительном ответе.

Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией, за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.

Так было во времена татар и Карла шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно-христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях, князья, цари и комиссары, увы, грешили и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерическими полчищами...

Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи... она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно, и из ноздрей вырывается пламя!

В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе остаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить. Этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим — гадким и постыдным, по утверждению Федотова.

Нам представлялось, что после такого светлого подвига в паре с Европою что-то неминуемо тронется с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.

Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре!

По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию — пожирала часть Европы.

Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.

Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатушке, похожей на келью, только с остатками вечного, неприбранного чая.

К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протежировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.

Объяснялось это, главным образом, жаждою учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоровая циркуляция, залог живой культуры: give and take [1]... Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруке.

И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни. Федотов нашел панацею для России: Пушкин! «Пушкин — это империя и свобода»,— определил он. И ученики повторяли с воодушевлением: «Империя и свобода!»

В Париже я однажды спросил Федотова: «А что если империя борется со свободою? „Клеветникам России“, „Гавриилиада“ — что делать с этим хламом?» Впрочем, относительно Польши Георгий Петрович отвечал не колеблясь: «Это наш грех!»

Изредка в сумерках я встречал одиноко бредущего Федотова: он шел в сторону Амстердам Авеню в дешевый ресторан, а затем в темное, полунегритянское синема — ныне уже разрушенное. Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сэн Мишель.

[1] Давать и брать *(англ.)*.

Федотов:

— То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане — монтанисской.

— Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся,— объяснял Георгий Петрович и смеялся моему замечанию: «Мне все „африканцы“ напоминают Дзержинского».

В те годы в «Новом Журнале» еще печатался мой «Американский Опыт», и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него. Георгий Петрович был одним из моих немногочисленных заступников. После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлин приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера. Как полагается для истинных демократов, меня, автора большого спорного романа, она не приглашала.

В отсутствие Яновского многоуважаемые и бездетные зубры уже ничем не стесялись. Так что бедный редактор М. Карпович вынужден был даже на время приостановить печатание «Американского Опыта», пропустив один или два выпуска. Атаки против меня велись, главным образом, под знаком американского «патриотизма», и обвиняли меня в сочувствии к фашизму.

Только благодаря Федотову и еще нескольким доброжелателям, кажется, Извольской и Александровой, Карповичу удалось довести роман до конца. Надо отметить, что со смертью моего старого знакомого М. О. Цетлина стало легче вести дело с редакцией «Нового Журнала», то есть с М. М. Карповичем.

— Это наша принципиальность тому виною,— невесело улыбаясь, поучал Федотов,— наше несчастье — принципиальность русской интеллигенции. Эта принципиальность делает из культурных, благородных людей цензоров и жандармов. А Карпович пришел из совсем другой среды.

Как-то в самом начале моего пребывания в Нью-Йорке я отправился на вечер «приехавших из Европы»; когда собрание кончилось, мы все застряли у вешалки по вине Георгия Петровича.

— Что, калоши ищете? — пошутил я. (По свидетельству Н. Федотовой, отец ее в Новом Свете первым делом побежал и купил себе калоши, напоминающие «Треугольник».)

Но оказалось, что Федотов потерял номерок и не может объяснить, как выглядит его пальто. Пришлось дожидаться, пока народ разбредется; да и тогда Георгий Петрович воспринял свое пальто с долею недоверия, ибо он именно в это утро получил его в дар от какого-то благотворительного общества и не успел толком разглядеть. Анекдоты с одеждою — не случайность в жизни Федотова, они преследовали его до самого гроба, поэтому я о них упоминаю.

По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в институте богословия. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший «интеллигент, писатель, общественный деятель», человек желчный к обиженный «разными Бердяевыми», почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой нежности и грозился его исключить.

На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикою не имеющие. Так что, когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага.

В Си Клиффе собрался очередной съезд, кажется, студенческого движения. Я поехал туда, рассчитывая встретить многих старых друзей. Был жаркий летний день, и я остановился у ресторанчика над заливом. За соседним столиком сидел В. Г. Терентьев, тоже освежаясь каким-то холодным напитком. Это он мне сообщил: «Вчера в госпитале скончался Федотов».

Из всех участников съезда наиболее удрученным и даже растерянным выглядел М. М. Карпович: в недалеком будущем ему предстояло последовать за Георгием Петровичем.

Тогда же, в Си Клиффе, я познакомился с одним из бывших учеников Федотова, о. Александром Шмеманом, с которым потом уже часто встречался в нашем философско-религиозном кружке. Таким образом, культурная преемственность оказалась установленною.

Судя по последним письмам Федотова к жене, он ушел от каких-то знакомых, где отдыхал летом, в местную маленькую больницу: «Благодаря Синему Кресту здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо...»

— Под вечер,— рассказывала медсестра,— он сидел на диване в общей гостиной, с книгою и обязательной чашкою чая.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга — нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами,

изогнувшись в халате. Когда спусти минут пять она вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв.

Оставалось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте оказалась запертою, в ключ застрял где-то в вещах покойного; между тем похоронное бюро настаивало на том, чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified [1]). И местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю, ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посредине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить.

V

Вы — тот посыльный в Новый год,
Что орхидеи нам несет,
Дыша в башлык обледенелый.

И. Анненский

Ранней осенью 1928 г. я очутился вечером в отдельном номере на рю Мазарин (или Бонапарт), где мне предстояло читать свои первые рассказы; слушателями были Дряхлов, Мамченко, в чьей комнате, кажется, и состоялось собрание, Мандельштам, доктор Унковский, неоднократно фигурирующий в ремизовских снах. Позже появился Терапиано, уже тогда с натугою подставлявший одно, будто бы лучшее, ухо.

Так началось мое близкое знакомство с Дряхловым и Проценко. В трудные дни я шел в их мастерскую шарфов и галстуков на работу, что давало мне возможность протянуть от одного экзамена до другого.

По субботам мы усердно закусывали в ателье, пили красное винцо и спорили до одурения. От этих русских бесед с бранью и насмешками все-таки оставалось впечатление подлинной жажды истины и готовности жертвовать для нее многим.

Такого вдохновенного интереса к новой мысли, такого желания понять и простить «все» я уже потом не встречал в жизни. Очевидно, мы все постепенно изменились! И это словесное откровение было тем более чудесно, что перемежалось оно с откровенной бестактностью и садистической или самоубийственной откровенностью.

В том номере на рю Мазарин, тесном, дымном, перегруженном старой мебелью, с запахом малороссийского борща, который себе готовил на неделю впрок Виктор Мамченко, разводя укроп и петрушку в ящиках на подоконнике, и я в продолжение трех-четырех часов упрямо читал свои произведения... Среди них «Рассквз о трех распятых и многих оставшихся жить», напечатанный в газете «За свободу».

Эта повесть посвящена Варавве, которого добрые граждане предпочли Христу. Там заложены уже начала того опыта, который мне яснее открылся лишь потом, в пору «Любви второй»... Несколько десятилетий спустя швед Lagerkvist получил Нобелевскую премию за роман «Вараввв» — книгу, которую я никогда не мог заставить себя взять в руки по эгоистическим причинам — из привязанности к моему затерянному детищу.

Именно этот рассказ понравился Мамченко и Дряхлову, и они спорили с остальными. В общем, ни Терапиано, ни Мандельштам мне никогда не были близки. Мамченко — хорошенький мальчик, с казацкой хитрецой — держал себя всегда даже с чрезмерным достоинством; стихи его отметил Адамович, хоти были они неровны, невнятны и в ту пору, несмотря на всю напряженную bonne volontee [2], мало что выражали. Позже поэт стал ровнее, подучился ремеслу и языку и как-то утвердился на собственном месте.

Родился Мамченко на юге России и с очевидным упорством тяготел к философии, тоже косноязычной. Он даже проводил в жизнь некоторые свои убеждения с обстоятельною, несокрушимою медлительностью. Он едва ли не один из первых среди нашей молодежи звделался вегетарианцем. Мамченко уверял, что не желает причинять страданий животным, и это у него звучало убедительно, несмотря на всю наивность. Есть такие положительные люди, у которых общие меств звучвт веско и даже оригинально. Впрочем, рыбу он ел, полагая, что холоднокровные менее или совсем не страдают.

В те годы Мамченко не мог выразить самой простой мысли в общепринятых формах; он закручивал синтаксически и затемнял диалектически любое обыкновенное предложение, выполняя эту мучительную операцию с большим и таинственным достоинством. Одни пробовали над ним смеяться (Ходасевич, Поплавский), а другие (большинство) его уважали, особенно люди с эстетическими тяготениями (Адамович, Мочульский, Гиппиус). Была в Мамченко кроме всего еще хорошая смекалка, знаменитая хозяйская практичность. В своей отельной комнате он разводил свеклу и спаржу, цветочки и даже, кажется, табак. Его личного изделия борщ славился одно время так, что некоторые повадились к нему ходить подкрепляться, что хозяин отнюдь не поощрял.

Работал он спорадически, его подкармливала жена. Но когда мастерил или красил, то делал это отменно чисто и аккуратно. Вообще в практических делах был полной противоположностью своей диалектической природе.

Дружил Мамченко преимущественно с такими людьми, квк Шестов, Мочульский, Гиппиус. Под конец оккупации только он один из приличных людей продолжал ходить к Мережковским.

Адамович, мне кажется, давно разочаровался в его стихах, но никогда его открыто не разбранил: «милосердие, милосердие!»

Злобно издевался над такими, как Мамченко, Ходасевич, считая их «голыми», беспомощными и отнюдь не королями. После войны Мамченко начал издавать какие-то сборники для советских патриотических возвращенцев, но сам, умница, отнюдь не «возвращался».

Дряхлов в Париже после пятидесяти лет сохранил все свои национальные черты. Уроженец Поволжья, он сочетал в себе многие отталкивающие и привлекательные свойства коренной Руси.

В разговорах мы с ним постоянно доходили до самых границ «достоевщины», в пучине которой он себя чувствовал отлично. Валерьян Федорович хорошо играл в шахматы, и мы упорно сражались, исполненные то надежды, то отчаяния, то симпатии, то ненависти; из чувства мести начинали издеваться друг над другом, касаясь и личных тем, и литературы... А когда положение на доске менялось, мы добрели и проявляли даже чуткое внимание к нуждам полупобежденного противника. Страшная вещь шахматы!

Дряхлов был компаньоном Проценко по шарфам и галстукам; он прямо заявлял, что Яновского надо прогнать, потому что его работа в убыток...

— Вот, как Кнут,— ухмылялся Дряхлов очень по-татарски: ядовито и доброжелательно (у Кнута тоже была мастерская по раскраске материй).— Придет к нему поэт с Монпарнаса, он ему пять франков всунет, а на работу не возьмет, потому что сплошной конфуз.

Наш общий друг Проценко смущенно, однако, и звбавляясь скандальной сценою, полупьяный, размахивая обнаженными мясистыми, пропахшими красквми руками, мягко успокаивал его, усовещивал, посмеиваясь усаживал всех за стол, наливал вина. Через несколько минут Дряхлов, нежно склоняясь ко мне, говорил:

— Я знаю, вам теперь нужна работа. Не могли бы вы хоть немного аккуратнее печатать кружева, а то только плешины у вас получаются...

— Хорошо, постараюсь,— страдальчески соглашался я: мне завтра сдавать физиологию.

— Вы мои лучшие друзья,— говорил Проценко.

Его изуродованный, разделенный глубокою морщиною, словно шрамом, нв два этажа лоб и шишка на шее под самым ухом напоминали Сократа... Я его прозвал малороссийским Сократом.

— Вы мои лучшие друзья,— повторял он, осушая стакан.— Вы мне ближе жены!

И начинался сумбурный русский застольный разговор, питавший нас и вдохновлявший, несмотря на свою основную порочность.

Стихи Валериана Дряхлова ко времени первых номеров «Чисел» не были лишены колдовства... Вообще, когда перелистываешь старые журналы, внимание привлекают зачастую не «ведетты», а имена поэтов, стоявших «в тени», вроде Заковича, Дряхлова, Ставрова.

Раз весною Дряхлов опасно заболел. Я поднялся к нему в мансарду на пляс де ля Република. У него оказалась довольно банальная zona ophtalmique. Он очень страдал. Потом вирус вызвал род менингита, и Дряхлова пришлось отвезти в Hotel Dieu, где и работвл. Так как при исследовании у него обнаружился еще застарелый процесс в легком, то решили, что у него начвлся туберкулезный менингит, недуг по тем временам совершенно роковой. Все случилось так быстро, так неожиданно, что походило на бессмыслицу: только что прошла Пасха, цвела сирень, казалось, сил хватает на оплодотворение целой вселенной... И вот сразу — конец!

— Смысла как будто не видно, но он наверное есть! — сказал я в утешение.

И это нас всех немного успокоило. Ибо смысла мы тогда искали больше, чем примитивного бытия.

Дряхлов вскоре выздоровел; но какие-то следы поражения остались навсегда: невралгия лица, странности, головные боли. Он уже давно увлекался тайными доктринами и эзотерическими докторами — читал Блавацкую и Крыжановскую. Теперь всерьез увлекся Рудольфом Штейнером.

[1] Облагорожен *(англ.)*.
[2] Доброжелательность *(фр.)*.

В Париже были разные группы антропософов, враждующие между собою, как православные церкви, объединения монархистов, демократов, врачей, инженеров, казаков, наконец. Одна группа во главе с Натальей Тургеневой, сестрой Аси, жены Андрея Белого; другая велась Киселевой, любимой ученицей доктора Штейнера, которую он якобы вылечил от туберкулеза.

Даже я одно лето ходил в студию Киселевой и выделывал буквы алфавита в соответствии с правилами эвритмии; эти легкие гимнастические упражнения несомненно действовали благоприятно на усталых и беспомощных горожан. Кроме ритмических танцев привлекала еще сама Киселева — вся благородная, скромная женственность. Иногда чудилось, она — большая, тяжелая, подбитая птица, легко, к всеобщему удивлению, взмывающая с деревянных мостков.

Наталия Тургенева принадлежала уже к другой породе: интеллектуальная, способная оформить и определить несказуемое, сильная в теоретических спорах и не всегда деликатная в средствах... Впрочем, я Тургеневой тоже многим обязан и за некоторые эзотерические книги, «на правах рукописи» прочитанные мною, по сей день ей благодарен.

Я никак не мог стать верным учеником такого рода псевдонаучных или псевдорелигиозных школ, но пользу мне знакомство с их дисциплинами принесло. Федоров, Успенский... Никогда ко злу они меня не подталкивали и с Христом не разделяли. Хотя надо признать, что для некоторых душ опасность во всем этом несомненно кроется.

После своего чудесного исцеления Дрихлов всецело ушел в антропософию; погрузился в искусные медитации, перестал курить, пить вино, есть мясо... Одним словом, изменился человек. Может, ему действительно открылась аура цветка или «элементарного» духа, но для нас, друзей его, мирян, он был потерян: ни шутки, ни ругани, ни блеска былого. И перестал, кажется, писать (печатать) стихи.

Против всей этой «чертовщины» решительно выступал Проценко, который сам не писал, но на некоторых литераторов косвенно повлиял. При оригинальном, самобытном уме он шел почти до конца в своих логических построениях, невзирая на страх или боль. Надо ли пояснять, что выпивал он лишнее, жил безалаберно и умер рано. В какой-то период своего философствования Проценко пришел к выводу, что с кроликом и собакой в человеке не стоит бороться, изводя себя, пускай кролик, и обезьяна, и амеба живут, как положено им, а человек — как подобает ему, рядом, по соседству, не мешая и не изматывая напрасно друг друга.

Бывали в этом ателье шарфов еще Константин Иванович — добрейший, приличнейший холостяк старого закала, инженер-химик, теперь мывший бочки, и Валерьян Александрович — судья, москвич («не хотите ли присесть»), любитель церковного пения, клубнички и дружеских пиров... Наша общая трапеза, а затем игра на бильярде повлияли на мое писательское развитие больше и положительнее, чем вся немецкая художественная проза в целом.

В тот вечер на рю Мазарин после моего чтения Мамченко решил, что я должен познакомиться с Адамовичем.

Как Адамович впоследствии мне со смехом рассказывал, Мамченко ему сообщил, что появился некто Яновский, который пишет «стопроцентную» прозу.

Я должен был явиться в отель Адамовича к полудню какого-то дня... Пришел я точно, как было условлено, но Георгий Викторович еще спал. Пришлось его будить, что критику отчасти не понравилось. Вышел в халате какого-то изумительно желтого цвета.

Догадываюсь теперь, что наша беседа в то утро для неумытого, беспрерывно запахивающего канареечные полы халата Адамовича была глубоко неинтересна. Я успел запальчиво в первые пять минут сообщить, что ставлю «Записки из подполья» очень высоко, что Алданов пишет скверные романы и что Толстой постоянно искал новую форму для своих произведений, как и подобает настоящему литератору. Разумеется, эти утверждения должны были подействовать удручающе на заспанного поэта; высказывался я в те годы очень резко и без всякого внимания к симпатиям собеседника.

Однако Адамович был по-петербургски любезен, обещал на днях прочитать мои произведения, которые я и оставил у него. Держал он эти рассказы, пока не потерял их. Но надо отдать должное его чувству чести и сознанию ответственности, самые неожиданные, но существенные черты в характере Георгия Викторовича,— через З. Гиппиус ему удалось раздобыть другие экземпляры варшавской «За свободу», где подвизался Философов, и статус-кво был опять восстановлен. Весною 1929 года Адамович меня привел к Мережковским.

Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся, не только не исказит реального образа, но, наоборот, надеюсь, поможет его восстановить.

Адамовича в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы. Конечно, без него существовали бы те же писатели,

поэты или даже еще лучшие, быть может, но парижского «тона» литературы, как особого и единого, всем понятного, хотя трудно определимого стиля, думаю, не было бы! И за это, надо полагать, когда-нибудь многие «москвичи» ему скажут спасибо.

Шарм, которым Адамович обладал в большей степени, чем кто-либо другой в эмиграции, шарм этот не должен умалять его подлинных заслуг, несмотря на все слабости и грехи. Основным же грехом я считаю приблизитилизм!

Кстати, я один из немногих парижан, который умудрялся без всякого заранее составленного плана быть в хороших отношениях одновременно и с Адамовичем, и с Ходасевичем, хотя и по-разному...

Адамович, как это ни казенно звучит, создал школу, или, вернее, антишколу, что почти совпадает, объединявшую вокруг себя лучших молодых людей того времени. Без Адамовича, конечно, те же писатели и поэты подвизались бы, но вне какого бы то ни было объединяющего начала. В результате родилось одно органическое сознание: нужного и не нужного, важного и не важного, вечного и временного.

Достойно внимания, что в отдельных случаях Ходасевич был, пожалуй, ближе к ограниченной — литературной — истине, искуснее и даже «честнее». Слово «честный» в применении к художнику ничего не значит, вернее, играет ту же роль, что и эпитет «храбрый» по отношению к генералам, как объяснил Достоевский в «Записках писателя». Несмотря на весь свой подвиг, Ходасевич «школы» в эмиграции создать не мог. Вернее, ту «школу», которую он создал, не стоило защищать.

Адамович ошибался сплошь да рядом, капризничал, хвалил романы Алданова, ругал Сирина, высмеивал каждого, кто старался на свое «творчество» смотреть серьезно. Адамович ставил на карту виллы и драгоценности, проигрывал свои и чужие деньги, грешил сверхъестественно, уверял, что «литература пройдет, а дружба останется», казался часто только ловким шаркуном, оппортунистом. И все же в решительную минуту мы его всегда видим в строю, на самых ответственных местах.

Адамович — неженка, шалун, ухитряется жить с эмигрантской литературы и «вести» молодежь за собою, не ссорясь ни с Буниным, ни с Милюковым, ни с другими эпигонами... Возвращаясь из Ниццы после каникул, Адамович занимает деньги у мецената якобы для лечения парализованной тетушки и спускает все в баккара. После этого доверчиво объясняет:

— Вы думаете, мне деньги нужны были для докторов, ха-ха-ха, я их профукал в клубе...

Это все при определенной антипатии к Достоевскому.

Адамович в самом начале войны, без малого пятидесяти лет от роду, записывается волонтером в Иностранный легион; там вместе с другими несчастными беженцами и наряду с разными преступными личностями — ибо легион всех принимает и все смывает — лютой зимою 1939—1940 гг. проходит военную подготовку в условиях воистину удручающих.

Капитан его спрашивает:

— Скажите, почему вы попали в легион?

— Je hais Hitler!

— Oui, oui, je comprands, mais avez vous un Casier judiciaire? [1]

«Casier judiciaire» — значит «уголовное прошлое».

Командующий этой частью — кадровый офицер, сен-сирец — не может себе представить, чтобы кто-нибудь в здравом рассудке и с непросроченным паспортом, по своей воле мог пойти рядовым в легион.

В этой обстановке Адамович продержался всю «смешную» войну. В 1940 г. их бросили на север. В боях группа, кажется, не участвовала, да и мудрено было «участвовать», так мало длились эти бои. После развала фронта Адамович бежит назад, к Ницце, в тяжелых башмаках французской пехоты «прошлой» войны. Эту обувь Георгий Викторович мне показывал потом в Ницце и объяснял, что осенью он как-то собрался в них на рынок и не добрел: такая мучительная обуза — колодки на ногах! И вот в этих сапогах Адамович вместе с другими собратьями по оружию спешит к Средиземному морю. Немецкие солдаты их перенимают вместе с толпой беженцев. Конец... Но чужой унтер-офицер кричит французской толпе:

— Les civils par ici, les militairs f... le camps!

То есть: военные, улепетывайте до поры до времени!

И Адамович с удвоенной энергией пускается дальше в своих штиблетах.

Когда на чужом материке я пытался объяснить вдумчивым людям, но знавшим Парижа того времени, но читавшим изредка «Последние новости», когда я тщился им растолковать роль Адамовича в нашей литературе, я всякий раз испытывал чувство, похожее на то, какое бывает, если стараешься словами описать внешность, или запах, или музыку...

---

[1] — Я ненавижу Гитлера!
— Да, да, я понимаю, но у вас уголовное прошлое? *(фр.)*

Совершенно очевидно, что статьи Адамовича и еще меньше стихи или очаровательная болтовня не исчерпывают его роли. Для себя лично я решил этот вопрос несколько неожиданно. Если бы требовалось одним словом определить вклад Адамовича в жизнь нашей литературы, я бы сказал: «Свобода!»

Как ни странно, не Бердяев, и даже не Федотов с Фондаминским, и еще меньше Милюков — Керенский, Бунин — Шмелев с Деникиным — Красновым помогли нам усвоить и полюбить этот редкий французский воздух свободы, питаться им, ассимилировать, перерабатывать наново в продукт живительный, хотя и непривычный для русских легких.

Этот особый воздух зарубежного, или классического, Парижа я определяю словом «свобода»! Насквозь пронизывает чувство: все можно подумать, сказать, и в духовном, и в бытовом плане, все по-иному взвесить, уразуметь, перестроить... Причем это ничего общего не имеет с надрывами Достоевского или Ницше, с пожарами над Рейном или Невою, без всяких даже теорий познаний или хождений в народ, соборности и мифологии. Свобода в каком-то будничном, насущном, уютном, поэтическом сплошном потоке. Это Франция, это Париж, где все еще господствуют Декарт с Паскалем, одинаково в лачугах и дворцах, у природных галлов и у «sales meteques»[1], собравшихся туда, но не случайно, со всего света, как будто на пикник.

С этой стихией свободы природно был связан Г. В. Адамович — при всех своих мелочных, вздорных, капризных слабостях. Свобода. Всеобъясняющее чудо.

Таково мое восприятие «старого» Парижа и Адамовича в нем; многим оно может показаться тем более неожиданным, что Адамович только очень редко и весьма невнятно о свободе писал и говорил. Но само его присутствие освобождало. В этом суть!

Адамович, увы, слишком охотно ссылался на легкомысленное изречение Пушкина о литературе, которая пройдет, а дружба будто бы останется... Адамович часто грешил — в подтверждение этого вздора. Причем оказывал он «критические услуги» не только друзьям, а иногда *просто так* (любимое выражение Адамовича, выражающее чувство свободы от причинно-следственной цепи), знакомым или даже врагам.

Врагов у него было много; но, впрочем, и друзей — шарм вывозил. Многие недостатки Адамовича вытекают из его основного качества: при почти абсолютном музыкальном слухе он, естественно, больше всего боялся взять «фальшивую» ноту и предпочитал писателей, которые вообще молчали.

Один из любимых оборотов Адамовича: «Кстати, где-то когда-то, кажется, Розанов сказал...» И это «кажется» должно было спасти от всякой сознательной неточности. Здесь пример того, что я называю «приблизитилизмом» Адамовича. Кстати, Розанов и Леонтьев оказали заметное влияние на нашего критика; вообще же он на редкость мало по-настоящему читал, и образование свое закончил еще вундеркиндом в Петербурге. И несмотря на все эти мелочи: «Вы — тот посыльный в Новый год, что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый...»

Воздух Парижа особый. Достаточно взглянуть на пейзаж второстепенного французского художника, чтобы убедиться в этом. Кроме красок, кислорода, азота и других материй в него составной частью еще входит сложная молекула первозданной СВОБОДЫ. Это не юридическая или политическая свобода англосаксов, не казарменная свобода прусских философов, не внутренняя свобода йогов и афонских подвижников при полном закрепощении быта, семьи, искусства.

Во Франции чувствуются — еще потоки прасвободы (из которой мир спонтанно возник), чудесным образом преображающие жизнь в целом, будничную и праздничную, личную и общественную, временную и вечную.

Магический воздух, которым мы вдруг незаслуженно начали дышать, пожалуй, возмещал многие потери, порой даже с лихвой. Отсюда присущее нам чувство непрочности обретенного счастья и страха, страха перед грядущим...

Грозные предчувствия начались давно, когда Гитлер, быть может, еще упражнялся в живописи. Нам снилось: по каким-то неясным соображениям надо покидать Париж! И мы просыпались, содрогаясь от слез. Дополнительно нас мучил еще другой кошмар: почему-то очутились на родине... И вместе со слезами умиления холодное отчаяние: это непоправимая, роковая беда!

Самое подлое наказание для иностранцев — это высылка за пределы Франции: в сущности, изгнание из рая. Мы жили трудной, нищей жизнью, но не меняли этого первенства на чечевичную похлебку в Америке или Югославии. Некоторые из нас где-то в других странах оставили разные связи, иногда родных и, вернувшись туда, могли бы устроиться с относительным комфортом. Но это никого не прельщало.

Когда поэтессе Алле Головиной приходилось на время возвращаться в родную Швейцарию, она переживала это, как приглашение на казнь; то же чувствовал ее брат А. Штейгер.

---

[1] Низких чужаков *(фр.)*.

Червинской одно время, казалось, не оставалось ничего лучшего, как уехать в Турцию к вполне обеспеченным родителям... И опять слезы, припадки: потерять голодный, холодный Париж с неоплаченным отельным номером... («Кто забудет тебя».)

Адамович, возвращаясь с каникул в Ницце и попадая на людное собрание, часто повторял:

— Ах, как хорошо, что здесь все по-прежнему! Иногда, на юге, мне представляется: я вернусь в Париж, а там уже все изменилось...

Мы жили в бессознательном, вещем страхе — потери! Недаром Шаршун, одновременно шершавый и без кожи, описывал в диких бредовых отрывках, как его высылают из Франции — везут к границе СССР.

Мы *знали*, что предстоит еще одна утрата, но не понимали объема ее и не находили разумного обоснования для своего страха.

И однажды это случилось. Париж опустел, как разграбленный улей, как Москва 1812 года. Русские поплыли, словно щепки; они неслись впереди волны, как всякое меньшинство в любой стране, более чувствительное к переменам климата.

Через год я увидал Адамовича в Ницце; он был ласков и ясен, смеялся моим шуткам... Вспомнил, как я однажды, подойдя к бриджевому столу, сообщил: «А я сегодня читал „Бесы“ Достоевского, малоталантливая книга». Такие выходки поражали Адамовича на всю жизнь. Итак, мы, казалось, по-обычному смеялись, разговаривали. Но что-то в корне изменилось: передо мною был старик! Горечь, характерная для всех поражений и развалов,— желтизна лица, морщинки, потухший взгляд! А ведь этот беззаботнейший человек, один из немногих в наше время, прожил жизнь именно так, как ему хотелось, и в общем был на редкость доволен своей судьбою.

До лета 1942 года мы еще несколько раз встречались, иногда случайно, в Казино, над самым ниццким морем. Это он мне показал открытку Фельзена из оккупированной зоны: «Я теперь не бываю у Мережковских. Там теперь бывают совсем другие люди».

Он же мне, невесело улыбаясь, передал содержание письма одной «молодой» писательницы к Бунину, в Грасс. Она приглашала лауреата назад, в Париж, уверяя, что «теперь стало возможным настоящее объединение эмиграции».

— Эта шкура еще идеологию подводит! — решили мы.

Впрочем, Адамович выразил эту мысль несколько деликатнее.

И наконец, как-то утром, перед отъездом в Монпелье, я забрел к нему. Жил он тогда на задворках, далеко от центра, и Адамович мне молча протянул открытку от Ставрова:

«Такого-то числа Дикой после продолжительной болезни умер в больнице...»

Физическая тошнота охватила меня. Здоровый, агрессивный Вильде, последовательно веселый, любящий мысль и устрицы, справедливость, вино, любовь и борьбу, теперь раскачивается на виселице или валяется с простреленной грудью во рву... Хотелось блевать, а не плакать.

По дороге назад к своему отелю на place Massena я обнаружил очередь, где выдавали вино в обмен на просроченный купон, и получил две бутылки алжирского красного. В ресторане меня уже ждали; я ничего не сказал. Только подкрепившись военным обедом с рутабагой и стаканом вина, получив для собаки корочку и поблагодарив жертвователей («merci pour le personnel»), только после этого я сообщил Ирине Гржебиной о героической смерти Дикого, или, как его прозвали друзья,— «Ванички».

Отношение Адамовича к писателям было, как и многое в нем, совершенно капризное.

Сколько раз он начинал писать обо мне с явно добрыми чувствами, но вдруг, точно образ мой или предмет книги вызывали волну раздражения, и он наговаривал кучу неприятных и не всегда справедливых истин. (Я все ему, шармеру, кажется, прощал.)

А в то же время было в Адамовиче некое чрезмерное понимание слабостей человека и готовность прощать всем все. Эта достоевщина ему лично, пожалуй, не была нужна, ибо держал он себя всегда с достоинством и даже в особо злостных сплетнях никогда не попадался. И все же это широчайшее, вселенское, распущенное всепрощение! Откуда оно взялось в нем, европейце, петербуржце, любящем приличия и комфорт... Сойдется с человеком, только вчера совершившим подлость, даже оклеветавшим его (например, Г. Иванов), и отделается усмешкою, шуткою.

Однако были у Адамовича и настоящие враги — литературные или метафизические — Ходасевич, Сирин, еще кое-кто. Им он не отпускал вины никак или очень неохотно.

Внешне ссора с Ходасевичем была основана на уездной сплетне... Кто-то пустил слух, что Горький прогнал Ходасевича из Сорренто, потому что застал поэта роющимся в бумагах его письменного стола. На это последовал ответ, что «оба Жоржа» перед отъездом из Петрограда убили и ограбили богатую старушку. Вот такого рода болтовня поссорила двух поэтов, и целое десятилетие они не раскланивались, во всяком случае, не разговаривали друг с другом.

С Ходасевичем, в конце концов, Георгия Викторовича и нас всех свел Фельзен. В эти годы (1936) Монпарнас представлял из себя нечто, подобное облаку в штанах: согласие,

мир, благорасположение царили на поверхности. Молодежь побеждала по всей линии, старики — дотягивали.

Адамович, по природе — страстный игрок, готов был в любую минуту дня и ночи поставить на карту многое. За неимением лучшего увлекся бриджем — по маленькой. Ходасевич к тому времени играл уже только в так называемые коммерческие игры. Впрочем, раза два на Монпарнасе, по инициативе фанатика Гингера, мы сражались в покер, и однажды я заметил, как Владислав Фелицианович вдруг начал рыться в уже отброшенных картах, после сдачи дополнительных. Я поспешно отвернулся... Так, в Нью-Йорке, и совершенно случайно уселся в темном зале синема позади знакомого мне русского мыслителя и, к ужасу своему, разглядел, что он поводит ручкой по пухлому бюсту соседки, я сорвался и ушел в раек, откуда не мог больше за ними следить.

А вместе с тем я всегда жалел, что не совсем четкая игра Некрасова в клубе не нашла себе более полного выражения в нашей биографической литературе, мне кажется несправедливым говорить об этих мелочах шепотом и обиняками. А в чем секрет Гоголя? (Тут гомосексуальные элементы даже не упоминаются.)

Азартничал Адамович совсем как дитя. Его явно восхищал самый процесс игры; результаты, обычно плачевные, он воспринимал вполне стоически, хотя по-другому, чем Гингер. Ему случилось в клубе проиграть в баккара огромную сумму, кажется, всю долю своего наследства. Единственный известный мне прозаический рассказ Адамовича, напечатанный в «Числах», посвящен аргентинцу, проигравшему последние деньги и тут же стрельнувшему себе в лоб. Рассказ, вероятно, наивный, но написанный с подлинной страстью.

Мне Адамович несколько раз передавал подробности этого своего зловещего опыта. Странно закатывая вверх большие, темные, детские глаза с тяжелыми ресницами, он улыбался, точно опять переживая застарелую зубную боль:

— Крупье почему-то слишком высоко поднимал карты, слишком высоко,— недоумевающе повторял Георгий Викторович. Его бледно-смуглое лицо, густые синеватые волосы, расчесанные на идеальный, кажется, прямой пробор и «музыкальные» уши в такие минуты делали его похожим на азиатского божка.— Зачем поднимать так высоко карты? Вероятно, передергивал? — задумчиво осведомлялся он, впрочем, не ожидая от меня ответа.

Ходасевич играл в бридж серьезно, без отвлеченных разговорчиков и ценил только хороших партнеров.

— Ну что это за игра,— дергался он, кривясь.— Только шлепание картами.

Ему было трудно и больно следить за нашими самоубийственными взлетами — в разговорах, спорах. При нем беседа невольно становилась суше, прозаичнее, скучнее, добросовестнее, пожалуй. Диалог, по существу, у нас с ним не получался. И в его присутствии не могло зародиться это торжествующее чувство СВОБОДЫ. Нет, все в мире связано, переплетено причинно-следственной цепью, и чудо узаконено только в гомеопатических дозах.

Ходасевич — мастер, труженик — прежде всего требовал дисциплины и от других; он мог быть мелочным, придирчивым, даже мстительным до безобразия. Но зато как он расцветал, когда натыкался на писателя, достойного похвалы.

Ходасевич не думал, что литература прейдет, а дружба останется: во всяком случае, это его не радовало.

Горечь Ходасевича усугублялась еще газетой «Возрождение», в которой он был вынужден сотрудничать. «Возрождение», чтобы отвоевать рынок, должно было, в отличие от «Последних новостей», все больше отклоняться «вправо». И газета, не задумываясь, начала щедро раздавать куски Дальнего Востока японцам, а Украины — немцам. Для такого черного передела туда постепенно начали стекаться веселые ребята, чувствовавшие себя дома в контрразведках многих тоталитарных (а порой и демократических) стран. В этой компании поневоле застрял Владислав Фелицианович, который, вероятно, не будь Адамовича, сидел бы в приличных «Последних новостях».

Кстати, когда в эмиграции появился очень талантливый журналист правого толка, бывший сотрудник «Нового времени» Солоневич и описал сплошной советский балаган, «Возрождение» вернуло ему рукопись, не оценив по достоинству этого замечательного произведения; книга, разумеется, была принята «Последними новостями» и печаталась там из номера в номер, повышая тираж демократической газеты.

Держал себя Ходасевич в «Возрождении» вполне независимо. Такой независимости в органе Милюкова, вероятно, нельзя было бы сохранить: тут сказывалась «принципиальность» наших либералов. Писал он свой четверговый «подвал» о литературе, ни во что больше не вмешиваясь; но всем было ясно, что сидит он там, потому что больше некуда ему податься.

Заработка 300—400 франков в неделю хватало только на самые главные бытовые нужды. О летнем отдыхе нельзя было даже мечтать. Или приходилось клянчить, занимать, писать унизительные письма «многоуважаемым», выводя в конце: «Любящий Вас...»

Можно утверждать, что Ходасевич в последние годы своей жизни просто задыхался от нудной работы. Он и стихи перестал писать: это решающий признак в биографии поэта — после чего остается только умереть.

Он всегда выглядел моложе своих лет благодаря прирожденной сухощавости и подвижности. Андрей Белый в воспоминаниях сравнивает его с гусеницей. Он имеет в виду, пожалуй, цвет лица Ходасевича — зеленоватый, отравленный, нездоровый. Маленькая, костлявая голова и тяжелые очки... если угодно, сходство, скорее, с муравьем. Впрочем, часто, по-юношески оживляясь, он не был лишен своеобразного шарма.

Это было в Лас-Казе, на большом литературном собрании, еще в двадцатых годах: я обратил внимание на очкастого господина типа вечного русского студента, с неправильным прикусом нижней челюсти... Это оказался Ходасевич, гроза молодых литераторов, нетвердо расставлявших знаки препинания (в первую очередь Поплавского).

Ходасевич, как я уже упоминал, редко тогда бывал на наших собраниях; он был не в ладах или даже попросту в ссоре с Гиппиус, Адамовичем, Ивановым, Оцупом... Жил обособленно, гордо и обиженно, поддерживая связь, пожалуй, только с Цветаевой.

Молодежь, в общем, его уважала: «Тяжелую Лиру» ценили все. Но не любили ни его, ни даже его стихов, в целом. Близкие ему парижские поэты не всегда были самые интересные: Терапиано, Смоленский, Юрий Мандельштам.

О «парижском стиле», норовившем передать *все* или, во всяком случае, самое главное втиснуть в любую страницу, в любую строфу, пусть не на месте, но лучше, чем совсем пропустить (ведь *самое главное* всюду на месте или, вернее, всегда выпирает),— об этой особенности нашей литературы Ходасевич отзывался даже насмешливо. И постоянные разговоры о *самом главном*, вместе с общим презрением к «литературе», он не совсем понимал и, во всяком случае, порицал.

Мысль его, вероятно, можно было бы свести к следующему...

Если искусство — серьезная вещь, преображающая жизнь вроде религии, тогда надо к нему относиться с предельным уважением, холить его, и следует забыть навсегда, что оно будто бы «прейдет»! Если же искусство только некая игра, детская комедия (а *главное* — «та француженка, которая перевязывает чьи-то раны»), тогда нужно к искусству относиться снисходительно, позволяя профессионалам выдумывать, шутить, кувыркаться и не требовать уже здесь всегда «самого главного».

(Рассуждение вполне логичное, но, увы, не удовлетворяющее.)

По словам Ходасевича, мы все ему напоминали одного знакомого, с которым он раз летом, в жару поехал на подмосковную дачу. Тот, приятель, все время восторгался тишиной, прохладой, ароматом леса:

— Ах, какая тишина, ах, какая прелесть! — повторял он без конца, мешая, уничтожая в зародыше эту самую пресловутую тишину.

Вот этот эпизод Ходасевич обязательно вспоминал, когда при нем упоминали о честности или подлинности в литературе,— а говорили на такие темы в Париже тогда часто.

Ходасевич страдал особого рода экземой: симметрично, на двух пальцах каждой руки... и бинтовал их. Этими изуродованными пальчиками, сухими, тоненькими, зеленоватыми — червячками, он проворно перебирал карты. В тридцатых годах настоящего столетия его единственным утешением был бридж. Играл он много и серьезно, на деньги, для него подчас большие,— главным образом в подвале кафе «Мюрат». Но не брезговал засесть и с нами на Монпарнасе. К тому времени он уже разошелся с Берберовой, и новая жена его, погибшая впоследствии в лагере, тоже обожала карты.

Мне показалось странным, что он — в этом возрасте и без средств — так быстро нашел себе другую даму, к литературе непричастную. Фельзен, считавшийся тогда специалистом по психологическому роману, объяснял нам, что есть такой тип мужчин: они наедине с женщиной становятся вдруг очаровательными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение или капитал роли не играют.

Оставалось только преклониться перед таким типом кавалера. А я в те годы, не имея лишней пятерки в кармане, почитал бесчестным ответно улыбнуться самой эфирной и бескомпромиссно-возвышенной девице у Люксембургского сада.

Я Ходасевичу особенно благодарен за один эпизод в моей литературной карьере. Случилось так, что рассказ «Двойной Нельсон», забракованный «Современными записками», вышел наконец в «Русских записках». Номер этот печатался еще в Харбине (или Шанхае) — после редакция перешла к Милюкову в Париже.

Однажды, в субботу вечером, на собрании поэтов в «Мефисто» меня неожиданно вызвал гарсон к телефону: оказалось — Ходасевич! Ему понравился «Двойной Нельсон», но одно место для него неясно; он готовит статью для «Возрождения» — не могу ли я завтра заехать к нему, объяснить... Это спешно и важно.

Чувство от этого телефонного разговора осталось у меня, вроде как у Достоевского, когда к нему на рассвете явились Некрасов и Белинский, только что прочитавшие рукопись «Бедные люди». (На такое, разумеется, Адамович не был способен, ибо есть вещи гораздо важнее, чем литература.) И этот субботний вечер в подвале «Мефисто» занял в моем неуютном прошлом эмигрантского писателя место классического монумента.

Поэт жил в тесной квартирке в Пасси; он принял меня торжественно, с подчеркнутым уважением, точно участвуя в определенной, веками освященной мистерии. По-видимому, он догадывался, какое значение это имеет для меня, и радовался, как старший мастер, уже прошедший искус.

Не помню, была ли его супруга там; вообще, в литературную жизнь она не вмешивалась или вмешивалась неудачно. Так, после смерти Горького Ходасевич целый вечер прождал на Монпарнасе Берберову, желая поделить с нею их общие воспоминания о Сорренто (согласовать, что ли). На кроткое замечание жены, что, в конце концов, можно обойтись без этого, он только оскорбительно отмахнулся.

Выяснив все, что ему было нужно в моем рассказе, Ходасевич добродушно заявил, что если бы я поставил в нужном месте многоточие, то никаких сомнений не возникло бы.

— Это вас Джойсы и Прусты сбили с толку! — не без горечи пожаловался он.— Ничего постыдного или мещанского в многоточии нет.

Западную современную литературу Ходасевич не знал, главным образом, потому, быть может, что иностранные языки ему давались — как всем! — с большим трудом.

Вообще, легенда, что русские отлично владеют многими языками, доживает, надеюсь, последние годы. Было время, когда во Францию устремлялись аристократы и эмигранты типа Герцена или Ковалевской: они владели французским не хуже, а подчас лучше родного, русского. Отсюда возник этот миф, сохранившийся по сей день у булочников, несмотря на то, что последующие волны эмиграции — вранжель и дипи — десятилетиями заикались, объясняясь с полицией.

Бунин, через год после Нобелевской премии, поехал раз поездом — «кукушкой» — на юг Франции; он не успел запастись билетом и, будучи задержан кондуктором, не смог толком объясниться, а только нелепо кричал, тыча себя пальцем в грудь:

— Prix Nobel! Prix Nobel! [1]

Из всей французской литературы он по-настоящему усвоил только Мопассана, да и того предпочитал в русском переводе.

Мы преклоняемся перед гением Толстого и его вегетарианством, забывая, что, кроме всего прочего, он еще был самым образованным членом своего круга и не переставал учиться, совершенствоваться до последнего дня.

За чаем я сообщил Ходасевичу, что года два тому назад «Современные записки» мне вернули назад «Двойной Нельсон». Ходасевича передернуло, как от острой боли.

— Ну зачем они берутся не за свое дело? — страдальчески повторял он.— Ну зачем?

Я тогда получил свой первый аванс в тысячу франков под роман «Портативное бессмертие» — еще от Фондаминского, первоначально редактировавшего «Русские записки». И очень этим гордился. Ходасевич, неодобрительно покачивая маленькой головкой, меня просвещал:

— Вы работаете, создаете продукт, и все, что вам раз в десятилетие перепадает,— это тысчонка франков. А Вишняк ничего там не производит, только мешает и получает ежемесячный оклад! Ежемесячное! — он заскрежетал зубами,— жалованье.

(Впервые в жизни эмигрантского писателя ему сообщили, что его занятия кому-то нужны и достойны большей награды.)

Успокоенный и подобревший Ходасевич вдруг начал мне передавать содержание давно задуманной им повести; рассказ этот исходил из каких-то интимных глубин поэта и, поскольку мне известно, не был написан.

К сожалению, в моем тогдашнем состоянии я не мог обратить большого внимания на это произведение, да и передавал он его урывками. Насколько помню, речь шла о знакомом нам всем типе интеллигента, горожанина, который внезапно порывает с прежней жизнью и селится в курной избе, где-то в глухих лесах. Когда, несколько лет спустя, друзья его навестили, то нашли на поляне заросшего волосом анахорета, а у ног его покорно лежал огромный серый медведь. Что-то в этом духе — во всяком случае, для Ходасевича совсем неожиданное.

Затем он мне почему-то сообщил, как однажды навестил товарища по гимназии, родители которого содержали мелочную лавку... Из-за прилавка вышла красавица девушка, сестра гимназиста: будущая Мария Самойловна Авксентьева-Цетлин (Розанов о ней отозвался в одном фельетоне: эсеровская мадонна). Я ее, к сожалению, уже встречал только в образе «Пиковой дамы».

Ходасевич вообще знал много подробностей из прошлого эмигрантских бонз и любил позлословить. По существу, это был консерватор, и прогресс его отнюдь не увлекал. О своем отце — кажется, поляке, католике — он говорил с большой нежностью и какой-то детской беспомощностью.

В день его юбилея друзья устроили обед по подписке. Я не присутствовал на трапезе, но пришел в ресторан позже, с кем-то из молодых. Ходасевич был определенно нам рад;

[1] Нобелевский лауреат! Нобелевский лауреат! *(фр.)*.

мы все пошли на Монпарнас и засели — в бридж. Не помню, по какому поводу зашел разговор о теореме «сумма углов треугольника равна 2d». Ходасевич усомнился, что кто-нибудь из взрослых способен еще доказать такую теорему. Я вытащил из его кармана блокнот, подаренный ему Цветаевой — с пожеланием писать стихи, и тут же, уверенно, начертил простое доказательство; а внизу страницы я приписал: «Пора, пора, покоя сердце просит...»

Закончив свои четыре пики, Ходасевич заглянул в записную книжку и сердито обратился к Адамовичу:

— Молодежь не умеет себя вести! Вот Яновский, не спросясь, пишет в чужом блокноте, и если геометрия еще имеет какое-то отношение к разговору, то остальное совершенно неуместно.

— А что он написал? — живо спросил Адамович, человек любопытный и ревнивый.

Ходасевич прочитал вслух мою строку и добавил:

— А ведь он думает, что цитирует Пушкина...

Ходасевич страдал от люмбаго, и я его направил к доктору З., который ему впрыснул что-то вдоль крестца, боль мгновенно прошла.

— Я спрашиваю,— обиженно рассказывал мне потом поэт, любивший поговорить о болезнях,— скажите, доктор, откровенно, это паллиатив или настоящее лечение? Господи, я ведь, славу Богу, знаю, не в первый раз имею дело с лекарями. А он отвечает: «Забудьте люмбаго навеки». И мы отправились немедленно в гости. А через два часа меня на руках снесли с лестницы и отвезли домой. Ну зачем это нужно? Говори правду, ведь я же знаю, слава Богу...

Думаю, что о слабостях профессионалов, мастеров, адвокатов, художников он действительно многое знал и готов был простить все грехи людям, вполне овладевшим своим ремеслом.

Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Незадолго до того вышла его книга «Некрополь». Я вел тогда критический отдел в «Иллюстрированной России». В его книге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попадались и условные, попросту серые страницы. Я так и написал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич умирает.

Через несколько дней его хоронили; желчные камни обернулись чем-то гораздо более серьезным.

Его отпевали в невзрачной протестантской церкви. Когда выносили гроб, я подошел к Рудневу, решив воспользоваться случаем и спросить о судьбе своей затерянной рукописи. Но Руднев, бледный, взволнованный, печальный, мягко улыбнулся и решительно заявил:

— Не сегодня, Василий Семенович, не сегодня, когда-нибудь в другой раз.

И мне почудилось, что Ходасевич опять мучительно кривится от острой боли и вскрикивает: «Ну зачем они берутся не за свое дело! Ну зачем...»

На кладбище, уже после стука осыпающихся комьев глины, по дороге назад, у ворот ко мне проворно подошел худощавый тогда и в спортивных брюках «гольф» Сирин; очень взволнованно он сказал:

— Так нельзя писать о Ходасевиче! О Ходасевиче нельзя так писать...

Я сослался на то, что никто не предвидел его близкой смерти.

— Все равно, так нельзя писать о Ходасевиче! — упрямо повторял он.

Фельзен, шедший рядом, тихо что-то сказал, примирительно-рассудительное, и мы смолкли. Но мне поведение Сирина очень запомнилось и понравилось. Существовала легенда, что он совершенно антисоциален, ни в каких общественных делах не участвует и вообще интересуется только собой и своей графологией. Очевидно, это не совсем так. В данном случае, например, он выполнил то, что почитал своим общественным долгом.

С кладбища я, Фельзен и, кажется, Р. Н. Гринберг поехали назад в кафе «Мюрат»; там, на террасе, под тентом, мы пили коньяк и наслаждались небом Парижа, особенно прекрасным после очередных похорон. (У меня дома хранился огарок церковной свечки, которую я в первый раз зажег при отпевании Поплавского.) Думаю, что друзья после похорон должны выпить в память усопшего. Старинный обычай справлять тризну — есть блины, пить водку, петь и играть на могиле покойного — мне кажется мудрым и достойным подражания.

Ходасевича-поэта я любил давно, но с годами мне стало понятным, что и в критических статьях своих он занимал особое, героическое место, ни разу в жизни, кажется, не похвалив заведомой дряни, всегда спеша первым с радостью отметить то новое, что он считал хорошим, даже если это исходило из враждебного ему лагеря. А это не о всяком русском критике скажешь.

Он первый, если не единственный, недвусмысленно отметил Сирина, назвав его труд подвигом. Это когда «Числа» во главе с Ивановым травили автора «Подвига» самым неприличным образом.

Ходасевич единственный в эмиграции критик (не считая В. Мирного) разругал так называемые романы Алданова. Статья в «Возрождении», посвященная главам «Начала конца», где Ходасевич заявляет, что *такому* писателю нет пути в русскую литературу, наделала в свое время много шума в эмигрантском корале. Фондаминский на очередном собрании «Круга», разливая чай, оживленно осведомлялся:

— Как вы думаете, кого имел в виду Ходасевич в своей статье, героя романа или самого Алданова?

На что Зензинов в сердцах отвечал:

— Вот видишь, ты сам способствуешь распространению сплетен.

В этот вечер Алданов зачем-то забежал к Фондаминскому до начала нашего собрания: может быть, чтобы поздороваться с приехавшим из Берлина Сириным. Пожимая его руку, Марк Александрович похвалил начало «Дара», появившегося в той же книге «Современных записок».

— Замечательно, замечательно, и читаете вы замечательно! — повторял он часто и быстро, опасливо озираясь, точно ожидая погони.

Моя повесть «Вольно-Американская» тоже печаталась в этой книге журнала, и в другое время Алданов не преминул бы обратиться ко мне с прохладным комплиментом. Но теперь, после статьи Ходасевича, ему было не до западноевропейских тонкостей.

Этот сбитый с толку, раненый, неуверенный в себе, страдающий одышкою, пухлый господин в котелке, всю жизнь занимавшийся не своим делом, я разумею его романы-кирпичи типа «Ключ», напомнил мне эпизод из «Анны Карениной», когда дворяне собираются забаллотировать своего старого предводителя, а он в панталонах с галунами, похожий на травимого зверя, мечется по залу и с надеждою взглядывает на Левина, не разбирая, враг это или друг.

В этом победа писателя. Пруста или Толстого вспоминаешь почти ежечасно — в постели, на службе, в клубе... Они постепенно «перекрывают» всю жизнь.

— Почему вы так дурно отзываетесь об Алданове? — спросил меня раз Фондаминский.

Я объяснил, потом добавил:

— Через двадцать лет после смерти автора никто серьезно не вспомнит про его романы.

Фондаминский отрицательно покачал головой:

— Вы ошибаетесь. Не через двадцать лет, а гораздо раньше! — и рассмеялся.

Тут, конечно, для многих все было ясно. Но Ходасевич находил справедливым про это внятно сказать, не считаясь с «тонкой» литературной политикой. В чем она заключалась, я никогда не мог понять... Утверждали, что Алданов масон и потому его надо хвалить. Но это вздор, в литературе было много масонов, и их позволялось поругивать. Хотя бы Осоргина.

Когда Адамович хвалил Алданова, ему, вероятно, казалось, что большого греха в этом нет, через пятьдесят лет все равно лопух вырастет... Для Ходасевича в литературе не было важного и неважного, большего и меньшего. Здесь все одинаково значительно. А забавляться мы будем вечером за бриджем!

Часто во время игры, когда я следил за его зелеными пальчиками-червячками, перебиравшими бубны и трефы, я невольно шептал:

Друзья, друзья, быть может, скоро
И не во сне, а наяву,
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву...

Он оборачивался ко мне и сердито бросал:

— Ну что это за игра, только шлепание картами!

В конце 1971 года Адамович прилетел в Нью-Йорк, где я с ним встречался. Он несколько раз обедал у нас вместе с Оденом. По-видимому, они понравились друг другу, что меня и обрадовало, и удивило. В один из этих вечеров, уже в январе 1972 года, жена сфотографировала нас. Вероятно, это последний снимок Адамовича: он умер 22 февраля.



Юстина Гласс

ДОЖИТЬ ДО СТА ВОСЬМИДЕСЯТИ

Книга «Дожить до ста восьмидесяти» была впервые издана в Англии в конце 50-х годов и сразу стала бестселлером. Переведена на все основные языки и выдержала множество изданий. Автор — английский врач и популяризатор науки Юстина Гласс — ставит перед читателем задачу «дожить до ста восьмидесяти», не утрачивая жизненных сил и всего того, что принято считать «радостью жизни». В живой популярной форме она рассматривает влияние питания, движения, дыхания и сознания на долголетие и дает ценные советы и практические рекомендации по поддержанию здоровья.

Мы предлагаем читателям фрагменты из книги Юстины Гласс. В полном виде книга выйдет в приложении к «Звезде», распространяемом через объединение «Союзкнига».

Какова, по-вашему, нормальная продолжительность жизни человека? Лет семьдесят или восемьдесят? Согласно расчетам биологов, продолжительность жизни любого вида животных составляет от 7 до 14 периодов времени достижения зрелости данного вида. Человек достигает зрелости между 20 и 25 годами, и ожидаемая продолжительность нашей жизни по этим расчетам может достигать 280 лет. Отдельные геронтологи (специалисты по долгожительству) поднимают эту границу еще выше. Д-р Христоферсон из Лондонского госпиталя говорит: «Человек может жить 300, 400 и даже 1000 лет, если будут найдены элементы, поддерживающие жизнь».

Итак, продолжительность жизни в 180 лет — вполне разумная цель. Ученые говорят, что в природе протоплазмы нет ничего, что вызывало бы износ, истощение. А человек, конечно, протоплазма. Посмотрим на наших родственников, существующих, по некоторым предположениям, с незапамятных времен. Это — протоплазма, называемая Парамециум Аурелия или «бессмертная протоплазма». В 1911 году И. И. Вудруфф и Р. Эрдман начали с нею эксперименты. В 1928 году было зарегистрировано 800 поколений, но она была такой же, как новая. Не было признаков распада, старения или чего-либо подобного.

В растительном мире также есть очевидное «бессмертие». Один из видов кактусов живет, кажется, вечно. Также и гигантские секвойи в Калифорнии. В Мексике растет кипарис — современник Кортеса. Баобабы, растущие главным образом в Африке, живут до 6000 лет. Некоторых рыб можно назвать Мафусаилами. Карп и щука живут 300 лет. Несколько сотен лет ничего не составляет для крокодила. В Африке находили крокодилов, которым насчитывалось около 1700 лет. Дикие кабаны могут жить около 300 лет. Ослы, лебеди и попугаи часто достигают столетия. Черепахи иногда живут несколько сотен лет. И даже мы, люди, имеем несколько рекордов. Мафусаил, согласно Ветхому Завету, близко подошел к назначенному д-ром Христоферсоном пределу в 1000 лет, он умер в 969-летнем возрасте. Иосиф жил 110 лет, Сара — 197, Авраам — 275 лет. Но, увы, Моисей — первый из установивших продолжительность жизни три срока и десять лет (три раза по двадцать и десять, то есть семьдесят). Однако и в этом возрасте, как говорит Библия, «его глаза не потускнели, а его силы не уменьшились». Древние греки пелагической расы говорили,

что умереть в 70 лет почти все равно, что умереть в колыбели. Платон, Ксенофонт и Пифагор относятся к тем авторам, которые считали, что пелазги жили по крайней мере 200 лет. Подобно Моисею, «их силы не уменьшились» до конца жизни, а волосы их не поседели. Великий врач Гелен жил 140 лет. Сократ умер в 106 лет, и то после чаши яда. Софокл умер в 130 лет. Плиний пишет о музыканте, который прожил 150 лет, а выглядел на 50.

Акушерка, ухаживавшая за Генриеттой-Марией, женой Карла Первого, жила 103 года. В 1500 году в Йоркшире родился человек, названный Дженкинсом. Он умер в возрасте 170 лет. Место рождения Томаса Парра — Лондон, 1588 год. Он установил рекорд семейной жизни, трижды справив бриллиантовую свадьбу. Супружество продолжалось 147 лет. Муж умер в возрасте 173 лет, жена — 184 лет. В 150-летнем возрасте эти люди, говорят, выглядели как 50-летние. Роджер Бэкон, изучавший способы продления жизни, полагал, что человек может прожить 1000 лет.

В нашем веке живут кандидаты на достижение этой цели. Некоторые из них живут в России и перешли рубеж ста лет. В персидской деревне Калюса живет Саид Али, которому 195 лет. Он женился, по его словам, в 1790 году. Его старший сын умер молодым — в 120 лет, но у Али живы еще четверо детей, двоим из них по 105 лет, но они не стары. Его дочери 110 лет. Внуку Глубинзу 80 лет. Саид Али полностью активен. Он не истощен, очки ему не нужны.

Любовь Пуйак в России достигла 150-летнего возраста. Она видела нашествие Наполеона на Москву. У нее два младших брата, 121 года и 118 лет, и сестра 112 лет. В Талышских горах в Центральной Азии живет и работает в колхозе Махмуд Айвазов. В день его 143-летия он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. У него 118 внуков, правнуков и праправнуков. Стрелковые соревнования, организованные молодежью кавказской Джугарии, выиграл 141-летний Нито Кхубулов.

Некоторые ветераны Американской гражданской войны пережили войну и столетний юбилей, а некоторые бывшие невольники были веселы и жизнерадостны в возрасте 115—120 лет.

Среди людей, которые, видно, будут долгожителями, можно назвать г-жу де Вера из Контебери (Англия). Недавно она приготовила ленч для своих детей, внуков и правнуков в честь своего 103-летия. Среди людей, следующих программе увеличения жизни, изложенной в этой книге, есть женщина, которой 75 лет. Она изучает трудные виды танца. Она гибка, как 12-летняя девочка, а выглядит на 40. Ее тело крепко, у нее нет морщин. Волосы темны, зубы прекрасны и все свои.

Изящна, щеголевата и подвижна женщина, которую я знаю. Ее волосы светло-коричневы, а комплекция привлекательна, хотя ей 85. В последние годы ей было сделано три предложения. Но она все еще одна. Она говорит, что она «еще немного подождет». Врач ошибся на 40 лет, определяя возраст ее сына.

Г-жа Марион Джонс два года назад, когда ей было 100 лет, написала свою автобиографию «Наброски Джемимы». Вскоре ее соседи начали жаловаться на шум в ее квартире из-за большого числа посетителей. Тогда мисс Джонс переехала в дом на окраине Эдинбурга в Шотландии, где она могла спокойно принимать гостей.

Это не чудо, повторяю я. Прожить полный отрезок времени. Люди, дожившие до глубокой старости, не уроды и не беспомощные развалины. И только потому, что нам еще не каждый день встречаются люди старше ста лет, мы находим странной жизнь в таком возрасте. Если бы видели крокодилов, то вы не задумывались бы дважды над тем, что ваш отец жил более тысячи лет, и не ожидали бы, что он будет полным инвалидом. И только потому, что мы условились втрое удлинить нашу жизнь без наступления старости, это кажется фанатичным и фантастическим. Это потому, что наше сознание привыкло к короткому ритму. Мы понимаем жизнь в 180 лет как бесконечную. Но в любом случае, кто в юности беспокоится о времени, когда ему будет 100? Вы можете начать выражать недовольство, если считаете этот срок слишком долгим, но тогда у вас не будет времени выполнить все, что намечено.

Факт, что с возрастом время, кажется, течет быстрее. Вспомните, что, будучи детьми, мы месяц принимали за год. А школьный семестр тянулся вечно. И физиологически, и психологически с нами гораздо больше происходит в молодости, чем в старости. Итак, год ребенка реально должен быть длиннее, чем год взрослого. Было установлено, что звездное время для ребенка течет в четыре раза медленнее, чем для человека в пятьдесят лет. «Юный и старый,— говорит Пьер Лекон,— существующие в одном пространстве, живут в разных вселенных, в которых время течет существенно различно».

Кто не говорил: «Если бы только у меня было время сделать это или это...»? Большинство из нас очень многого не успевает в жизни. И в момент, когда мы, имея достаточно знаний и опыта, можем воспринять радости жизни, она уже приходит к закату. Если бы великие ученые, философы и лидеры мирового прогресса имели бы немного больше времени, человеческая раса могла бы быть лучше во многих отношениях, чем сейчас. Гульельмо Маркони, изобретатель беспроволочного телеграфа, сказал: «Жизнь слишком коротка», но добавил: «Я думаю, что гигиена и биохимия научат человека удлинить свои годы за пределы три срока и десять».

Итак, мы учимся. Гигиена дает некоторые советы для продления жизни. Биохимия показывает, что природные богатства пищевых продуктов могут удлинить нашу юность и жизнь.

Известный американский диетолог проф. Генри Шерман показал, что продолжительность жизни животных может быть значительно увеличена правильной диетой — снабжением пищи необходимыми для жизнедеятельности организма элементами. Правильной диетой мы можем заложить фундамент нашего здоровья — долголетия. Многие ошибочно думают, что они не могут долго прожить или оставаться здоровыми, если они не «вернутся к природе». Но как вернуться? Должны ли мы качаться на ветках, заменив чем-нибудь отсутствующие ныне органы? Или закутаться в шкуры и обрасти шерстью? Или вернуться в норы без электричества и водопровода? Конечно, условия века, в котором мы сейчас живем, являются для нас «естественными» и здоровый смысл предлагает по мере сил использовать его преимущества. Это не должно означать, что нам нужно принимать плохое за хорошее, например, плохую пищу и загрязненную атмосферу. Мы можем сделать, чтобы то или иное превратилось в хорошее, если будем достаточно упорно и долго трудиться.

Между тем благодаря знаниям века имеется удобный случай усовершенствовать физическое здоровье способами, недоступными нашим предкам. Шерман высказал идею, что первобытные люди по необходимости жили здоровой жизнью, когда их диета была «правильной». Первобытный человек не мог выбирать то, что он хотел, на обед. Он ел то, что мог взять на месте в данное время,— и это было так. Иногда это было правильно с точки зрения удовлетворения нужд организма, а иногда нет. То, что часто это было неправильно, можно видеть по скелетам первобытных людей. Посмертные следы неправильного питания видны во многих местах, включая ротовую полость. Наши древние предки мало получали природных веществ и витаминов. Теперь нет необходимости в таком сокращении. Мы можем улучшить наше здоровье способами, недоступными в те времена. Ученые говорят, что в те годы зубной кариес случался не чаще, чем сейчас рахит. «Мы можем помочь организму пройти полный биологический курс, создав ему правильные условия»,— считает д-р Эдвард Бертц, президент Американской Академии наук. Он уверен, что наша жизнь может продолжаться минимум 150 лет. Для достижения этого он дает список советов: упражнения, прямой позвоночник, правильное питание, изобилие мяса, яиц, молока, витаминов и природных веществ, два или три литра жидкости ежедневно, вдосталь спать и отдыхать, иметь занятый ум и руки.

Но есть еще один жизненный фактор — это вы, ваше отношение к жизни, ваша воля к жизни. Д-р Бертц расшифровывает это так: «В большой степени зависит от самого индивидуума, как долго будет продолжаться его жизнь». Это — внутренняя объединяющая сила, рожденная с появлением протоплазмы, ищущая лучших условий жизни, заставившая рыбу покинуть воду и давшая крылья. Она во всех нас. И она может помочь нам потребовать по праву первородства нормальной продолжительности жизни, если мы разбудим эту силу.

Хотя мы имеем желание жить, но не все используем для этого. Об этом говорит то, что некоторые люди идут вперед, а некоторые топчутся на месте. Некоторые живут, в то время как доктора говорят, что они должны были бы уже умереть.

Один корабль плыл на Восток, другой на Запад.
С тем же самым ветром, что дул.
Положение парусов, а не сильный ветер
определяет путь, по которому плыть!

Мы должны поставить наши паруса в направлении к 180-летию, если хотим достичь его, и надо приложить много усилий для этого. Как сказал д-р Бертц, «люди должны помочь себе, воспользовавшись научными открытиями». Жить до 180 лет — это вопрос полного использования этих открытий и всех наших возможностей (умственных и физических). Это нужно выявить нам самим. Только некоторые имеют сколько-нибудь полное представление о своих способностях и энергии, и мы можем оказаться полной неожиданностью для самих себя, когда попытаемся это сделать. Тело — прекрасный самовозобновляющийся организм. Дайте ему инструменты, и оно будет выполнять эту работу. Но мы не можем прессовать брикеты без соломы, а многие считают, что их тело способно на подобное. Сознание подобно динамо-машине, способной порождать энергию, пределы которой так велики, что мы даже не предполагали. Каждый из нас достаточно подготовлен для борьбы за продление жизни. Наши предки, выигравшие борьбу за выживание, доказали это.

Значительное число людей сегодня достигает ста лет и чувствует себя здоровыми. В свете этого и утверждений известных врачей, что человек может жить до 300 и даже до 1000 лет, сто восемьдесят — очень скромная цель...

Говорят, что мозг начинает терять свою силу в возрасте около 45 лет, что творческий ум отсутствует в 75-летнем возрасте. Ныне имеется так много доказательств противного, что эта теория в общем рухнула (она никогда не выдерживала критики). В возрасте 71 го-

да Галилей открыл вращение Земли. Тициан создал «Битву при Леранто» в 98 лет. Некоторые из его лучших работ — «Венера и Адонис», «Последний суд», «Христос в саду» — были созданы после 80-летия. Дарвину было за 60, когда он написал книгу, которая потрясла научный мир,— «Происхождение человека и подбор по отношению к полу». Гладстону было 86 лет, когда он произнес главную речь своей жизни о притеснении армян. Основательница Американского Красного Креста Клара Бартон учредила Американскую национальную ассоциацию первой помощи, когда ей было 84 года. В 89 лет она изучала машинопись. И этими примерами не исчерпываются все случаи, на которые я могла бы сослаться. Но я думаю, что сказанного достаточно. Этих людей нельзя причислить к исключению из правил — их слишком много, и то, что сделано ими, может сделать любой из нас. Я не думаю, что вы можете написать бессмертную прозу, стихи или нарисовать шедевр. Для этого нужен дар Божий. Я имею в виду то, что, уделяя внимание мозгу и удовлетворяя его потребности, мы можем помочь ему работать полноценно в более старшем, гораздо более старшем возрасте, чем тот, который сейчас считают периодом расцвета. Если мы поступаем в соответствии с законами природы, а не вопреки им, то не должны неизбежно дряхлеть и слабеть разумом. Когда говорят об огне жизни, горящем в мозгу, то это не просто поэтическая фантазия, это действительно так. Мозг — это мощная камера сгорания, и форма энергии, производимая им, есть жизнь. Пламя не угасает, не угаснет, пока мы поддерживаем огонь хорошим топливом и не забываем о снабжении. Но это еще не конец. Рассказ еще не полон. Мозг же может быть диктатором физической жизни организма, но он подчиняется разуму. Как бы сложны и таинственны ни были некоторые из его действий, мозг все же остается всего лишь органом разума, который управляет им и через него всем остальным телом. Чем лучше состояние мозга, тем лучше может функционировать разум. Физический аппарат не только мозга, но и всего тела следует содержать в исправном состоянии, чтобы ум работал бесперебойно. Ваш телевизор не даст хорошего изображения на экране, если кинескоп вышел из строя.

...Он может быть замечательным для вас... первый день второй весны. Если вы человек, который теперь рассматривается как пожилой или среднего возраста, этот день может стать днем возрождения молодости. Если же вы не достигли по современным меркам середины жизненного пути (хотя в действительности ничего подобного не существует), вы можете велеть старости подождать неопределенное время. И это для большинства из нас — отмена того, что мы, даже если и не боимся, но не желаем встретить старость и все, что она означает,— утрату силы, энергии, всего, ради чего стоит жить. Не сомневаюсь, многие скажут: «Я бы возненавидел жизнь, если бы пришлось жить до 180!» Они думают, что удлинение жизни означает удлинение старческого периода и беспомощности. Но научиться жить до 180 лет, как предлагается в данной книге, означает научиться продлить не старость, а юность и здоровье, научиться восстанавливать и сохранять пыл и энергию молодых лет, обнаружить, что все это принадлежит нам, независимо от какого-либо календарного возраста.

Я пыталась в этой книге довести до вашего внимания достижения, одобренные наукой прошлого и настоящего, а также показать вам, что эта цель в пределах досягаемости для всех. Я не могу сделать вас молодыми, счастливыми или мудрыми — ни одно человеческое существо не в силах это сделать, кроме вас самих. Можно только указать путь, так как, согласно науке,— нет предела жизни, есть только предел воли к жизни (желанию жить) — предел, который вы сами себе ставите. Потенциально жизнь материи бесконечна. Протоплазма, как было доказано, потенциально бессмертна. Мы видели, продолжительность жизни животных можно увеличить добавлением незаменимых элементов к диете или сократить их исключением. Это окончательно выявило несостоятельность прежнего непререкаемого убеждения, что срок жизни жестоко зафиксирован законами природы и может быть увеличен лишь благодаря счастливой случайности и укорочен болезнями и несчастными случаями. И уж, конечно, наша жизнь ограничена не тремя двадцатилетиями и еще одним десятком лет, и может случиться, что не тридцатью тремя двадцатилетиями. Но в настоящий момент нам нет нужды заглядывать так далеко вперед. Достаточно, я думаю, что мы можем сказать старости: «Подожди!» Это и вызов, и победа.

Преждевременное старение, воспринимаемое в настоящее время как естественный ход событий, не возникает в теле или уме, находящихся в благоприятных условиях. Тело, снабженное нужными продуктами, может выполнять жизненные функции почти неопределенно долго. Ум, который хорошо питается, может продолжать функционировать как в молодости — тоже почти неограниченно долго. Позвольте еще раз напомнить, что пища для ума означает пищу для мозга (физического органа), содержащую правильный комплекс витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, а также пищу для собственного ума с диетой из конструктивных положительных мыслей, которые его обновляют и делают сильным. Поддерживать ум таким способом так же необходимо, как и снабжать физическое тело пищей.

Мы должны запомнить, что упражнения для ума так же важны, как и для тела. Планомерное воспитание воображения, как было сказано ранее, один из способов упражнения ума. Практика сосредоточения, необходимая для успеха в любом умозрительном процессе,— другой и практически великолепный метод сохранения ума здоровым и молодым — именно конкретная цель.

Работа во имя конструктивной цели — сама по себе величайшая помощь долгой жизни. Мы все знаем или знали людей, сохранивших работоспособность благодаря тому, что они полностью посвятили себя какой-то цели или работе. С другой стороны, есть люди, которые перестают «радоваться жизни» и спустя короткое время после этого умирают, потому что интерес — главная движущая сила их существования — пропал. Счастливейшие те люди, чьи умы и тела заняты стремлением к достойной цели. Так, здесь, как и в других вещах, о которых мы говорили, имеется дополнительное: «должен». Заинтересуйтесь чем-то, если хотите жить, окутайте этим себя, решитесь осуществить ваши притязания, чем бы они ни были, и вы сможете это выполнить, если настроите свой ум на то, что это осуществится, и поверите в возможность осуществления этого. Вильям Джеймс, великий американский психолог, писал: «Наша вера при наличии любого сомнительного предприятия является единственной вещью, которая обеспечивает успешный исход „рискованного дела“». Возможно, в этот самый момент вы убеждаете себя, что не можете придумать достаточно благодарной цели, ради которой стоило бы делать усилия, чтобы дожить до 180-ти. Не слушайте себя. Если вы хотите жить полнокровной жизнью и решили осуществить это, вы найдете идеи и благоприятные условия, чтобы развить их естественным способом. Они всегда будут, если мы не закроем двери со словами: «Я ничего не могу поделать», «я не могу сделать этого» или из-за возраста: «Я мог бы сделать это, если бы был моложе». Эти мысли опасны, они калечат нас и истощают нашу энергию и силу, необходимые для того, чтобы сделать то, что мы хотели бы сделать, и они не верны. На самом деле есть очень мало такого, чего бы мы не могли добиться, если сделаем все возможное для достижения, верим в нашу возможность достичь. Когда возникает кажущееся препятствие, может быть, стоит просто «перекинуть сердце», как говорят: «Прыгни в высоту перед прыжком». Вы идете туда, куда движется сердце. Единственное, что может помешать вам найти удовлетворительную цель, ради которой следует работать в следующем столетии или даже позже — это мысль, что вы не можете. То же произошло с детьми Израиля, испугавшимися собственного успеха: «Мы как саранча на собственном поле зрения»,— сказали они. Мы никогда не сможем достичь какой-либо цели, даже просто дожить до 180 лет, если видим себя «саранчой», не способной сделать то, что мы собираемся сделать.

Наши предки могли также беспокоиться (так они и делали, вероятно) по поводу того, что произойдет, когда кочевой образ жизни сменится оседлым. Или позже, когда разрушилась феодальная система. Основа общества всегда приспосабливалась к изменившимся формам, которые выросли из него в процессе эволюции. И это всегда будет происходить, но какими путями — предсказать не всегда возможно. При увеличении продолжительности жизни те, кого мы называем теперь стариками, могут приносить все больше и больше пользы, активно участвуя в жизни, и их вклад будет означать увеличение силы и благосостояния человечества. Вероятно, не иссякнут и наши запасы в том случае, если увеличится потребность в пище. Установлено, что на сегодняшний день можно прокормить утроенное население земного шара. Но, вероятно, если люди станут жить дольше, то уменьшится рождаемость — ведь она меняется в зависимости от разных обстоятельств. После войны, например, рождаемость увеличивалась, во времена индустриального роста тоже, и так всегда в истории. И неверно, что уменьшение населения неизбежно означает распад.

Повсюду природа использует рождаемость в целях сохранения вида. Рыбы плодятся сотнями, потому что сравнительно немногие из потенциальных представителей нового поколения избегнут риска попасть в меню других рыб и большого числа других опасностей. Слоны, способные лучше закрепить свое потомство, производят одного-двух детенышей через значительные промежутки времени.

И, наконец, нравится ли это вам или нет, тенденция к постарению населения имеется. Мир недалекого будущего будет миром с большим количеством старых людей, чем когда-либо в истории, а это значит, что мы будем жить в более зрелом обществе, чем это было в течение многих предшествовавших столетий. Ведь с возрастом люди становятся более терпеливыми и понимающими человеческие проблемы. Возможно, будет найдено лучшее решение этих проблем с помощью мудрости и опыта, которые являются достоянием лишь зрелого ума. Как мы видели, мозг с возрастом не разрушается. 60-летние люди всегда считаются людьми умственной зрелости, и у них ученые обнаружили пигментацию определенных клеток мозга. Эту пигментацию считают признаком старения, но она почему-то не сказывается на функционировании мозга. Скорее это может свидетельствовать о созревании, так же, как об этом свидетельствует покраснение кожицы яблока.

Опыт учит. Нарождающаяся прослойка долгожителей, которая уже выучила свои уроки, будет иметь время использовать их на пользу себе и другим людям. Долгая жизнь означает также удлинение времени, которое гении человечества могут посвятить служению прогрессу: эйнштейны, дарвины и эмерсоны смогут полностью реализовать себя вместо преждевременного увядания, как это происходит сейчас...

Книжный угол

Раздел ведет Ив. Толстой

А. ФЛЕГОН. ЗА ПРЕДЕЛАМИ РУССКИХ СЛОВАРЕЙ. ЛОНДОН

Название это, что отмечает в предисловии и сам составитель, не указывает на характер словаря. В него включены «слова, связанные с понятиями *отец, мать, сын, дочь, дед, баба, муж, жена, самец, самка, любовник, любовница* и с деятельностью этих лиц, направленной на воспроизведение человеческого рода». Столь ухищренным оборотом излагается идея общего направления издания; попросту говоря, в него вошли разные ругательства и медицинские термины, касающиеся половой жизни и не зафиксированные в общедоступных словарях русского языка.

Флегон твердо уверен: «назрело время выпустить словарь, содержащий и неприличные слова русского языка». Видимо, ему неизвестно, что почти сто лет назад профессор Петербургского университета И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Полная лексикографическая объективность требует внесения в серьезный словарь „живого языка“ так называемых „неприличных“ слов, „сквернословий“, „ругательств“, „мерзостей площадного жаргона“ и т. д. Лексикограф не имеет права урезывать и кастрировать „живой язык“. Раз известные слова существуют в умах громадного большинства народа и беспрепятственно выливаются наружу, лексикограф обязан занести их в словарь».

Эту мысль ученый реализовал, редактируя 3-е и 4-е исправленные и дополненные издания «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Увы, редакторы последующих изданий Далева словаря, выходящих уже в советское время, не последовали примеру И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Стоит добавить, что великий русский писатель И. А. Бунин в конце жизни тоже заявил: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям».

Словарь, составленный А. Флегоном, не включает достаточно полного количества неприличных слов русского языка. Объем данного словаря не превышает 4 тысяч слов (часть которых сопровождена цитатами из Баркова, юношеских произведений Пушкина, юнкерских стихов Лермонтова и других, вплоть до современных писателей, как бы придающими исторический аспект лексикону). Можно было иначе распорядиться таким объемом: убрать латинизированные медицинские термины, касающиеся половой жизни, так называемых «сексуальных игр» (как «абстиненция», «аменорея», «анурия» и пр., имеющиеся в словарях иностранных слов и почти не встречающиеся в живом русском языке), а вместо них добавить чисто русские непотребные слова.

Необходимо особо отметить, что в словаре А. Флегона зафиксированы ругательные «фразеологизмы» типа «лапоть тебе в рот», «мать твою за ногу», «катись на легком катере» и даже приводятся примеры «многоэтажной» брани, так называемых «боцманских загибов». Однако последние находятся вне сферы лексикографии, они принадлежат области фольклора, к ее почти неисследованной части.

В годы войны этот тип фольклора был распространен на фронте. Из биографии М. Дудина известно про «письмо» защитников Ханко финскому фельдмаршалу Маннергейму, созданное в подражание мифическому «письму» запорожцев турецкому султану. Подобных «писем»-листовок, адресованных Гитлеру, фашистским генералам, было создано огромное количество во многих армейских частях. Особенно соленым языком писались аналогичные «письма» партизан. Возможно, в фондах Музея обороны Ленинграда хранятся такие материалы ленинградских партизан, как и скабрезные песни, сказки.

Конечно, порнографические сочинения существовали на фронте в пору первой мировой и гражданской войн, хотя не в столь значительном количестве из-за ограниченности типографских средств.

Матерщина, похабщина наличествовали и в речи цивилизованных слоев дореволюционного общества. Конечно, кавалергарды и камергеры не позволяли себе «выражаться» в «остром обществе дамском», но перед солдатиками, мужичками...

В «Воспоминаниях» академика А. Н. Крылова приводится любопытнейший факт. Когда их автор учился в морском кадетском корпусе, преподаватели обращались к гардемаринам отменно вежливо, даже называли их на «вы». Но летом во время учебной практики в Маркизовой луже Финского залива на судах корпусные преподаватели преображались и, подобно боцманам, осыпали своих питомцев отборной морской «элоквенцией», как бы загодя приучая молодняк к «мужской» речи офицера с матросами. Такова была своеобразная педагогика!

В одной центральной весьма уважаемой газете в статье, посвященной упадку нравственности в наши дни, иронически говорится: «Глядишь, недалек тот день, когда и диссертацию кто-нибудь на стол положит, посвященную русской матерщине».

А почему, спрашивается, ученым не следует заниматься изучением сквернословия, «сквернословизма», как модно теперь говорить?

Еще в первой половине тридцатых годов изучением нецензурного фольклора в Ленинграде усиленно занимался сотрудник Института русской литературы АН СССР О. В. Цехновицер. Этимологии бранных выражений уделял внимание профессор Б. А. Ларин. Позднее, когда во всех сферах общественной жизни страны стали приказно соблюдаться суровые «строгости», изучение в этой области прекратилось, ушло в подполье, где пребывает до сих пор.

Не следует односторонне понимать высказывание И. А. Гончарова, что «язык есть образ всего внутреннего состояния человека: его ума, того, что называется сердцем, он выразитель воспитания, всех сил умственных и нравственных». Внутренний мир человека сложен, противоречив. Сам Л. Толстой ценил и употреблял непотребные поговорки. Упоминавшийся академик А. Н. Крылов при необходимости мастерски матерился. В этом ему не уступал и академик А. С. Орлов (чему свидетель автор этих строк). И таких доводов можно привести множество.

Рассмотрение матерщины, как и всей русской брани в совокупности, надо отнести к области дисфемизмов (т. е. форм выражения, противоположных эвфемизмам), весьма обширной и существенной части эмоциональной лексики.

Такие соображения возникают при ознакомлении со словарем А. Флегона. Хочется предположить, что при образовании теперь у нас в стране множества издательств появится реальная возможность появления отечественного полновесного научного лексикона, посвященного дисфемизмам, своеобразно отражающим культуру русской речи.

В. Петушков

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении. Рукописи объемом менее двух печатных листов не возвращаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Сообщаем, что всеми вопросами доставки журнала занимаются местные отделения «Союзпечати».

Редакция не имеет свободных экземпляров журнала для рассылки читателям.

СОДЕРЖАНИЕ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «ЗВЕЗДЫ»!

К сожалению, из-за непредсказуемости рыночных цен на бумагу издание в 1992 году в розницу поступать не будет.

В 1992 году журнал распространяется только по подписке!